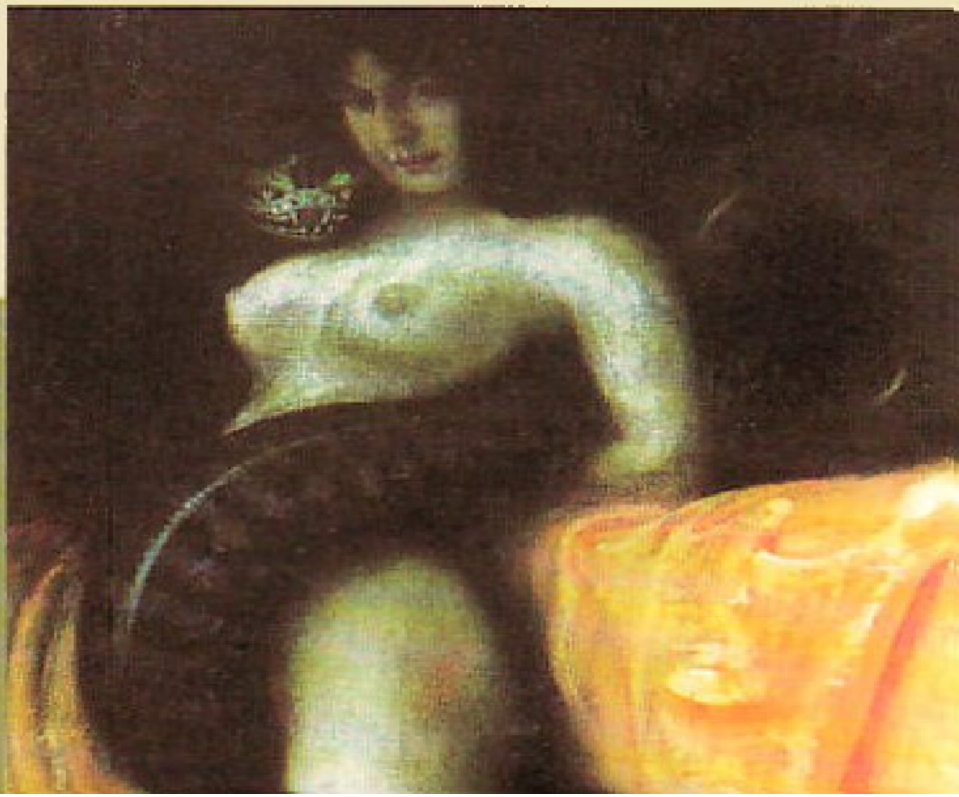
МЫСЛИ И ЧУВСТВА

Анаис

НИН

Дневник



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анаис Нин — американская писательница, автор непревзойденных по своей откровенности прозаических произведений. С ней дружили Генри Миллер, Гор Видал, Антонет Арто, Сальвадор Дали, Пабло Неруда, яркие портреты которых остались на страницах ее дневников, рассказов и повестей.

Ее называли автором уникального, «обширного потока внутреннего мира творческой личности». Ей посвятили множество книг, десятки диссертаций, а также марку знаменитых французских духов «Анаис-Анаис».

- Анаис Нин
  - Евгений Храмов
  - Дневник 1931–1934 гг.
    - Зима 1931–1932
    - 30 декабря, 1931
    - Февраль, 1932
    - Апрель, 1932
    - 4 мая 1932
    - 20 мая 1932
    - 25 мая 1932
    - Июнь, 1932
    - Июль, 1932
    - Октябрь, 1932
    - Ноябрь, 1932
    - Декабрь, 1932
    - Январь, 1933
    - Февраль, 1933
    - Март, 1933
    - Май, 1933
    - Июнь, 1933
    - Август, 1933
    - Сентябрь, 1933
    - Октябрь, 1933
    - Ноябрь, 1933
    - Февраль, 1934
    - Февраль, 1934
    - Март, 1934
    - Апрель, 1934
    - Август, 1934
    - Сентябрь, 1934
    - Ноябрь, 1934

    - Дневник в контексте истории
    - Рассказы
        - Мальорка
        - Женщина под вуалью
        - Марсель
        - Дом на воде
        - Мышка
        - Время старьевщика
        - Ясновидец
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34

- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78

- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122

- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150

Анаис Нин
Дневник 1931–1934 гг
Рассказы

Евгений Храмов
Страсть к литературе и литература страсти

Август 1914 года. В Европе гремят залпы Первой мировой войны. Подводные лодки Германии уже вышли в открытое море и занимают боевые позиции. Но этот пароход они не атакуют, Германия еще не объявила неограниченную подводную войну, а «Монсеррат» идет из Кадиса в Нью-Йорк под флагом нейтральной Испании. Среди пассажиров судна — женщина с дочерью и двумя сыновьями. Девочке одиннадцать лет, она самая старшая и уже понимает, что ее родители разошлись. Отец, блестящий пианист, который возил ее с собой по всем городам Европы, где бывал с концертами, исчез из ее жизни. А она любит его, она страдает от сказанных им то ли в шутку, то ли всерьез слов: «Ой, какая ты некрасивая. И совсем глупая». Но, несмотря на это, она любит своего отца, его холодный пристальный взгляд из-под очков, его легкие длинные пальцы (она унаследовала их от него) и чудесную музыку, рождающуюся под этими пальцами. Атмосфера дорогих отелей, спальных вагонов прямого сообщения, международных курортов и концертных залов не сотрется из ее памяти. Ей кажется, что она не сможет жить, если все это не возвратится. И чтобы возвратить отца, она начинает писать ему. Писать о себе, о том, что она чувствует, что делает, о чем мечтает. Пусть он увидит, что совсем она не глупая. И к этому она добавит свои фотографии — не такая уж она некрасивая.

Но посылать письма некуда, адрес отца неизвестен. Она пишет эти письма в большой тетради, на первой странице которой написано по-французски MON JOURNAL. Этот свой дневник она будет вести почти шестьдесят лет, читать своим близким друзьям, и один из них, знаменитый американский писатель Генри Миллер, напишет о «Дневнике», что он занимает «достойное место среди откровений Блаженного Августина, Абеляра, Руссо и Пруста». А Генри Миллер знал толк в изящной словесности.

«Дневник» Анаис Нин — уникальный литературный документ XX столетия. И дело не только в его объеме (некоторые исследователи указывают на 35 000 машинописных страниц) и протяженности во времени — начинала этот труд одиннадцатилетняя девочка, а заканчивала много пережившая и перечувствовавшая женщина, которой исполнилось семьдесят

лет. Особенность «Дневника» в том, что это не только последовательное — изо дня в день — изложение событий, составляющих жизнь автора и окружающих его людей, не только рассказ о чувствах и ощущениях данного человеческого существа, но и психологическое исследование причин их возникновения, читателю сообщается не только «вот что я чувствовала, что я ощущала», но и предлагается попытка объяснения: «вот почему я так чувствовала, так ощущала». Недаром, увлекшись в конце двадцатых годов трудами Фрейда и других столпов совершавшего в то время победоносный марш по миру психоанализа, Анаис сказала себе, что ее дневник — по сути дела журнал психоаналитика. А почти через сорок лет, в середине шестидесятых, Анаис Нин напишет: «Мы собираемся достичь Луны. Это не так уж далеко. Человек должен идти в более далекий путь — в свой внутренний мир».

Вот этим путем и шла Анаис Нин в своем дневнике.

Но это не только психологический портрет женщины-литератора. Анаис Нин жила интересно, и ее окружали интересные люди. Она встречалась с такими музыкантами, как Казальс и Падеревский, она была близка с такими писателями, как Генри Миллер, Гор Видал, Антонен Арто, с таким видным ученым, как психиатр и психолог профессор Отто Ранк, знала Сальвадора Дали, Пабло Неруду, Клиффорда Одетса и многих, многих других прославившихся и безвестных, но интересовавших ее людей, чьи яркие портреты она оставила в своем дневнике, рассказах и повестях (которые все «вышли» из ее «Дневника»).

И еще одно обстоятельство нельзя не упомянуть. Приводя в начале наших заметок цитату из статьи Генри Миллера, мы упустили одну его оговорку. Говоря о высоком месте, которое займет в литературном ряду «Дневник» Анаис Нин, он добавил: «когда он будет напечатан полностью». Это важная оговорка. «Дневник» Анаис — редкая по своей безжалостной откровенности литература. Исследуя себя, Анаис не пренебрегает самыми интимными подробностями своих многочисленных личных отношений. Потому-то при ее жизни «Дневник» выходил с немалыми изъятиями (так называемые «очищенные» дневники, подвергнутые авторскому редактированию перед публикацией), что, впрочем, не помешало им стать бестселлером.

Какую же жизнь прожила эта женщина, о которой было сказано, что у нее тысяча лиц?

Роза Хуана Анаис Эдельмира Антолина Анжела Нин-и-Кульмель родилась 21 февраля 1903 года в парижском пригороде Нейи. Там же через несколько месяцев ее крестили. При крещении из множества ее имен одно было отброшено: языческое

имя Анаис (Анаитис, Анаис — древнесирийская богиня) не могло быть признанным во Франции. Но именно этим именем она будет подписывать свои будущие книги. Так, с перемены имени, начинается первая метаморфоза Анаис Нин.

Анаис родилась в тот год, когда от земли оторвался первый аэроплан и Пикассо создал первую картину «голубого периода», и дожила до эпохи телевизоров, компьютеров, полетов на Луну. Отец ее — Хоакин Нин-и-Кастельянес, выдающийся кубинский композитор и пианист-виртуоз. Мать, Роза Кульмель, — дочь датского консула в Гаване и кубинской аристократки. В жилах Анаис Нин смешивались испанская (кубинская), датская и французская кровь. Она гордилась своим смешанным происхождением, обожала свое необычное имя, радовалась, что родилась во Франции, и почитала знак, под которым появилась на свет. Ее символом были две рыбы, и всю свою жизнь она старалась селиться как можно ближе к большой воде (некоторое время в Париже она жила в нанятой ею старой барже, пришвартованной у набережной Сены).

В 1914 году родители Анаис разошлись, и мать с нею и двумя сыновьями, Хоакином и Торвальдом, отправилась в Америку к родственникам. Семья поселилась в Нью-Йорке.

Свою любимую страну, Францию, Анаис увидит через десять лет. В декабре 1924 года она, к тому времени жена преуспевающего банковского служащего Хьюго Гилера, выходца из добропорядочной шотландско-ирландской семьи из Бостона, отправляется вместе с мужем к новому месту его службы в Париж.

Париж — город, дышащий литературой и искусством. Здесь жил Марсель Пруст. Здесь совсем недавно умер Анатоль Франс. Анаис, плывя из Америки в Европу, читала его «Красную лилию», теперь она увидит его любимую площадь Сен-Сюльпис. Но Анатоль Франс, Флобер и даже Пруст — это уже старье. Здесь только что прозвучал «Манифест» сюрреалистов.

Это течение, возникшее в 1924 году и угасшее к концу шестидесятых, оставило свой след в словаре даже не слишком искушенного в делах искусства человека. Мы небрежно произносим слово «сюр», даже не вдумываясь в его значение. А тогда, на изломе двадцатых годов, оно еще не стало расхожим, «сюрреализм» звучало по-новому, идейные основы этого движения манили и завораживали — мечта, чудеса, «безумная любовь», «театр жестокости», свобода, революция. Удивительные художники сплотились на идейной платформе сюрреализма: Андре Бретон и Луис Бунюэль, Луи Арагон и Сальвадор Дали, Поль Элюар и Василий Кандинский, Пабло Пикассо и Макс Эрнст. И молодая жена преуспевающего финансиста, мечтающая стать то

танцовщицей, то художницей, то писательницей, попадает в самую гущу последователей сюрреализма. Многие из них становятся ее приятелями, а порой и близкими друзьями. Они появляются в ее дневниках, они превратятся вскоре в протагонистов ее прозы.

Но в ту пору в Париже существует и значительная колония англо-американцев. Здесь произносит свои афоризмы, так годящиеся в эпиграфы («Все вы — потерянное поколение»), железная Гертруда Стайн, здесь молодые Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд; только что уехал в Италию Эзра Паунд, и вот-вот появится Генри Миллер. Именно здесь, в новомодных литературных и артистических кругах Левого Берега начинается новая жизнь Анаис Нин. Здесь она увлекается модным тогда фрейдизмом, проходит курс психоанализа у профессоров Альенди и Отто Ранка, здесь же она знакомится с Генри Миллером и сразу попадает под его обаяние — Генри Миллер в то время — перебивающийся случайными заработками писатель, не издавший еще ни одной книги. Анаис Нин — несколько экзотичная, тем не менее вполне респектабельная жена своего мужа, миссис Хьюго Гилер, занятая ведением хозяйства, посещением магазинов и ателье, а также светских мероприятий и богемных вечеринок. Миллер пишет «Тропик Рака», она — свой дневник. Прочитав его страницы, Миллер говорит Анаис, что она — настоящий писатель.

Прочитав страницы его романа, она заявляет Генри, что он — гений. История сложных взаимоотношений Анаис Нин с четой Миллеров (вскоре она сближается и с женой Генри Джун) изложена в ее дневниках за 1931–1934 гг., с которыми мы и знакомим наших читателей, и в повестях «Генри и Джун» и «Дом инцеста», являющихся фактически страницами «неочищенных дневников».

Последние годы жизни Анаис Нин провела в США, отдавая много сил женскому движению, продолжая писать книги, выступая с лекциями по всей стране. Выходят ее книги, выходят тома «Дневников», их переводят на многие языки мира, Анаис Нин становится одним из самых читаемых писателей. По-разному относятся к ее творчеству, но равнодушных нет.

Она умерла в Лос-Анджелесе 14 января 1977 года. После кремации маленький спортивный самолет поднялся в небо над заливом Санта-Моника. Друг последних лет Анаис, Руперт Тоул, опрокинул урну с ее прахом над волнами Тихого океана. Она всегда старалась быть как можно ближе к большой воде.

Известная американская романистка Эрика Джанг пишет об Анаис Нин, что нет другого автора, «кто бы рассказал о

сексуальной стороне жизни женщины так откровенно». И в то же время, по словам биографа Анаис Ноэль Райли Фич: «ни одна женщина не оставила такого обширного протокола внутреннего мира творческой личности». Значение Анаис Нин в истории литературы заключается в том, что она, выдающийся автобиограф, исследователь женской души и связующее эволюционное звено между Гертрудой Стайн и поколением битников. А мир откликнулся на такое явление, как Анаис Нин, несколькими пародиями, в числе которых «Две сестры» Гора Видала, его же «Прямо с Голгофы», и пространным романом Дарвина Портера «Венера»; а еще созданы шесть книг, посвященных ее творчеству и жизни, и два с лишним десятка университетских диссертаций, а еще марка французских духов «Анаис»… и легенда.

В России первые переводы из Анаис Нин Появились только к концу девяностых годов. Сначала это были сборники ее эротических новелл. В 1998 году издательство «Гелеос» выпустило сборник, в котором помимо эротики были фрагменты «Дневника» за сороковые годы и новеллы из книги «Под стеклянным колоколом». В настоящем издании читатель познакомится с «Дневником» 1931–1934 гг., очень важного периода в биографии Анаис. Но помня об оценке ее творчества Генри Миллером, переводчик снабдил издание «Дневника» комментариями, где содержатся сведения, почерпнутые из вышедших после смерти Анаис ее дневниковых записей, ее автобиографических новелл и повестей, из воспоминаний ее современников. Эти сведения дают дополнительные штрихи к портрету незаурядной писательницы, «тысячеликой женщины» Анаис Нин.

Дневник 1931–1934 гг.

Зима 1931–1932

Лувесьенн похож на тот городок, где жила и умерла госпожа Бовари. Ему много лет, и он совершенно не тронут современной жизнью, никаких перемен. Построили его на холме, возвышающемся над Серой. В ясные ночи видны огни Парижа. В Лувесьенне древняя церковь, господствующая над кучкой домишек, улицы, мощенные булыжником, несколько довольно обширных частных владений с особняками и замок на самом краю городка. Один из этих особняков когда-то принадлежал мадам Дюбарри. Во время Революции любовника мадам гильотинировали, и его отрубленную голову перебросили через увитую плющом ограду в сад этого особняка. Теперь здесь собственность Коти.

Со всех сторон Лувесьенн окружают леса, в которых когда-то охотились короли Франции. Большинство особняков принадлежит очень толстому и очень старому скупердяю, словно списанному с одного из бальзаковских скряг. Он дрожит над каждым сантимом, мучается, когда ему указывают на необходимость ремонта в том или другом месте, подолгу обсуждает эту проблему, но всегда кончает тем, что оставляет свои дома разрушаться от дождей и снегопадов, металл ржаветь, дерево плесневеть, а сады зарастать сорняками.

В окнах домов торчат старухи, глазеющие на прохожих. Улица, петляя, сбегает к Сене. На берегу реки таверна и ресторан. По воскресеньям сюда съезжаются парижане пообедать, нанять лодку и пройтись на веслах по Сене, как это любил в свое время Мопассан.

По ночам лают собаки. Из садов доносится запах жимолости, если это лето, и прелой листвы, если это зима. Слышится свисток паровозика, снующего между городком и Парижем. Старый-старый поезд, он привозил сюда отобедать на деревенском воздухе еще героев прустовских романов.

Моему дому две сотни лет. У него стены в ярд толщиной, у него большой сад, широченные железные ворота для автомобилей и маленькая железная калиточка для людей. Сад расположен позади дома, а перед домом покрытая гравием площадка, увитый плющом бассейн, в нем сейчас полно грязи, и бездействующий фонтан торчит посредине, словно кладбищенский памятник. Колокольчик у ворот звенит, как гигантский коровий бубенец, и еще долго после того, как за него дернут, он качается, и эхо отвечает ему. Звонят; наша Эмилия, испанка, нанятая в прислуги, распахивает ворота, и автомобиль скрежеща колесами, въезжает

на гравийную площадку…

В доме двенадцать окон, глядящих в мир сквозь деревянные, в плюще, решетки. Одно окно посажено посередине лишь для симметрии, но мне часто снится таинственная комната, которой нет на самом деле за этими, всегда закрытыми ставнями.

За домом огромный, дикий, неухоженный сад. Мне никогда не нравились ухоженные сады. А в самом конце просто кусок леса с ручейком, с крохотным мостиком, плющи, мох и папоротник.

День начинается всегда со скрежета гравия под колесами автомобиля.

Руки Эмилии распахивают ставни, и день входит ко мне.

Вслед за скрежетом колес по гравию я слышу лай нашей немецкой овчарки Банко и утренний перезвон церковных колоколов.

Я гляжу из моего окна на большие окрашенные зеленым железные ворота, и они кажутся мне воротами тюрьмы. Конечно, это вздор — я ведь знаю, что могу уйти отсюда, когда захочется, я знаю и то, что человеческому существу свойственно возлагать на предмет или личность бремя стоять преградой на пути, человеческому существу всегда мешает освободиться что-то или кто-то, хотя причина этой несвободы лежит в нас самих.

Зная это, я все-таки часто стою у окна, всматриваясь в закрытые железные ворота, словно надеясь созерцанием преодолеть свои внутренние преграды на пути к полной жизни, к жизни, раскрытой нараспашку.

Никаким количеством масла не справиться с ревматическим скрипом железных ворот, они гордятся своей двухсотлетней ржавчиной.

А вот калиточка сбоку — на нее свешивается плющ, как свешивается растрепанная челка на лоб разбегавшегося ребенка — она выглядят сонно и чуть-чуть хитровато. И она всегда приотворена.

Этот дом я выбрала по многим причинам.

Он, подобно дереву, как будто вырос из земли, так глубоко умостился в этом старом саду. Под домом не было погребов и полы лежали прямо на грунте. Ступая по ковру, я ощущала под ним землю. Здесь я могу пустить корни, срастись в одно с домом и садом и впитывать в себя их соки, как растение.

Первым делом я очистила от грязи бассейн и починила фонтан. И увидела, что дом ожил. Фонтан запрыгал, заиграл, и на душе стало радостно.

У меня было такое чувство, словно мы готовимся к явлению любви: воздвигаем шатер, разворачиваем церемониальные ковры, — словно я впервые должна создать чудесный мир, дом, в

котором надо достойно принять почетного гостя.

И вот с чувством готовящейся к приему хозяйки я прохожу по дому, подкрашиваю стену, сквозь которую проступили пятна сырости, вешаю лампу там, где будут показывать Балийский театр теней, расстилаю на кровати покрывало, укладываю в камин поленья.

Каждая комната окрашена по-разному. Словно каждый цвет должен отвечать соответствующему состоянию души. Вот красный лак — для ярости, для страсти; бледно-бирюзовый — здесь можно помечтать, пофантазировать; персиковый цвет — для кроткого, размягченного настроения; зеленый — для сна, серый — для работы за пишущей машинкой.

Обыденная жизнь не интересует меня. Я ищу только высших ее проявлений. И я согласна с сюрреалистами — надо отыскивать непостижимое.

Я хочу быть писателем, напоминающим постоянно другим, что такие моменты существуют, я хочу доказать, что вокруг нас беспредельные пространства, что мысль бесконечна, что мир имеет множество измерений.

Но в таком состоянии, которое я называю состоянием благодати, я бываю не всегда. Я знаю просветленные дни и дни лихорадочного возбуждения. Я знаю дни, когда музыка в моей душе замолкает. И тогда я штопаю носки, подрезаю деревья, консервирую фрукты, полирую мебель. Но занимаясь всем этим, я не чувствую, что живу.

Я не мадам Бовари и не собираюсь принимать яд. И я не вполне уверена, что превращение в писателя поможет мне сбежать из Лувесьенна. Я закончила книгу, она называется «Д. Г. Лоуренс: исследования непрофессионала». Я написала ее за шестнадцать дней. И теперь надо съездить в Париж, передать рукопись Эдварду Титюсу. Конечно, выйдет в свет эта книга не завтра, как бы ни хотелось любому писателю тут же, с пылу, с жару выложить свою работу на книжные прилавки. Титюс отдаст рукопись на отзыв своему помощнику.

Я зачастила в Париж, и моя мать относится к этому неодобрительно. Всякий раз, когда ухожу из дому, она даже не скажет мне «до свидания» и глядит вслед точно так же, как смотрят из-за своих занавесок старухи во время моих прогулок с Банко. Брат мой Хоакин между тем все играет и играет на своем рояле, словно пытается его звуками сокрушить стены нашего дома.

В мои самые трудные дни меня тянет к железной дороге. Я хожу вдоль пути в ожидании поезда, который разом покончит со всеми моими жизненными трудностями. Но так как я никогда не

могу разобраться в расписании поездов, то всегда прихожу не вовремя, в конце концов устаю ждать своего избавителя и плетусь домой. Может быть, эта тяга к гибельному происшествию связана с психологической травмой детства, когда я чуть было не погибла под колесами поезда? В Нейи у нас была служанка — мне тогда было два года, а мой брат Торвальд только что родился. Отец мой соблазнил девушку, потом попросту забыл о ее существовании, и она решила ему отомстить. Она пошла гулять с нами, выкатила детскую коляску на рельсы и оставила нас обоих там. По счастью нас увидел путевой обходчик. Отец семерых детей, он бросился к нам и, рискуя собственной жизнью, выдернул чуть ли не из-под колес надвигавшегося поезда. И в детской памяти осталось это событие. Я до сих под вспоминаю вид игрушек, разбросанных на кровати, где спали семеро детишек нашего спасителя.

Ричард Осборн — юрист. Он будет консультировать меня по делам издания книжки о Лоуренсе. Свое положение юриста в большой фирме Ричард пытается совмещать с самой что ни на есть богемной жизнью. Он любит выйти из своей конторы с кучей денег и отправиться на Монпарнас. Там он угощает всех налево и направо. Подвыпив, рассказывает о романе, который собирается написать. Домой он добирается поздно, тут же плюхается на кровать и часто является на службу в запачканном и измятом костюме. И чтобы отвлечь внимание от этих неприятных деталей, становится еще более словоохотливым и болтает, болтает без умолку, не давая слушателям и словечка вставить, так что про него говорят: «Ричард теряет клиентов, он же не переставая вещает».

Он похож на гимнаста под куполом цирка, который боится бросить взгляд на публику. Стоит ему посмотреть вниз, и он упадет. Ричард упадет где-то между своей юридической фирмой и Монпарнасом. Никто не знает, где его отыскать, когда он прячет от всех обе свои личины. В то время когда он должен быть на службе, он может преспокойно спать в каком-нибудь отелишке возле невесть откуда взявшейся бабенки, а в другой раз может допоздна торчать у себя в конторе, когда друзья ждут его в кафе «Дом».

У него есть два постоянно повторяющихся монолога. Первый точно списан с выступления по делу о плагиате. Как будто множество разных людей крадут у него романы, пьесы, замыслы. Он готовится начать крупное дело против них. Они постоянно лезут к нему в портфель. Один из украденных романов уже опубликован, его пьеса под чужим именем сыграна на Бродвее. Вот почему он не показывает своих вещей не только мне, но и никому на свете.

Второй монолог посвящен его другу Генри Миллеру. Генри Миллер пишет книгу в тысячу страниц, где все надергано из других авторов. Сейчас он нашел пристанище в гостиничном номере Ричарда. «Каждое утро, когда я ухожу, он еще спит, и я оставляю ему на столе десять франков, а когда возвращаюсь, на столе уже лежит новая кипа исписанных листов!»

Несколько дней назад Ричард принес мне статью Генри Миллера о бунюэлевском[1] фильме «Золотой век».

Статья как взрыв бомбы. Мне сразу же вспомнился Лоуренс: «Я — человек-бомба».

Это был кусок примитивного, дикого письма. В сравнении с теми писателями, кого я читала прежде, это взревели джунгли. Совсем коротенькая статья, но написана словами, летящими, как томагавки, они взрывались ненавистью и отвращением, и казалось, барабаны дикарей загремели на ухоженных аллейках Тюильри.

Вот вы живете-поживаете, без тревог и забот, в изысканно-уютном мире, и вам кажется, что это и есть жизнь. А потом вы читаете книгу («Леди Чаттерлей», к примеру) или отправляетесь куда-то в путешествие, или разговариваете с Ричардом — и вдруг открываете, что эта ваша жизнь — не жизнь, что вы просто впали в зимнюю спячку. Симптомы легко узнаваемы: первый — безотчетная тревога. Второй (когда спячка затягивается и грозит перейти в смертный сон) — ничто не доставляет удовольствия. Вот и все. А проявляется это как безобидное недомогание. Однообразие, скука, смерть. Миллионы людей живут или умирают таким вот образом, не сознавая, что происходит. Они ходят на службу, они ездят в автомобилях, они выезжают с семьей за город, они растят детей. А потом — бац! По ним ударяет нечто, встреча с человеком, с книгой, с песенкой какой-нибудь — и они просыпаются, и они спасены от смерти.

А некоторые так и не просыпаются. Как замерзающие — сладко засыпают навеки под укутавшим их снегом. Но мне это не грозит: мой дом, мой сад, моя красивая жизнь не убаюкали меня. Я-то знаю, что живу в великолепной тюрьме, откуда меня вызволит только бегство в творчество. Я написала книгу о Лоуренсе в знак благодарности, потому что это он разбудил меня. Я передала ее Ричарду, чтобы он готовил необходимый контракт, а он рассказал об этой рукописи своему другу Генри Миллеру и дал ему прочитать ее, и Миллер сказал: «Никогда не читал такой жестокой правды, высказанной с таким изяществом».

— Я хочу привести его пообедать, — сказал Ричард, и я ответила: — Конечно.

Так приготовились встретиться и бросить друг другу вызов

слабость и сила.

Мне приходит в голову образ мастерской алхимика. Множество красивых хрустальных бутылей, сообщающихся между собой целой системой трубок и желобов. В этих прозрачных бутылях переливчато светятся разноцветные жидкости, булькает темная вода, путешествует из одной в другую клубящийся дым. Для неискушенного глаза — абстрактное эстетическое наслаждение. И только алхимику ведомо, какая роковая сила таится в этих микстурах и эссенциях.

Да и я сама похожа на великолепно снаряженную лабораторию души — я сама, мой дом, моя жизнь, — в которой еще не начат ни один внезапно изменяющий все опыт, ни жизнетворный, ни разрушительный. Я любуюсь видом бутылок, цветом их содержимого. Я коллекционирую бутылки, и чем больше они похожи на сосуды алхимиков, тем более восхищают меня своей яркой формой.

Я стояла в дверях, Генри Миллер шел, приближаясь ко мне, и я на один миг закрыла глаза, чтобы увидеть его внутренним зрением. От него исходило тепло, радостное спокойствие, не чувствовалось никакой напряженности, он был естествен.

Он ничем бы не выделялся среди толпы: невысокий, стройный, худощавый человек. Похож на буддистского монаха — но только розовощекого, с уже почти облысевшей головой в венчике крепких серых волос, с крупным чувственным ртом. Взгляд его голубых глаз был невозмутим и внимателен, а вот рот был мягким, нервным. Смеялся он заразительно, а голос у него был ласкающе теплым, такие голоса бывают у негров.

Так непохожи на него были его резкие, грубые, живые писания, его карикатуры, раблезианская фарсовость, гиперболы. А глаза вдруг начинали лучиться совершенно клоунской усмешкой, на низких тонах его голос звучал почти как мурлыканье или урчанье. Он выглядел человеком, которого опьяняет сама жизнь, ему не требовалась выпивка, его несло на волнах им же самим рожденной эйфории.

В разгар очень серьезного спора между Ричардом и Хоакином он вдруг расхохотался. Увидев удивление на лице Ричарда, успокоил его: «Я не над тобой рассмеялся, Ричард, я просто не мог сдержаться. Меня ничуть не волнует, кто из вас прав. Я просто слишком счастлив в эту минуту. Счастлив красками вокруг меня, огнем в камине, отличным обедом, вином, вся эта минута так удивительна, так чудесна…» Он говорил медленно, словно радовался своим собственным словам. Человек, полностью утвержденный в настоящем, приветливый и мудрый. Признался, что пошел к нам только потому, что Ричард пообещал хороший

обед. Но теперь он хочет знать все об этом доме, о каждом, кто в нем живет, чем они занимаются. И он задавал вопрос за вопросом с неумолимой дотошностью. Генри Миллер поговорил с Хоакином о музыке, о его композициях и концертах. Он пошел пожать руку моей матери, навестил сад, осмотрел наши книги. Ему все было любопытно. А потом он уселся у камина и начал рассказывать о себе:

— Вчера вечером я просидел до самой ночи в cinema de quartier[2].

А больше мне некуда было податься, Ричард принимал у себя девицу. Три раза подряд я смотрел этот фильм, уж слишком его героиня напоминала мою жену. А потом откинулся в кресле и заснул. В этих киношках никогда не убирают зал до утра, и даже тогда, если femme de menage[3] увидит меня, она только хрюкнет недовольно и оставит меня в покое. Вы никогда не оставались в пустом кинозале? Фильм — это как доза опиума, и когда вы выходите на улицу, вас словно внезапно выдергивают из сладкого сна. А тут вы не пробуждаетесь и продолжаете видеть сон. И пока я спал, передо мною все проходили образы экрана, и я не мог бы отличить кино от своих видений. Я видел мою жену Джун, вот так она выглядела, когда однажды утром объявила мне в Нью-Йорке: «Ты всегда хотел попасть в Париж и стать писателем. Так вот, у меня есть деньги. Но только ты поедешь в Париж один, я приеду позже». А на экране шел фильм о женщине, которая вое время врала. Она врала, врала и, черт бы ее побрал, превратила в конце концов ложь в правду. Ей хотелось стать актрисой, и она придумала, что крутит любовь с одним из самых знаменитых актеров, она расписывала эту их любовь так убедительно, в таких ярких красках, что этот самый актер не выдержал и пришел к ней на очную ставку. Она и объяснила ему, зачем она так поступила, а попутно разыгрывала «сцены», которые будто бы происходили между ними, и делала это с таким шармом, что он остался у нее и все, что она навертела, все исполнилось, как будто она оказалась пророком. Вот Джун, моя жена, замешала меня в такую же историю. Она оставалась в Нью-Йорке и зарабатывала деньги на мое путешествие в Европу. Только не спрашивайте у меня, как она их зарабатывала. Всякий раз, когда я пробовал дознаться, я оказывался в такой мешанине выдумок, интрижек, каких-то чудодейственных перемен, что переставал что-либо понимать. Все, что она проделывала, выглядело как выступление фокусника: «Генри, ты хочешь попасть в Париж? Але-оп! Я нашла способ. Все уплачено». Она напоминала мне цыганок, я встречал таких на юге Франции. Они возвращаются домой, задирают юбки и — оп-ля! — там парочка украденных цыплят. Я чувствовал, что все истории

Джун лживы, но уличить ее не мог. Мне казалось, что они в ней как-то сами по себе рождаются. А она твердила, чтобы я писал и ни о чем больше не думал, но писать-то я как раз и не мог. Голова была занята другим: я старался представить себе, как же она управляется со всеми этими проблемами, ничем по сути не занимаясь, не работая, как все другие. Спрашивал ее напрямую и не получал ответа. Это как у арабов — те считают, что по-настоящему умный человек тот, кто умеет таить свои мысли. Но, черт бы их побрал, одно дело скрывать свои мысли от врагов, но от мужа, от любовника, от друга!.. А она говорила, что потому со мной так скрытничает, что я переверну все, что она ни скажет, шиворот-навыворот, в карикатуру превращу. Со мной такое случается, но только когда я разозлюсь. Если она, прочитав книгу, рассуждала со мной о ней, рано или поздно я узнавал, от кого она получила эту книгу, и понимал, что ее мнение — это как раз то, что она услышала от того, кто ей книгу дал. А в другой раз она сообщала нашим знакомым, что это она заставила меня прочитать Достоевского и Пруста. Ладно, а чего я говорю о ней в прошедшем времени? Ведь она через пару недель приезжает сюда.

Я увидела две стороны натуры Генри Миллера: его покорное принятие жизни и одновременно гнев и возмущение всем, что с ним происходило. Он терпит до поры, но потом все-таки постарается отомстить, вероятно, тем, что напишет в своих книгах. Этакая замедленная писательская реакция.

Джун подействовала как раздражитель. И он повернул к тем простым мирам, которые радуют его. «Вот проститутки мне нравятся. Они без притворства. Не стесняются подмываться у вас на глазах».

Генри как мифологический зверь. Письмо его дышит пламенем, это поток, мощный, хаотичный, коварный, грозящий гибелью. «Наш век нуждается в насилии».

А я наслаждаюсь мощью его письма, неприятной, разрушительной, бесстрашной и очистительной мощью. Странная смесь преклонения перед жизнью, восторга, страстного интереса ко всему, энергии, полноты, смеха; и вдруг налетает шторм и отбрасывает меня. Он разносит все: ханжество, страх, мелочность, неискренность. Прежде всего — инстинкт, интуиция. Он говорит от первого лица, и имена у него подлинные; он отказывается от порядка, формы, от самого сюжета. И никакого согласования, он пишет на нескольких уровнях сразу. Я всегда доверяла свободе Бретона[4] писать, как течет сознание, в том порядке или беспорядке, в каком сменяются ощущения и мысли, следовать чувствованию, находить смысл в бессмысленной связи событий и

образов, доверять им вести тебя в новые сферы. «Культ чудесного». И культ всплесков подсознания, культ таинства, бегства от лживой логики. Культ бессознательного, провозглашенный Рембо. Нет, это не сумасшествие. Это усилие преодолеть оцепенелость и строгость рационального мышления, чтобы прорваться в высший, сюрреальный мир.

Все это причудливо смешалось в Генри. Его легко может зажечь какая-нибудь новая книга, идея, какой-нибудь человек. Он к тому же и музыкант, и художник.

Он все замечает: и пузатые бутыли с вином, и как шипят в камине сырые дрова. Но для себя отбирает лишь то, от чего может прийти в восхищение. Его восхитило даже легкое косоглазие Эмилии, он нашел, что это похоже на лица с портретов Гойи. И стена, окрашенная в голубой и оранжевый цвета, его тоже привела в восторг.

Он наслаждается всем: едой, разговором, выпивкой, звоном колокольчика у ворот, хорошим настроением Банко, вовсю молотящего хвостом по мебели.

Он полагает, что я видала виды, раз когда-то в шестнадцатилетнем возрасте позировала художникам. В то, что я очень долго сохраняла невинность, он явно не поверил. Я попробовала поискать в словаре некоторые слова, произнесенные им по этому поводу. В словаре их не оказалось.

После его ухода от радости моей ничего не осталось. Я думала о том, что вряд ли показалась ему интересной. Слишком много он испытал, жил трудно, сложно, на самом дне, как герой Достоевского, и я для него чересчур неопытна. Да ладно, какое имеет значение, что думает обо мне Генри Миллер? Скоро он достаточно полно узнает, кто я такая. У него язвительный склад ума, и я сама себе покажусь карикатурой. А почему я не могу выразить себя основательней? Я играю слишком много ролей. Почему я должна все время волноваться, тревожиться? Но я волнуюсь, я тревожусь из-за всего. Моя эмоциональность, чувствительность — это зыбкая почва. Но вот я восхищаюсь «устойчивостью» Генри и Джун, а это для меня уже нечто новое.

Нужна огромная ненависть, чтобы быть сатириком, создавать карикатуры. А во мне нет ненависти. Во мне есть сочувствие, сострадание, страсть, желание взаимопонимания. А ненавидеть мне приходится редко. Однако бунты Генри я принимаю. Его гнев. Только не могу постичь этого парадоксального сочетания гневливости и восторженности. Мое возмущение потаенно, скрыто, оно какое-то косвенное. У него все это наружу, нараспашку. Ему смешна моя щепетильность: я щажу самолюбие Эмилии и не хочу, чтобы она слышала его шуточки насчет ее

несоразмерной туловищу головы. Мое неприятие чего-то никогда не доходит до того, чтобы я стала насмехаться, дразнить или даже просто описывать то, что мне неприятно. Я больше занята любовью. Я не могу, как Генри, неистово охаивать традиционных романистов. Я наткнулась на Лоуренса, и он поглотил меня. И политиков я не трогаю. Я их просто не замечаю. Выбираю то, что могу полюбить, и в этом растворяюсь. Вот сейчас растворяюсь в Генри Миллере, не уверенном в себе, самокритичном, искреннем, наделенном огромной внутренней силой Генри Миллере. И захвачена любовью. В чем он нуждается? Да во всем. Он живет как бродяга. Спит где угодно, в квартире приятеля, в залах ожидания на вокзалах, на садовых скамейках, в кино, в парке. Он одет кое-как, да и та одежда с чужого плеча.

Сейчас он переписывает свою первую книгу[5].

И день за днем ему приходится одалживать деньги, клянчить, напрашиваться на обеды к знакомым. Ему нужно собрание Пруста — я пришлю ему. Я дам ему железнодорожный абонемент, чтобы он мог приезжать ко мне, когда захочет. У него нет машинки. Я ему одолжу свою. Он любит плотно поесть, так я стану кухаркой и буду готовить великолепные блюда. Я хочу, чтобы у него был дом, постоянный доход, я хочу, чтобы он мог спокойно работать.

Сегодня Генри пришел снова. И снова разговор о его второй жене, о Джун. Она полна историй. Несколько версий рассказывала она Генри о своем детстве, о месте, где родилась, о родителях, о своем происхождении. По первой версии ее мать была румынской цыганкой, пела в кафе и предсказывала будущее. А отец, по словам Джун, играл на гитаре. Приехав в Америку, они открыли ночной клуб, где посетителями были в основном румыны. Они как бы продолжили в Нью-Йорке свою румынскую жизнь. Генри поинтересовался, какая же роль была отведена ей в этом предприятии, но ответа не получил. А ему хотелось знать, например, где она выучилась великолепному английскому языку, совершенно сценической английской речи. И вот он повел ее в румынский ресторан и стал наблюдать за ее реакцией на музыку, на танцы, на песни, на то, как таращатся на нее смуглые остроглазые мужчины вокруг. Но Джун уже забыла свою историю и скользила по залу равнодушным взглядом. А когда Генри приналег на нее, чтобы выяснить все же правду, появилась другая история. Оказывается, она родилась на дороге, оказывается, ее родители занимались шоу-бизнесом и постоянно перебирались с места на место. Отец был цирковым фокусником, а мать работала на трапеции.

(Не отсюда ли ее умение балансировать во времени и пространстве, летать, искусно избегая всякой определенности,

всякой устойчивой формы? Не отец ли научил ее ловкости рук, трюкам для отвода глаз публики? Но этой истории предшествовала еще одна, в которой она вообще не знала своего отца.)

Генри рассказывает, что в другой раз он услышал, что ее отец был сущим Дон-Жуаном и его ветреность очень подействовала на нее в детстве, привила ей чувство настороженности к мужчинам, убежденность в их непостоянстве. Тут Генри напомнил, что, по ее словам, отец был цирковым фокусником. Но это ее ничуть не смутило. «Так оно и есть, — сказала Джун, — ведь можно быть непостоянным фокусником».

С самого первого дня мне стало ясно, что Генри, живущего радостно и, конечно же, настежь, при ярком свете невольно затянуло в этот лабиринт его любопытство и любовь к фактам. Как простодушный фотограф, он верил только тому, что видит, а тут очутился меж рядов зеркал, бесконечно отражавших самые разные и непохожие друг на друга изображения.

Джун, должно быть, походила на те таинственные фигуры, закутанные с головы до пят в белое, что мелькнут где-нибудь в Марокко на углу улочки и исчезнут, бросив на чужака обжигающий бездонный взгляд. Надо ли бежать за этой женщиной, такую ли он ищет? Но его тянуло вслед за нею, и он шел от истории к истории. Из стремительно промелькнувшего детства в калейдоскопические дни юности, а оттуда в беспокойную, плавающую в табачном дыму зрелую женственность — следом за той, о которой даже официальный паспорт ничего не сможет сказать точно.

В Генри есть примитивное желание одерживать победу, быть завоевателем. С первого дня он попался, решив, что происходит дуэль между реальностью и иллюзиями. Но овладеть лабиринтом было делом трудным. Сам человеческий мозг содержит столько запутанных ходов, сколько извилин и перекрестков в самых сложных лабиринтах, и в них запечатлены тысячи разных образов, начертаны миллионы разных слов.

Некоторые города на Востоке построены так, чтобы ошеломить врага невероятно запутанным клубком извилистых улочек. Все эти переплетения помогают жителям прятаться в недрах лабиринта, а врагу они предстают образом пугающей таинственности.

Вот Джун и выбрала лабиринт для вящей безопасности.

Своим стремлением разобраться в рассказах Генри о Джун, объяснить себе его навязчивое желание докопаться до сути я внушила Генри ощущение, что понимаю сущность Джун. Но он сказал:

— И все-таки вы совсем не то, что она.

— Может быть, она думает, — предположила я, — что, как только откажется от своих историй, вы сразу же потеряете к ней интерес.

— Да ведь все как раз наоборот! — чуть ли не закричал он. — Я-то чувствую, что в тот день, когда она скажет мне правду, я и полюблю ее по-настоящему, и она станет моей. Мне отвратна ложь.

Так что же заставляет Джун таиться? Почему она навязала ему роль детектива?

Генри кажется таким чистосердечным. В его словах нет никакого тайного умысла. Он само олицетворение непосредственности. Прямой, открытый, незащищенный. Никогда не судит других и от них не ждет суда. Однако у него язвительный ум, он карикатурщик. Вот этого его качества Джун вполне может опасаться.

Даже мне, как я уже увидела, может грозить раздражение Генри. Он не терпит тех, кто ему отказывает в чем-либо, в правдивом ответе ли, в помощи, и не жалеет резких, грубых красок в их описании. Поэтичность и красота вызывают в нем недоверие. Словно он считает красоту, прекрасное всего лишь искусной уловкой, все это ему подозрительно. Истина, по его мнению, лишь в людях и вещах, эстетики лишенных.

Значит, он владел телом Джун, но пытался вызнать и ее суть? И эти поиски его разочаровывали?

Слушая его, я опять вспомнила об арабах. Они не уважают откровенных, прямодушных людей. Интеллект человека, по разумению арабов, измеряется его способностью обходиться без прямых вопросов. Так же думают индейцы и мексиканские креолы. Допытывающийся им всегда подозрителен. Джун, должно быть, и принадлежит к подобным расам. Может быть, и в самом деле она происходит из племени, у которого тысячелетии привычка прятать под покрывалом не только свои мысли? Откуда же явилась к нам она, что так хорошо усвоила эту национальную приверженность к таинственности?

У Генри привычка задавать вопросы наивные, лезть напролом. И когда ему удается удовлетворить свое любопытство, у него такой вид, словно он говорит: «Видите, как все это просто». Он из тех, кто старается заглянуть в реквизит фокусника. Ему надо разоблачать Гудини[6].

Он терпеть не может стихотворцев и иллюзионистов. Его безжалостная к самому себе исповедальность требует того же и от других. Эта яростная страсть к срыванию завес, к разоблачению заставляет его прорываться сквозь дымовую завесу в мир Джун.

В наших первых разговорах это выглядело как естественное беспокойство любящего: любит ли она меня? любит ли она только меня? а если она и других, кроме меня, любит? а вообще она любит кого-нибудь?

Но дальше — больше. Он отмечал у Пруста места, относящиеся к привычке Альбертины никогда не говорить: «я люблю, я хочу», а только «меня желали, меня любили», и тому подобное. Таким путем она снимала с себя всякую ответственность, не брала никаких обязательств.

А в общем, его отношение ко всему окружающему миру похоже, как говорят, на отношение многих мужчин к проституткам: желание, соитие, а потом — прочь, вожделение утолено и дела нет, с кем это было.

Генри — этакий добренький тихий варвар, который живет, руководствуясь только своими прихотями, своим настроением, своими ритмами, не подлаживаясь под других.

Сидим в кафе «Викинг». Все здесь деревянное, потолки низкие, по стенам росписи из жизни викингов. Полают крепкие напитки, какие Генри и предпочитает.

Чувствуешь себя, будто в старой ладье, плывущей по морям норманнов.

Генри говорит о Джун, а я слушаю и стараюсь разобраться.

Может быть, он очень обижен на нее? Обиженный мужчина опасен, как раненый хищник в джунглях.

Вероятно, Джун боится увидеть в его глазах свой искаженный образ. Он уже писал о ней в манере, которую я нашла совершенно непозволительной. Без всякого милосердия, без сочувствия. И в разговорах с ним я видела искореженные облики других людей. Как на картинах Босха. Выпячено только уродство, только безобразное. Он рассказывал, что люди Востока не позволяют рисовать их или фотографировать. Теперь я понимаю эту боязнь.

Бедняжка Джун в отличие от меня не может сделать свой собственный портрет. А Генри, как я уже заметила, стал подозрительно относиться к остроте моей реакции, к моей живости, к моим пируэтам даже тогда, когда я отвечаю на его вопросы совершенно прямо.

Мне кажется, что, весь уйдя в выяснение вопросов, есть ли у Джун другие любовники, любит ли она женщин, балуется ли наркотиками, Генри не придает значения другому, куда более важному, вопросу: а зачем она окружила себя такой таинственностью?

Но несмотря на всю серьезность наших разговоров, бесконечных размышлений о секретах Джун, каждая наша встреча как праздник. Генри является то одетый, как простой рабочий, то

напяливает на себя костюм Ричарда, который ему явно велик.

Он показывает мне закопченного черного ангела-хранителя дома, называемого «Колодец». Это круглое здание с внутренним средневековым двориком, где темно и сыро, как в настоящем колодце. Черный Ангел вычернен временем. Дождь омывает только его веки, и Черный Ангел смотрит на нас из мрака светлыми каменными глазами. Генри влюблен в Мону Пайву, прославленную куртизанку, родившуюся лет сто назад. Он купил ее фотографию на Набережных[7].

А еще у него в кармане выписки из меню, заметки о кушаньях, которые ему хотелось бы как-нибудь попробовать:

Merlans a la Bercy
Coquilles de Cervelles au Gratin
Flamri de Semoule
Galantine de Volaille a la Gelec
Anguilles Pompadour
Selle de Mouton Bouquetiere[8].

Вряд ли ему было известно, что означают эти блюда. Но он восхищался звучанием слов. Он записывал какие-то фрагменты нашей беседы на меню, на туалетной бумаге, на конвертах. Он водил меня в матросские ночлежки, где мы ели омлет в компании карманников. Он играл в шахматы в кафе, куда приходили старые актеры послушать старых музыкантов, исполнявших классические квартеты. Он любил смотреть на рассвете на проституток, усталой походкой плетущихся домой.

Он рвался ухватить все, что еще не успело «навести красоту», нацепить украшения: женщин, еще не причесанных, еще не окончивших макияж; официантов, еще не успевших надеть дежурную услужливую улыбку и нацепить бабочку. И эта его страсть к натуральности останавливается перед густо подведенными глазами Джун, перед женщиной, которая, как нарисовал ее в своих рассказах Генри, не терпела дневного света.

— Она ненавидит дневной свет.

Вот в столкновении этого ослепительного, ничем не прикрытого дневного света Генри и ее предпочтения ночи и заключалась вся суть, как мне кажется, их конфликта.

А еще из его романа я увидела, что для Генри до знакомства с Джун все его женщины не отличались одна от другой, они были как-то взаимозаменяемы; они были для него предметом вожделения, но он ничуть не стремился узнать их поближе; они были безлики, без индивидуальных особенностей, только сексуальные объекты и все.

Но появилась Джун, и его отношение изменилось: его заинтересовало то, что никогда не заботило, —

индивидуальность; Джун напускала вокруг себя туману, и ему захотелось разобраться в ней.

Чем приковывала она его внимание? Тем, что у нее было более сладострастное тело, более волнующий голос, более ослепительная улыбка в сравнении с другими женщинами? Как бы то ни было, в своем романе он описал ее яркими красками.

И вот, когда некая Джун стала проступать передо мной и ее облик ничуть меня не отталкивал, я подумала: а что если дело не в том, что Джун так много скрывает от него, а просто самому Генри не хватает умения разглядеть, что к чему. И, может быть, она то и дело упоминает о своих поклонниках вовсе не потому, что пытается утаить от него свое отношение к ним, отвечает ли она им взаимностью или нет, а лишь оттого, что эта сторона жизни интересует ее. Все это объясняется ее желанием быть любимой. Среди хаоса бессвязных признаний, путаных рассказов, среди потока выдумок мне открывалась Джун, которая была закрыта для лобовых вопросов, но предлагала другие ключи к разгадке.

Первое письмо Генри к ней — она показала его своей матери — было совершенно бредовым, и Джун подумалось, уж не наркоман ли Генри. Этот вопрос ошеломил его; ведь для Генри наркотиками служили образы, слова, краски. Ему пришло в голову, что Джун сама балуется наркотиками, коли представление о дикой игре воображения неизбежно связывается в ее мозгу с их употреблением.

И тогда он сам спросил, как могла ей прийти в голову такая мысль. Как всякий художник, он придерживался горделивого убеждения, что любой образ вытекает из внутренней художнической сущности и не нуждается в искусственных возбудителях.

Джун предпочла уклониться от ответа. «Она часто болтала о наркотиках, но ни разу не призналась, что хорошо с ними знакома». И Генри стал буквально одержим желанием проникнуть в эту тайну.

Я могу понять, как было легко ему в его плотски ощутимом, явленном мире и как после встречи с Джун он начал сомневаться во всем.

Их спаяли вместе его стремление добраться до подлинности, разоблачить иллюзорность и ее необходимость эту иллюзорность создавать. Это был сатанинский союз. Кто-то из них должен был восторжествовать, реалист или мифотворец. Серьезный писатель в Генри оборачивался детективом, ищущим, что скрыто под внешней видимостью, а Джун представляла свою таинственность как естественное цветение зрелой женственности.

Чем еще поддерживался его интерес всю эту тысячу и одну ночь? Чувствую, что он и меня уже втянул в свое расследование…

Я видела, как ее символическое сопротивление попыткам добраться до подноготной, рождало в Генри напряженное чувство ожидания, подобное тому, что происходит на стриптизе: женщина на сцене снимает одну за другой части одежды и исчезает за мгновенье до того, как предстоит остаться абсолютно обнаженной.

И в этот лабиринт он входит с записной книжкой! На месте Джун я бы закрылась еще плотней. Если он наберет и истолкует достаточно фактов, он же в конце концов доберется да истины. Вот что он записывал: черные чулки, битком набитая сумка, оторванные пуговицы, волосы в постоянном беспорядке, пряди то и дело падают на глаза, одевается второпях, все время в движении, без передышки. Никогда не рассказывает о школе, в которую ходила, о тех местах, где прошло детство. Две совершенно разные манеры поведения. Одна изысканная и любезная, другая (когда ей надоедает) резкая, как у девчонки с улицы. И то же самое с отношением к одежде. Временами на ней дырявые чулки, замызганные джинсы, вместо пуговиц булавки. В другой раз бросается покупать перчатки, духи. Но во всякий час ее глаза старательно подведены, как у женских профилей на египетских фресках.

«Как другим женщинам подавай кольца и броши, так ей нужны обманки».

Обманки. Иллюзия и ложь для Генри были синонимами. Искусство и иллюзии были ложью. Украшательством. Вот здесь я с ним не совпадала, здесь у нас было полное расхождение во взглядах. Но я молчала. Ведь он был человек страдающий. У него в боку торчала бандерилья, отравленная стрела, нечто такое, от чего он не мог избавиться. И иногда он кричал: «Да может быть, здесь ничего и нет! Может быть, вся тайна в том, что нет никакой тайны! Может быть, она пустышка и вовсе нет никакой Джун!»

«Но подождите, Генри, как может пустая женщина обладать такой витальной силой, как может пустая женщина заставлять человека страдать бессонницей, возбуждать такое любопытство? Как может пустышка заставить других женщин бежать прочь, как вы мне рассказывали, отрекаться в ее пользу?»

Он замечал, что я смеюсь над банальностью его вопросов. В какой-то момент он посмотрел на меня почти враждебно.

А я сказала: «Мне кажется, что вы задаете Сфинксу неправильные вопросы».

«А как бы спросили вы?»

«Я бы не стала копаться в секретах, в обманах, во всех этих

тайнах, не стала бы собирать факты. Я бы сконцентрировалась на том, почему они так ей нужны. Какой страх заставляет ее?»

И тут-то я почувствовала, что Генри ничего не понял. Он великий коллекционер фактов, а их суть нередко ускользает он него.

Вот его записи к будущему роману:

«Джун притаскивает в мастерскую целую сокровищницу антикварных штучек, рисунков, статуэток вместе с гуманными россказнями о том, как они приобретены.

Совсем недавно я узнал, что она получила прекрасную вещицу от Цадкина, сказала мне, что обязательно ее купит, но, разумеется, этого никогда не произойдет. Она использует хлебный мякиш как салфетку, она может завалиться спать на не расстеленную постель, не сняв обуви. Как только у нее появляются хоть какие-то деньги, Джун покупает деликатесы, клубнику зимой, икру и ароматические соли для ванной».

Дом в Лувесьенне[9]

Мировой финансовый кризис 1929 года сказался и на семье Анаис. Вместо роскошной квартиры в центре Парижа пришлось подыскивать жилище поскромнее. 17 августа 1930 года агент по недвижимости показывал чете Гилер (напомним, что Анаис Нин официально зовется миссис Хьюго Гилер) дом по улице Монбюссон, 2 в Лувесьенне. Лувесьенн — полудеревенский городок вблизи парижского предместья Сен-Клу в получасе езды поездом от вокзала Сен-Лазар. Дом и особенно сад за домом понравились Анаис, и договор о найме был тогда же подписан. В Лувесьенне Анаис прожила самый, пожалуй, интенсивный период своей жизни — с 1930 по 1936 год. Здесь она стала писателем. Но к писательству мы еще вернемся, а пока безмерно огорченная потерей роскошных, экзотически убранных апартаментов на бульваре Сюше Анаис начинает превращать скромный особнячок на улице Монбюссон в сказочный замок.

Альфред Перле, частый гость Лувесьенна в тридцатых годах, оставил нам живописную картину жилища Анаис в ту пору: «…панели теплого красного дерева по стенам, витражи в окнах, как в Гранаде, мавританские фонари, низкие диваны с шелковыми подушками, инкрустированные столики, мозаичные

узоры в тон стеклам. Кофе по-турецки на чеканных подносиках, горьковато-сладкие испанские ликеры. В затемненном углу какие-то ароматические курения» (Альфред Перле. «Мой друг Генри Миллер»).

В комнате, отведенной под рабочий кабинет, Анаис повесила портреты своих близких людей: мужа, отца, влюбленного в нее кузена Эдуардо Санчеса. Но было в этом кабинете и изображение человека, которого она никогда не знала, даже не видела ни разу. Дэвид-Герберт Лоуренс (1885–1930) — английский поэт и романист, эссеист и драматург, исследователь культуры и создатель оригинального мироучения, ставшего весьма популярным в интеллигентских кругах Запада 1920-х годов. Его наиболее знаменитый роман «Любовник леди Чаттерлей», рассказывающий о любви молодой замужней аристократки к простому егерю, сразу же после своего выхода в 1928 году был запрещен в Англии и США как оскорбляющий общественную нравственность, тираж подлежал конфискации. Лоуренсу пришлось выступить со статьей в защиту своего произведения, в которой, в частности, он писал: «Я хочу, чтобы мужчины и женщины думали о сексе честно, ясно и до конца. Даже если мы не можем получать от секса полного удовлетворения, давайте, по крайней мере, думать о нем безбоязненно, не оставляя белых пятен. Все эти разговоры о юных девицах, целомудрии, чистом листе бумаги, на котором еще не написано ничего, — полная чушь. Невинная девушка, не имеющий сексуального опыта юноша пребывают в состоянии мучительного смятения. Они в плену у разъедающих душу эротических чувств и мыслей, которые лишь со временем становятся гармоничными. Годы честных размышлений о сексе, поражений и побед в конце концов приводят к желанному результату — истинной, прошедшей все испытания чистоте, когда половой акт и представление о нем претворяются в гармонию, не мешая один другому». Приведем еще одну цитату из эссе Лоуренса: «Пришло время сбалансировать сознание эротического опыта с самим опытом. Это значит, что мы должны быть почтительны к сексу, испытывать благоговейный восторг перед странным поведением плоти. Должны включить в литературный язык «непечатные» слова, поскольку они — неотъемлемая часть наших мыслей и обозначают определенные органы тела и его важнейшие функции.

Ощущение непристойности рождается только в том случае, когда разум презирает тело и боится его, а тело ненавидит разум и сопротивляется ему». Это очень важная цитата. Здесь — зарождение целой литературной традиции, объяснение опыта таких писателей, как Генри Миллер, Даррел, Селин и сама Анаис. Но не будем углубляться в литературоведческие исследования. Наша цель — «Дневник» Анаис Нин.

Короткая выдержка из дневника 1931 года: «…вы живете-поживаете без тревог и забот… и вам кажется, что это и есть жизнь. А потом вы читаете книгу («Леди Чаттерлей», к примеру)… и вдруг открываете, что ваша жизнь — не жизнь…»

Именно так и было с Анаис.

В 1929 году она открывает для себя неведомый ей мир, прочитав «Контрапункт» Олдоса Хаксли и «Влюбленные женщины» Лоуренса. Если первый показался ей, пожалуй, чересчур интеллектуальным, то второй ее поразил — в фокусе были собраны ощущения, инстинкты, эмоции и дух (она-то воспринимала сексуальность лишь как метафору духовности). Она уясняет для себя: оба этих писателя (Хаксли и особенно Лоуренс) знают о любви больше, чем профессор Джон Эрскин, с которым у нее возник незадолго до этого любовный роман. Понимая, чем грозит ей чтение Лоуренса, она все-таки читает и другие его вещи, и ранний роман «Радуга» и «Сыновья и любовники» и, наконец, «Любовник леди Чаттерлей». Чтение Лоуренса приводит ее к неутешительному выводу — она никогда не знала сексуальной страсти. И любовь ее к мужу — не настоящая страсть. Страшное чувство неудовлетворенности терзает Анаис. Лечение — занять себя деятельностью.

Весной 1930 года она проводит много времени среди художников, многим из них она позирует (в том числе русской эмигрантке, художнице и декоратору княжне Наташе Трубецкой — подруге парижского периода жизни), она выступает с танцами и одно время даже подумывает о карьере профессиональной танцовщицы, найдя себе красивое театральное имя — Анита Агилера.

И вдруг, как гром с неба, — известие о смерти Лоуренса. Сжираемый туберкулезом, Лоуренс провел последние месяцы своей жизни на юге Франции, приговоренный врачами к жесткому постельному

режиму. В январе 1930 года он успеет закончить свое последнее произведение — предисловие к английскому изданию «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского. 2 февраля 1930 года Лоуренс скончался на руках у жены Фриды.

Как же так? Лоуренс умер, а она так и не успела отправить ему письмо. Кроме того, в ее письменном столе лежит статья, посвященная Лоуренсу.

Эта статья — «Д.-Г. Лоуренс. Мистика секса» — первая публикация Анаис Нин — появится в ноябрьском номере «Канадского форума», безгонорарного литературного и социологического журнала, выходившего в Торонто. Она еще напишет о творчестве Лоуренса более обширное исследование. В апреле 1932 года Эдвард Титюс, владелец книжного магазина и издательства в Париже, выпустит книгу Анаис Нин «Лоуренс: исследования непрофессионала» тиражом в 500 нумерованных экземпляров. А пока Анаис вовлекает в мир Лоуренса своего мужа, читает ему страницу за страницей свое исследование и дает ему читать книги Лоуренса. Весь 1931 год Анаис занимается расширением своей сексуальной осведомленности и своего опыта в этой области. Она читает «Психологию бессознательного» К. Юнга, «По ту сторону принципа удовольствия» З. Фрейда, «Науку существования» Адлера. Автор одной из книг об Анаис Нин с весьма ехидным названием «Секс, ложь и тридцать пять тысяч страниц» советует нам: «Представьте себе Эмму Бовари, читающую Лоуренса и Фрейда».

Но ей предстоит совершить еще один шаг по пути познания. Человек, который поможет ей совершить его, в «Дневнике» упомянут вскользь, одной фразой: «Титюс отдаст рукопись на отзыв своему помощнику». Помощник этот связан с ее любимым писателем не только тем, что будет редактировать книгу о нем, он связан с ним самим своим именем: редактора первой книги Анаис зовут Лоуренс Дрейк. Уж не знак ли это, не предзнаменование ли таится в этой номинативной магии?

Лоуренсу Дрейку многое в Анаис кажется обещающим: ее экзотическая внешность, наружность человека, любящего жизнь и отдающегося ей, ее страстная заинтересованность в таком писателе, как Лоуренс, пропитанность всеми его идеями — такая

женщина не должна противиться никаким импульсам! И он заключает ее в свои объятия, он целует ее: так ее еще никто не целовал. Он крепко прижимается к ней своим отвердевшим членом, и она отвечает на каждую его ласку, пьянея от этих умелых губ. Покусывая мочки ее ушей, он неторопливо и настойчиво подталкивает ее к дивану. Она чувствует, как остро отточен готовый вот-вот вонзиться в нее меч. Так и напишет она позже в своем дневнике — «меч», пытаясь эвфемизмом защититься от грубой реальности. И все-таки страх побеждает: она вырывается, она бормочет что-то о том, что без любви для нее невозможно… И убегает, чувствуя себя «чересчур впечатлительной, смешной бабенкой». А может быть, ее оттолкнул непривычный поцелуй усатого мужчины?..

Она возвращается к Дрейку через несколько дней, прочитав его роман и оценив талант этого человека, силу его воображения. Он не только искусством поцелуя поразил ее, но и своей способностью фантазировать. Правда, была еще одна причина…

Они сидят над рукописью, но при этом усердно попивают вино и в спиртуозных парах Анаис позволяет уложить себя на диван и снова возбудить умелыми поцелуями. Но паника опять охватывает ее, она защищается, она говорит, что сегодня нельзя, у нее обычные «женские трудности». И тут он объявил ей, что имеются и другие, не столь банальные способы. Так она впервые встретилась с практикой орального секса. Возмущенная, она вскочила на ноги:

— Я говорила, что мы по-разному подходим к этим вещам. Предупреждала, что я совсем неопытная.

— Да я не верил в это, не верил… Думал, ты меня дразнишь!

И все же она ему кое-что позволила. Просто «из жалости к смешной, унижающей его похоти».

Но в поезде по дороге домой она даже с какой-то благодарностью мысленно возвращалась к этой лекции о сексуальных «изысках», прочитанной для нее Лоуренсом Дрейком. Вспоминала, как выглядел его обнаженный могучий пенис, его мокрый платок, полотенце, которое он протянул ей. Кузен Эдуардо намекал ей на какие-то «аномальные приемы», на всякую «экзотику». Теперь она знала, что это такое.

Размеренной жизни устроительницы лувесьеннского

очага пришел конец. Изучение психоанализа и опыт с Дрейком пробудили в ней сексуальную энергетичность, то, что она назвала в неопубликованной при ее жизни части дневников «грезами об оргиях». Она видела себя «девственной проституткой» — на слово «шлюха» она еще не отваживалась, ее словарь изменится позднее. Пользуясь терминологией Лоуренса, она дает себе зарок «полностью подчиняться всем своим порывам», стремиться к «созвучию крови», а не к «созвучию разума». И самоуверенно заявляет, что ей стала понятна лоуренсовская «нерассуждающая чувственность».

Теперь, лежа в супружеских объятиях, она уверяет себя, что их чувственные порывы и составляют «целостность бытия». Хьюго же кажется, что после семи лет брака они переживают наконец настоящий медовый месяц.

Именно в это время на горизонте четы Гилер возникает Генри Миллер.

Читатели нашего издания уже знают, что Миллера привел в Лувесьенн молодой юрист Ричард Осборн. Осборн, мучающийся опасениями, что его обкрадывают плагиаторы, кратко и выразительно обрисован Анаис. Добавим к этому, что он был коллегой Хьюго Гилера по «Нэшнл-Сити Банку», и приведем несколько слов о нем, написанных Генри Миллером: «Как-то раз в американском клубе я наткнулся на одного парня, заявившего, что я похож на его бывшего начальника отряда бойскаутов. Он был адвокатом, совсем молодым человеком, мечтающим о карьере писателя… Отнесся ко мне с отеческой заботой. Услыхав о моем безвыходном положении, предложил пожить у него… Квартира была огромная. Я убирался в доме, топил камин, и к его приходу с работы везде царила идеальная чистота».

Когда именно произошло знакомство Генри и Анаис? В одной из самых подробных биографий Анаис (Noel Riley Fitch, «Anais», 1993) названа дата 31 ноября 1931 года. Но это, конечно, опечатка, за которой скрывается либо 31 октября, либо последний день ноября — 30 ноября. Но в какой бы день ни произошло знакомство Анаис Нин и Генри Миллера, оно сыграло огромную роль в их жизни. И значение этого дня оба сразу же почувствовали. «Я готова петь, я пою… Я встретилась с Генри Миллером!» — запишет она в свой дневник той же ночью. «С Лувесьенна началась самая

важная эпоха моей жизни», — ответит записью в ее дневник он. Они кажутся такими разными: он — неотесанный грубиян из Бруклина, «пролетарий», бездомный, безденежный, не гнушающийся порой куском заплесневелого хлеба или сыра, подобранного в сточной канаве; она — выросшая в артистической атмосфере, изящная, тонкая, изысканная, настоящая «принцесса». Его жена то служит платной партнершей в дансинге, то официанткой в забегаловке; ее супруг на отличном счету в солидном банке. Но оба они — и Анаис и Генри — обуреваемы одной страстью — литературой, оба еще не осуществившиеся писатели. Каждый из них видит свое творчество как письмо, обращенное ко всему миру (только его письмо появится через три года после их встречи, а ее — через четверть века). И оба они — мифотворцы, относящиеся к себе, как к героям эпоса. И еще, наверное, это взаимное притяжение девочки, влюбленной в своего отца, но лишенной его общества, и бруклинского мальчишки, не видевшего никакой теплоты со стороны своей матери.

Он похож на меня, — подчеркнула Анаис в своем дневнике.

30 декабря, 1931

Генри приехал в Лувесьенн вместе с Джун.

Джун шла из темной глубины сада навстречу свету распахнутой двери, и я впервые в жизни увидела самую красивую женщину на земле. Поразительно бледное лицо с такими пылающими темными глазами, что они вот-вот сожгут все передо мной. Много лет назад я пробовала представить себе истинную красоту, и тогда в моем сознании возник образ именно такой женщины. Я никогда не встречала ее до прошлой ночи. И все-таки мне давным-давно знакомы ее фосфоресцирующая кожа, ее профиль Дианы, богини-охотницы, ее ровные белые зубы. Она была причудлива, фантастична, нервна, и, казалось, ее жжет лихорадка. А я тонула в ее красоте. Что бы она ни попросила от меня, я бы исполнила. Генри как-то сразу поблек, а она цвела, сияла своей странной притягательной красотой. Но постепенно я высвобождалась из-под ее власти. Потому что она разговаривала. Ее разговор покончил с моим восторгом. Ее разговор. Огромное самолюбие, притворство, какая-то зыбкость и манерничанье. У нее не хватает мужества проявить свою подлинную натуру, чувственную, отягощенную опытом. Ее занимает только роль, которую ей надо сыграть, и она сочиняет драмы, где главные роли всегда, по ее замыслу, предназначены ей самой. Звезде. А между тем вокруг нее рождаются подлинные драмы, возникают подлинные хаос и водовороты чувств, но ее удел и здесь тот же самый — притворяться. Весь вечер, несмотря на мой искренний порыв ей навстречу, она старалась предстать передо мной именно такой, какой, как ей казалось, я хотела бы ее видеть. Актриса не исчезала в ней ни на один миг, и я не могла добраться до сердцевины. Все, что рассказывал о ней Генри, оказалось сущей правдой.

К концу вечера я испытывала те же самые чувства, что и Генри: зачарованность ее так много сулящей внешностью, ее лицом и телом, и жестокую неприязнь к ее фальшивым ужимкам, за которыми скрывалась ее подлинная суть. Поддельная личина предназначена вызывать восхищение, она должна побуждать других к словам и поступкам о ней, с нею, вокруг нее. Но чувствуется, что она не знает, что делать со всеми порожденными ее лицом и телом легендами, байками, россказнями, когда встречается с ними лицом к лицу; ей понятно, что она им неадекватна, она ощущает свою беспомощность.

В этот вечер она ни разу не рискнула признаться: «Я не читала этой книги». Она явно попросту повторяла то, что

слышала от Генри. Это были не ее слова. А то пробовала говорить по-английски в нарочито актерской манере.

И все старалась смирить свою нервозность, так не гармонировавшую с безмятежной атмосферой нашего дома, старалась, но ничего не выходило: беспрестанное курение, быстрые проверяющие взгляды выдавали ее. Вдруг озаботилась потерей перчаток, словно без них ее костюм ничего не стоил, словно перчатки были самой важной его составляющей.

Это было чудно. Я ведь тоже не всегда бываю сама собой, но ее ломанность и неискренность меня неприятно поразили. Припомнились слова Генри: «Она кажется мне иногда ненормальной». Глубина ее неискренности была ужасающе подобна бездне. Зыбкость. Текучесть. Неуловимость. Где она, Джун? Кто она, Джун? Здесь только женщина, будившая воображение других, вот и все. Она являла собой квинтэссенцию театрального искусства, заставляющего фантазировать, предвкушать, сулящего такие необычные переживания, а потом подсовывающего взамен дымовую завесу безостановочной тривиальной болтовни. Эти возбуждены, те обуреваемы желанием писать о ней, другие любят ее вопреки самим себе, как Генри. А Джун? Что она-то чувствует?

Джун. Ночью я думала о ней. Но не о той великолепной, ошеломившей меня Джун, а о маленькой, слабой, хрупкой Джун, которую я уже полюбила. Я любила ее слабость, ее ранимость, скрытые маской непомерной гордости, спрятанные за ее многословием. Пришибленной гордости. Ей не хватало уверенности в себе, и потому она испытывала неутолимую жажду нравиться. Жила отражением в чужих глазах и не отваживалась стать самой собой. В ней не было ничего, за что можно было бы ухватиться и узнать ее. И она это понимала. Чем больше ее любили, тем больше понимала. И сейчас понимала, что она очень красивая женщина, что эта женщина улавливает намек, исходящий от моей неопытности, и ей надо ничем не выдать этого своего понимания.

Ее белое лицо, исчезающее в темноте сада, все еще вырисовывалось передо мной, когда она ушла. Мне хотелось выбежать прочь, догнать, расцеловать эту фантастическую красавицу и сказать ей: «Джун, вы покончили с моей былой ясностью, с моей чистосердечной искренностью. Я уже никогда не смогу понять снова, кто я, что я, что я люблю, чего хочу. Я тону в вашей красоте, я захлебываюсь ею. Вы уносите с собой часть меня, отраженную в вас. Ваша красота поразила меня, и я растворилась в ней. В глубине души я уже не отличима от вас. Я мечтаю о вас, я стремлюсь жить вашей жизнью. Вы — та женщина,

какой я хочу быть. И я вижу в вас ту часть меня, которая уже стала вами. Мне жалко вашей ребячливой гордости, вашей дрожащей неуверенности, нарочитой драматизации всего происходящего. Не нужна мне больше моя откровенность, искренность: раз я люблю вас, значит, мы должны разделить эти фантазии и это безумие».

Мы с Джун заплатили нашими душами за то, чтобы принимать фантазии всерьез, за то, чтобы жить, как в театре, менять костюмы и менять свое «я», носить маски и прятаться за ними. Но я-то всегда знаю, где лежит реальность. А Джун знает ли?

Я хотела увидеть Джун снова. И она снова возникла из темноты и была еще прекраснее, чем при первом появлении. На этот раз держалась куда проще. Пошла наверх, в мою спальню, оставить там свою накидку, я шла следом, и, когда она остановилась на середине лестницы, я залюбовалась тем, как она четко вырисовывается на фоне бирюзового цвета стены. Светлые волосы в беспорядке, бледное лицо, тонкие, острые брови, лукавая усмешка с обезоруживающими ямочками в углах рта. Коварная и бесконечно желанная, обволакивающая меня каким-то гибельным очарованием. А снизу доносился плотоядный смех Генри, и он показался мне таким приземленным, таким примитивным, и не было в Генри ни тайны, ни опасности.

Потом она сидела в глубоком кресле напротив книжных полок, серебряные сережки мерцали в полумраке, и она разговаривала с Генри без всякой теплоты, резко, насмешливо, безжалостно. Они припомнили друг другу ссору, случившуюся недавно, потом другие ссоры, и по их озлобленности и язвительности я с горечью понимала, что передо мной две враждующие стороны.

Хоакин, всегда молчаливый и сдержанный, чувствующий себя неловко во всякой напряженной обстановке, старающийся избежать любого насилия, боящийся всякого безобразия, сумел помешать взрыву. Если бы не он, они могли бы устроить самую настоящую драку.

За ужином проголодавшиеся Генри и Джун накинулись на еду и почти не разговаривали. Оказалось, что Джун еще не бывала в «Гран Гиньоль», и все вместе мы отправились туда. Однако эта смесь комедии и ужасов ее ничуть не тронула. Видимо, сравнения с ее жизнью ужасы Гиньоля не выдерживали. Понизив голос, она втолковывала мне:

— Генри сам не разбирает, чего он хочет, что ему нравится, что не нравится. А я знаю. Я умею выбрать то, что надо, и отказаться от ненужного. А у него нет четкого суждения. Ему год

требуется, чтобы разобраться в людях.

И вот мы втихомолку смеемся над тупоумием Генри, и Джун утверждает коварный альянс нашего здравого рассудка, нашей проницательности и тонкости чувств.

— Когда Генри писал мне о вас, — говорит Джун, — он же самое главное пропускал. Он вас совершенно не понял.

Зато мы отлично поняли друг друга, каждую черточку, каждый нюанс.

Лицо у нее, пока мы сидели в театре, было бледным, маскообразным, она явно была раздражена.

— Я всегда раздражаюсь в театре, в кино. И очень мало читаю. Все это мне кажется разбавленным водой по сравнению…

— С вашей жизнью?

Она предпочла не заканчивать фразу.

— Я хочу все знать из первых рук, не из пересказов, а из личного опыта. Я читаю о каком-нибудь преступлении, но мне это не интересно, потому что я уже знаю преступника. Я ведь могла разговаривать с ним всю ночь в каком-нибудь баре. И он признавался мне во всем, что собирался сотворить. Генри тащит меня в театр посмотреть на актрису, а она была моей школьной подругой. Я жила с художником, который вдруг стал мировой знаменитостью. Я всегда бывала там, где все начинается. Я любила одного революционера, нянчилась с брошенной им любовницей, она потом покончила с собой. И ни фильмы, ни газетные новости, ни всякие репортажи, ни радио меня не интересуют. Я хочу включаться только в то, что реально существует. Ты понимаешь это, Анаис?

— Да, понимаю.

— А Генри, он — книжный.

И тут мне раскрылась ее жизнь. Она доверяла только близости, только интимным отношениям, признаниям, рожденным в темноте спальни, ссорам, вызванным алкоголем, всепониманию, выхоженному в долгих прогулках по городу. Она верила только тем словам, что вырываются подобно признанию преступника после долгих испытаний голодом, яркими лампами, перекрестных допросов, беспощадных предъявлений улик.

Она не любила читать книги о путешествиях, но сидела в кафе, подстерегая появление какого-нибудь абиссинца, грека, перса, индуса, только что получившего свежие известия из дому, у него в кармане фотографии его близких, и он показывает эти фотографии ей лично, и она видит все цвета его земли.

Антракт. Нам с Джун хочется курить. Генри и Хоакин не курят, так что мы идем к выходу одни, и мужчины поворачивают вслед нам головы. Стоим на булыжной мостовой маленькой

улочки и дышим летним воздухом. Мы вдвоем, и мы смотрим в лицо друг другу.

Я говорю ей:

— Когда-то я представляла себе, какой должна быть настоящая женщина, и вот только ты соответствуешь тем моим представлениям.

А она отвечает:

— Хорошо, что я уезжаю. Ты ведь скоро во мне разочаровалась бы. Разоблачила бы меня. Я перед женщинами беспомощна. Совершенно не знаю, как с ними обходиться.

Говорит ли она правду? Сдается мне, что нет. Еще в машине она рассказывала мне о своей подруге Джин, скульпторше и поэтессе.

— У Джин потрясающе красивое лицо, — и быстро спохватилась, — я не имею в виду обычную женскую красоту. У Джин лицо красиво скорее мужской красотой, — помолчала и добавила: — у нее такие нежные, такие ласковые руки, потому что они часто месят и гладят глину. И пальцы заостренные. Как у тебя.

Что за чувство шевельнулось во мне, когда я слышала эту хвалу рукам Джин? Ревность? А ее настойчивые утверждения, что в ее жизни полно мужчин и потому она не знает, как обращаться с женщинами? Я чувствовала, что сейчас крикну грубо, как Генри: «Врешь ты все!»

А теперь она смотрит пристально на меня и говорит:

— Я сначала решила, что у тебя голубые глаза. Они такие странные и такие красивые, золотисто-серые, с длинными черными ресницами. Ты самая грациозная женщина из всех, кого я видела. Ты не ходишь, а скользишь по земле.

Мы заговорили о наших любимых цветах. Она всегда носит черное и лиловое. А я люблю более теплые тона, красный и золотистый.

Мы вернулись в зал, но она не смотрела на сцену. Она продолжала шептать мне на ухо:

— Я знаю, Генри считает меня тронутой, потому что я всегда взвинченная, в лихорадке. Мне совсем не нужна никакая объективность. Я не хочу быть беспристрастным наблюдателем, не хочу сдержанности, не хочу стоять в сторонке.

Она сказала это и сразу стала мне невероятно близкой, и я возненавидела писания и Генри, и свои собственные, превращающие нас, все чувствующих и сознающих, в простых регистраторов. И мне хотелось оказаться полностью поглощенной ею, потонуть в ней.

Выходя из театра, я взяла ее под руку; тогда она накрыла мою

кисть своей ладонью и мы сцепили наши руки. Каштаны осыпались на землю легкими парашютиками, туман окружал уличные фонари светящимися нимбами, словно лики святых.

В самом ли деле она увидела во мне отдушину в напряженных своих переживаниях? Правда ли, что лабиринт показался ей слишком темным и слишком тесным и ей захотелось выбраться из него?

Но то, что ее рука касалась моей, волновало меня безгранично. А она говорила: «На днях, на Монпарнасе мне было неприятно слушать, как твое имя треплют люди вроде Титюса. Очень не хочется, чтоб такая дешевка крутилась возле тебя. Я чувствую себя… немного твоей защитницей, что ли…»

В кафе ее лицо стало совсем мертвенно-бледным. Словно под ее кожей остался только остывший пепел. Генри говорил, что она очень больна. Разрушается. Так она умрет? Мне стало страшно И захотелось обнять ее. Я чувствовала, как она удаляется, отступает в сторону смерти, и была готова следовать за ней туда, в смерть. И обнять ее. Я представила себе, как обнимаю ее, когда она умирает у меня на руках. Умирает ее мучительная, мрачная красота. Ее необыкновенная, почти мужская сила.

Я любовалась ее глазами, ее ртом, ее обесцветившимся ртом, едва тронутым помадой. Да понимает ли она, что я просто погружена в нее, что я растеряна настолько, что уже не понимаю, что она говорит, а только ощущаю тепло и живость слов, произносимых ею?

Она поежилась от холода под легкой бархатной пелеринкой.

— Мы пообедаем вместе до твоего отъезда? — спросила я.

— Знаешь, я рада, что уеду. Генри любит меня грубо, по-животному. Ему кажется, что я чересчур гордая. А ему подавай страшных, вульгарных баб податливых девок. Он пасует передо мной. Терпеть не могу мужчин, боящихся сильных женщин.

Вот Джин, та любила Джун за силу. Только какую силу? Разрушительную?

— И ты сильная, Анаис. Твоя сила мягкая, обходительная, деликатная, женственная. Но это все равно сила.

Я смотрю на крепкую шею Джун. Я слышу ее голос, глубокий, хрипловатый, трагический. И перевожу взгляд на руки, ладони шире, чем у наших женщин, это руки крестьянки.

Джун совсем не действует на мою сексуальность так, как действуют на нее мужчины. В те самые центры моего существа она не проникает. Так чем же тогда она притягивает меня?

Мне неприятно, что Генри унижает ее гордость, пусть непомерную, пусть мелочную. И то, что он заглядывается на нашу служанку Эмилию. Превосходство Джун его задевает, пробуждает

в нем злость, даже чувство реванша. Вот он и бросает томные взгляды на придурковатую, кроткую Эмилию. Это оскорбительно, и его поведение заставляет меня любить Джун.

Я люблю Джун за то, чем она осмелилась быть, за ее неуступчивость и бессердечие, за ее эгоизм, безжалостность, за ее гордыню и ее гибельность. Меня захлестывает мое со-чувствие, со-страдание, со-переживание с ней. Вот личность, раздвигающая свои пределы! Я боготворю ту решительность, с какой она не боится наносить раны, и я готова стать ее жертвой. Пусть к сонму своих обожателей она причисляет и меня, пусть хвастает моей покорностью. Она будет Джун плюс еще я, плюс все, что я дам ей. Я люблю эту гордую женщину, она значительней всех остальных.

Во время разговора во всем ее облике выражение такой напряженной страсти, с какой она, должно быть, предается любви; безоглядный порыв вперед делает ее похожей на летящую женщину на носу старинного корабля. Угольная чернота в ее глазах сменяется фиолетовым туманом.

Не наркоманка ли она?

И это не только оттого, что тело Джун — тело женщины, которая каждый вечер восходит на сцену мюзик-холла, чтобы медленно раздеваться на глазах у всех, но просто потому, что ее невозможно представить ни в какой другой атмосфере. Буйство плоти, расцвеченной в жаркие тона, лихорадочно горящие глаза, весомость ее голоса с хрипотцой немедленно сопрягаются с представлением о чувственной любви. У других женщин эротическая фосфоресценция гаснет, как только они выходят из своей роли хозяек дансинга. Но ночная жизнь Джун была ее внутренним свойством, она просвечивала изнутри, и оттого каждая встреча должна была, по ее мнению, либо привести к близости, либо бесследно стереться в памяти.

Это выглядело так, будто перед любым встреченным ею мужчиной внутри Джун зажигалась лампа, подобная тем, что к концу дня озаряют своим светом ожидающих любовниц или жен. И этот свет излучали глаза Джун, и лицо ее превращалось в поэму спальни, опочивальни в гобеленах и бархате. А раз это сияние шло изнутри Джун, то оно могло появиться в совершенно неожиданных местах: ранним утром в захудалом кафе или на парковой скамейке, в дождь перед фасадом больницы или морга — повсюду и в любой час. Мягкое, ласковое сияние, пробивающееся через столетия ради мига наслаждения.

Вот здесь мы условились встретиться, Джун и я. Я знала, что она опоздает, но все равно пришла на час раньше, почти больная от напряженного радостного ожидания. Я никак не могла представить себе, как Джун пойдет ко мне из толпы при ярком

дневном свете. Да возможно ли это? Боюсь, что таких миражей не бывает. Боюсь, что проторчу здесь так же, как торчала в других местах, всматриваясь в толпу и понимая, что Джун никогда не появится, потому что она всего лишь плод моего воображения. Мимо шли люди, и меня пробирала дрожь от их уродства, серости, неотличимости друг от друга. Ожидание Джун было сопряжено с самой мучительной надеждой, как при ожидании чуда. Я с трудом верила, что Джун возникнет здесь, на этих улицах, пересечет бульвар, выделится из горстки темных, безликих людей и вступит на это место. Что за радость увидеть, как среди суетливо спешащей толпы она, блистательная, удивительная, неправдоподобная, вышагивает размашистыми шагами ко мне навстречу, и убедиться, что это не мираж! Я держу ее теплую руку в своей. Она собиралась зайти за почтой. Ну разве она не чудо? Никто из таких, как она, не заходит за почтой в «Американ Экспресс». Какая еще женщина отправится туда в стоптанных туфлях, в поношенном черном платье, в потертом голубом плаще, в старой лиловой шляпке? Сидя напротив нее, я не могу притронуться к еде. Внешне я спокойна, держусь с невозмутимостью индусов, но невозмутимость эта обманчива. Джун пьет и курит. А я, такая, казалось бы, спокойная, не могу есть. Я нервничаю, терзаюсь по-настоящему. Она, я думаю, в каком-то смысле совсем безумна; страхи и мании. Иногда ее разговор становится почти бессознательным. Содержание ее пышно расцветающего воображения превращается для нее в реальность. Но что она сооружает с такой тщательностью? Хочет поднять повыше ощущение собственной личности и ждать восхвалений? Она чувствует, каким обожанием я окутываю ее, и она раскрывается, растет. И кажется мне сразу и губительной, и беспомощной. Мне надо ее защищать! Мне защищать ее, неограниченную властительницу! Ее мощь порой настолько убедительна, что я, как ни странно, верю, когда она говорит мне, что если она что и рушит, то делает это непреднамеренно. Да, я верю ей. Не сломает ли она меня? Пусть! Она пришла в мой дом, и я готова принять и вытерпеть любую боль из ее рук. Если и есть какой-то расчет в ее действиях, она не ведает об этом и осознает лишь потом, когда увидит, какая сила была ей дана, и удивится тому, во что она ее употребила. Как бы я ни была озадачена, не думаю, что ее сила направлена против меня.

Я сочувствую ей, отношусь как к существу, нуждающемуся в покровительстве. Смысл трагедий, в которых она участвует, ей непонятен, ход событий она контролировать не может. Я понимаю, в чем ее слабость. Она беспомощна перед реальностью. Живет в воображаемости. Я не думаю, что в основе ее отношений

с Джин лежит сексуальный интерес. Это те же фантазии, в которых она спасается от безжалостного инквизитора Генри Миллера.

И вдруг призрачность Джун, ее желание найти убежище в выдуманном мире взбесили меня — потому что это мои свойства. Я разозлилась — это новое для меня чувство и новый источник силы во мне порождены нежеланием Джун прямо взглянуть на свои поступки и эмоции. Я хочу ткнуть ее лицом в реальную жизнь (как поступает с ней Генри). Это я-то со своей мечтательностью, погруженная в какие-то смутные видения, собираюсь принудить ее! К чему же? Я хочу стиснуть руки Джун в своих, прижаться к ней и узнать наконец, вправду ли она любит женщин или нет. Почему я хочу этого? Ее искусная ловкость заставила меня желать откровенности; из-за ее всегдашних уверток мне в первый раз потребовалась ясность. Правда, порой я чувствовала, что надо бежать от этих, еще не узнанных мною «я», но в другой раз я ощущала себя, точно Генри, разыскивающей эти «я», чтобы выставить их на яркий дневной свет.

И все же позже, в такси, когда она взяла меня за руку и прижала ее к своей груди, я перестала соображать что-либо. И я держала ее руку в своей и не стыдилась ни моего обожания, ни моей покорности, потому что Джун была старше, она знала больше, и она поведет меня, посвятит в свои таинства и претворит туманные фантазии в подлинный опыт.

Она сказала, что хочет иметь то розовое платье, что было на мне в вечер нашего знакомства. А я и хочу сделать ей прощальный подарок и сказала об этом. Ей хочется и что-нибудь из тех духов, которыми пахнет в моем доме, это будет ей напоминать обо мне. А еще ей нужны туфли, чулки, перчатки, теплое пальто. Сентиментальность? Романтизм? Если она так думает… А что же мне сомневаться в ней? Может быть, она чересчур чувствительна, а чрезмерная чувствительность выглядит фальшивой в глазах недоверчивых людей. Подобных ей принимают за лицемеров. И все же я хочу верить Джун. И при всем при том кажется не таким уж важным, чтобы она любила меня. Это вообще не ее роль, я ведь вся переполнена любовью к ней. И в то же время я чувствую, что погибаю. Она говорит мне: «Ты такая декадентка и все же так полна жизни». Она тоже такая декадентка и так полна жизни. Наша любовь может стать нашей гибелью.

Генри был ревнивым и нетерпимым. Джун сильнее, тверже меня. Он берет все, что хочет, но свирепеет, если она поступает так же. Он может во время вечеринки заниматься любовью с другой женщиной чуть ли не на глазах Джун. А Джун принимает

наркотики. И она любит Джин. И рассказывая свои истории, изъясняется на языке подворотен. Но все-таки в ней сохраняется та невероятная, старомодная сентиментальность, которая откликается на все. «Подари мне те духи, которые я узнала в твоем доме. Когда я вечером поднималась к вашему дому, меня в темноте охватил такой экстаз предчувствия… Знаешь, мне раньше никогда не нравились женщины, которые нравятся Генри. Но на этот раз я чувствую, что он мне многое недоговаривает».

Теперь, когда я начинаю говорить, я чувствую, что во мне звучит голос Джун. Я чувствую, что мой голос погрубел, а лицо стало менее улыбчивым.

Нечто непонятное заставляет меня даже двигаться иначе.

Прошлой ночью мне приснилось, что я попала на крышу небоскреба и должна спускаться вниз по очень узкой пожарной лестнице, по фасаду этого здания. Мне было страшно, и я не смогла ступить ни шагу.

В характере Джун не видишь никаких поддающихся определению форм, нет ни границ, ни сердцевины. И это Генри пугает. Он никак не может узнать ее всю.

А я сама? Чувствую ли я, что моя суть вполне определена, четко ограждена рамками? Да, я знаю, где проходят мои границы. Есть эксперименты, от которых я отворачиваюсь. Но мое любопытство, моя страсть к творчеству подстрекают меня переступить границы, выйти за пределы моего характера.

Воображение толкает меня в незнаемые, неисследованные, опасные сферы. Но всегда остается моя природная фундаментальность, и я никогда не обманываюсь своими «интеллектуальными» авантюрами или литературными подвигами. Я стараюсь расширить пределы моего «я»; мне не нравится быть просто Анаис, целостной, привычной, держащейся «в рамках». Как только кто-то пробует дать мне точную характеристику, я поступаю по примеру Джун: стремлюсь вырваться из узкого круга ограничений. Ах, я хорошая? Приятная? Мягкая? Тогда надо посмотреть, насколько далеко могу пройти до того, чтобы стать неприятной (не очень далеко, впрочем), резкой, грубой. Но при всем том я понимаю, что всегда могу вернуться к моей истинной натуре. А может ли вернуться Джун — вот вопрос.

А что есть моя истинная натура? А истинная натура Джун? Есть ли в ней мой идеализм, моя выспренность, склонность к поэзии, чувство прекрасного, стремление к красоте, прирожденное целомудрие Рембо, некая чистота? Мне нужно творчество, и я ненавижу жестокость. Но когда я хотела погрузиться в порок, порок этот менял обличье, стоило мне

приблизиться к нему. Генри и Джун меняются, как только я оказываюсь рядом с ними. Я рушу миры, в которые собираюсь войти. Я побуждаю Генри к творчеству и делаю Джун романтиком.

Джун с ее волнующим телом, чувственным лицом, глубоким, эротичным голосом пробуждает чувственность, даже извращенную чувственность. Что же делает эти переживания смертельно опасными? Ей дана власть крушить. Мне — творить. Мы две контрастирующие силы. Как подействуют эти силы одна на другую? Мне казалось, что Джун сломает меня.

В тот день, когда мы обедали вместе, я была готова ринуться за нею в любой самый извращенный порок и не боялась, что погрязну в нем. И не принимала во внимание, как я могу на нее воздействовать. Мне не было до этого никакого дела, я любила ее, и любовь заполнила меня всю.

Но когда она пришла ко мне домой в понедельник, я решила положить конец тайне, разрядить мучающую меня тоску ожидания. Я спросила ее напрямик, грубо, жестко, как мог бы спросить Генри: «Так ты любишь женщин? Ты отдаешь себе отчет, что тебя к ним тянет?»

И так спокойно прозвучал ее ответ: «В Джин очень много от мужчины. А в своих влечениях я разбираюсь, полностью сознаю, что тянусь к женщинам. Да вот только мне никак не попадется та, с которой я хотела бы протянуть подольше. И вообще не уверена, что хочу этого».

И тут же сменила тему:

— Какая у тебя восхитительная манера одеваться! Вот это розовое платье, его цвет, старомодная расклешенность, этот черный жакетик, кружевной воротник, шнуровка на груди — совершенство, абсолютное совершенство! И еще мне нравится, как ты вся закрыта, только шею показываешь. И я просто влюблена в твое кольцо с бирюзой и в коралловые сережки.

Руки у нее подрагивали, и говорила она дрожащим голосом. Мне стало неловко за свою прямоту, я начала нервничать. А она продолжала говорить. Она рассказала, что в ресторане любовалась моими голыми ступнями в сандалиях, очень хотела рассмотреть их получше, но постеснялась слишком пристально в них вглядываться. А я сказала, что тоже постеснялась приглядываться к ее телу, хотя мне жутко хотелось этого. Разговор наш был какой-то отрывочный, хаотичный. Она снова посмотрела мне на ноги и сказала:

— Никакого изъяна в твоих ногах. В жизни не встречала таких безупречных. И очень люблю твою походку, она как у женщин-индианок.

Мы обе нервничали, и эта нервозность становилась невыносимой. Я спросила:

— Тебе правда нравятся эти сандалии?

— Я с детства любила обуваться в сандалии, но потом не могла себе их позволить и носила то, что мне дарили.

Тогда я сказала:

— Пойдем наверх ко мне, и ты примеришь другую пару, точно такую же, как эти.

Мы поднялись в мою спальню, и там, присев на кровать, она их примерила. Нет, они оказались малы. А я увидела на ее ногах чулки из хлопчатки и страшно расстроилась — шелковые чулки должна носить Джун! Показала ей мою черную пелерину, и ее она тоже привела в восторг. А я украдкой рассматривала ее тело, и роскошь его потрясла меня.

Да как может она быть больной, не могла понять я, и почему она такая неуверенная сейчас, чего боится? Я сказала, что хотела бы и для нее изготовить такую же пелерину, коснулась ее руки, и она сразу же ее отдернула. Неужели она боится меня? Да есть ли кто-нибудь еще более чувствительный, еще более боязливый, чем я? Я не могла поверить в это. Я-то сама в этот момент ничего не боялась.

Уже внизу, когда мы сидели на диване, она наклонилась, и в вырезе черного облегающего платья показалось начало полных грудей. По мне прошла дрожь. Я уже осознавала суть наших смутных ощущений и желаний. Она говорила довольно бессвязно о чем-то, но теперь я понимала, что этой болтовней она прячет совсем другой разговор — о вещах, которых мы обе не смеем выразить.

Проводив ее на станцию, я возвращалась домой пораженная, измученная, ликующая, счастливая и несчастная. Я должна просить у нее прощения за свои вопросы. Они были так бестактны, совсем не похожи на меня.

На следующий день мы встретились в «Американ Экспресс». Она знала, что мне нравится ее строгий английский костюм, и именно в него была одета в этот раз.

Ей ничего не надо, сказала она, только мои любимые духи, да еще та, винного цвета, косынка, которую она видела на мне в прошлый раз. Но я напомнила об обещании позволить мне купить ей босоножки.

Прежде всего я потащила ее в дамскую комнату, открыла сумку и извлекла оттуда пару чулок-паутинок. «Надень-ка их, — сказала я одновременно умоляющим и извиняющимся тоном». Она послушно взяла их. А я между тем открыла флакон духов: «Попробуй эти». И этот дар был принят.

Я была счастлива, Джун сияла. Мы заговорили наперебой. «Прошлой ночью я хотела позвонить тебе». «А я хотела послать тебе телеграмму». А потом Джун сказала: «Знаешь, я так казнилась потом в поезде, ругала себя за неуклюжесть, за то, что не могла справиться с нервами, за бессмысленную болтовню. А мне много-много надо было тебе сказать». Вот как. Значит, мы обе одинаково боялись вызвать раздражение друг у друга, боялись не угадать настроение другой. Она в тот вечер пошла в кафе встретиться с Генри. «Я была словно под наркотиком. Только о тебе и могла думать. Голоса людей доносились как-то издалека. Словно я взлетела над ними. И всю ночь не могла заснуть. Что ты со мной сделала?»

А потом добавила: «Я никогда не терялась и всегда умела поддержать разговор. Никто не мог сбить меня с толку».

Я была вне себя от радости, поняв, что она раскрывается передо мной. Значит, я ошеломила ее, сбила с толку? Так она любит меня? Джун! Она сидела рядом со мной в ресторане, пристыженная, робкая, какая-то отстраненная, не от мира сего, и я взволновалась. И волнение это было почти непереносимо. Другая Джун, расстроенная, уступающая, переменившаяся, сделала и меня другой, превратила в порывистую и решительную.

А ей хотелось сказать еще что-то, и она попросила у меня прощения за свое, как она выразилась, идиотство. Я больше не могла вынести ее унижения. Я сказала: «Мы обе потеряли самих себя, но так бывает, когда человек докапывается до своей подлинной сути. Ты открыла мне таившуюся в тебе удивительную нежность. И я тронута этим до глубины души. Ты такая же, как и я. Мы обе стремились к таким прекрасным мгновениям и боялись страхов, которые могли бы их замутить. Никто из нас не был приготовлен к тому, о чем мы так долго думали, что это случится именно так. Давай же не пугаться потрясения, это восхитительно. Я люблю тебя, Джун!»

И не зная, что еще сказать, я разложила между нами на сиденье ту самую косынку, о которой она попросила, мои серьги из коралла и кольцо с бирюзой. Это были трофеи, сложенные мною к ногам Джун, принесенные в дар ее невероятному смирению.

И разговор ее стал совсем другим: без всякой истерики, серьезная, прекрасно построенная речь.

Мы отправились в обувную лавку. Обслуживавшей нас некрасивой женщине мы явно не понравились — слишком много счастья сияло на наших лицах. Я, однако, держалась твердо и командовала, принесите нам это, покажите нам то. А когда продавщица упомянула о чересчур широких ступнях Джун, я

резко оборвала ее. Джун французского не понимала, но в интонации разобралась.

Мы остановились на точно таких же сандалиях, как у меня. От всяких других покупок она решительно отказалась. Ей нужно было только то, что было как-то связано со мной, было моим знаком. Ей нужно было носить все, что ношу я, хотя она призналась, что никогда не пыталась подражать другой женщине.

И вот мы идем, прижавшись друг к другу, рука в руке, и я в таком упоении, что не могу даже разговаривать. Город исчез, люди исчезли, осталась только пронзительная радость от того, что мы идем вместе по пепельно-сизым улицам Парижа. Никогда не забуду этого ощущения и никогда не смогу описать его. Мы парили выше всего мира, выше всякой реальности в чистом-чистом экстазе.

Я открывала для себя чистоту Джун. Чистоту Джун, отданную мне во владение, только мне и никому больше. Мне доверила она тайну своего бытия, тайну женщины, чье лицо и тело будоражили других, пробуждали инстинкты, к которым она оставалась безответной, которые ее страшили. И мне стало понятно, что она не сознавала своей разрушительной силы. Она была заперта в ней, а теперь вырвалась и была сбита с толку. Встретив меня, она обнаружила в себе чистую простоту своего «я». Не в том мире, где живет Генри, — она живет совсем в другом.

* * *

Генри изобразил опасную, пагубную женщину. Мне же эта женщина поведала о своем полном отчуждении от реалий мира, в котором живет Генри, о своей погруженности в фантазии, в безумие.

Столько людей искали путь к подлинной натуре Джун и не догадывались о достоинстве и полноте ее воображаемой вселенной, об ее отрешенности, о той Джун, что жила среди символов, сторонясь грубой действительности.

Я ввела ее в мою жизнь и не получила от нее взамен суровости и грубости мира, потому что это были не ее свойства. Она пришла ко мне, потому что предпочитала мечту.

Но я сразу же поняла, что тот мир чувственности и порока, в котором она, казалось бы, царила, снова оказался закрытым для меня, меня туда не впустили. Жалеть ли об этом? Я ведь изголодалась по реальности к тому моменту, когда она пришла ко мне. Я хотела подлинных переживаний, чтобы освободиться от моих грез, от моего воображения. И она повернула меня прочь от

Генри, правившего миром житейским, приземленным, миром грубых фактов. Она увлекла меня обратно в мои видения и сны. Но ведь будь я создана для реальности, для будничных впечатлений и опыта, я бы и не полюбила ее. Иллюзии и сны были мне куда нужнее, чем животная подлинность Генри.

Вчера она сказала мне: «Сколько вещей я с радостью делала бы с тобой вместе. Я бы с тобой и наркотики принимала».

Джун согласилась только на подарки, имеющие значение символов. Ей приходилось заниматься стиркой белья, чтобы заработать себе немного на духи. Ни бедности, ни распутства она не боялась, это ее не трогало, как не трогало и пьянство ее друзей (ее пьянство было другим, скорее экзальтацией). Людей Джун выбирала и отвергала по критериям, не понятным для Генри.

Теперь мне ясно, что ее бесчисленные рассказы о своих приключениях были попыткой скрыть свое подлинное за дымовой завесой анекдотов и историй.

Я так много думаю о ней и днем и ночью. Как только вчера я рассталась с нею, меня охватило такое леденящее чувство пустоты, что я дрожала словно в лютый холод. Я люблю ее странности, ее смиренность, ее боязнь взглянуть в лицо реальности.

До встречи с Джун я не особенно билась в поисках точного слова. То, что я втайне сочиняла, было очень похоже на ее разговор. Иногда бессвязный, иногда слишком отвлеченный, иногда чересчур запутанный. Ну ладно, пусть будет бессвязно. Наше знакомство эмоционально выбило нас обеих из привычной колеи. В нас обеих таилась несокрушимая часть нашего «я», никогда не проявляемая нами. Наше мечтательное «я». И вот теперь этот таившийся мир хлынул в каждую из нас. В эти несколько дней мне не узнать ее полностью — в ней очень много всего. Да и про меня она говорит, что я для нее слишком богата. Нам надо разлучиться, чтобы как-то покончить со смятением чувств, вновь обрести прежнюю ясность. Но я боюсь этого больше, чем она. Я не хочу добровольно разлучаться. Я хочу отдать себя всю, я хочу забыть себя.

Перед ней я отрекаюсь от всего, что сделала, от всего, что я есть. Я хочу еще больше. Я стыжусь своих писаний. Я хочу выбросить все и начать по-новому. Меня приводит в ужас мысль, что я разочарую ее. Ее идеализм так требователен, что приводит меня в благоговейный трепет. Рядом с ней я теряю чувство времени. Наш разговор — разговор только наполовину. Она говорит лишь чтобы сказать что-нибудь, скользит по поверхности, потому что боится, что наше молчание окажется слишком глубоким. Захоти она вчера, и я опустилась бы на пол у ее ног и

положила голову ей на колени. Но она не позволит мне этого. Хотя на станции, когда мы ждали поезда, потянулась взять меня за руку; я почему-то отпрянула и сбежала чуть ли не в панике. Станционный служащий остановил меня и предложил купить билеты благотворительной лотереи. Я купила билеты и тут же вернула их ему с пожеланиями выигрыша. Так из моего ожидания дать Джун то, что никто другой не мог бы ей дать, извлек прибыль незнакомый станционный чиновник.

И все-таки я дала ей жизнь. Она умирала в Париже. Умирала в ту ночь, когда прочла книгу Генри[10]. Она плакала и повторяла снова и снова: «Это же не я, он же вовсе не обо мне написал. Это же кривое зеркало! Он говорит, что я живу иллюзиями, но он же не понимает, какая я, он вообще ничего не понимает ни в ком. Все делает безобразным».

А в наших разговорах мы стали употреблять свой секретный язык. Полутона, обертоны, намеки, нюансы. И вот мы возвращаемся к Генри раскаленные добела, и он напуган. Он начинает беспокоиться. Мы овладели какой-то могущественной магией и пользуемся ею в свое удовольствие. Как же можно не приобщить его к этому, он ведь гений? Что мы с Джун придумали такого, чего нельзя доверить Генри? Удивляйся, удивляйся, удивляйся.

А ведь я чуть было не стала противиться поэзии, ополчилась против своего возвышенного мира. Собралась отвергнуть всякое воображение. Осквернила иллюзии анализом, научным подходом, научилась языку Генри, приняла условия его жизни. Я решила уничтожить насилием и животной грубостью все свои призрачные фантазии, иллюзии, свою сверхчувствительность. Что-то вроде самоубийства. Но чувство унижения напомнило мне обо мне. И тут появилась Джун с ответом на все мои порывы и спасла меня. Или, может быть, прикончила меня, чтобы теперь я начала проходить курс безумств.

…Еда и питье для Джун имеют значение символов, ассоциаций. Что касается Генри, он символами не пользуется. Хлеб для него хлеб, а не облатка, символизирующая тело Христово. Джун прежде не пила мадеру, но это вино подавали в нашем доме, и она стала заказывать в кафе мадеру. Мой вкус. Вкусы и запахи моего дома. Она отыскала ресторанчик, где в зале топился камин и пылающие поленья источали запах моего дома.

Когда я смотрю на нее снизу вверх, она говорит, что я выгляжу совсем ребенком. А когда я опускаю глаза, то вид у меня очень грустный.

Наши отношения изматывают нас обеих. Она была бы рада уехать. Впрочем, она всегда норовит сбежать. Теперь она бежит от

Генри. Но мне так необходимо ее физическое присутствие, что я не могу привыкнуть к мысли о расставании. Пусть бежит от Генри, но не от меня.

Когда мы встретились сегодня на полчаса и говорили о том, как быть дальше с Генри, она попросила меня заботиться о нем в будущем, а потом сняла со своей руки серебряный браслет и хотела подарить мне, подарить часть себя. Кошачий глаз — это ее камень. Я, было, отказалась от подарка, ведь у нее совсем мало украшений, но потом, зачарованная игрой камня, приняла его. Это символ Джун. Очень дорогой для меня символ.

Джун боится, что Генри сможет настроить меня против нее. «Да каким же образом?» — спрашиваю я. «Откровенничать станет на мой счет, разоблачать». И чего ей бояться? Я говорю: «Я сама о тебе все знаю. Мне дела нет до мнения Генри».

Как-то при встрече с Генри мне показалось, что он на меня косится, и я встревожилась. А Джун сказала, что он беспокоится, просто места себе не находит, так она объяснила ему, что беспокоиться нечего, раз он больше ревнует к женщинам, чем к мужчинам. Ничего себе! И вот Генри, почитавший меня за диковину, rara avis[11], теперь подозрительно косится на меня. Ах, Джун, сеятельница безумия.

Она может покончить со мной, с моей верой в нее. Меня сегодня прямо-таки затрясло, когда она рассказала, что, разговаривая недавно с Генри обо мне, старалась казаться естественной и откровенной, чтобы он не учуял ничего необычного. Так вот, оттого она и выложила ему: «Анаис просто надоела ее теперешняя жизнь, вот она и ухватилась за нас с тобой». Мне бы это показалось фальшью. Правда, это была единственная неприятная вещь, которую я слышала от Джун. Я ведь видела Джун прекрасную. Это Генри писал портрет безобразной Джун.

И я никак не думаю, что, несмотря на всю страсть, не раз описанную Генри, Джун и Генри смогут по-настоящему стать неразлучными, научиться уступать друг другу и владеть собой. Слишком сильна индивидуальность каждого из них. Они в постоянной борьбе между собой, лгут друг другу, подозревают друг друга.

Джун хочет вернуться в Нью-Йорк довести до конца кое-какие дела, чтобы восхитить меня еще больше, стать актрисой, обновить гардероб. «Я люблю тебя такой, какая ты есть», — говорю я.

Для каждого ад выглядит по-разному или же у каждого человека свой собственный особый ад. Мое схождение в ад было схождением к тем иррациональным уровням существования, где высвобождаются инстинкты и безрассудные эмоции, где живут

только чистыми импульсами, чистой фантазией и, стало быть, чистым безумием. Но все время, пока я была там, я не терзалась никакими муками, словно напившийся до бесчувствия; или, вернее, эти муки доставляли мне великую радость. А вот когда сознание вернулось ко мне, я ощутила неописуемую боль.

Приходить в себя после этого сна я начала вчера.

Мы обедали с Джун в уютном месте под мягким рассеянным светом, плотно окутавшим нас розовато-лиловым бархатом. Мы сидели без шляп, пили шампанское, заедали его устрицами, говорили на полутонах, на четверть тонах, понятных только нам одним. Она посвящала меня в то, как она не давалась Генри в руки, когда он старался вывести ее на чистую воду. Как иные люди постоянно рвутся к саморазоблачению, стремятся душу свою раскрыть, так она постоянно была уклончивой, изменчивой, протекала меж пальцев. Потом она заговорила об Элеоноре Дузе. Та была великой женщиной. «Д'Аннунцио, — сказала Джун, — был посредственным писакой. Многие его пьесы созданы Дузе, и, не будь ее, они б никогда не появились на свет».

Что она хотела этим сказать? Что Генри — это Д'Аннунцио, а она — Дузе?

— Да, — горько усмехнулась я, — только Дузе давно уже нет в живых, а пьесы Д'Аннунцио живут. И знаменитым стал он, а не Дузе».[12]

Неужели она хочет, чтобы ее знаменитой сделало мое писательство? Чтобы я написала ее портрет так, что портрету кисти Генри Миллера никто не поверит?

Я поэт, и я вглядываюсь в нее. Я поэт, стремящийся написать вещи, которых нельзя было бы написать, не существуй на свете Джун. Но я-то существую тоже, независимо от моих писаний.

Джун сидела, наливаясь шампанским. Я в этом не нуждалась. Она заговорила о действии гашиша. «Да я бываю в таком состоянии и без гашиша. Мне наркотики не нужны, — сказала я, — я все это ношу в себе». Она взглянула на меня с недоверием. Как это так, чтобы мне, художнику, удавалось добиваться состояния прозрения и творческого экстаза, оставляя свое сознание не затронутым? Я поэт и должна чувствовать и видеть. Да только для этого мне наркоз не требуется. Да, я опьянена красотой Джун, но я понимаю, что опьянена.

Понимаю я и то, что в ее историях встречаются явные несоответствия. По беспечности она оставляла множество лазеек для пытливого исследователя, и, сопоставляя одно с другим, я видела, что концы с концами не сходятся. И я могла вынести окончательный приговор, а окончательного приговора она всегда боялась, от него она всегда убегала. Она жила не по правилам, не

по планам, и, если кто-то постарался бы привести ее к обычным нормам, — она бы пропала. Такое она, должно быть, видела уже много раз и боялась проговориться. Как у пьяного на языке то, что у трезвого на уме. Не оттого ли ей надо дать мне наркотик, отравить меня, обмануть, запутать?

За обедом мы говорили о духах, об их субстанции, их смесях, их значениях. Как бы мимоходом она сказала: «В субботу, когда мы простились, я купила немного духов для Джин». (Опять эта мужиковатая девка!) А потом добавила, что мои глаза действуют на нее так же, как ее лицо на меня. А я рассказала ей, что ощущаю ее браслет на своей руке, словно она охватила ее своими пальцами и тащит меня в рабство. А ей захотелось накинуть на себя мою накидку. Наконец мы встали и пошли к выходу.

Ей надо было покупать билет в Нью-Йорк.

Мы зашли в несколько агентств. Денег у Джун не хватало даже на третий класс, и она все старалась выпросить скидку. Я наблюдала за этим, как во сне, и непрестанно курила, не нравилось мне ее поведение. Я видела, как она склоняется над стойкой, опустив подбородок на руки, спрашивает, приближая лицо к лицу клерка, а тот нагло пожирает ее глазами. А она такая мягкая, заискивающая, пытающаяся обольстить, улыбающаяся ему, улыбающаяся для него. И я все это вижу.

Нестерпимая боль. Видеть ее клянченье. Я понимаю свою ревность, но не могу понять ее унижения. Мы снова выходим. Переходим улицу. Спрашиваем у ажана, как пройти на Рю де Ром.

Я говорю, что дам ей денег, все, что мне полагается на месяц.

Едва Джун закончила какую-то свою историю, мы вошли еще в одно агентство. Я увидела чиновника, ошеломленного ее внешностью, ее ласковой, вкрадчивой манерой спрашивать, платить, выслушивать инструкции. Я стояла рядом. А вокруг меня осыпалась моя мечта. Мечта о неоскверняемости, холодном достоинстве, благородстве Джун. Я безучастно наблюдала, как французик спросил ее: «Не выпьем ли мы завтра по коктейлю вместе?» Джун в ответ протянула ему руку. «В три часа?» — предложил француз. «Нет, в шесть», — ответила Джун. И улыбнулась ему притворно-ласково, интимно, приглашающе. Когда мы вышли из агентства, она поспешила объяснить: «Он мне нужен, может оказаться очень полезным. Может помочь во многом. Он и в первый класс сунет меня в последнюю минуту. Я не могла сказать «нет». Идти туда я не собираюсь, но отказать ему не могла».

«Раз ты согласилась, ты должна пойти». Глупость я сказала, от нелепости собственных слов мне тут же стало противно до тошноты. Я чуть не заплакала. Схватила Джун за руку: «Не могу я

этого вынести, не могу». Я сама толком не знала, чего именно не могу вынести. Но я злилась. На кого? Не на Джун ведь! Она же не виновата, что ее красота так действует на других. Что именно вызывало мое раздражение, я не могла определить. Может быть, ее выклянчиванье? Я подумала о проститутках: они-то ведут себя честно: получают деньги и за это отдают свое тело. А Джун давала только обещания, лживые обещания. Она дразнила, и все.

Почувствовав мое настроение, она взяла мою руку и прижала к своей теплой груди. Сделала это ласково, мягко, как бы утешая меня.

И говорила, говорила, говорила. О вещах, не имевших никакого отношения к тому, что я переживала сейчас. «Ты бы предпочла, чтобы я грубо и резко отказала этому малому? Ты знаешь, я могу быть грубой, когда надо, но только не при тебе. Я никак не хотела задевать твои чувства».

А я промолчала, я ведь не понимала причину своего раздражения. Но дело было вовсе не в том, приняла ли она приглашение на коктейль или нет. Надо бы вернуться назад к первоисточнику, к тому, почему ей понадобилась помощь того человека. И одна из ее фраз пришла мне на память: «В какие бы передряги я ни попадала, я всегда находила того, кто платил за мое шампанское».

Ну конечно! Она была женщиной, без конца берущей в долг, не имея никакого намерения платить, не то что порядочные честные проститутки. А потом еще похвалялась своей сексуальной неприступностью. Вымогательница! Так гордиться своей собственностью, своим телом и так унижаться, позабыв о всякой гордости, глядя проституцьими глазами за стойку конторы пароходной компании.

Она рассказала мне, как они разругались с Генри из-за покупки масла. Денег у них нет и потому…

— Нет денег? Я же тебе в субботу дала, на целый месяц хватить должно. А сегодня только понедельник.

— Ну, надо было заплатить за то, чем мы уже пользуемся.

Я подумала, что она имеет в виду гостиницу, но вспомнила тут же о духах. Что бы ей сказать мне попросту: «Я купила в субботу духи, перчатки, чулки».

То-то, намекая на долги, она отвела взгляд в сторону. И другие ее слова пришли мне на память: «Про меня говорят, что, если мне выпадет богатство, я его моментально промотаю и никто даже не будет знать как. Я деньгам счета никогда не веду».

Такова оборотная сторона фантазий Джун.

Мы шли по улице, тесно прижавшись друг к другу, но весь жар ее тела не мог меня отогреть, не мог успокоить боль.

Едва я вошла в «Американ Экспресс», как толстячок у дверей, поздоровавшись, сообщил: «Утром заходила ваша приятельница и попрощалась со мной так, будто больше не вернется».

— Но мы же условились с ней здесь встретиться! Ужас охватил меня. Неужели я больше никогда не увижу, как Джун идет мне навстречу! Это все равно что умереть. Какая ерунда, в конечном счете, мои вчерашние размышления о ней. Но они могли обидеть ее. Конечно, ей дела нет до соображений этики, человек она безответственный, но моя кичливость деньгами нелепа и анахронична. Мне не надо переиначивать ее природу. Нечего ждать от нее моей щепетильности и строгости. Она уникальное существо, не знающее никаких пут. А я скована, у меня принципы. Я не могу позволить Генри уйти голодным. Нет, ее надо принимать целиком, такой, как она есть. Если только она придет — хотя бы на полчаса, хотя бы на мгновение, — я надену ее любимое платье, я не буду задавать ей никаких вопросов, я ничего не скажу о ее поведении.

И вот она появилась. Вся в черном бархате, под черной накидкой, в шляпе с таким немыслимым пером, что под ним не было видно ее глаз, лицо еще бледнее, еще прозрачнее, чем обычно. Чудо ее лица, ее улыбки, ее смеющихся глаз.

Я повела ее в русскую чайную, туда, где прежде я так остро воспринимала некрасивость большинства тамошних людей, отсутствие в них яркости, живости. В этот раз русские пели, и все выглядело иначе. Джун спросила, действительно ли они так же страстны, как можно судить по их голосам. Потому что богатство и мощь их пения взволновали нас. Джун даже употребила слово «обожгли».

— Знаешь, — сказала она, — когда я заболела туберкулезом, я поначалу очень испугалась, а теперь довольна, потому что я стала жаднее до жизни и лучше ее узнала. Все, чего я хочу теперь, — жечь жизнь с обоих концов.

Голоса русских и ослепительное лицо Джун. Вишневого цвета ковры и замызганные окна, вялый, запыленный свет и надрывное пение струн.

Джун — эссенция всего этого: свечей, курений, тяжелых шандалов, превосходных напитков и экзотической еды.

В сравнении с ней все люди вокруг казались безобразными и неживыми.

Джун, летящая навстречу смерти и улыбающаяся. Генри далеко до ее беспечности — он слишком врос в землю. Ему подавай здоровый хохот, еду, простые радости. Вот он и пытается удержать ее. Но мы с Джун стремимся к возвышенному беснованию в духе Рембо.

Безумию я всегда придавала высокий, поэтический, почти мистический смысл. Мне казалось, что это означает несогласие с обыденной жизнью, преодоление ее, выход за ограничения, наложенные «Условиями человеческого существования».

Сейчас я любовалась прекрасным безумством Джун и ни за что не сказала бы ей, как порой говорят чересчур заботливые друзья: «Подумала бы ты о своем здоровье». Раз ей надо растратить себя в этой горячечной яркой жизни, я готова следовать за ней, куда бы она ни пошла.

Настала пора расставаться. Я проводила ее до такси. Она села в машину, сейчас она уедет от меня. Я застыла в мучительной тоске. «Дай я тебя поцелую, поцелую тебя», — простонала Джун и потянулась ко мне своим ртом. И я очень долго не могла оторваться от ее губ.

Но Джун оставалась рядом со мной, я представляла себе, будто мы прогуливаемся вместе и я говорю ей: «Ты колоссальная, удивительная личность (она постоянно утверждала, что у нее характер персонажей Достоевского). Ты свободная и сильная. Поцеловала меня и стерла все мои сомнения, чувство вины, угрызения совести. А в твоей любви к Генри есть что-то мазохистское. Берешь на себя всю тяжесть его книги».

И все-таки она уехала, и, оставшись без нее, я хотела бы заснуть на долгие дни, заснуть и видеть сны. Но у меня было еще нечто, от чего нельзя было отказываться, дружба с Генри. Я пригласила его в Лувесьенн, потому что знала, что он страдает. Мне хотелось, чтобы он побыл в мирной уютной обстановке, но, конечно, я понимала, что мы будем говорить о Джун.

Мы прогуливались по лесу, уходили от наших тревог и говорили, говорили. Оба мы оказались одержимы стремлением понять Джун. Генри уже не ревновал ко мне, иначе он не сказал бы: «Вы вытащили из Джун нечто поразительное. Впервые в жизни она привязалась к женщине стоящей». Он, кажется, ждал, что я смогу как-то повлиять на жизнь Джун. И когда он увидел, что я многое в ней поняла и хочу быть с ним искренней, наш разговор потек совершенно свободно.

Только раз я запнулась, засомневавшись, не предаю ли я Джун, так разоткровенничавшись с Генри. Он уловил мою нерешительность и тут же согласился с только что высказанной мной мыслью, что в случае с Джун «правду» можно полностью игнорировать, поскольку Джун живет в воображаемом мире, но в наших отношениях с ним искренность — единственный фундамент дружбы.

И позже, когда мы сидели у камина, между нами установилось полное взаимопонимание: ведь мы оба искали

истину. Это стало для нас жесткой необходимостью. Наши интеллекты должны сотрудничать, чтобы понять Джун. Что она такое? В чем ее истинная ценность? Страстная любовь Генри требует знать, что из себя представляет эта постоянно маскирующаяся женщина. Джун, этот яркий, как у литературного персонажа, характер. Полюбив ее, Генри претерпел такие муки, что избыть их мог только в писательстве. Писатель схож с детективом. Но эту яростно написанную книгу об отношениях Джин и Джун, о своих усилиях убедиться в их лесбийской сути, о всех своих бесплодных попытках писал супруг, ревнивый, обманываемый супруг.

Я сказала: «Если есть объяснение этой тайны, то оно, по-моему, вот в чем: любовь между женщинами — это убежище, где ищут спасения от конфликтов в гармонии и нарциссизме. В любви между женщиной и мужчиной всегда присутствует противостояние, противоборство. Женщины не судят друг друга. Они образовывают союз.

Это, в известном смысле, себялюбие. Я люблю Джун, потому что она та женщина, какой я бы желала быть. Не знаю, почему Джун любит меня».

Я дала Генри то, что не могла дать ему Джун, — искренность. Это было странное отречение от своего эго. Я была готова признать то, что не признала бы никакая себялюбивая особа: то, что Джун представляла собой блистательную, вдохновляющую натуру, вблизи которой все другие женщины вмиг становились пресными и бесцветными. И я полюбила бы ее жизнь, если бы не мои врожденные качества, не моя склонность к состраданию. Джун, возможно, убивала Генри как человеческое существо, но она создавала его как писателя, и те муки, которым она его подвергала, обогатили его больше, чем самое безмятежное счастье.

У меня, так же как и у Джун, были неограниченные возможности для любых опытов, так же, как и у Джун, у меня хватало энергии, чтобы жизнь полыхала пламенем, чтобы бесстрашно кинуться в любые приключения, в декадентство, в аморальность, даже в смерть. Жизненный опыт Идиота и Настасьи для меня куда важнее, чем самоотречение Абеляра и Элоизы. Любить только одного мужчину или только одну женщину — значит ограничивать себя. Жить полной жизнью — значит жить подсознанием, инстинктами, как живут Генри и Джун. Идеализация — это смерть и плоти, и творческого воображения. Все, что помимо свободы, полной свободы, есть смерть.

Однако как Генри рассержен на Джун! Он считает, что она

ничего не стоит.

Да, она очень сильная натура, но сила ее разрушительна. Она выбрала пассивную, легчайшую форму жизни — жить в мире фантазий. Но я люблю как раз силу ее непротивления, ее снисходительной и упрямой податливости. Зло и добро равно принадлежат жизни. И я хотела бы жить без всякой идеализации, без этических законов. Но мне не дано быть свободной. У меня нет дара разрушения.

Генри надеется, что я воспользуюсь своей силой, повлияю на Джун. Мне не нужны наркотики, другие искусственные стимуляторы для этого. Это моя прирожденная роль. И все-таки мое желание поступать по примеру Джун, постигнуть привлекающий меня порок сродни тому, что соблазнило Генри, когда он танцевал с нею в дансинге, когда они занимались любовью в ночном парке и она попросила у него пятьдесят долларов.

Я пришла в этот мир, чтобы познать жизнь, но мне было отказано в том опыте, к которому я рвалась: во мне сидело нечто, нейтрализовавшее это стремление. Вот я встретила Джун, чуть ли не проститутку, и она превратилась в непорочную деву. Ее чистота, которой она морочила Генри, чистота и внешняя и внутренняя, внушающая благоговение так же, как она внушала благоговение мне, когда я смотрела однажды вечером, как она сидит на краешке дивана, бледная, прозрачная, целомудренная. Подлинный демон Джун — яростная жажда жизни, захваченность жизнью, жажда попробовать ее самые горькие плоды. И что ей, живущей только импульсами своей натуры, все усилия Генри постичь ее. Она на них просто не способна откликнуться.

Генри все старается внушить ей более ясные представления, чтобы не билась она больше в этом потоке смутных порывов и причудливых фантазий. Но он сумел лишь дать ясное понимание того, что такой жизнью она жить не умеет.

Я говорила Генри: «Джун не нужна реальность. Ее выдумки это вовсе не ложь, это те роли, в которые она хочет вжиться. Я не знаю никого, кто смог бы так же уверенно и увлеченно жить вымыслами. Когда она вам рассказывает, что ее мать умерла, что отца она не знала, что она вообще незаконный ребенок, она просто хочет начать на пустом месте, вырвать корни, нырнуть в мир иллюзиона. Неизвестно, кто может оказаться ее отцом. Она любит эту загадочность, приключение, всяческие неожиданности. Не хочет она, чтобы ей нашли определенную полочку, не хочет, чтобы ее связали с какой-то расой, национальностью, социальной группой. Ее бледность, нервно вскинутые брови, ее одежда, побрякушки, ее манера не замечать, что ешь, не замечать, где

день, где ночь, ее нелюбовь к солнечному свету, все это оттого, что она не терпит строгих правил, запретных рубежей.

А Генри сказал: «Никто никогда не говорил Джун: «Слушай, слушай же внимательно, вслушивайся!» Иногда мне удавалось заставлять ее силой. Но что сделали вы, что она вас слушает? Как вы остановили бурлящий поток ее болтовни? Говоря о вас, она выглядит совершенно смиренной».

Что я сделала? Да ничего. Смотрела на нее, проникалась симпатией к ее поискам чудесного, к ее хаосу, который не пыталась втиснуть в рамки организованного мужского мышления, — я все это принимала, как принимала и ее решимость пускаться в любые авантюры. У нее была эта решимость. Она подчинялась всякому порыву и принималась за выпивку, за наркотики, она была бродяжкой, готовой заплатить за свою свободу бедностью и приниженностью.

— Я понимаю ее. Ее нельзя воспринимать как целое, она состоит из кусочков. Только в страсти она на время обретает цельность. Такая как есть, она, может быть, потеряет вашу человеческую любовь, но она выиграла уже ваше восхищение ею как типажом.

— Да в сравнении с Джун все женщины кажутся неинтересными. А вот с вами… У нее слезы навертываются, когда она говорит о вашем благородстве, о щедрости. И все время повторяет: «Она больше чем женщина, гораздо больше чем женщина».

— Она унижает вас, мучает голодом, бросает, изводит, дразнит, а вы в полном порядке. Вы пишете о ней книги. У меня нет ее смелости говорить обидные вещи, даже когда эти вещи заслужены, понимать, что обижаешь и все-таки обижать, даже если это крайняя необходимость.

— Ну, а лесбиянство?

— Ничего не могу ответить. Не знаю. У нас этого не было.

Генри верит мне:

— Ее чувственность куда изощренней вашей. Гораздо замысловатей.

* * *

У Джун всегда куча историй. Вот она рассказывает очередную, глаза лихорадочно блестят, голос задыхается.

— Как-то летом я должна была отнести приятелю фонограф. Выхожу из нашего отеля в легком платьице, туфли на босу ногу, на чулки у меня в то время денег не хватало. Возле бара, вижу,

стоит такси, а шофера нет, куда-то запропастился. Прыгаю в машину и жду шофера. Но вместо таксиста ко мне подходит полисмен, просовывает в окно голову: «Что такое с вами? Плохо себя почувствовали?» — «Да нет, — говорю. — нормально себя чувствую, просто жду таксиста. Надо вернуть приятелю фонограф, а он вон какой тяжелый. Вот я и села в первое же такси, попавшееся на глаза». Но полицейский смотрит на мое бледное лицо и не отстает: «А где вы живете?» Я разозлилась и предложила, если он пожелает, показать ему, где я живу. Он согласился, взял у меня фонограф, и мы пошли. Привожу его в нашу комнату на первом этаже. Генри еще валяется в постели, на нем вышитая румынская рубашка, и он в ней выглядит совсем как русский мужик. А на столе грудой свалены рукописи, книги, стоят бутылки, пепельницы, — словом, он понял, что попал в дом интеллектуальной богемы. А еще на столе лежал длинный нож, его Джин привезла из Африки. Посмотрел полисмен на все, улыбнулся и ушел.

Я сижу молча, никак не реагирую, и Джун переходит к следующей истории:

— Стучится ко мне однажды какой-то тип и спрашивает, нужен ли мне М или О. Я говорю, что не понимаю, о чем это он. Он улыбается: «Так уж не понимаете! Морфий или опиум. Если пожелаете, я вам принесу на десять долларов». Я ему сказала, что мне не нужно ни того ни другого, а он мне на это ответил, что как-нибудь все равно принесет. И на следующий же день опять вломился ко мне: «Вот вы запросили на десять долларов опиума и морфия. Я вас теперь могу запросто в тюрягу запрятать за это». «Вряд ли», — отвечаю и набираю номер моего знакомого, человека с большими связями в правительстве. Когда незваный гость услышал имя моего друга, он перепугался, взмолился, чтобы я ничего не рассказывала о нем, поклялся, что ни разу больше меня не побеспокоит и тут же смылся.

Я по-прежнему молчу. Интересно, а не прячется ли в ее историях, как в историях прустовской Альбертины, некий секретный ключик к подлинным событиям ее жизни, которые выяснить невозможно? Я ведь понимаю, что она занималась наркотиками, и у нее могли случаться неприятности с полицией. В книге Генри упомянуто о некоторых таких случаях. И она без всяких раздумий сама их повторяет. Словно накачалась беллетристикой и романами. И терпеть не может никакого выяснения отношений. Не знаю почему, я чувствую, что она лжет. И стою смиренно перед этой машиной, прядущей одну сказку за другой, и спрашиваю себя, а не сочинить ли мне еще более занимательную историю для самой Джун.

Иногда кажется, что в Джун нет ничего человеческого, что она совершенно аморальна, не стеснена никакими рамками человеческого поведения.

Не раздумывая, отправляет Генри в Париж и оставляет там без гроша, хотя пообещала присылать деньги регулярно. Она взвалила на него бремя жизни втроем с Джин. Живет, как во сне, непредвиденными порывами и капризами, совершенно неумышленно разрушая установившиеся было отношения. Один человек покончил с собой из-за нее. Она так занята существованием, разговорами, прогулками, любовными делами, выпивками, что ничем другим не может заниматься. Однажды надумала стать актрисой, но не справилась с дисциплиной, репетициями, точными сроками, различными запретами, распределением ролей, необходимостью не забывать о парикмахерах и гардеробе и все такое прочее. Она заявляет, что помогает Генри, но делает это кое-как, беспорядочно, спазматически. И в недоумении, чем же он недоволен, что все время бунтует против ее одержимости, эксцентричности, совершенно необъяснимого поведения. Ведя такую «захватывающую» жизнь, она не способна остановиться и задуматься. Ей некогда, да она и не хочет попристальнее приглядеться к смыслу и направлению своего пути. Живет среди хаоса.

Меня на моем пути могут остановить самые разные соображения: жалость, уважение к другим людям, страх за тех, кого люблю, преданность, чувство долга, ответственности. Правда, Андре Жид сказал, что мысль останавливает действие. Так вот, Джун действует. И ничто не может держать ее под контролем. Но нашей фантазии она дает волю взлететь над миром. Она делает то, что другие совершают только в своих мечтах. Безрассудство, жизнь, где наше подсознательное никак не подчиняется нам. Но что за фантастическая отвага во всем этом: жить, не признавая законов, сбросив все путы, не думая о последствиях!

По какому дьявольскому расчету ухитряется Джун держаться так, что мы с Генри, нормальные человеческие существа, почтительно взираем на ее порывистость, отчаянную безответственность, и они обогащают нас больше, чем искренняя преданность, нежная любовь, внимательная забота других.

Другая сторона Джун. Я вижу, как грандиозен ее характер. Я не хочу по образцу Генри разбирать ее по кусочкам. Я хочу любить ее.

Чудесная мистерия безумия Джун. Я чувствую себя ближе к ней, чем к простодушной основательности Генри, вот так

сказывается моя раздвоенность. В один прекрасный день я пойду за Джун следом до самого конца ее путешествия.

Опять Андре Жид: «Героями Достоевского движет по сути либо гордыня, либо полное самоуничижение».

Бордельчики Генри должны казаться Джун смехотворными. Так все легко там, прямо, натурально. Уверена — она действует куда как менее определенно, более изысканно, сложно, более чувственно. Эротическое сияние окружает ее. Генри рассчитывает, что я разберусь в ней. Я должна буду понять, так он полагает. Мне все станет ясно. Но, к его великому удивлению, я произношу нечто, очень напоминающее слова Джун: «Это совсем не то же самое». Есть мир, наглухо закрытый для Генри, мир растушевок, постепенного перехода одного цвета в другой, оттенков, тонкостей. Он гений, но слишком уж он определенный. Джун проскальзывает у него меж пальцев. Чтобы обладать кем-то по-настоящему, любить надо безрассудно.

Джун

Джун Эдит Смит-Миллер, известная также как Джун Мэнсфильд — вторая жена Генри Миллера и творческий импульс почти всех его романов. «Честно говоря, о своих истинных возлюбленных я почти не писал. Я лишь старался охватить определенный период времени — в семь-восемь лет — с одной женщиной — Джун, а в книгах Моной. А потом — импульсивно маневрировал во всех направлениях. Но главная моя цель заключалась в том, чтобы рассказать о моей жизни с ней», — признается Миллер в эссе «Моя жизнь и моя эпоха». Сценой знакомства с Джун (сначала Марой, а потом Моной в романе) заканчивается последний роман первой трилогии Миллера «Тропик Козерога» и открывается первая часть его последней трилогии — роман «Сексус».

Джун-Мона родилась 7 июня 1902 года. Родители ее были как будто выходцами из Европы. «Как будто» — потому, что она никогда точно не рассказывала о своем происхождении, вся была в тумане выдуманных историй. С Миллером она познакомилась летом 1923 года, когда тот заглянул в дансинг, где Джун работала платной партнершей — «такси-гёрл».

Ей к тому времени только что исполнился двадцать один год, он — в возрасте Христа. Вспыхивает любовь.

Миллер женат, у него пятилетняя дочь, и он трудится менеджером по найму в крупной телеграфной компании, которая в его романах будет называться «космококковой», «космочертовой» и «космодемониковой». Работа его угнетает, он мечтает о писательстве, но надо содержать семью, а литературой он пока что смог заработать два с небольшим доллара за несколько миниатюр, пристроенных в провинциальном журнальчике.

Но Джун почему-то сразу же поверила в него как писателя. И смогла настоять, чтобы он бросил работу. К этому времени — идет 1924 год — Генри развелся со своей первой женой, и они с Джун поженились. Теперь заботы о материальном положении лежат на Джун, она не брезгует никакой работой и старается вовсю использовать своих состоятельных клиентов. «Почему ты не пишешь?» — восклицает Мара из романа «Сексус», прочитав первое письмо Генри к ней, отправленное назавтра после их знакомства. А в реальной жизни Джун вводит своего мужа в мир богемы Гринвич-Виллиджа, артистического района Нью-Йорка, где ведутся дискуссии о психоанализе, о подсознательном творчестве, о свободе любви, об экспрессионизме и гомосексуализме, о теософии, о социализме и будущей Республике Советов. И ждет, ждет от него книги «о нас с тобой»! Миллер вспоминает об этом времени в «Моей жизни и моей эпохе»: «Джун, моя новая жена, старалась любыми средствами дать мне возможность стать писателем…» И за это читатели Миллера должны быть преисполнены вечной благодарности Джун Мэнсфильд, лживой, порочной, истеричной, грубой и ласковой Маре и Моне его романов.

В 1926 году Джун знакомится с Мартой Эндрюс; эту талантливую художницу, скульпторшу и поэтессу в Гринвич-Виллидже знают как Джин Кронски, или Мару. Она лесбиянка, и у Джун возникает с ней роман. Джин поселяется у Миллеров, начинается «жизнь втроем». Миллер, который, по собственному признанию, «фантастически нормален» в вопросах секса, мучительно переживал эти обстоятельства, а Джун он со своей гетеросексуальностью кажется слишком «мещанским». В конце концов Мара и Джун сбегают от него в Париж, и Миллер остается один. Историю этих отношений он через два года опишет в своем первом романе «Crazy

Cock» (наиболее пристойный русский вариант названия романа — «Взбешенный член»), а Марта Эндрюс, она же Джин и Мара, превратится в Хегоробру и Стасю «Плексуса» и «Нексуса».

Из Парижа Джун возвращается одна, и начинается новый период их совместной жизни с Миллером. И снова Джун — его неоценимая помощница и устроительница литературных дел. У нее появляется богатый поклонник, которому она выдает за свои написанные Генри отрывки, и тот соглашается финансировать «ее» книгу с тем, чтобы она закончила этот труд. Миллер пишет свою первую книгу «Молох», авторство отдает Джун (понимая, что на него ее поклонник не отпустит ни цента) и на полученные деньги чета отправляется в Европу — в Париж и оттуда на велосипедах на юг Франции. А потом были Мюнхен, Вена, Будапешт, Прага, Буковина. Это путешествие Генри и Джун совершают в 1928 году, а через два года Генри отправляется в Европу один. Джун прочитала черновой вариант «Crazy Cock», книги «о нас с тобой», о которой она давно мечтала. И она настаивает, чтобы он отправился в Париж заканчивать книгу и устраивать ее в издательствах. «О деньгах не беспокойся». В марте 1930 года Генри Миллер приезжает в Париж и на первых порах, получая регулярные переводы от Джун, живет припеваючи.

Вот с такой женщиной Анаис, уже знающая о ней от Генри Миллера очень много, вплоть до подробностей интимных отношений с Генри, знакомится накануне нового, 1932 года.

И влюбляется в нее.

Февраль, 1932

Меня захлестывает обилие и мощь писем от Генри. Просто лавина. Я прикнопила к стенам рабочей комнаты две огромных простыни, испещренных фразами Генри, представляющими полную панораму его жизни, — списки его друзей, любовниц, ненаписанных романов, написанных романов, мест, где он побывал и где хотел бы побывать. Да вдобавок заметки к будущим книгам.

Я застряла между Джун и Генри, между его примитивной прочностью, в которой он чувствует себя надежно (ибо это реальность), и обманами и обольщениями Джун. Я признательна Генри за его полноту и яркость, и надо бы ответить ему таким же обилием излияний. Но неожиданно для себя я обнаружила, что умею хранить кое-какие секреты не хуже Джун. Что это, боязнь показаться смешной? Во всяком случае, откровенничать я не спешу. Я знаю, Генри считает, что Джун меня соблазнила, и теперь-то через меня он все выведает. Точно Пруст, которому общение с подругой Альбертины доставляло больше удовольствия, чем общение с самой Альбертиной: подруга могла ему рассказать кое-что о жизни возлюбленной, а та утаивала от него свою жизнь. И я ведь обещала ввести Генри в наш мир, в мой мир. Но вполне возможно, окажусь даже более скрытной, чем Джун. Больше, чем Джун, побоюсь откровенностей.

Меня постоянно изводит образ множественности моих «я». Иногда я называю это богатством натуры, в другие дни мне представляется, что это болезнь, такая же опасная, как рост числа клеток при раке.

Поначалу окружавшие люди воспринимались мною как целое, тогда как себя я видела состоящей из множества обликов, множества отдельных «я». Понимаю, что была потрясена, как ребенок, узнавший, что у каждого из нас только одна жизнь. И мне кажется, я захотела компенсировать это умножением опыта. А возможно, всегда так кажется, когда следуешь всем своим порывам, а они тащат тебя в самых разных направлениях. Так это или нет, но, когда я бывала пьяна от счастья, а такая эйфория всегда сопутствовала началу любви, я чувствовала, что меня одарили способностью прожить много жизней. (Джун?) А вот когда я попадала в беду, окончательно запутывалась в лабиринте, когда меня душили осложнения и парадоксы, тогда меня начинали преследовать призраки и я говорила о своем «безумии». Правда, это безумие я считала безумством поэта. Генри легко называть Джун неверной женщиной. Нет, мы обе можем быть

верны каждому летящему мгновению, верны жизни, а не любви к кому-то. А он пишет портрет Джун, рассыпанной по кусочкам, и никак не собирает их воедино.

«Страсть дает мне минуты цельности».

А может быть, мы составили превратное представление о цельности и силимся искусственным путем соединить части, пока личность, подобная Джун, не взорвется под этим давлением и не разлетится во все стороны.

Но однажды мы все-таки встретимся вновь и обретем истинную цельность.

Я никогда не говорю Джун: «Ты врешь». Я говорю: «Ты фантазируешь, ты выдумываешь». Хорошо было бы услышать такие слова от моих родителей, когда я рассказывала им, что на городских улицах мне повстречались свирепые звери из джунглей. Множество личностей, множество жизней, рожденных непомерной жаждой. Бедная Джун все увеличивает дозу любви, как несчастный морфинист увеличивает дозу наркотика.

По происхождению, рассказывал мне Генри, он немец. Мне кажется, что он больше похож на славянина. Может быть, оттого, что много читал Достоевского и тот подмешал в него славянства. Но сентиментальность его чисто германская. Сентиментальность, легко переходящая в жестокость. И воображение у него германское, манера письма напоминает Жоржа Гроса. В нем сидит любовь ко всему безобразному. Ему нравятся вульгарность, жаргон, кварталы, где царят апаши, суровая нищета, убожество, всяческие bas fonds[13].

Ему нравятся запахи капусты, тушеного мяса, бедности и проституции.

Письма Генри дают мне ощущение полноты, какое я редко испытывала. Они совсем необычны. Я радуюсь, получая их, но их количество меня ошеломляет. Едва успеваю я ответить на одно, как получаю другое. Комментарии к Прусту, перечисления книг, описания обстановки, смены настроений, его собственная жизнь, его сексуальная неутомимость, его постоянная готовность немедленно приступить к какому-нибудь действию. Чересчур много действия, на мой взгляд. Не усвоить всего. Не удивительно, что он восхищается Прустом. Не удивительно, что я слежу за его жизнью, понимая, что никогда не смогу так жить, слишком замедляется темп моей жизни моими мыслями, моим старанием понять, для чего я живу.

Письмо к Генри: «Вы просите о вещах невозможных и несовместимых. Хотите знать, какие у Джун мечты, какие желания, что побуждает ее к тем или иным поступкам. Но как может она рассказать вам об этом, когда живет, подобно

субмарине, на глубине, в самых глубинных слоях инстинктов и интуиции. Может быть, раз уж я постоянно всплываю на поверхность, рассказать вам могла бы я, да только я далеко не всегда живу, влюбляюсь, фантазирую именно так, как она. Мы бы могли, наверное, сесть как-нибудь рядом, и я бы попробовала вам втолковать, что лично я куда охотнее продолжала бы жить вслепую, оставалась в неведении. А вы бьетесь головой о стены ее мира, вам надо сорвать с меня все завесы. Напрягаете силы, чтобы тонкие, глубинные, неуловимые, смутные, таинственные, томительные чувства превратить в нечто, что можно схватить и ощупать. Но разве не окарикатурите вы их тем самым? И разве не вы первый сказали как-то: «Хаос — это богатство, он многим чреват»? Ведь вдохновляет вас именно таинственность Джун. Ни одной женщине прежде не дарили вы столько внимания. Зачем же вы хотите развеять эту тайну? Неужели вы будете довольны, узнав от меня, что Джун лесбиянка, что она употребляет наркотики, что, возможно, она психопатка, что у нее сотня любовников. Я никогда не могла понять прустовского стремления выведать все о связях Альбертины, чуть ли не присутствовать при ее любовных свиданиях».

А Джун просто есть. И никаких понятий нет у нее о своем существовании, о себе самой, никаких мыслей, никаких фантазий. Она довольствуется тем, что о ней думают другие, очарованные ее лицом и фигурой. На этом она и держится. Генри сердито буркнул: «Она пустой ящик». И добавил: «А вот вы полный». Но, когда я думаю о Джун в разгаре обычного дня, мысли о ней уносят меня далеко от будничной жизни. Кому нужно содержимое ящика, если он сам по себе красив и притягателен. Джун — вот чем наполняю я пустой ящик. Мир и в самом деле был невероятно пуст до того, как я узнала Джун. Потому что быть наполненным идеями, талантами, фантазиями вовсе не означает полноты мира. Но Джун внесла в него прекрасную, ослепительную плоть, разящий как молния, голос, бездонные глаза, наркотическую замедленность жестов, ощущение близости ее тела. Она воплотила собой наши мечты и наши творения. Кто мы такие? Мы только стремимся сотворить нечто. А Джун уже есть. Она уже присутствует. До чего же уныл мир без нее! Без красоты, без голоса, без ее присутствия. Все творения поэтов, весь эротизм воображения, все наваждения, иллюзии, ночные кошмары, увлечения — что были бы они без Джун, без тепла ее существования, без прогулок с нею, без прикосновений к ней? Стерильный мир, лишенный всех наших плачей, всех наших сбивчивых разговоров, всего лихорадочного жара ее историй, лишенный творчества, если бы не было Джун с

ее сверхъестественным пренебрежением ко всякому порядку, всяким ограничениям и запретам.

Я получаю письма от Генри каждый день. Я отвечаю на них сразу же. Свою машинку я отдала ему и пишу от руки. Днем и ночью я думаю о Джун. Я полна энергии. Я пишу бесконечные письма.

Вчера, прочитав рукопись Генри, я не могла заснуть. Была полночь. Мне хотелось встать, пройти в кабинет и написать Генри о его первой книге. Обе двери в комнате были открыты и все время скрипели. А я лежала, мучаясь бессонницей, и в моей голове проносились слова, фразы, сцены. Все становилось понятным и зримым, словно я сама была там, разгадывала эту бессмысленную шараду двух любовников. Опять у Генри и Джун тема правды и неправды, выдумок и реальности. И все решает только желание. Внезапное, острое желание. Нет времени откинуть покрывало, завесить окно, погасить свет. Прижавшись к стене, упав на ковер, в кресле, на кушетке, в такси, в лифтах, в парке, на берегу реки, в лодке, на лесной поляне, на балконе, в ночных подъездах они сцеплялись тело с телом, дыханье с дыханьем, язык к языку, как будто раз и навсегда их отгородили, спутали, заперли в этих запахах, звуках, цветах, которых они сторонились в другие времена.

Пусть хоть на мгновение они соединены общим пульсом. И нет ничего мистического в этом ритуале плоти. В осязаемом, ощутимом ритуале обмануться нельзя.

Я вижу их, лежащих вплотную друг к другу. Он все еще погружен в нее. Но она уже дышит ровнее. Он хочет так и остаться в ней, лежать, зарывшись в волны ее плоти. На каких же крыльях улетит она от Генри? Разве соитие всего лишь глубокая затяжка из опиумной трубки?

Генри жалуется, что после любви в Джун не остается ни тепла, ни нежности. «Она поднимается после этого и становится холодной и сдержанной». И на нее не набросишься снова, она уже отделилась от Генри, она отреклась от его близости. Значит, либо страсть либо война? И кто же тогда объявляет войну первым?

Я научилась у Генри брать многое на заметку, всматриваться во все, записывать, не предаваться в тиши бесплодным размышлениям, писать каждый день, действовать, говорить, а не медитировать, не прятать от себя свой внутренний разлад и не слишком предаваться чувствам. Генри разбудил во мне огромные силы. Я писала, состязаясь с ним. И жила так же: благодаря ему и вопреки ему. Я вжилась в его жизнь, прочувствовала ее. И ощутила себя богаче. Слова его писем и обрывочные записи на обороте страниц, его неуемная активность приводили меня в мое

любимое состояние, состояние лихорадочного трепета, чувство всеохватности, широты, расцвета моих возможностей овладевало мною. Я не жила теперь в пустом мире. Во мне больше любви, больше ненависти. Я счастлива по-настоящему. Нет ощущения пустоты вокруг меня.

Но я так далека теперь от прежней хозяйки милого, уютного дома. Хотя для Джун по-прежнему остаюсь архангелом. Меня хотят причислить к лику святых, обратить в символ, в миф. Возвести меня в идеал и молиться на меня, припадать ко мне в поисках утешения и покоя. Будь проклят этот мой образ, предстающий предо мной каждый день со всей этой сверхизысканностью, сверхтонкостью, чувством собственного достоинства, ранимостью, заставляющих других стремиться защитить меня, нежно заботиться обо мне. Будь прокляты мои глаза, печальные и глубокие, и мои нежные трепетные руки, и моя плывущая поступь, и мой голос, звучащий как шепот, — все, что может пригодиться для стихов и слишком хрупко, чтобы выдержать крепкие объятия, грубую мужскую силу, яростную животную страсть. И вот я чувствую, что совсем рядом со мной смерть от одиночества, совсем рядом распад. Мое существо раскалывается надвое между Генри и Джун, абсолютный разлад, глубочайшее противоречие. Ведь для меня невозможно двигаться только в одном направлении, расти только в одну сторону.

Джун сказала мне: «Как я могу быть верной Генри, он же многое не любит во мне, свысока на это смотрит, даже ненавидит».

«Да, — согласилась я, — ведь это и есть истинная неверность, когда в человеке любишь только часть его, а все остальное отвергаешь».

А Генри признается мне в своем постоянном страхе, что он придумал Джун, что она создание его воспаленного рассудка.

— Все, что в ней есть, нахватано у других. Единственная разница между нею и прочими женщинами — что мехам и драгоценностям она предпочитает картины, стихи, романы, музыку, скульптуру, восхваления, обожание.

— Стало быть, она выбрала такую жизнь, — говорю я. — А почему она должна жить по вашему выбору? Или по моему? И в чем вы все время стараетесь убедить ее? Она к словам относится с подозрением. Живет своими чувствами, интуицией. А у нас ведь нет языка для ощущений. Чувства — это образы, а ощущения подобны звукам музыки. Как вы передадите их словами?

— Вот, например, — продолжает Генри, не слушая меня, — однажды она рассказала, что болела туберкулезом. Но ничего о том, лечилась ли, долго ли болела. Все, что я узнал, так это то,

что болезнь подтолкнула ее жить более интенсивно.

— А вполне возможно, Генри, она думала, что вы, испугавшись ее потерять, полюбите ее еще сильней.

— Вот она приходит из кафе с новыми приятелями, и первые ее слова всегда такие: «Они говорили обо мне, они разыскивали меня».

Да, она была словно податливый воск, на котором каждый может оставить сбой отпечаток. А Генри воспринимал это как способ утаить от него ее собственные стремления.

— Вполне возможно, что как раз в этом случае она абсолютно правдива. Просто она как актриса, которой необходима подпитка восторгами и обожанием публики. Как доказательство своей очевидности. Понимаю, предположение о том, что Джун может сомневаться в своем существовании, покажется вам нелепым, но я убеждена, что именно от внешнего мира старается она получить подтверждение своей красоте, своей силе, своим талантам.

Эта потребность (она живет и во мне, только Генри об этом я не скажу) все время возрастает, как потребность в увеличении дозы у наркомана. Джун все увеличивает дозу приятелей, поклонников, обожателей, любовников.

— Чего вы добиваетесь, Генри? Переживаете свою зависимость? И что вы выиграете, узнав, что Джун может любить не только одного человека? Или вы хотите сам выпутаться? Говорят, что когда в человеке сидит несколько «я», это распад личности, это безумие, но в вас-то самих сколько сидит разных «Генри»? А вы ведь считаете себя самым нормальным человеком!

— Да мне просто нужна разгадка, разгадка этой лжи.

— Самым пылким напором и страстью никогда не заставить человека открыться.

— А чем же?

— Сочувствием. Генри расхохотался:

— Сочувствие и Джун — это же несовместимые вещи! Полная чушь. С таким же успехом можно ждать сочувствия от Венеры, от Луны, от статуи, от королевы, от тигрицы…

— По странной иронии, «сочувствовать» на испанском означает «чувствовать со страстью». А ваша страсть лишена чувства. Сочувствие — это единственный ключ, который подходит ко всем замкам.

— И чему же вы сочувствуете в Джун?

— Ее стремлению быть любимой…

— То есть ее непостоянству…

— Да вовсе нет! Ведь Дон Жуан искал в страсти, в обладании, в сплетении тел что-то такое, чего не сделаешь только страстью, что не страстью рождается.

— Заглянуть в ручей Нарцисса.

— Нет, он хотел заново родиться, хотел вдохновляющего жара жизни, хотел быть предметом грез, хотел быть понятым, хотел быть узнанным; он искал животворящего чуда. Второго рождения, потому что первое может быть и ошибкой. Он искал любви полной, всеобъемлющей, цветущей. Страсть не может этого достичь, страсть не заботится о подлинности, о личности возлюбленного. А любовью можно познать, сотворить и спасти любимое существо.

— А почему вы ищете это во мне? — сказал Генри. — Я ведь даже бродячей кошке не кину куска. А за всяким, кто займется раздачей милостыни, сейчас же поплетутся тысячи убогих, увечных и все такое прочее. Только и всего. По мне, пусть они обходятся сами.

— Но вам же нужен ключ от Джун. Разве не так, Генри?

— А вы и Джун причисляете к несчастным?

Вот уж такого представления о Джун он никак не хотел. Этот образ надо было, как джина, быстренько загнать назад в бутылку, пока он не натворил беды. А Генри требовались удовольствия. Выпей вина, опорожни бутылку, потом заткни ее снова пробкой и выброси в море. Как бы то ни было, мне неприятно — для меня-то это выглядело сигналом бедствия; бутылку надо было подобрать, бережно открыть и вчитаться в спутанные письмена, правильно истолковав их как просьбу о сочувствии и помощи.

Даром что Генри посмеялся над моими словами, потопил их в Перно, все-таки, когда он стал продолжать свое описание Джун, он обнаружил, что она утратила в какой-то мере те сверхъестественные пропорции, которыми он ее охотно наделял. Что произошло? Джун казалась не такой могучей, более уязвимой.

Как-то у Джун поднялась температура. Впрочем, Генри никогда не верил в ее болезнь, это, мол, ее обычная склонность к драматизации, простое преувеличение своего нормального состояния. Но в тот вечер я была рядом, я видела ее лихорадочно горевшие щеки и взмокшие волосы. Я поверила в ее болезнь.

Все фигуры в книгах Генри всегда утрированы, их размеры превышают стандарты, будь это тиран или его жертва, мужчина или женщина. Могут ли люди вырастать или уменьшаться в зависимости от нашего взгляда на них?

Мать Генри всегда виделась ему огромной в масштабе его мира. И он был поражен, когда однажды, навестив ее, увидел, что она гораздо меньше, чем он ее помнил. Он решил, что она усохла от старости. Если кто-то по-прежнему видит вокруг себя только гигантов, значит, он смотрит на мир глазами ребенка. Мне

думается, что благоговейный страх мужчин перед женщиной объясняется тем, что с самого начала они воспринимали женщину как мать-родительницу мужчин. А к той, кто породил мужчин, трудно испытывать сострадание или жалость.

Трудно сохранять и дружбу Генри, и дружбу Джун.

Вчера в кафе Генри терзал меня, разбирая по косточкам нашу историю. Он не может заставить меня меньше ее любить, но может сделать ее появление нереальным. Он упорно продолжает доказывать, что Джун не существует, что она всего-навсего обман чувств, образ, выдуманный нами, красивая инкрустированная шкатулка, наполненная всякой всячиной. Он говорил о том, как легко Джун поддается влиянию, рассказывал о Джин, той мужиковатой девице из Нью-Йорка, о том, как Джун перенимает ее стиль разговора, ее словечки, ее привычки.

А потом Генри сказал: «А ведь вы меня обманываете».

Я его обманываю? Уж не собирается ли он отступиться от меня? А ведь в какой восторг пришел при нашей первой встрече.

Итак, я попалась: с одной стороны — великолепие Джун, с другой — талант Генри. По-разному, но я люблю их обоих, одна моя часть тянется к Джун, но страсть к литературе превращается в страсть к Генри. Генри открывает мне мир творчества, Джун привлекает опасностью. Я должна выбирать и не могу. Мне кажется, что рассказать Генри обо всем, что испытываю к Джун, значит, предать ее и выдать что-то самое сокровенное во мне самой. А что руководит им? Просто нежелание оставаться в неведении или неукротимое, до жестокости, любопытство? Вот в последнее как раз мне не хочется верить, я все-таки чувствую в нем некоторую нежность. И никак не могу представить себе, когда он полностью изменится и перейдет на едкие насмешки. Боюсь ли я его насмешек?

Письмо к Генри: «Возможно, вы и не заметили этого, но сегодня вы в первый раз потрясли меня и вывели из блаженно-мечтательного состояния. Все ваши замечания о Джун, все рассказы о ней меня никогда не ранили. Ничто не задевало меня, пока вы не упомянули б том, что Джун, по сути дела, и не существует вовсе. Джун вся под влиянием других, уступающая этим влияниям. Джун такая, какую вы увидели при первой встрече; потом Джун, прочитавшая Достоевского и ставшая другой личностью, Джун, вновь изменившаяся под влиянием Джин. Но ведь вы жили с нею бок о бок, Генри, неужели рядом с вами была не Джун, а некое создание, просто воспроизводившее все, что вам хотелось, просто повторявшее чужие реплики, просто отпечаток, следы других людей? А еще ваш ужас от того, что она всего лишь порождение вашего воспаленного ума? Но подождите,

Генри, разве не она сама производила отбор, выбрав вас, выбрав меня? Она выделила вас среди других мужчин, она отметила меня. Вы пришли в восторг, видя, что она восхищается мною. Вас это радовало, ведь тем самым она разоблачала перед вами какую-то часть себя. Да, это Джун, которой трудно найти себя в путанице всех своих отношений, не знающая, какую из многих ролей играть, но это все-таки Джун, а не некий прекрасный туманный образ. Как может она казаться нереальной вам, жившему с нею рядом, мне, которую она целовала? О, я-то вижу другую Джун. И почему вы так много рассказывали о вашей первой встрече в дансинге? На что она была похожа тогда? И разве не была она живее всех женщин, окружавших ее?»

Множество писем Генри, куски из книги, которую он сейчас пишет, другие цитаты, заметки, сделанные во время слушания Дебюсси и Равеля, записи на обороте меню захудалого ресторана. Реализм обрушивается на меня лавиной. Слишком много, слишком много действительности. Генри не жертвует ради своей работы ни единым мигом жизни, ни едой, ни прогулками, ни сидением в кино, ни возможностью поговорить с людьми. И в письмах своих он все время куда-то мчится, спешит и пишет о том, что он еще напишет. Он вообще больше занят письмами, чем работой над своей прозой, он больше занимается подготовкой, накоплением материала, чем самим писательством. Но какова форма его последней книги! Свободная, легко бросающая читателя с места на место, ассоциативная, небрежная, пронизанная воспоминаниями. Великолепно сделано!

Я устаю от его непристойностей, от всех этих «говно, манда, хуй, выблядок, проблядь», хотя понимаю, что именно так, наверное, изъясняется множество людей. Но сегодняшний симфонический концерт, поэтичность и музыкальность прозы Пруста привели меня в состояние отрешенности. Как ни стараюсь я проникнуться реализмом, снова и снова он кажется мне скучным и ограниченным. Снова и снова возвращаюсь в поэзию. Пишу Джун. Пробую представить себе ее теперешнюю жизнь. Но с моим поэтическим настроем трудно окунуться в реальную жизнь, хотя она совсем рядом, в мире Генри, с которым мне придется встретиться. «Пришло письмо для мадам», — сказала мне Эмилия, когда я вернулась домой. Я побежала наверх, надеясь, что письмо от Генри.

Я хотела бы быть сильным поэтом, так же уверенным в себе, как уверены и сильны Генри и Джун в своем реализме. Что смущает меня в Генри, так это проблески фантазии, проникновенности, мечты. Беглые, мимолетные. И глубокие. Поскреби немца, человека, как говорят, «на навозе стоящего», и

откроется мечтатель самой чистой воды. Бывают минуты, когда в его словах слышатся удивительно тонкие, удивительно проникновенные мысли. Да только ненадежна эта его тонкость. Как только он садится писать, она исчезает; он никак не может писать с любовью, он пишет с яростью. Он нападает, он выставляет на посмешище, он уничтожает. Он постоянно с кем-то или с чем-то воюет. Ярость и раздражение вдохновляют его. А для меня они — яд.

То, что ему не удается в своем романе «схватить» Джун, Генри догадывается. Этот мир закрыт для него. Неустойчивый, изменчивый мир тончайших субстанций и чувств, не принимающий отчетливых форм, не знающий прямых действий, отвергающий самоочевидность. И все-таки Генри говорит, что никогда не перестанет биться головой об его стены. Я сказала ему: «Но есть ведь вещи, с которыми реализму нечего делать, тут нужна поэзия. Все дело в языке».

Всякий раз, как Генри берется описывать Джун присущим ему языком, портрет не получается. Ускользающая, роскошная, таинственная Джун. А в рукописи Генри ощущается избыток натурализма. И это затемняет настроение, чувства, психологическое состояние.

Кафе «Викинг». Генри. Он все припоминает места из моей рукописи, он ее сейчас перечитывает[14].

Говорит, что это лучшее из того, что прочитал в последнее время. Рассуждает о фантастическом потенциале этой вещи. Потом вспоминает, как в первый раз увидел меня, стоящую на ступенях.

— Такая красивая… А уж когда сидела в большом черном кресле — настоящая принцесса. Я никогда не верю иллюзии, хочу ее разрушить. Но в вашей невероятной искренности я уже убедился. Не могу толком объяснить… Лучше я напишу вам об этом.

Я читаю ему о том, как подействовало на меня чтение его заметок. Он явно заинтересован, говорит, что я потому могу писать так, с такой образной насыщенностью, что сама не пережила того, о чем пишу. «Когда живешь на пределе, — говорит Генри, — все время шагаешь по краю, тут уж не до образности и насыщенности изображения». Но все-таки моя горячность его заражает и он чувствует, что надо бежать домой и попробовать написать что-то с такой же образной силой.

Но как многое Генри понимает совершенно не так. Я улыбаюсь, когда он говорит о Джун: «Сначала она с ходу начинает мне яростно возражать, ни одной моей мысли не принимает, а потом постепенно их усваивает и уже высказывает их как свои

собственные». Заметив мою улыбку, он зло смотрит на меня, видимо, расценив ее как критику, и говорит: «Да так со всеми нами происходит!» Моя улыбка означала как раз согласие с ним. Ноя считаю, что он вообще любит ссоры и моя терпимость кажется ему странной. Он говорит, что я похожа на хамелеона. В кафе я другого цвета, чем у себя дома. Но я не гожусь для кафейной жизни. И жизнь Генри мне не подходит.

Его жизнь. Самое дно жизни, подполье. Насилие, жестокость, добывание денег, скандалы, распутство. Поток грубой, звериной жизни. Его язык, описание миропорядка, совершенно мне незнакомого. Улицы Бруклина. Бродвей. Виллидж. Нищета. Общение с литераторами. Общение с другими людьми.

Моя жизнь с самого детства протекала в атмосфере музыки, книг и людей искусства, созидающих, творящих, пишущих, придумывающих игры, в которых сами играют с упоением, разыгрывающих лотереи, пишущих дневники, живущих воображением. Я вырастала, словно в коконе, в сладких грезах, рожденных постоянным чтением, приучавшим меня учиться, быть пытливой, проходить по самому краю бездны, избегая с невероятной невинностью опасностей; чувственность не брала верх, потому что тело сторонилось всякого уродства. И хотя эротическая атмосфера Парижа пробудила меня, я все же оставалась романтиком. Я занималась танцами, живописью, скульптурой, костюмом, декоративным искусством, я устроила великолепный дом.

Рассуждаю о Джун, и Генри меня перебивает:

— Как очаровательно вы умеете не замечать очевидного!

— Может быть, это просто другой способ уходить о фактов.

— Может быть, вы видите больше.

— Вы с Джун покровительственно ко мне относитесь. Почему?

— Потому что вы кажетесь невероятно хрупкой.

Вот оно что: многоопытный Генри блюдет меня.

Генри рассказывает о святом Франциске, размышляет о природе святости. Я спрашиваю, почему его это заинтересовало.

— Потому, что иногда я вижу себя последним человеком на земле.

А я задумываюсь над тем, с какой откровенностью он раскрывается передо мной, о его способности благоговеть перед чем-то, а ведь это значит, что не такой уж он циничный и развращенный.

Когда я бываю наиболее естественной, то есть накрываю стол, готовлю еду, разжигаю камин, он, однако же, говорит мне: «Представьте, я никак еще не могу чувствовать себя с вами

совершенно естественно». Он произносит эти слова так мягко и тактично, что передо мной предстает совсем не тот Генри, какого я вижу в его текстах.

И все-таки он человек скорее мирного нрава, спокойный человек. Временами у него совершенно отсутствующий вид. Мысли и чувства где-то далеко. Писатель в нем сейчас только «регистрирует». Это уж позже, за письменным столом он осознает все, сосредоточится, подготовится и начнет откликаться на впечатления, сгущать краски, подчеркивать.

Наши разговоры: он говорит на языке улиц и площадей, я — на своем. Его слова никогда не произносятся мною. Так и сталкиваются его недоверчивая, настороженная внимательность и моя простодушная импульсивность. Мне думается, что мой «регистратор» в большей мере живет подсознанием, интуицией, инстинктом. Он не выходит, как у Генри, на поверхность.

Скользящая живость моего мышления и его безжалостное препарирование. Моя вера в чудо и его резкие, грубые, реалистические детали. И радость, когда он схватывает мою суть.

— По вашим глазам видно, что вы все ожидаете чудес. Может быть, он их и совершит?

Второй вечер в кафе.

— Мне так приятно, Генри, говорить вам правду. Я рассказала вам все, что знаю о Джун.

— Я понимаю, — отвечает он. — Я в этом уверен. Мы заговариваем о работе. Генри замечает:

— Когда сажусь писать, люблю, чтоб стол был в полном порядке. Только мои записи на нем. Полным-полно записей.

— И у меня точно так же. Ведь мой дневник — это моя записная книжка. Все, что в нем содержится, пригодится для будущих моих книг.

Какое наслаждение говорить о технических приемах. О нашем ремесле.

Мучается ли он хоть иногда из-за своей неумолимой настойчивости? Хоть иногда чувствует ли он, что вламывается в святая святых интимной жизни? Ведь со мной он кажется таким деликатным.

— Всем нам свойственно стремление к правде, — говорю я. — День за днем в своем дневнике я пытаюсь быть честной. Вы правы, говоря о моей искренности. По крайней мере, я стараюсь такой быть. И если я прибегаю к околичностям, уклоняюсь от объяснений начистоту — так это вообще свойство женской натуры, а не надувательство, не обман. Это чисто женская боязнь осуждения. Тщательный анализ может быть смертельно опасным. А если Джун умрет? А вдруг мы умертвим все наши чувства, если

вы сделаете из них карикатуру? Большие знания могут привести к большим бедам. А вы страстно стремитесь докопаться до абсолютной истины. Вас возненавидят за это в конце концов. Есть правда для человеческого существа невыносимая. К тому же я иногда чувствую, как много вы упускаете в Джун в своем безжалостном исследовании. Вы как хирург со скальпелем. И режете по живому. Ну, откроете вы в Джун все, что можно в ней открыть, и что дальше? Правда. Сколько жестокости в этом вашем поиске правды! Иногда мне кажется, что вам надо бы воскресить былое ваше слепое преклонение, вашу ослепленность. И как ни странно, я не с вами, а против вас. Нам суждены две разные правды. Терпеть не могу, когда вы шаржируете, когда рвете на куски тело. И хочу бороться с вашим реализмом всей магией поэзии.

Он несет в себе восприятие мира как чудовищного, у меня же совсем другой взгляд. Они противоположны и в то же время чем-то дополняют друг друга. И если я иногда смотрю на мир его глазами, может быть, и Генри когда-нибудь увидит мир таким, каким вижу его я?

Генри предлагает: «Не хотите ли, чтобы я взял вас с собой на Рю Блондель, 32?»

— А что там интересного?

— Шлюхи.

Ох уж эти его шлюхи! Но я испытываю дружелюбное любопытство к шлюхам Генри Миллера.

Выходим из такси на узкой улочке. В красном свете фонаря я вижу над дверями цифру 32. Толкаем вертящуюся дверь. Похоже на обычное кафе, мужчины, женщины, только многие женщины нагишом. Накурено, шумно, дамы стараются привлечь наше внимание еще до того, как la patronne[15] усаживает нас за столик. Генри довольно улыбается. Очень крупная, очень ярко накрашенная женщина, похожая на испанку, садится к нам и подзывает другую, которую мы сначала и не заметили: маленькую, очень женственную и на вид робкую.

— Нам надо выбрать, — произносит Генри. — По мне, эти вполне подходят.

Приносят выпивку. Маленькая — просто прелесть. Мы обсуждаем лак для ногтей. Обе присматриваются внимательно к моему перламутровому лаку и спрашивают, как он называется. А вокруг женщины танцуют друг с дружкой. Одни очень привлекательны, другие выглядят поблекшими, замороженными, безразличными ко всему. Множество женских тел сразу, широких бедер, задов, грудей. «Вот эти девушки дадут вам представление», — говорит la patronne.

А я-то ждала, что появится мужчина и нам продемонстрируют шестьдесят шесть способов любви. Генри спрашивает о цене. Женщины улыбаются. У той, что крупнее, самоуверенный вид, черные как смоль волосы в локонах, почти закрывающие лицо. Маленькая — блондинка с бледной кожей. Выглядят они как мать и дочь. На них туфли на высоких каблуках, черные чулки с поясом и кимоно нараспашку. Ведут нас наверх, идут впереди, раскачивая бедрами.

Генри перебрасывается с ними шуточками. Открывается дверь в комнату, выглядящую как выстланная бархатом шкатулка от ювелира. Стены обиты красным бархатом. Низкая кровать под балдахином, скрывающим большое зеркало в изголовье кровати. Приглушенный розовый свет. Женщины чувствуют себя совершенно непринужденно. Присаживаются на биде, стоящее здесь же. Все это совершается как бы мимоходом, равнодушно, так что я удивляюсь, что же в этом интересного.

Но они знают, что делать. Старшая обвязывает вокруг поясницы ленту с резиновым пенисом на ней. Все это невероятно красного цвета. Сбросив туфли, оставшись в одних чулках, они укладываются на кровать.

И начинается показ.

«Любовь в такси».

«Любовь по-испански».

«Любовь, когда у вас нет денег на гостиницу» (тут они встали с кровати и прислонились к стене).

«Любовь со спящей».

Маленькая женщина изобразила спящую. Большая осторожно и ласково брала ее сзади.

И вся эта демонстрация проходила в сопровождении их шуток и смешков.

Все это было игрой, пародией на любовь до тех пор, пока… Маленькая женщина откинулась на спину и широко раздвинула ноги. Старшая сняла резиновый пенис и припала к клитору подруги. Она водила по нему языком, вылизывала, целовала. Глаза маленькой женщины были закрыты, и нам стало понятно, что она наслаждается. Она стонала, вздрагивала всем телом, вскидывалась навстречу жадному рту великанши. И вот наступил высший момент, и она завопила, не в силах больше сдерживаться. И затихла. Только дыхание еще не успокоилось. А еще через минуту они обе были уже на ногах, веселые и довольные — спектакль окончился.

Я чувствую, как в разговоре со мной Генри подбирает другой тон. Я чувствую, как он проглатывает слова, которые так легко произносятся им обычно, и ищет другие, более осторожные и

тонкие краски. Я чувствую, как увлекаю его в другой мир. И он входит туда настороженно, неторопливо.

Я говорю ему: «Пожалуйста, не подумайте, что все мои относящиеся к Джун слова о красоте и поэзии — всего лишь попытка ее романтизировать, придать ей вид непорочного идеала. Я просто пробую описать ощущения, которые не так легко поддаются описанию. Для вас в сексуальном акте заключается все. Но бывает, что простым прикосновением к руке сделаешь гораздо больше».

Генри замечает, что я не могу кого-нибудь обидеть или ранить. И на его глазах, когда он говорит это, я вижу слезы.

Но еще большую радость доставляет мне зрелище работающего Генри, и никогда я не смогу понять желания использовать свою силу для разрушения — ведь так приятно наблюдать за Генри, исписывающим страницу за страницей после наших бесед.

Вместе со мной он погружается в симфонические глубины Пруста, в интеллектуализм Жида, в фантазии Кокто, в многозначительное безмолвие Валери, в озарения Рембо.

И он говорит: «Никогда прежде не дружил я с интеллектуальной женщиной. Все мои подруги до меня не дотягивали. А вот с вами мы на одном уровне».

«С Джун, — добавляет он, — сразу же начиналась свара».

Литература тут ни при чем. Просто мы невероятно искренни друг с другом.

Хоакина раздражает моя щедрость с Генри. Почему я подарила Генри шторы? Почему ботинки? Почему книги, бумагу? Все для Генри, а для меня? Для меня? Хоакину не понять, как я избалована. Генри подарил мне целый мир, Джун — безумство. Они подарили мне два существа, которыми я могу восхищаться, которые интересуют меня безгранично. Их щедрость такова, что Хоакину ее не понять. Что я скажу ему? Что Генри дарит мне свои акварели, а Джун отдала мне свой единственный браслет?

Генри попрекает Джун ее поведением: она настолько унижает себя, что однажды отдалась прямо в кафе. Но я знаю другое: с какой яростью Джун осаживала некоторых моих знакомых, дававших мне понять, что охотно бы переспали со мной. Словно я была недоступной святыней. Вот так она открывала мне свою любовь.

Трио для флейты, гитары и ударных

Так и не уговорив Генри вернуться в Америку («я лучше буду в Париже гарсоном в кафе, чем жить в роскошных апартаментах в Нью-Йорке»), Джун уехала. Анаис осталась лицом к лицу с Генри Миллером. Этот период ее жизни — первые месяцы 1932 года — можно было бы озаглавить, вспомнив любимого писателя обоих — Марселя Пруста, «Du cote de chez Henri» («По направлению к Генри»). Но началось с того, что они расстались.

В январе 1932 года Миллер уезжает в Дижон, небольшой город в Бургундии. Хьюго Гилер, муж Анаис, порекомендовал его директору лицея Карно как преподавателя английского языка. Вскоре покинет Париж и Анаис. Но ее отъезду предшествует некое событие.

В первое же воскресенье после отъезда Миллера Анаис и Хьюго прогуливаются в лесу вблизи Лувесьенна вместе со своим псом. Они набредают на кроличью нору, пес начинает принюхиваться, и Хьюго науськивает его раскопать землю и кинуться за кроликом. С Анаис случается истерика. Несколько дней она чувствует себя разбитой, бесцельно бродит по дому, не может сесть за работу, она загнана в этот двор, створки ржавых ворот прикрывают вход в нору, а она сама — кролик, которого выслеживает собака. Она не может видеть Хьюго.

И она уезжает. Едет в Швейцарию. Отдохнуть, освободиться от Джун и убедить себя в важном значении Хьюго в своей жизни. Весь этот эпизод при подготовке первого издания «Дневника» тридцатых годов был выкинут Анаис из текста. Вообще в этом издании Хьюго Гилер, ее муж, с которым она уже прожила почти десять лет и проживет еще не один десяток, не упоминается ни разу! Зато в дневниках «неочищенных», увидевших свет только после смерти Анаис Нин…

Холодный горный воздух и безупречная чистота кальвинистской Швейцарии («места, где инстинкты заморожены», — напишет она Миллеру в письме от 3 февраля) должны были помочь ей оглядеться. «Меня немного тошнит от этого русского упоения страданиями», — признается она в том же письме в Дижон. Здесь она пишет и получает письма. Особенно оживленная переписка ведется с Генри Миллером. Они,

и живя в одном городе, все время писали друг другу.

Миллер пишет ей длинные страстные письма, которые тут же рвет. По словам одного из его биографов, в нем жил «невротический страх голодной смерти» и он грезил о том, как его поддержат ее деньги и ее связи. И она посылает ему деньги, пишет письма, думает о нем… и приходит к решению, что никогда не позволит ему прикоснуться к ней, она останется верной Джун.

История отношений внутри треугольника Анаис — Генри — Джун гораздо подробнее, чем в нашем издании «Дневника», рассказана в повести «Генри и Джун» (1986), являющейся, по сути, соответствующими фрагментами дневников Анаис Нин за 1931–1932 годы без каких-либо изъятий (т. н. «неочищенный» дневник). По этой повести в 1991 году был поставлен одноименный фильм режиссером Филиппом Кауфманом, где характер Анаис Нин был убедительно сыгран блистательной Марией Медейрас. Генри, истерзанный в свое время связью Джун и Джин, мучительно допытывался правды об отношениях между его женой и ее подругой. Комментируя более поздние фрагменты дневника, мы еще остановимся на этой коллизии… Можно с уверенностью сказать только, что если не в физиологическом, то в психологическом плане Анаис и Джун были любовницами.

Письмо от 29 января, подробно описывающее окружение Генри в Дижоне (с образами смерти, раскаяния, мертвецкой, новелл Эдгара По), сообщающее, что он только недавно узнал, что весь его преподавательский труд будет оценен лишь предоставлением бесплатного крова и стола, напоминает Анаис, чтобы она писала своему «Достоевскому в Сибири», так он хоть ненадолго «окажется дома» в Лувесьенне. Но в это время ей самой надо искать спасения. На нее внезапно накатывает страшная тоска по Хьюго; она звонит ему, он приезжает и увозит жену домой. Она чувствует себя «одержимой» — так называется ее нынешняя дневниковая часть — и начинает новый дневник, вполне подходящий для добропорядочной супруги. Что ж, ее существо раздваивается, и появляются два дневника. Один — «Одержимая» — представляет собой толстую кожаную тетрадь, начатую 2 февраля; второй, вполовину меньше по размеру, открывается 16 февраля утверждением, что «одержимость» эта была плодом воображения.

Действительно ли это шизофреническое расщепление личности или невинная попытка отвести мужу глаза?

А переписка с Миллером идет с неослабевающей интенсивностью, недаром февральские записи в отредактированном дневнике начинаются с фразы: «Меня захлестывает обилие и мощь писем от Генри». Переписка Анаис Нин и Генри Миллера составляет солидный том, изданный Понтером Штульманом — «A Literate Passion: Letters of Anais Nin and Henri Miller, 1932–1953». В этих письмах они обмениваются мыслями по поводу пережитого и прочитанного, они делятся воспоминаниями и о своих прошлых «любовях». Генри не стесняется в выражениях, и Анаис осторожно предупреждает: «Остерегайтесь хоть немного вашей гиперсексуальности» (письмо от 12 февраля). В ответ следует знаменательное признание: «Вы, пардон, совсем не знаете мужчин. Я фантастически нормален. Это правда, что я плаваю в бескрайнем океане секса, но в реальной жизни число моих заплывов невероятно ограниченно».

Дижонская переписка — начало романа Анаис и Миллера. Но это не только страстные письма тянущихся друг к другу мужчины и женщины, это переписка литератора с литератором. Генри посылает Анаис рукопись «Молох, или Языческий мир» — повесть о жизни со своей первой женой. Анаис — «Роман с Джоном» — о ее краткой связи с профессором Джоном Эрскином. Они помогают друг другу: он поправляет ее бедный английский, она указывает на его длинноты в «Crazy Cock». И, конечно же, в письмах продолжается обсуждение «проблемы Джун».

Наконец Генри возвращается. Он прибывает на вокзал Монпарнас, оставляет свой нехитрый багаж в «Отель Сентраль» и встречается с четой Гилеров в ресторане. Когда Анаис видит, как Генри приближается к их столику, она понимает, что это счастье.

Теперь, в последние дни февраля, они встречаются ежедневно в знаменитой «Ротонде» на углу бульваров Монпарнас и Распай или в «Викинге».

Апрель, 1932

Сегодня я познакомилась с Фредом Перле[16].

Этакий грустный клоун: застенчиво держится, глаза печальные. Он все время поддакивает Генри, он его эхо и его зеркало.

Мы сидели на кухне их новой квартиры. Фред сотрудничает с «Трибюн» и снял эту квартирку в рабочем квартале Клиши, откуда рукой подать до Монмартра и Пляс Бланш. Простой, без всяких финтифлюшек, дом.

Лестница не устлана ковром, стены тонкие, все слышно. Две комнаты и кухня. Мебель — только необходимая: кровати, столы, стулья. Когда мы сидим в кухне за круглым столом, места для расхаживания вокруг не остается.

Что-то вроде новоселья. Генри откупоривает бутылку вина. Фред готовит салат. Фред кажется таким бледным рядом с Генри. Бледным и болезненным.

Генри говорит: «Вот первая женщина, с которой я могу быть совершенно откровенным».

— Ну-ка, засмейтесь, Анаис — откликается Фред. — Генри очень любит, когда вы смеетесь. Говорит, что вы единственная женщина с истинным чувством смешного и с мудрой терпимостью.

Несколько кастрюль, разномастная посуда с «блошиного рынка», сносившиеся рубашки вместо кухонных полотенец. К стенам прикноплены список книг, которые надо достать, лист с меню на завтрашний день, газетные вырезки, репродукции, акварели Генри. Генри ведет дом с истовостью голландского дворецкого. Он на редкость опрятен и аккуратен. Никаких немытых тарелок кругом. Просто монашеская обстановка, никаких тряпок, никаких украшений. Чистота. Белые и светло-серые стены.

Вчера Генри приехал в Лувесьенн. Совсем другой Генри. Вернее, Генри, которого я угадывала в другом, в общем-то изученном мною Генри, в том Генри, что обо всем отзывался пренебрежительно. А этот Генри мог понимать: он обладал чувствительностью.

Он выглядел очень серьезным. Ожесточенность сгорела в нем дотла. Его грубость магическим путем превратилась в достоинство, в силу. Он получил от Джун письмо. Написанное карандашом, безумное, бессвязное, детские каракули, сквозь которые рвался вопль о ее любви к нему. «Такое письмо все стирает в порошок…» Я почувствовала, что вот он, момент

показать ему Джун, какую я узнала, подарить ему Джун — «потому что ты полюбишь ее еще больше. Это — прекрасная Джун. В другое время я поостереглась бы, потому что ты стал бы смеяться, над моим портретом, глумиться над моей наивностью. Но сегодня я знаю, что ты не станешь…»

И я дала ему прочитать все, что писала о Джун.

Что это с ним? Он разволновался, отвернулся, словно хотел спрятать лицо. Он верит.

— Вот только так должен я писать о Джун. А это все — поверхностная и неполная писанина. А ты схватила ее.

— Потому что ты в своей работе проглядел всякую нежность, всякую мягкость. Только ненависть, бунт, ярость — вот что ты писал. А я добавила туда все, мимо чего ты прошел. И не думай, что так вышло оттого, что ты не знаешь этого, не чувствуешь, не понимаешь. Ты пропустил это потому, что выразить это гораздо труднее, а до сих пор твои вещи выращены на запальчивости и раздражении.

И я всецело доверилась ему, проникла в глубину Генри. И завоевала. Он заговорил:

— Такая любовь чудесна. Она мне вовсе не противна, я не презираю ее. Я понимаю, что вы дали друг другу. Очень хорошо понимаю. Дай мне прочитать дальше. Это ведь откровение для меня.

Я вся дрожала, пока он читал. И вдруг он сказал:

— Анаис, все, что я тебе дал, так грубо и плоско в сравнении с этим. Мне только сейчас это стало ясно. Я понимаю, что когда Джун вернется…

Но я прервала его:

— Ты даже не знаешь, что ты дал мне! Это не грубо и не плоско.

А потом добавила:

— Ты видишь теперь, как прекрасна Джун.

— Нет, она мне отвратительна.

— Отвратительна?

— Да, ненавижу ее, — кивнул головой Генри. — Потому что вижу из твоих записей, что нас надувают, что тебя обманули, что это все вред, пагуба, тяга к ее обманам. Незаметно подкрадываются в надежде искалечить меня в твоих глазах. Если Джун вернется, она натравит нас и на друга. Я этого боюсь.

— Просто у нас с тобой такая дружба, Генри, что Джун не может ее понять.

— Потому-то она нас и возненавидит и будет бороться с нами собственным своим оружием.

— Да что же она использует против нас, ведь мы понимаем

друг друга?

— Ложь, — сказал Генри.

Мы оба отлично знали власть Джун над нами, над дружбой, что связала меня с Генри, над дружбой, что привязала меня к ней. Когда Генри уяснил себе, что я доверяю ему, потому что поняла его, он сказал:

— Как ты во все проникаешь, Анаис, до чего ж ты мудрая.

А я, услышав фразу, брошенную Фредом, кинулась защищать Джун.

— Джун порочная, Генри, — сказал Фред. — Она тебе вредна.

— Ничуть она тебе не вредна, — возразила я. — Все ее выдумки, бессмысленные, как ты их называешь, выкрутасы, будят в тебе писателя. Романы ведь рождаются из конфликтов. А она так напряженно живет, что у нее просто нет времени остановиться, прислушаться к тебе, понять тебя. Она пригодится твоей книге, а я хочу пригодиться тебе.

Генри мрачно нахохлился.

— А что если я помогу тебе вытащить Джун назад в Париж? Ты не стал бы возражать?

Он поморщился:

— Не спрашивай меня, Анаис, не спрашивай об этом! Вид у него был страдальческий. Подлинная Джун во плоти могла праздновать победу над сотворенной.

— Как ты достаешь до самой сути, — сказал Генри и снова принялся за дневник.

— Какие чувства! — воскликнул он. Высмеивать, возмущаться, бунтовать — только этим он и занимался до сих пор. Никаких забот. Рушить всегда легко и просто.

Как-то мы говорили о той тишине, среди которой я пишу, о покое моего дома.

— А ты, наверное, не смог бы работать в тишине, — сказала я. — Тебе нужно, чтоб тебя дергали, чтоб ты прерывался, галдеж тебе подавай.

— Это было бы совсем другое письмо, — ответил Генри.

А вдруг ему хочется мира и спокойствия, от которых я рвусь прочь? Вдруг он жаждет кротости, доброты, утонченности? Развернется ли он потом на сто восемьдесят градусов и поломает все это?

Я поддразниваю его:

— А может быть, все, что я написала, неверно; неверно про Джун, неверно про меня; все это иллюзия, мираж.

— Нет, — говорит он. — Что бы ты ни видела, что бы ни делала, у тебя все верно.

— Как у «Идиота»?

— Нет, — отзывается Генри. — Ты видишь больше. Ты именно видишь больше. И все здесь абсолютно правильно. Да, вот так. Я впервые замечаю какую-то красоту во всем этом.

Достоевский был истинно роковым автором и для Генри, и для Джун. С самого первого раза, когда я увидела их вместе, я почувствовала, что они живут в его климате: в горячке, в скандалах, в крайностях. Они играют роли его героев. А сегодня Генри кажется только Генри и никем больше.

— А знаешь, я не умею выражать мягкость, — задумчиво произнес Генри. — Только крайности. Только страсть и напор.

А потом сказал:

— Мне ясно, что я, конечно, неудачник.

— Но я не хочу, чтобы ты им был. Я тебе не позволю этого. Я хочу, чтобы ты жил, писал и стал знаменитым.

Если Пруст прав, определив счастье как отсутствие тревог, то мне никогда не быть счастливой. Потому что меня обуревает лихорадка, я в постоянной тревоге, что чему-то не научусь, чего-то не испытаю, чего-то не сотворю. Новое знание, новый опыт, новое творение.

Думаю, что достаточно понимаю жизнь, гораздо более жуткую, более мучительную, чем моя, получая сведения о ней непосредственно, из первых рук. Никаких разрывов во времени, никакой дистанции между мною и настоящим. Мгновенная оценка. Но также справедливо и то, что, когда я пишу о ней после, я вижу больше, я понимаю лучше, она яснее проявляется, делается богаче.

И все-таки то, что вспоминается позже, это, как мне кажется, не столь верно. А во мне — какая-то неизбывная нужда в точности и правде. Это и заставляет меня записывать все, что я пережила, немедленно, прежде чем это не исказилось временем и пространством.

Сидим за обедом на кухоньке в Клиши. Груды книг, на полу исписанные страницы, на стенах рисунки и листы с перечнями всякой всячины.

Разговор о Прусте вызывает у Генри такое признание: «Если быть с собой честным, мне хорошо без Джун. Я тогда люблю ее больше. А когда она рядом, она меня угнетает, у меня хандра, впадаю в полную безнадегу. И по горло во всяких переживаниях».

Джун вымотала его, у него нет сил ревновать, он потерял способность к страданию; что у него осталось, так это умение наслаждаться покоем.

Я стараюсь облегчить страдания других. Да, я вижу сама, как слабеет буря, как растворяется едкая кислота, как перестает действовать яд. И так в любую минуту каждого дня. Я пробую

исполнить желания других, сотворить чудеса. И напрягаюсь изо всех сил, творя чудеса (Генри напишет книгу, он не будет голодать, Джун вылечат и т. п.).

«Ложь может быть и волшебной сказкой», — написал Генри.

Встретила сегодня Фреда, и мы пошли в «Трините» купить чего-нибудь для их квартиры. Как раз солнце выглянуло из-за облаков, и я процитировала Фреду кусочек его прозы о рынке в солнечный день. Это его тронуло.

— Вы чудо, — сказал он. — Вы красавица.

Принесла Генри копию отрывка из журнальчика «Транзисьон». Мне нравится добавлять что-нибудь к его писанию, расширять его.

У Пруста Генри отметил: «С другой стороны, совсем не случайно, что существа интеллигентные и тонко чувствующие попадают в зависимость от бесчувственных и малокультурных женщин. Таким мужчинам необходимо страдание. Подобные интеллигентные и чувствующие создания вовсе не тянутся ко лжи. Тем более она захватывает их врасплох, что, будучи интеллектуалами, они живут в мире разных возможностей, они живут в рефлексии, живут в той боли, которую причиняет им женщина, а не в ясном осознании, чего же она хочет… Вот почему женщина заурядная, любовью к которой они неожиданно видят себя охваченными, обогащает их внутренний мир куда больше, чем женщина выдающаяся…

Вся эта ложь… Она рождает в лице чувствующего интеллектуала целую вселенную, в глубины которой охотно проникает его ревность и которую никак не интересует его интеллект».

Я сказала Генри, что тоже об этом думала.

Я замечаю, что по мягкости, по уступчивости, по пластичности в отношениях между людьми у меня с Генри много схожего. Он полностью подчиняется Джун и уравновешивает это подчинение тем, что мстит ей на своих страницах. Он говорит о том, как она ничтожна, но ведь это только слова, произнесенные вслух или написанные на бумаге. Он против нее бессилен. И он полностью лишен способности быть покровителем женщины. Позволяет ей покровительствовать ему. Вот потому-то Джун и может говорить: «Я его любила как своего ребенка». Так и будет он вечно утверждать свою возмужалость ниспровержением всего и злостью, а потом склонять голову перед Джун и все от нее терпеть?

Сейчас его побуждает писать только возмущение. Он читает Мабель Додж Лухан[17] о Лоуренсе и сразу же взрывается. Он пишет мне длиннющее письмо, похожее на припадок блестящего

безумия. А потом он готов спалить или затопить весь мир из-за того, что статья Фреда, виртуозно написанная им за грошовый гонорар для «Чикаго Трибюн», погибнет на другой день, если не будет напечатана. Яростная дионисийская оргия. «Дерьмовая жизнь, дерьмовая жизнь», — вопит он.

Наверное, мне надо проспать сотню лет среди поэтов и ничего не знать об этом аде на земле.

Давно думала, не дать ли Генри прочитать все, что я пишу о нем. И никак не могу решиться, потому что так и слышу его слова: «С чего это ты так рассыпаешься в благодарностях?» Обязательно будет насмехаться над моим благодарственным гимном. А Фред написал о нем: «Бедняга Генри, жалко тебя. Нет в тебе чувства благодарности, потому что нет в тебе любви».

Генри отметил у Пруста: «Я бывал более счастлив видеть возле себя Андре, чем мучиться в присутствии Альбертины разгадкой ее тайн. Потому что Андре могла мне рассказать больше об Альбертине, чем Альбертина рассказывала мне о себе. С другой стороны, мысль, что какая-то женщина состоит, может быть, в известных отношениях с Альбертиной, вызывала желание самому оказаться в таких же отношениях с той женщиной. Поскольку желание ведет нас прямо в противоположном направлении, оно вынуждает нас любить то, что заставляет нас страдать».

Генри говорит:

— У нас с Фредом жуткие споры. Он так напирает на меня. Кто из нас лучше пишет, он или я? И меня это иногда мучает.

— В тебе больше мощи, резкости, энергии. А он похож на писателя-француза: изящный, ироничный, остроумный.

— Ну да, но он написал три чудесные страницы о тебе. Он от тебя в восторге, преклоняется перед тобой. Я просто ревную к этим трем страницам. Мне бы их написать.

— Так ты и напишешь.

— Вот, например, твои руки. Я никогда не обращал на них внимания. А Фред придает им огромное значение. Дай-ка я взгляну на них. Правда ли они так уж прекрасны?.. Да, в самом деле, — произносит он с такой наивностью, что я смеюсь.

— Ты другие вещи ценишь, может быть.

Генри говорит:

— Меня тошнит от убогой, серой моей жизни. А ты даешь мне что-то необычное.

— Разрушителям совсем не всегда удается разрушение. Джун же ничего не могла с тобой в конце концов сделать. Ты по самой своей сути писатель, а писатель непобедим.

Фред черпает силу из стремительного потока прозы Генри, из

ее ярости и страсти. А Генри любопытны и даже озадачивают его живость, хитроумие и многозначительная туманность замечаний. Генри говорит громко и уверенно в сравнении с осторожной манерой Фреда.

— Скажи Фреду, Генри, что мы можем завтра пойти и поискать шторы (Фред обратил внимание на то, что в квартире не ощущается женской руки).

— Я тоже пойду, — сказал Генри, хотя сначала говорил, что не хочет тратить время на покупку штор.

— Передай Фреду, что мы встречаемся на том же месте и в то же время, что и в прошлый раз.

— Около четырех, значит.

Лицо Генри временами бывает странно непроницаемым, оно то краснеет от возбуждения, то становится бледным и сдержанным, словно всю горячую кровь выпустили из него. Он наблюдателен, способен к анализу, внимателен и насторожен, даже нередко подозрителен. Очень часто от волнения его голубые глаза слезятся. И мне тогда вспоминаются его рассказы о своем детстве. Родители (отец Генри был портным) брали его на свои воскресные прогулки, таская с собой весь день до поздней ночи. В гостях у своих друзей и родственников они играли в карты и вовсю курили. От едкого дыма у мальчика начинали слезиться глаза, и его отправляли спать в соседнюю комнату с мокрым полотенцем на воспаленных глазах. А сейчас он не щадит своего зрения за корректорской работой в газете. Мне хочется освободить его, но у меня это никак не получается.

Я всего лишь вставала у распахнутого окна моей спальни и глубоко дышала, вбирая в себя медвяный воздух, солнечный свет, снежные хлопья зимой и крокусы весной, примулы, воркующих голубей, птичьи трели, весь кортеж мягких ветерков и бодрящие запахи холода. Я вдыхала изменчивые цвета сотканного из нежных лепестков неба, узловатые серо-змеистые корни старых виноградных лоз, вертикальные выбросы молодых побегов, влажный запах палых листьев, мокрую землю, свежескошенные травы, зиму, лето, солнечный закат и утреннюю зарю, грозы и затишья, пшеницу и каштаны, землянику и шиповник, фиалки и сырые бревна, выжженные поля и новые маки, встающие над ними.

Мое осторожное благоразумие, мой энтузиазм в поиске правды (правда в том, что Джун прекрасна и достойна страсти) выводят Генри из равновесия. Он не жалует вежливости и учтивости, он предпочитает взрывную резкость. И моя постоянная улыбка — вызов для него, он готов сорвать ее, как карнавальную маску. Мою сдержанность, умение держать себя в руках, чтобы не

задеть других, он должен расколотить вдребезги. Разоблачить ему надо эту скрытную Анаис, прячущуюся где-то глубоко-глубоко. Он-то любит переворошить почву. Пусть все постоянно двигается, смещается, пласты налезают на пласты, чтобы из хаоса являлось великолепие, чтобы новый посев прорастал на вывернутой наизнанку земле.

Но нас с ним делает неразрушимыми одна и та же вещь. Главное в нас то, что мы оба художники, мы писатели. И мы захвачены своей работой собирать из осколков целое.

Я полностью, до самоуничтожения подчинялась моей матери. На многие годы я растворилась в любви к ней. Я не видела в ней никаких изъянов, я боготворила ее. Я предалась ей. Я была ничто, моей личности не существовало. И не было моей воли. Она выбирала платья, которые я носила, книги, которые я читала, она диктовала мне мои письма к отцу или, по крайней мере, читала, была их цензором и редактором. Бунтовать и самоутверждаться я начала только в шестнадцать лет, когда пошла работать. А пока я не могла гулять с мальчиками, как делали все мои подруги. И я отвергла католичество, вообще христианство. Но отвратительна мне была не ее всепоглощающая власть, а моя слабость.

Вот это и подвигнуло меня писать длинный, на всю жизнь, дневник, писать книгу, создавать очаг, путешествовать, помогать другим; и все-таки в отношениях с людьми я была какая-то бесхарактерная: я не могла выбранить служанку, не могла сказать обидную правду, заставить выполнить свои желания, разозлиться на несправедливость или предательство.

Слышу, как Хоакин говорит: «Анаис мечтательница, у нее нет чувства реальности. Она ведь и вправду думает, что Генри раскрывается перед ней».

Я ожидала встречи с Фредом, но пришел только Генри. Сказал, что у Фреда неотложная работа. А потом добавил:

— Но если всю правду, то это я не пустил его. И получил большое удовольствие, видя его разочарование. Ты ведь замечаешь, он смотрит на тебя глазами пса, попавшего хозяйке под горячую руку. Очень мне приятно представлять себе, как он корпит сейчас и мучается от невозможности тебя увидеть.

В первый раз я заметила пятна на шляпе Генри, его драные засаленные карманы. В другой день это меня бы тронуло, но сейчас от его злорадства мне стало холодно. А он разглагольствовал о Путнаме и Йоласе, о своей работе и работе Фреда. Потом, хлебнув Перно, он рассказал:

— Вчера вечером мы с Фредом после работы сидели в кафе и со мной заговаривали шлюхи, а Фред смотрел на меня сурово по той причине, что они были очень уж некрасивыми и, могу

сказать, заморенными какими-то. Он считал, что незачем мне с ними разговаривать. Фред иногда бывает снобом. А я люблю шлюх. Ты-то никогда не напишешь им письма, никогда не скажешь, как они удивительны.

— А каким бывает Фред, когда выпьет?

— Забавным, но все же свысока относится к шлюхам. Они это чувствуют.

— А ты с ними в полной дружбе?

— Да, я с ними разговариваю, как ломовой извозчик.

В первый раз я видела злорадствующего Генри, принявшегося досаждать своему другу.

Он несколько раз повторил, словно заклинание: «Фред работает. Он не может оторваться от работы». Без Фреда мне расхотелось выбирать шторы, но Генри не отставал. «Для меня составляет огромное наслаждение творить зло», — говорил Ставрогин. А для меня нет в этом радости, мне больно.

Один из рассказов Генри — о том, как он любил занять деньги у какого-нибудь господина, а потом тратил чуть ли не половину занятой суммы на то, чтобы послать этому человеку какую-нибудь тревожную телеграмму. Когда эти истории вздымались на волнах хмельного тумана, я видела в глазах Генри огонек зловредности, упоения бессердечием.

А Джун тратила деньги на духи для Джин в то время, когда Генри буквально голодал, и с особым удовольствием прятала бутылку шотландского виски в своем чемодане, когда Генри и его друзья рыскали без гроша в кармане и готовы были напиться любой бурдой. Но меня поражает не то, что они так поступали, это могло быть бездумье или эгоистичность, а то удовольствие, которое, очевидно, им доставляли такие поступки. Джун вообще зашла еще дальше, до вопиющей вульгарной извращенности, когда в доме у родителей Генри нарочно, чтобы их шокировать, затеяла возню со своей Джин. Вот это пристрастие к жестокости и должно было накрепко связать Генри и Джун. Может быть, они с удовольствием будут ломать меня? Ведь для пресыщенных людей единственным наслаждением остается изничтожение других.

Значит, я спокойно гляжу в лицо действительности? Может быть, я вроде Ставрогина, который ничего сам не совершал, но с восхищением наблюдал за действиями Петра Степановича, предоставляя ему действовать за него?

А может быть, я, в основе своей, все еще та пылкая католическая испаночка, которая бичует себя за любовь к игрушкам и проказам, которая запрещает себе греховную любовь к сладостям, предпочитающая молчать, смиряющая свою гордыню, обожающая символы святости, статуи, теплящиеся

свечки, запах ладана, ласковость сестер, органную музыку, для кого причащение было великим событием? Я была так ошеломлена, что мне предстоит вкусить тела Христова и испить Его крови, что толком не могла проглотить гостию из страха сделать ей больно. Стоя на коленях, забыв обо всем окружающем, я видела сквозь сомкнутые веки, как нисходит в мое сердце Христос; я видела совершенно реально (вот тогда я была реалистом!), как он спускается по ступеням и входит в пространство моего сердца, как святой гость в комнату. И больше всего меня тревожила мысль, в каком состоянии окажется эта комната. Я полагала, что если там не все хорошо, то она покажется Христу уродливой, неприглядной. Я представляла себе, что, едва он войдет, она покажется ему либо чистой, просторной, светлой, либо захламленной, неприбранной, тесной. В возрасте восьми, девяти, десяти лет я верила, что приближаюсь к святости. А потом, в шестнадцать, обиженная строгим контролем, разуверившись в Боге, который не внял моим молитвам (о возвращении отца), не сотворил для меня чуда и бросил меня, полусироту, в чужую страну, я резко отвергла католичество. Святость, милосердие, добронравие, смирение душили меня. И я восприняла слова Лоуренса: «Они упирают только на муки, на жертвы, на страдания. И прозябают, не зная воскрешения, не зная радости в жизни земной».

Сегодня мое прошлое давит на меня тяжким грузом. Я чувствую, что это оно мешает моей нынешней жизни, в нем причина моих уходов, причина того, что я закрываю двери.

До сих пор у меня было ощущение, что я начинаю жить как-то иначе, что мои новые надежды, чувство свежести и свободы стирают тайны и запреты моего прошлого. Что же случилось?

Тоска и холод. На мне словно написано: «убита своим прошлым».

Я забальзамирована уже, потому что монахиня наклоняется ко мне, заворачивает в саван из монашеского покрывала, целует в лоб… Ледяное проклятие христианства… Я ведь больше не исповедуюсь, нет во мне чувства покаяния, разве я все еще должна раскаиваться? Разве мои радости греховны? Никому не ведомо, какая я великолепная добыча для христианских легенд из-за своего сострадания, нежности к человеческим существам. И сегодня это отделяет меня от наслаждений жизни.

Я внезапно охладела к Генри именно из-за того, что стала свидетельницей его жестокости с Фредом. Нет, я не была влюблена во Фреда, но он был для меня символом моего прошлого: чувствительный, легкоранимый романтик. В первую нашу встречу он так робел и конфузился, а потом стал моим

преданным поклонником. Так что в тот день, когда Генри намеренно жестоко обошелся с Фредом, моему расположению к Генри пришел как будто конец. Это покажется нелепым. Но главный конфликт моей жизни и заключался как раз в моей боязни жестокости. Я была свидетельницей безжалостности моего отца к моей матери, я испытала на себе его садистские порки, мне доставалось не меньше, чем моим братьям; я видела, как он может быть жесток с животными, — однажды он убил палкой кошку.

И боль за мать доходила во время ссор моих родителей чуть ли не до истерики; ужас перед их яростной руганью, перед их озлобленностью настолько заполнял мое существо, что парализовывал меня, когда позже я сталкивалась с необходимостью подавить в себе жалость или выказать свой гнев. Я была в такой степени неспособна к этому, что выглядела в своих же глазах почти ненормальной. Когда следовало проявить характер, я из-за своего отвращения к жестокости проявляла лишь слабость. И столкнувшись с таким незначительным проявлением жестокости Генри, я тотчас же припомнила и другие известные мне случаи из его прошлого (ему случалось бить свою первую жену, когда она была беременна). Возможно, следовало бы уклониться, не обратить внимания на этот конфликт, ведь он превращал меня в затворницу. Обращал вспять. Я возвращалась к ранним воспоминаниям, к ранним состояниям души, к памяти детства, а это мешает жить в настоящем. Я придаю слишком большое значение жестокости.

Все это звучит резонно. Но чувствую я себя холодно и одиноко, и мне необходимо кому-то довериться. Руководитель мне нужен.

На следующий день я бросилась в Клиши, и мы втроем, Генри, Фред и я, смехом и шутками заглушили все эти настроения.

Юмор и мудрые мысли — вот все, что мне надо.

Хоакин считает, что Генри — сила разрушительная, выбравшая свою противоположность (меня) для испытания своей мощи. Хоакин и наша мать полагают, что меня раздавят тонны литературы (но я действительно люблю литературу) и что меня еще можно спасти (Хоакин, правда, не знает как) вопреки моему нежеланию.

Я только улыбаюсь язвительно.

Все это не имеет ничего общего с Генри. Для меня он сила животворная, а не разрушительная.

Меня поражает, как много улиц он может прошагать за день, как много написать писем, как много может прочитать книг, с

каким количеством людей поговорить, в скольких кафе посидеть, сколько фильмов посмотреть, сколько выставок. Он как поток, все время в движении.

Он признался, что злым бывает только испытывая ревность. И приревновал Фреда за восхищение мною.

Концепция морали у Генри простейшая: не будь ханжой! Он признает, что в нем нет никакой благонадежности, признает, что способен на все, подвернется случай и он может украсть, подвести и прочая, и прочая. Генри с его дуракаваляниям, созывающий весь мир на ярмарочные балаганы. Мы сидим в монастырски чистой комнате, где только что перестали щелкать кастаньеты его машинки. Генри уговаривает меня раскрывать все самое худшее, что есть в себе, и я злюсь, потому что мне почти нечего рассказывать (как в детстве, когда я приходила на исповедь и не могла назвать никаких своих предосудительных поступков, разве что сны снились нехорошие!).

На полу бутылка красного вина. Фред читает мой дневник.

Трогательно видеть, каким почтительным становится Генри перед тем, что он никогда не видел прежде.

— Твой дом, Анаис. Я знаю, что я деревенщина и не умею вести себя в таких домах. Потому-то притворяюсь, что презираю их, а на самом деле люблю. Люблю их за красоту и изысканность. У меня душа отогревается, когда я туда вхожу, чувствую себя, будто меня принимает Церера, околдованным становлюсь.

Генри не Пруст, чтобы подолгу вглядываться в каждую вещь; он живет наскоками, прыжками. Никогда не останавливается, чтобы поразмыслить. И разбрасывается своим временем и энергией, как безудержный кутила.

Я постоянно остерегаюсь простейших фраз, потому что они никогда не содержат всей правды. Правда для меня нечто, о чем нельзя сказать несколькими словами.

Те, кто стремится выразиться попроще, сокращают пространство многозначного мира.

Писатель живет не одной жизнью, у него их две. Есть сама жизнь и есть писательство. Как бы вторая проба, позднейшее реагирование.

Ложь Джун часто не имеет никакого смысла. При первой же нашей встрече она рассказала мне историю об ухаживавшем за нею человеке. Он так упорно преследовал ее, что в конце концов она пришла к нему домой. У него был экземпляр Шпенглера, который потом Генри пришлось продать. Но он вообще задарил Джун подарками. Ему хотелось, чтобы она помогла ему подобрать платье для одной женщины, начисто лишенной вкуса и оригинальности. Джун рассказывала мне, что бывала у него не

один раз, но потом прекратила все, чтобы не разбивать жизнь другой женщине. Я чувствовала, что она передергивает в этой истории, но не могла определить, что она хотела этим доказать. Свое донкихотство? История, так или иначе, отдавала фальшью. А может быть, она врала потому, что, как сказал Пруст, мы охотнее лжем тому, кого больше любим? Или же она хотела приукрасить свой образ, или из боязни последствий, или из желания романтизировать свою жизнь? И она, и Генри обращались со мной так внимательно и нежно, что не могла я поверить в другую сторону их жизни.

У Пруста:

«Скольких наслаждений, какого прелестного существования лишила нас она из-за дикого упрямства, с каким отрицала свои наклонности!»

Маргарита С, черноволосая девушка, дочь писателя, зарабатывает на жизнь переводами с английского. Я познакомилась с ней в доме моей соседки мадам Пьер Шаро. Маргарита помогает мне, переписывая дневник. Она посещает сеансы психоанализа доктора Рене Альенди. По вечерам, после ее работы, мы часто сидим в саду и разговариваем. Она много рассказывает об Альенди, очень начитанна, и мы разговариваем подолгу. К Альенди она ходит раз в неделю, и я замечаю, как она меняется.

Отец Маргариты служил вместе с Альенди в армии. В то время он намеревался стать врачом, но потом увлекся психоанализом и поверил в его возможности.

Доктор Альенди написал книгу «Проблема судьбы». Он верит в судьбу, побуждаемую к действию изнутри и направляемую бессознательными тропизмами[18].

Рождающиеся в глубине и непознанные импульсы толкают индивидуума к постоянно повторяющимся опытам. Человек склонен объяснять эти образы и манеру поведения чем угодно, кроме своего «я», и возлагает ответственность за все, что с ним происходит, на внешние силы.

Однако, утверждает Альенди, человек может управлять своей судьбой в той мере, в какой он познает эти тропизмы; правда, для этого понадобится пройти подлинное посвящение, подобно тому как ученики в буддизме обучаются избегать своей кармы через приобщение к знанию. Приобщение к психоанализу может побороть то, что вам представлялось несчастьем, трагедией, неизбежностью.

Родился Альенди в Париже в 1889 году. Изучал медицину, потом практиковал в больницах. Его диссертация 1912 года называлась: «Теории алхимиков в истории медицины». Он

интересовался гомеопатией, астрологией, основал «Французское общество психоанализа».

Я пошла в Сорбонну на его лекцию. Он оказался высоким мужчиной с окладистой бородой. Бретонец, он совсем не походил на француза, скорее на русского крестьянина. Любопытно, что в юности он изучал русский язык, побывал в России и организовал комитет по встрече русских студентов.

Маргарита попробовала уговорить меня тоже пойти к Альенди. Напомнила мне, что в Нью-Йорке я испытала нервный срыв.

Но я-то сознаю, что мне нужно просто жить свою жизнь. Была бы я невротиком, я не написала бы книгу, не создала бы красивый уютный дом, не осмелилась вести такую жизнь, какую веду.

— Я же не сломлена, — говорю я. — Анализ нужен тем, кто парализован жизнью.

Сегодня я в первый раз звоню у дверей доктора Альенди. Служанка проводит меня темным коридором в темную приемную. Темно-коричневые стены, обитые бурым бархатом кресла, темно-красный ковер — мне начинает казаться, что меня встречает тихая, спокойная могила, и я невольно вздрагиваю. Свет проникает сюда только из открытой в приемную оранжереи. Она заполнена тропическими растениями, обступившими маленький бассейн с золотыми рыбками. Бассейн окаймляет гравийная дорожка. Профильтрованные зеленой листвой солнечные лучи дают приглушенный зеленоватый свет, словно я оказалась на дне океана. И этот обычный дневной свет как будто исходит от тех, кто спустился исследовать погруженные в воду миры.

Звуки поглощаются тяжелым черным китайским занавесом, прошитым золотыми нитями и несколькими ветвями папируса, кабинет доктора Альенди за звуконепроницаемой преградой. И тут он проскальзывает в дверь, поднимает занавес и стоит в дверях, очень высокий, с резкими чертами лица, на котором живут только глаза, и это глаза провидца. Он массивен, тяжел, а борода делает его похожим на патриарха. И так странно увидеть его спустя несколько мгновений спокойно сидящего позади моррисовского кресла, в которое он меня усадил, шелестящего листами блокнота и карандашом и говорящего мягким тихим голосом. Ему больше бы пристало составлять гороскопы, выводить алхимические формулы, вглядываться в хрустальный шар, потому что он выглядит больше магом, чем врачом.

Прежде всего мы говорим о его книгах, лекциях и моей реакции на них. Я рассказываю о моей работе и моей жизни вообще. Говорю, что всегда была независима и никогда ни на кого, кроме самой себя, не полагалась.

Доктор Альенди говорит:

— И несмотря на это, вам все-таки не хватает уверенности.

Он задел самую чувствительную точку. Уверенность! А он встает со своего кресла и продолжает, улыбаясь:

— Ну что ж, рад, что вы крепко стоите на ногах и не нуждаетесь ни в чьей помощи.

И тут я всхлипываю. Я плачу. Он снова опускается в кресло.

Уверенность.

Мой отец очень не хотел дочери. Он был сверхкритически настроен постоянно. Ничем не был доволен, никогда не радовался. Я не могу припомнить ни одного ласкового слова, ни одного его поцелуя. В нашем доме только сцены, ссоры, даже драки. И его холодные голубые глаза, постоянно ищущие, к чему бы придраться. Когда я болела тифом, почти умирала, все, что он мог мне сказать, было: «Как ты скверно выглядишь! Какая ты стала безобразная!» Он постоянно бывал в разъездах, женщины его избаловали. Мать устраивала ему сцены ревности. В девять лет у меня случился приступ аппендицита, его вовремя не распознали, я чуть не умерла. Мы тогда приехали в Аркашон, где он проводил отпуск, и ясно поняли, что мы ему здесь ни к чему. Все, что он предназначал матери, я относила и на свой счет тоже. И все-таки такая тоска, до истерики доходило, когда он нас в конце концов бросил! Но страх перед его жесткостью и придирчивостью так и остался со мной. И я не могла заставить себя встретиться с ним снова.

— И стало быть, — сказал доктор Альенди, — вы ушли в себя и сделались независимой. Я вижу, что вы человек самостоятельный и обладаете чувством собственного достоинства. Но вы боитесь жестокости мужчины старше вас, и первый же признак такой жестокости вас обескураживает.

— Может ли детская доверчивость, однажды обманутая и растоптанная, так влиять на всю последующую жизнь? Почему моя безответная любовь к отцу так и осталась со мной, а я ведь столько раз знала любовь с тех пор, как он нас оставил?

— Вы кажетесь очень уравновешенной особой, — произнес доктор Альенди. — И не думаю, что вам я необходим.

Я внезапно почувствовала страх, что останусь опять одна со всеми своими трудностями.

И я спросила, могу ли я прийти к нему снова.

Имеется одно обстоятельство, ставящее трудную задачу перед тем, кто берется писать о психоанализе. Почти невозможно выявить связи, которые приводят к тому или иному выводу. Бессвязное бормотание, пространство, погруженное в полумрак. Это вовсе не те четкие фразы, которые я кладу на бумагу. Там

были колебания, сомнения, косвенные намеки, околичности. Я изобразила это как прозрачный диалог, пропустив тени, неясности, недомолвки. Не получается дать постепенное разворачивание темы.

Значит ли это, что доктор Альенди работает с чем-то, не поддающимся осознанию?

Вот что он говорит: «Женщины ничем не поспособствовали психоанализу. Женские реакции все еще продолжают быть загадкой, и психоанализ останется незавершенным так долго, как долго мы будем основывать наши предположения только на изучении мужчин. Мы предполагаем, что поведение женщины объясняется тем же, что и поведение мужчины, но мы этого не знаем точно. Самолюбие мужчины намного превосходит женское самолюбие — ведь вся его жизнь основана на подобающем мужчине культе завоевателя, это еще с самого раннего Средневековья, когда тот, кто не мог охотиться, был достоин только смерти. Мужское самолюбие безмерно, и раны, нанесенные ему, оказываются фатальными».

Психоанализ вынуждает быть как можно правдивее. Я уже уяснила себе некоторые свои чувства, например боязнь причинить боль.

Презираю свою гипертрофированную чувствительность, которой требуется все время утешение. Это же почти ненормально — с такой силой желать быть любимой и понятой.

Я написала первые две страницы новой своей книжки «Дом инцеста» в сюрреалистическом духе. Под влиянием «Транзисьона», Бретона и Рембо я позволила своему воображению порезвиться вволю.

А что же я чувствую, когда вижу устремленные на меня холодные голубые глаза Генри? У моего отца был ледяной голубой взгляд.

Генри прекрасно говорит со мной, спокойно, мудро.

— В воскресенье ночью, когда ты от нас ушла, я немного поспал, а потом встал и вышел прогуляться. И вдруг мне открылась жуткая истина: я не хочу, чтобы Джун вернулась. Иногда я даже думаю, что если она приедет и я в ней разочаруюсь и не надо будет мне больше о ней заботиться, то я несказанно обрадуюсь. В ту ночь я чуть было не послал ей телеграмму, что она мне не нужна. С тобой я открыл, что в таких отношениях между мужчиной и женщиной может существовать настоящая дружба, а с ней мы же никогда не были друзьями.

Мы шли к Пляс Клиши, Генри, Фред и я. Генри рассказывал мне все, что знает об улицах, о людях на них. Он дышит улицами, он любуется ими. Он показывает мне проститутку на деревянной

ноге, стоящую возле Гомон-Палас. Он водит меня по узким извилистым улицам, мимо маленьких отельчиков и шлюх, стоящих в дверных проемах под красными фонарями. Мы сидим с ним в специфическом кафе; кафе Франсис Карко, сутенеры играют в карты, поглядывая на тротуар, где торчат их девки.

Мы разговариваем о жизни и смерти, как разговаривал о них Лоуренс, вспоминаем разных людей, умерших и живых. Генри говорит: «Если бы Лоуренс был сейчас жив и знал тебя, он бы в тебя влюбился».

В Клиши мы сидим на кухне, с нами Фред. Маленькое окно выходит во двор. Мы прикончили бутылку вина и вовсю курим так, что Генри приходится вставать и промывать холодной водой глаза, воспаленные глаза маленького немецкого мальчика.

Я не могу больше это выносить и вскакиваю: «Давай, Генри, выпьем за конец твоей работы в газете. Не возвращайся туда больше. Я о тебе позабочусь».

Мой порыв производит неожиданный эффект на Фреда. Губы у него дрожат, и в глазах слезы. Кладет голову мне на плечо, а по щекам бегут слезы, тяжелые, огромные, никогда не видела таких слез. «Не огорчайся», — говорю я ему, совсем не понимая, зачем я это говорю. С чего бы ему огорчаться, если его друг Генри Миллер бросит работу, которая губит его зрение?

Генри тоже не понял: «В чем дело, Фред? Кажется, ты подумал, что я промываю глаза специально, чтоб вызвать в Анаис жалость, воспользоваться ее добротой».

Встречаю Генри с приятелями в кафе. Генри говорит, что Фред не вернулся в Клиши прошлой ночью.

— Ты не принимай его слишком всерьез, — говорит мне Генри. — Фред любит трагедии. Он все воспринимает остро и переживает слишком эмоционально, но все это лежит на поверхности и быстро проходит.

Фред присоединяется к нам позже. Мы идем ужинать в бистро. Но Фред явно в депрессии. А Генри решает, какой фильм нам стоит посмотреть сегодня. Фред говорит, что не пойдет с нами, ему надо работать.

Генри выходит за сигаретами.

Я говорю:

— Фред, почему ты не хочешь пойти с нами? На что ты обиделся?

— Будет лучше, если я не пойду. Я очень несчастлив. Ты же знаешь, что со мной происходит.

И поцеловал мне руку.

А немного погодя, когда красное вино переменило его настроение, он каким-то добродушным тоном предложил:

— А давайте не пойдем в кино. Поедем лучше в Лувесьенн.

И все трое мы побежали на вокзал. Было только девять часов вечера, но все в доме было погружено в сон. Волшебство.

Я чувствовала, как очарование моего дома действует на них успокаивающе. Мы сидели у камина, и огонь заставлял нас разговаривать тихо и задушевно.

Я открыла железные ящики и показала им дневники. Фред схватил первый том и начал ахать и смеяться над его страницами. Генри читал все, что написано о нем в красной тетради. Мы сидели в гостиной, читали и разговаривали.

Придя в Клиши поужинать, я застала обоих за работой. Генри просматривал куски, которые можно было вставить в книгу. Сила его письма! Парадокс между его мягкостью и неистовостью его стиля. Мы вместе приготовили ужин. Фред печатал на машинке страницы обо мне. Прекрасный мой портрет написал. Но говорит:

— Те страницы можно дать прочесть любому. Я собираюсь написать то, что будет предназначено только тебе. — И тут же:

— Анаис, ты хорошо ко мне относишься? — жалобно так.

— Ну, конечно, Фред, хорошо.

А Генри в отличном настроении. Он составляет планы будущих книг; говорит о Шпенглере, «Транзисьоне», Бретоне и о снах.

Эти тихие, спокойные часы с Генри и Фредом — самые плодотворные. Генри впадает в задумчивый покой, в медитацию, посмеивается над своей работой. В нем временами проглядывает что-то от гнома, от сатира, а то он просто немецкий школяр. В такие минуты его тело кажется слишком хрупким, энергия его письма, его разговоров, сила его воображения слишком тяжелы для этой непрочной оболочки, того и гляди раздавят ее. А вот сейчас я смотрю, как он сидит, попивая кофе, и вижу новые стороны его существа: я вижу, как он ярок, я вижу, как взрываются в нем импульсы и их шквалы несут его повсюду, я вижу его письма к людям со всего света, его въедливое любопытство, дотошное, изо дня в день, из ночи в ночь исследование Парижа, его неослабное изучение человеческих существ.

На стенах его комнаты развешаны листы, их несметное количество, они полны имен, происшествий, названий книг, аллюзий, схем взаимоотношений, на них списки разных мест, ресторанов и много всякой всячины. Гигантская задача, целая вселенная, только б он смог описать все это.

Конечно, может возвратиться Джун и, как самум в пустыне, смести все это.

Но останутся вещи, о которых Генри говорит, а я

запечатлеваю. Он говорит о Боге, о Достоевском, о тонкости Фредова письма, которым он восхищается.

Он-то видит различие между драматичностью, чувственностью, резкостью письма, подобного его собственному, и мягкостью стиля Фреда. Сможет ли Джун постигнуть такие нюансы?

Генри говорит:

— Она любит оргии, разгул. Оргии разговоров, шума, жертвоприношений, разгул ненависти, разгул рыданий.

— У Фреда есть изящество, которого мне не хватает, — добавляет Генри. — Это качество Анатоля Франса.

— Но у него нет твоей мощи.

Страсть Генри прорывается через холодный, бесчувственный мир, как поток лавы. И мне кажется, что эта страсть очень важна для сегодняшнего мира. Она поднимает его книги на уровень природного явления, такого, как циклон или землетрясение. Сегодня мир остужен рассудочностью и рефлексией. И спасти его может именно страсть Генри, его жизнелюбие, его вожделение.

Генри рассказывает мне о книге, которую я не читала. Это «Холм сновидений» Мейчина.

Я внимательно слушаю его, и вдруг он говорит: «Что-то я слишком по-отцовски с тобой разговариваю».

И в этот момент я поняла, что Генри проник в ту часть моего существа, где я оставалась ребенком, где мне нравилось, чтобы меня поражали чем-то новым, нравилось учиться, нравилось быть ведомой. Я превратилась в ребенка, слушающего Генри, в нем появилось что-то отеческое. Неотвязный образ эрудированного, знающего и любящего литературу отца возник передо мной, и женщина стала девочкой.

Я почувствовала себя так, словно Генри открыл мою постыдную тайну. И я сбежала из квартирки в Клиши.

Мое ребяческое тяготение к мужчинам старшего возраста. Мне представляется, что в этом нет ничего, кроме признака незрелости, кроме комплекса, вызванного тоской по отсутствующему отцу почти во всей моей жизни.

«Тихие дни в Клиши»

Так называется повесть Генри Миллера и так можно было бы озаглавить только что прошедшие перед нами дневниковые записи за апрель 1932 года.

Но так ли уж были тихи и спокойны эти апрельские

дни на рабочей окраине Парижа? И что за странный календарь, в котором за февралем сразу же следует апрель? А что же происходило в месяце марте?

Готовя в середине шестидесятых годов первое издание «Дневника 1931–1934 гг.», Анаис не включила туда записи, относящиеся к марту (как мы знаем, она многое исключала и из других частей, но здесь целого месяца как не бывало). Может быть, перешагнувшей шестидесятилетний рубеж женщине не хотелось предстать перед читателем в образе страдающей от неудовлетворенных желаний, мечущейся между двумя мужчинами и одной женщиной, обуреваемой «темными» инстинктами особы. Да ведь еще были живы и муж ее Хьюго Гилер, и главный герой ее тридцатых годов Генри Миллер. Не будем гадать — нет в отредактированном самой Анаис издании этих записей, и все тут!

Но мы попробуем их восстановить. Нам помогут здесь ее рассказы и повести — мы ведь знаем уже, что почти все, что она сделала в художественной прозе, воспроизводят в той или иной степени ее дневники. Нам поможет и самая, пожалуй, богатая фактами биография Анаис, написанная уже упоминавшейся Ноэль Райли Фич, написанная, правда, под определенным углом — The Erotic Life of Anais Nin называется эта книга.

Ну что ж, эротика так эротика. Для Анаис это ведь и в самом деле была очень важная сторона жизни и литературы, ее любимым писателем был Лоуренс. И, надеемся, современного читателя не смутит откровенность некоторых страниц. Она была откровенна в своем дневнике и не стеснялась читать его своим друзьям.

Итак — март 1932 года.

В последние дни февраля, после своего двадцать девятого дня рождения, Анаис осознает, что приспособиться к невыносимому, казалось, разладу между ее «безумством» и ее преданностью мужу можно. Она будет любить его по-своему и одновременно искать другой путь. Она усваивает «аристократический взгляд на секс», отделяющий брак от страсти. И все-таки, сидя как-то вечером рядом с Хьюго, она расплакалась. Она «потерялась» между Генри и Джун и в отчаянии, что не может найти выхода. Ей кажется, что только «животная сила» такого грубого реалиста, как Миллер, может удовлетворить женщину. Но она боится его любви. Видя

ее слезы, верный, преданный Хьюго (сохранивший веру в нее до самой своей смерти — он умрет в 1985 году) нежно обнимает жену. «Он самый зрелый и выдержанный изо всех», — думает она, вспоминая список его благодеяний, составленный ею и занесенный конечно же в дневник. Он обучал ее английскому языку, излечил ее от викторианства, перечитал и поправил ее книгу о Лоуренсе, он дал ее несчастному приятелю Густаво Моралесу тысячу франков, простил ей увлечение Эрскином, позволил ей покрасить волосы, никогда не возмущался ее выбором книг. И у него десятки других добродетелей.

«Я хочу остаться той женщиной, которая никогда не станет вашей», — пишет она Генри 2 марта и добавляет красными чернилами: «Мы будем только писать и разговаривать и раздувать паруса».

Передает письмо (они встретились на этот раз в «Викинге») и уходит. Он остается сидеть за их столиком, смотрит на кресло, с которого она только что встала, поднимает бокал, на котором остались следы ее губной помады…

«Я скажу вам то, что вы уже знаете, — пишет он ей на следующий день. — Я люблю вас… Я болен вами. Мне трудно с вами разговаривать, потому что все время я думаю, что вот сейчас вскочу и сомкну свои руки вокруг вас… Я погружаюсь… меня ничто не может удержать». И еще в этом же письме, на той же бумаге «Викинга» он пишет, как хочется ему пригласить ее в его комнату в «Отеле Сентраль» (это совсем рядом), показать ей свои акварели. А может быть, она знает другое, не такое убогое место, «где я мог бы обнять вас»?

По нескольку раз перечитывает она это письмо, а в следующую их встречу он в полумраке «Викинга» вручает ей еще одно. Остатки ее католического pruderie[19] все еще сдерживают ее, но когда Генри с горечью восклицает: «Только шлюхи могут меня оценить», — она так горячо протестует, что он наклоняется к ней и душит ее возглас долгим поцелуем. А потом, не с вопросительной, а с утвердительной интонацией, говорит: «Идем ко мне».

Так, 8 марта 1932 года наступил «момент истины» в их отношениях. На коротком пути к гостиничному номеру она еще смогла воскликнуть с улыбкой: «А я думала, что мы будем любить друг друга только

письменно!» А дальше она ничего не замечает: ни замызганного коврика на лестнице, ни убогой крохотной комнатенки. Она лишь чувствует, как ласковы и мягки руки Генри и как осторожно и легко проникает он в нее. «Ты ждала какого-нибудь зверства?» — спрашивает он, глядя на нее, лежащую на кровати, укрытую его пальто. Через много лет Анаис признается в своем «Искушении минотавра», что Лилиан (это она) опасалась, что Джой (Генри) окажется похожим на свое поведение и разговоры, — таким же насильником-каннибалом.

Первое, что увидела Анаис, придя в себя, было насупленное лицо Джун в рамке большого фотопортрета. А потом снова — умелые руки Генри и ее тело, послушное его указаниям. Она ощутила свою бесстыдную наготу и поразилась тому наслаждению, которое испытывала, и тому, что воспринимает это как что-то вполне естественное.

Вечером, сидя с Хьюго у камина, она не могла скрыть упоения своим успехом.

И Хьюго, заразившись ее лучезарностью и возбуждением, потянулся к ней. Когда Анаис оказалась под ним, она сомкнула свои ноги на спине мужа: только что полученный урок Миллера не пропал втуне. Хьюго заинтересован, а она чувствует, что ведет себя как предательница, что мир, созданный ею, рушится. Их брак, наоборот, получает некую дозарядку, и Хьюго становится более внимательным к ее запросам. В театре или в гостях он, зная, что ей это понравится, шепчет о своем ощущении: он будто присутствует здесь не с женой, а выводит в свет свою любовницу. По иронии судьбы, именно Генри, излечив Анаис от лихорадки нетерпения, отвел угрозу от ее брака. Она прекратит терзать Хьюго. И пусть у нее будет двое мужчин, раз в ней самой живут две женщины.

Иные женщины невероятно смело и подробно обсуждают друг с дружкой свою сексуальную жизнь. Такими же смелыми и подробными становятся «неочищенные» дневники Анаис. Ноэль Райли Фич поражается раскованности языка своей героини. Анаис пишет, что хорошо, если бы у Хьюго был не такой толстый член, если бы его движения не были такими неумелыми и грубыми. Стараясь работать мягкими красками, она описывает медленные движения Генри, не только вперед и назад, но и в стороны, по кругу, и

непривычный опыт занятия любовью стоя. Генри опытный любовник, а с Хьюго она никак не может испытать предвкушение счастья, не чувствует никакого возбуждения. Он сырой, необученный, полная противоположность Генри. И вот, чтобы расширить кругозор своего супруга и, может быть, побудить его к измене (этим она думает избыть чувство своей вины), Анаис решается на смелый поступок. Хьюго должен увидеть, какое разнообразие поз и жестов скрывается за профессиональным термином «lovemaking»[20].

Дневниковые записи за февраль заканчиваются описанием визита Генри и Анаис (по его предложению) в бордель на улице Блондель, 32, где две проститутки устраивают впечатляющее представление в отдельном кабинете. В фильме Кауфмана «Генри и Джун» эта сцена воспроизведена с другим составом зрителей: Хьюго, а не Генри, наблюдает за упражнениями двух обитательниц борделя, он сидит рядом с Анаис. Так было и на самом деле, так рассказано об этом в «неочищенном» дневнике, страницы из которого стали страницами повести «Генри и Джун». Анаис надеялась, что таким путем она помогает Хьюго расковаться, она объясняет ему, помня уроки Генри в орально-генитальном сексе (большим педагогом по этой части был Генри Миллер!), что им демонстрируют способ 69 (то, что у нас в России без затей именовали «валетом»), хотя и старается притвориться, что сама впервые сталкивается с этим. Но через несколько дней она видит во сне себя и Джун в одной постели, видит, как она раздвигает ноги подруги и припадает губами к ее лону. Разумеется, на следующий день за океан отправляется письмо с рассказом об этом сне, о любви к Джун, и вдобавок Анаис посылает в Нью-Йорк книгу Лоуренса и ту свою накидку, которая так нравилась Джун. Ответа не последовало.

Но что Джун! Генри наполняет собой всю жизнь Анаис. На стене ее рабочей комнаты рядом с фотографиями Лоуренса и Джона Эрскина висят теперь акварели Миллера. Расставшись вечером, они на следующий день встречаются снова и уже могут обменяться письмами о том, как прошло «время в разлуке». Но не только об этом. Их письма и разговоры — обмен мыслями и наблюдениями двух талантливых людей о литературе, об искусстве, они цитируют важных для них писателей, они говорят о своей работе и спорят

о ней, словом, они обогащают друг друга интеллектуально и физически. Взаимные объяснения в любви наполняют их письма и ее дневники.

Тихие дни в Клиши приносят Анаис впервые в жизни радость удовлетворенной чувственности, упоение тем, что она называет «слиянием», а он называет «еблей». Генри как-то сказал ей, что ему хочется «сделать ее немножко попроще», и действительно, язык ее дневников меняется, в нем появляются слова, которые до того не встречались. Как она написала однажды — «ни в одном словаре не нашла я таких слов».

Генри Миллер — Эмилю Шнеллоку (апрель 1932): «Можешь ли ты представить себе, что значит для меня любить женщину, равную мне во всех отношениях, поддерживающую меня и вдохновляющую?… С тех пор как я узнал Анаис, моя жизнь в Париже напоминает счастливый сон. Мне легко работается, я живу здоровой, нормальной жизнью. Я пишу все, что хочу…»

Да, эти дни в Клиши лихорадочны и плодоносны. Книги, мысли, фильмы, визиты в кафе, часы в постели — все это обсуждается, все это записывается. Его пространные, насыщенные письма к ней — первые наброски его будущих книг. Ее письма порождены ее дневником.

Эти дни в Клиши, озаренные мягким светом Фредова обожания и всполохами неистовой страсти Генри, — счастливые дни. Но ей надо продолжить «более дальний путь — в свой внутренний мир». Кто-то должен объяснить ей ее, и объяснить профессионально, научно.

Наступает время посвящения в новую «религию» — психоанализ.

4 мая 1932

Кабинет доктора Альенди. Широкий письменный стол. Лампа, затененная абажуром. Сидя в кресле, я могу видеть только стену с окном, выходящим на улицу. В подлокотник кресла вделана крошечная пепельница. Доктор Альенди сидит позади кресла, и ничто не выдает его присутствия, кроме шелеста бумаги да поскрипывания карандаша.

Его вопросы, идущие из-за моей спины, лишены телесной оболочки, и я могу сосредоточиться только на его словах. Я не могу видеть ни его лица, ни его одежды, ни его жестов. Только слова, я должна сконцентрировать все свое внимание лишь на том, что он говорит.

Д-р Альенди: — Что вы чувствуете после нашей первой беседы?

Анаис: — Чувствую, что вы мне необходимы. Я не хочу остаться одна со всеми моими жизненными проблемами.

Д-р Альенди: — Совершенно ясно, что вы любили своего отца, любили самозабвенно, доходя до аномалии, и вам были отвратительны те причины, связанные с сексом, по которым он покинул вас. В вашем представлении мотивом, побуждавшим его заводить любовниц, уезжать надолго от вас (даже по вполне извинительному поводу концертных гастролей), причиной несчастья вашей матери и даже причиной его окончательного разрыва с семьей был секс. И это могло вызвать у вас смутное чувство противодействия, бессознательный настрой против секса.

Анаис: — Не чувство противодействия, а боязнь пострадать от него или из-за него.

Он зондирует почву, задает вопросы, вдруг отказывается от исследования специфических, казалось бы важных, предположений; теме доминации он предпочитает тему соблазнения и страхов пострадать от любви.

Анаис: — Мне казалось, что мужчины любят только больших, здоровых женщин с огромной грудью. Когда я была девочкой, мать очень беспокоилась из-за моей худобы и вспоминала испанскую пословицу: «Кости только собакам нужны». Я сильно сомневалась в своей способности нравиться, не верила, что кто-нибудь воспылает ко мне большой любовью, так что я принимала то, что мне давали, и принимала с благодарностью. Но надо же было все-таки преодолеть это, и я решила, что стану артисткой, художником, писателем, буду вызывать интерес, зачаровывать, словом, буду привлекать другим. Я вовсе не уверена, что быть красивой достаточно для…

Доктор Альенди прервал меня смешком, он вообще иногда посмеивался и тому, что я говорю, и тому, как я это говорю. Он считает, что у меня есть чувство юмора. Но из моих снов он отбирает только те, что согласуются с желанием быть наказанной или брошенной. Мне снится жестокий Генри. Мужчины — садисты.

Д-р Альенди: — Это идет от чувства вины за то, что вы слишком любили отца. Я уверен, что свою мать вы полюбили позже еще сильней в компенсацию за любовь к отцу.

Анаис: — Это верно. Я была слепо предана ей, невероятно, как я ее любила.

Д-р Альенди: — И теперь вам требуется быть наказанной. И вы наслаждаетесь страданиями, они напоминают о том, сколько мучений вы претерпели от отца. И маленькой девочкой вы очень ревновали отца ко всем женщинам, которых он любил.

Не совсем точными кажутся мне его утверждения. И от его вопросов у меня чувство подавленности, они больно колют меня, словно я на суде перед придирчивым судьей. Нет, анализ мне не помогает. Это слишком больно. Во мне снова просыпаются мои страхи, мои сомнения. Боль существования ничто в сравнении с тем, что чувствуешь при этом выматывающем допытывании.

Анаис: — Мне не верится, что у меня боязнь мужчин. Я всегда была очень впечатлительна и легко откликалась… Только мой романтизм, жажда настоящей любви уберегли меня от множества соблазнов.

Доктор Альенди попросил меня расслабиться и рассказать ему, о чем я сейчас думаю.

Анаис: — Я анализирую сказанное вами и не согласна с вашей интерпретацией.

Д-р Альенди: — Вы делаете, стало быть, мою работу, пробуете быть психоаналитиком, стать мною. Вы когда-нибудь испытывали желание превзойти мужчину в его деле, добиться больших успехов?

Анаис: — Вовсе нет! Я так помогала моему брату, жертвовала, чем могла, ради его карьеры музыканта. А теперь помогаю Генри, делаю для него все, что могу, только б ему лучше работалось. Даже машинку свою ему отдала. Так что, я думаю, здесь вы ошибаетесь.

Д-р Альенди: — Может быть, вы из тех женщин, которые мужчинам — друзья, а не враги.

Анаис: — Даже более того, я не так хочу сама стать художником, как быть подругой, женой художника и помогать ему.

Однако были проблемы, от исследования которых доктор

Альенди уклонялся. Но всякий раз, когда он затрагивал тему уверенности в себе, он видел, какое смятение чувств вызывает это во мне. Я лежу, откинувшись в кресле, под напором боли, отчаяния, безнадежности. Доктор Альенди мучает меня. Я плачу, у меня нет сил. Пора уходить отсюда. Я встаю и оказываюсь лицом к лицу с ним. Его светло-голубые глаза смотрят ласково. Ему жалко меня. Он говорит: «Вы очень страдаете». Но мне не нужна его жалость. Мне нужно, чтобы он восхищался мною, думал обо мне, как о единственной женщине.

Ухожу от него и погружаюсь в мечтательное состояние. Если за черным китайским занавесом он выглядел могущественным магом, то на свету он превращался в располагающего к себе, приветливого, милого доктора. Это кажется каким-то многозначительным символом: войти в его дом, ждать его в темной приемной, сидеть в темной библиотеке, а потом, миновав эти мрачные, фантастические, полные страха пространства, оказаться средь белого дня, в чистом ухоженном саду на тихой улочке.

Д-р Альенди: — Почему вы заплакали в прошлый раз?

Анаис: — Я поняла, что кое-что из того, что вы говорили, верно.

Меня тошнит от психоанализа. Я бы предпочла рассказывать доктору Альенди о дне, проведенном с Генри и Фредом, о том, как Фред заплакал, когда я сказала, что возьму на себя все заботы о Генри. Но…

Я послушно приступаю к сеансу и сразу же чувствую, как растет во мне сопротивление этому исследованию.

Д-р Альенди: — Вы меня ненавидите за то, что я заставил вас плакать?

Анаис: — Нет, так, наверное, и надо. Я поняла, что вы сильнее меня.

Время идет, и я чувствую, что он заставляет меня осознавать все препятствия и трудности, о которых я легко забыла бы, если бы он позволил; так что суть его действия заключается в том, что он снова пробуждает во мне прежние страхи и сомнения. И тут он напоминает, что при первом же проявлении жестокости со стороны Генри я хотела отказаться от его дружбы.

Всякий раз, когда доктор Альенди велит мне закрыть глаза и расслабиться, я приступаю к своему собственному анализу.

Теперь он пробует заняться расщеплением личности, образное, поэтическое письмо противопоставить сугубой реалистичности дневников. Ага, наконец-то он начинает чувствовать важность моей работы. А я между тем говорю себе, что он совсем мало рассказал мне из того, чего бы я уже не знала

и о чем бы уже не написала. Нет, я не совсем права: все-таки он прояснил для меня идею виновности, виновности и наказания.

Уклоняюсь от дальнейших его вопросов. Он мнется. Он не может найти ничего определенного. Высказывает то одну, то другую гипотезу. К тому моменту я снова готова сдаться; меня жутко измотала прошлая ночь (можно было бы и пропустить сеанс). Полагала, что разум мой будет менее настороженным, более податливым, менее скованным. Итак, когда он выясняет мое отношение к его книгам, у меня мелькает озорная мыслишка, что доктор-то ждет, что я заинтересуюсь скорее им, чем его книгами; но я не стала играть в эту игру, раз уж понимала, что это игра. Но все же мой интерес к его книгам был искренним. И еще я сказала ему, что больше не буду заботиться о том, чтобы произвести на него впечатление, стараться ему понравиться. Я смирилась с тем, что он мне нужен.

Анаис: — Сейчас я чувствую себя менее уверенной, чем всегда. Это нестерпимо.

Генри никогда не занимается анализом, никаких исследований, никаких попыток вникнуть и понять. Он говорит: «Ты заметила мою любовь находить недостатки, критиковать, высмеивать. Тем не менее уверяю тебя, меньше всего мне хочется выискивать все это в тебе». Звучит парадоксально, потому что Генри кажется одним из тех, кто не стремится осуждать других и другим не позволяет судить о себе. Человек вообще полон противоречий.

На кухне в Клиши Генри моет посуду. Мы с Фредом занимаемся сушкой. Генри в расстегнутой рубашке, костюм, подаренный ему, сброшен — слишком тесен. Обшлага рубашки обтрепаны. Когда он сбрасывает мусор в бачок, ему не удается скрыть смущенного выражения своего лица. Он стыдится наведенного им порядка, своего умения мыть посуду, убирать кухню. Он говорит: «У Джун это восторга не вызывает, она считает, что подлинного художника все это заботить не должно. Ей по душе королевский беспорядок».

Должна признаться, что я и сама веду себя в этом вопросе подобно Генри, но возмущение Джун домашними заботами меня удивляет.

— Я преувеличивал бессердечие Джун, ее порочность, — сказал Генри, — потому что меня интересовало зло. Добро я считаю само собой разумеющимся. Но тут есть одна закавыка: нет в мире подлинно злых, порочных людей. Джун порочна не по-настоящему, она не подлинное зло. Фред прав — а, Фред? Джун позарез хочется быть порочной. Это первое, о чем она говорила мне в тот вечер, когда мы познакомились. Ей надо было, чтобы я

принимал ее за роковую женщину. А меня вдохновляло Зло. Меня, как Достоевского, захватывала эта проблема.

Жертвы, принесенные Джун Генри. Было ли это действительно жертвенностью, самоотречением, бескорыстностью или же просто романтическими жестами, призванными окрасить поярче ее личность? Смиренно исполнять долг жены Джун отказалась. Она сотворяла великолепные, рассчитанные на эффект сцены преданности и преклонения. Стиль «пламенеющей готики». Выцыганивала для него деньги, устанавливала нужные знакомства и прочее. Но покровительствовала она Генри как-то с перерывами. А в промежутках он мог помереть с голоду. И все равно она настаивала, чтобы он больше не служил. Она намеревалась содержать его.

— Что ты так свирепо набрасываешься на ее недостатки? — спросила я Генри. — Почему почти не пишешь о ее артистическом таланте, блистательном безрассудстве, о ее потрясающей щедрости?

— То же самое мне и Джун говорит. Повторяет все время: «А ты забыл то, ты забыл это. Ты только плохое помнишь».

— А мне она сказала, что ты просто зачарован пороком. Вот она и старается сочинить себе порочную жизнь, чтобы тебе было интересно.

Я не смогла заставить себя признаться, что бывали моменты, когда меня тянуло отречься от своей добро порядочности и зажить богатой, насыщенной жизнью, чтобы было что рассказать; чтобы завязывались отношения, происходили происшествия, приключались приключения. Я уже понимаю, как может быть заразительно это стремление к полной жизни. Когда я иду теперь по Парижу, я вижу и чувствую куда больше, чем прежде, откровения Генри открыли мне глаза.

Но все эти фантазии рассеивались, когда я заставала Генри в самом серьезном настроении. Тогда он просил меня засучить рукава и приняться с ним за работу над приведением в порядок его книги. А Фред в это время писал свою.

Генри склонен к чрезмерностям, хватает через край, так развернется иногда, что легко может заблудиться. Я в состоянии увидеть, где у нега ненужные, никому не интересные подробности, где он перегибает, где сбивается на невнятицу. Я пишу строже, скупее, стиль мой более уплотнен, и это ему помогает.

Джун нередко перебивала его творческое настроение, тащила его в суету существования, отодвигала от него необходимый ему процесс осмысления, слепила его глаза блеском движения, театральными эффектами. Генри клял ее, но все же говаривал:

«Джун — интересный характер».

Анаис: — Сегодня я прямо-таки вас ненавижу. Я против вас.

Д-р Альенди: — Почему же?

Анаис: — Я чувствую, вы отняли у меня и ту маленькую уверенность, которая еще у меня была. Исповедуясь вам, я ощущала себя униженной. Я редко кому исповедовалась.

Д-р Альенди: — А почему вы не исповедовались? Вы мне рассказывали, что были скрытной, сдержанной и как раз именно вам доверялись люди. Они поверяли вам свои страхи и сомнения. А сами вы на это не решались. Вы боялись, что вас будут меньше любить, если узнают правду?

Анаис: — Именно так. Я пряталась словно в раковину, потому что хотела быть любимой. А если бы я выставила на обозрение подлинную Анаис…

Д-р Альенди: — А вы не размышляли о том, что вы чувствовали, когда человек открывал вам свою душу? Вы после этого меньше его любили?

Анаис: — Нет, напротив. Я чувствовала симпатию к нему, сострадание, он мне становился понятнее и ближе.

Д-р Альенди: — Когда-нибудь вы пробовали представить себе, какое бы облегчение почувствовали, держись вы с другим человеком совершенно открыто и естественно?

Анаис: — Да, иногда я чувствую, как напряжены люди друг с другом.

Д-р Альенди: — Все же, чего вы так сильно боитесь? Ну-ка, расскажите мне, давайте взглянем на это смело. Самый худший из ваших страхов?

Анаис: — Больше всего я боюсь, что люди узнают, что я хилая, так и не ставшая взрослой женщина, что я эмоционально ранима, что у меня маленькая, как у девочки, грудь. Вот я и прячу это под моей интеллектуальностью, рассудительностью, здравым смыслом, заинтересованностью в других людях, под своим сочинительством, под начитанностью: я прячу женщину, а выставляю на вид только человека искусства, исповедника, друга, мать, сестру. И уж совсем я стала несчастна, когда узнала женщину, представившуюся мне моим идеалом женщины, — Джун, с низким голосом с хрипотцой, с ее сильным и крепким телом, с ее энергией и стойкостью, Джун, которая может всю ночь оставаться на ногах и пить до утра.

Д-р Альенди: — Неужели вам не ясно, как много женщин завидуют вашим линиям? Вашему изяществу? Как много мужчин считают женщину-девочку самым привлекательным типом женщин?

(Уверения такого рода я получала не раз, но они меня не

убеждали, хотя в давние времена, когда я была очень популярной моделью художников, я им верила. Я понимала, что он должен будет найти более основательный способ излечения моей пошатнувшейся уверенности.)

Доктор Альенди удивлен тем, что я так мало уверена в себе.

Д-р Альенди: — Для психоаналитика это ясно как божий день. Даже по вашему внешнему виду.

Анаис: — По моему внешнему виду?

Д-р Альенди: — Ну да. Все ваши одежды, ваша походка, то, как вы сидите, как стоите — все это чрезвычайно соблазняюще выглядит, а ведь только люди неуверенные постоянно ведут себя так и так одеваются, словно им надо непременно соблазнить кого-то и очаровать.

Мы оба рассмеялись, и я сразу успокоилась.

Я стала рассказывать о страсти моего отца к фотографированию и как он постоянно фотографировал меня. Он любил делать снимки во время моего купания. Я всегда была нужна ему обнаженной. Восхищаться мною он мог только через глазок фотокамеры. А глаза его были почти скрыты толстыми стеклами очков (у него была сильная близорукость), а потом линзами фотоаппарата. Сколько же раз и в скольких местах, до самого его разрыва с нами, позировала я для его бесчисленных снимков. И это было единственное время, когда мы бывали с ним одни.

Позже, когда я выступала с испанскими танцами в Париже, мне показалось, что он сидит в зрительном зале, бледный и злой. Я остановилась в середине танца, застыла и с минуту была уверена, что не смогу продолжать. Гитарист решил, что у меня обычный для новичков приступ страха перед сценой, и стал подбадривать меня возгласами и прихлопами. Потом, при встрече с отцом, я спросила его, был ли он на том концерте.

— Нет, меня там не было, — ответил он. — Но если бы я там и оказался, был бы очень недоволен. Леди не должна становиться танцовщицей. Танцевать на эстраде — это для проституток, для профессионалок. Я бы не разрешил тебе подняться на сцену. Да ты вдобавок и нот не знаешь.

Я ему заметила, что у меня абсолютный слух и что я могу все выучить по слуху.

Доктор Альенди предположил, что меня, возможно, тянуло к отцу тогда, что я его тогда хотела.

Д-р Альенди: — Вы, должно быть, желали тогда в подсознании танцевать именно для него, очаровать его, соблазнить. И, когда до вас дошло, что танец — это акт совращения, вы почувствовали вину, вину, которая и помешала

вам выбрать карьеру танцовщицы. Танец сделался синонимом совращения собственного отца. Вы должны были ощутить себя виноватой из-за его любования вами в детстве, его восхищение могло пробудить в вас женское желание понравиться ему и отнять его у его любовниц.

Значит, это было чувство вины, отрезавшей от меня ту жизнь, которую я хотела вести. Ведь сразу же после концерта мне предложили ангажемент в Испанском балете Гранд-Опера. Я могла бы путешествовать, со мной бы носились, у меня была бы полная приключений, густая, телесная, многоцветная жизнь.

Мог ли доктор Альенди на самом деле спасти меня, освободить от отцовского ока, от глаза камеры, который был мне не по душе, которого я всегда боялась как «разоблачителя». Что можно было во мне разоблачить? Желание очаровывать, кокетство, тщеславие, стремление к обольщению?

Доктор Альенди говорит, что я тогда возжелала своего отца. Желала поразить его. И что сегодня, когда я хочу очаровать, поразить и завоевать кого-нибудь, я в действительности этого не хочу, я этого боюсь, я чувствую себя слишком виноватой.

Анаис: — А то, что я пишу! Писать-то я не боюсь?

Д-р Альенди: — Здесь же вы не выпячиваетесь со своим желанием очаровать мужчин, ваша работа, ваше творение — нечто, уже взятое у вас. И сотворяется это в одиночестве, не на глазах общества. Здесь какая-то дистанция и объективность. Впрочем, я не сомневаюсь, что, преуспей вы в этой области, вы бы точно так же махнули рукой и отказались от этого.

И тут я вдруг вспомнила, что отец мой тоже писал, хотя у него была другая профессия. Он написал две книжки, одна называлась «Ради искусства», другая, тоже по эстетике, — «Мысли и комментарии». Я видела, как он работал над ними, а мать их перепечатывала на машинке.

О чем мы еще говорили в тот день с доктором Альенди, я забыла.

— Смотрю на тебя, Анаис, наблюдаю, — говорит Генри, — ты так стремительно расцветаешь, что скоро будет исчерпано все, чему я могу тебя обучить, и ты найдешь другого друга. Ведь у твоей жизни не может быть никаких пределов! Я и сейчас вижу, как ты прекрасно плаваешь по этому морю. Ты знаешь, если бы кто-нибудь еще делал то, что делаешь ты для своей матери и брата, я бы назвал такого романтическим дураком, а у тебя все это выходит естественно и правильно. Чертовски правильно! Вот твой дневник, например, он же — настоящее сокровище. Ты говоришь, что у меня богатая жизнь, но в ней просто полно

всяких событий, случаев, людей, разных житейских загогулин. А по-настоящему богаты вот эти самые страницы, написанные тобой на таком скудном материале.

Генри много расспрашивал о моем ревностном служении матери и брату. А когда начинал говорить, что пора мне перестать стелиться перед ними и жить в свое удовольствие, я молчала.

Вот он говорит о том, как много я значу для его развития. Он чувствует, как становится глубже. «С тобой ведь можно разговаривать. Это такое счастье — уметь разговаривать!»

Он в первый раз становится предметом изображения и ужасно доволен, что изображен так полно. «Дневник настоящего человека — это всегда чудо».

Вот была бы удивлена Джун, войди она сейчас послушать, что мы говорим о ней. Фред лежит на кровати и читает, Генри сидит за письменным столом, а я уселась на полу. Мы беседуем тихо-тихо, отделавшись от всякого словесного волшебства и драм, переговариваемся, как искусные ремесленники за работой. Джун сразу же разорвала бы тишину, разметала бы страницы Генри на столе, листки моего дневника, заставила бы нас всех переключиться только на нее, поклоняться ей и ненавидеть друг друга. Джун разбросала бы угли в той топке, где рождаются романы. Не пишутся, а рождаются.

Как мне интересен порок! Я хочу дионисийской жизни, с пьянством, страстями, хаосом. А вместо этого сижу на кухне и тружусь вместе с Генри над портретом Джун, пока Фред готовит тушеное мясо.

Мое смутное элегическое томление стало острым и нестерпимо ясным желанием. Мне нужна Джун.

Никогда не представлялось мне так отчетливо, как сегодняшней ночью, что в моем писании дневника есть что-то порочное. Я вернулась домой после измучивших меня великолепных разговоров с Генри в кафе; прошмыгнула в спальню, задернула занавески, подбросила поленьев в камин, закурила сигарету, вытащила дневник из-под туалетного столика — места моего последнего тайника, накрыла его шелковым одеялом и приготовилась лечь в постель. У меня было ощущение, что я курильщик опиума, готовящийся к очередной трубке. Вот он, момент, когда я начну вновь переживать свою жизнь, переживать, как сон, как миф, как нескончаемый рассказ.

Я никогда не успеваю перепечатать очередную порцию, и услужливая Маргарита, которая к тому же нуждается в работе, помогает мне. Мы сидим за машинками в разных комнатах, а после подолгу разговариваем в саду. Она рассказывает мне о

своей жизни. Ее отец был директором коллежа в провинции и обращался с ней очень строго. Он требовал безупречности. Она пробует сейчас жить одна. Отец так затиранил ее мать, что вселил в Маргариту страх перед любовью и супружеской жизнью. Доктор Альенди помогает ей. Да и перепечатка моего дневника, кажется, тоже не без пользы для нее, она видит, что когда я бываю напугана, то решаюсь на такие поступки, от которых она шарахается. Она занимается какими-то исследовательскими работами, роется в библиотеках, но не хочет обсуждать предмет своих изысканий. В Маргарите полно секретов.

Я доверяю доктору Альенди, щедро делюсь с ним воспоминаниями о детстве, цитирую ему из моих ранних записей совершенно недвусмысленные фразы насчет моего отца. Так проясняется теперь моя любовь к нему и, как следствие, чувство вины. В одиннадцать лет я написала: «Я чувствую, что не заслужила рождественских подарков». Я перестала верить в Бога, потому что он не сотворил чуда и не возвратил мне отца к моему тринадцатому дню рождения. Я молилась Ему об этом, а Он мне никогда не отвечал. Свой дневник я начала писать в одиннадцать лет на корабле, увозившем нас в Америку, ради отца, чтобы рассказать ему, каково мне вдали от него. Я даже хотела послать тетрадки дневника отцу, но мать не позволила, сказала, что они могут затеряться в пути. Когда во время мессы я причащалась, я воображала себе, что не Христос входит в мое сердце, как в свою комнату, а отец. Я понимала, что потеряла не только отца, но и блеск жизни утратила, лишилась музыки, музыкантов, интересных гостей в доме, престижа, европейской жизни, с которой не могла сравниться наша жизнь в Америке с убогим бесцветным окружением и непрестанными стараниями матери содержать нас более или менее прилично.

Обсуждали финансовые вопросы, и я сообщила доктору Альенди, что из-за стоимости визитов к нему вынуждена буду посещать его не чаще раза в неделю. Тогда он не только уменьшил вдвое свой гонорар, но и предложил мне в счет оплаты поработать для него. Он подолгу для своих исследований просиживает в библиотеках, и в то же время ему необходимо переписать несколько своих статей. Я была польщена. В своем таланте писателя я ничуть не сомневалась. Доктор Альенди слушает мои рассказы о Джун.

Анаис: — Джун для меня идеал того, какой должна быть женщина. Я слишком худа. Несколько лишних фунтов веса очень помогли бы моей уверенности в себе. А то я словно девчонка-подросток. Доктор, вы не могли бы к лечению психоанализом добавить какие-нибудь медицинские средства? У меня такие

маленькие груди.

Д-р Альенди: — Они что у вас, совершенно не развиты?

Анаис: — Нет.

И, совсем запутавшись в объяснениях, говорю: «Знаете, доктор, проще всего, если я их покажу вам».

Так я и сделала. Доктор Альенди рассмеялся моим тревогам.

Д-р Альенди: — Истинная женственность! Небольшие, но прекрасно сформированы и в полной гармонии со всей фигурой, прелестной фигурой, может, ей стоит прибавить всего несколько фунтов. Нет, вы по-настоящему превосходно выглядите, да еще к вашей внешности добавить вашу воспитанность, умение вести себя, вашу тонкость и изящество.

Тут рассмеялась и я. Но от этого испытания руки у меня похолодели, сердце билось, а лицо горело. Доктор Альенди подивился моей чрезмерной самокритичности. С чего бы это началось?..

Я подарила ему экземпляр моей книги о Лоуренсе, а он мне две свои книжки: «Проблема судьбы» и «Капитализм и сексуальность».

— Вы помогаете мне жить, — сказала я ему, а потом призналась, что раньше доверяла только Генри и Фреду, рассказала, какие великолепные письма писал Генри о моих детских дневниках.

Доктор Альенди отметил непроясненность моей индивидуальности. Словно она окутана туманом или вуалью. Он говорит, что у меня два голоса, один будто у девочки перед причастием, робкий, почти не слышный, второй — глубокий, низкий. Этот голос возникает, когда я очень уверена в себе и совершенно доверяю собеседнику. В таком состоянии я могла бы петь вместо Дины, знаменитой певицы-негритянки. Доктор Альенди считает, что я создала себе совершенно искусственную личность, этакий щит. И затаилась за ним. Я выработала стиль, манеры, свою приветливость, веселость, обаяние и прячусь внутри всего этого сооружения.

Непомерное горе обожгло меня в девятилетнем возрасте (уход отца и потеря блестящей европейской жизни), навсегда закрыло передо мной легкую, светлую, беспечную дорогу. Я стала искать способы возмещения. Раз мой отец ушел от меня, значит, он меня не любит, а не любит он меня, потому что я непривлекательна и любви не заслуживаю. И я собралась заинтересовать его другими путями, приготовилась стать интересной. Сквозь уныние и неуверенность в себе прорастала я из глубины. Как куртизанка я уже потерпела полную неудачу в девять лет, так что надо было испробовать другие подходы к

мужчинам.

Но почему я не удовлетворена своими успехами потом? Да потому что с самого начала истинное мое желание было в том, чтобы жить среди удовольствий, роскоши, лести, путешествовать и попадать в приключения.

Я попросила доктора Альенди помочь мне, как помогает обычный врач, не психоаналитик. Была ли эта просьба совершенно искренней? Надо ли было мне показывать ему мои груди? Хотела ли я проверить на нем свой шарм? Доставила ли мне удовольствие его восторженная реакция? Нужны ли мне его книги?

На самом ли деле доктор Альенди лечит меня?

Часто случается, что Генри несет полную чушь. При этом он взволнован, красноречив, опьянен собственными словами. Он ошалевает от слов.

Летняя жара. Кафе. Генри принес показать мне несколько страниц своей новой книги[21].

Он надеется, что я написала по меньшей мере десяток страниц для своего дневника после наших последних бесед. Но что-то случилось с женщиной с блокнотом. Пусть пишет он сам, я ему разрешаю, а мне хочется погреться на летнем солнце. Слова — дело второстепенное.

Мою первую повесть Генри правит тщательно. Генри — демон, движимый любопытством, постоянно выспрашивающий людей. И он любит прикинуться бессердечным. Может быть, это чисто американская болезнь? Они стыдятся проявлять свои чувства.

«Анаис, на кого ты похожа на самом деле, так это на гречанку. Правда, в тебе есть что-то греческое. Но греки, говорят, люди вероломные. Я так еще и не написал о Джун. А твоя книга истинно превосходна. В ней есть запоминающиеся страницы, они остры и ироничны, а местами очень крепки. Женское писание в большинстве случаев мелко плавает. А вот ты — никогда».

А позже он скажет еще: «Послушай, Анаис, я знаю, что заслуживаю большего, чем Джун. И я ничего не буду изображать, когда она вернется. Ей надо быть страдающей. Это ей на пользу идет. Ты еще увидишь. Я — другой человек. Мне вовсе не улыбается, когда она берет верх надо мной. Это меня унижает».

Генри недостает уверенности. Он чувствует себя неловко в некоторых местах, в некоторых ситуациях, а когда он смущен, он делается резким и обижает людей. Если мы оказываемся в изысканном обществе или встречаем какого-нибудь элегантного человека, или официант выглядит снобом, или сталкиваемся со

знаменитостью, он старается все делать наперекор, и с ним очень трудно.

Мы либо отправляемся в Клиши и обедаем с Фредом, либо сидим в кафе, а то он приезжает ко мне в Лувесьенн.

Иногда, когда Генри становится похожим на гнома, я смотрю на него и вижу ребенка, импульсивного, непоседливого, озорного мальчишку.

А Фред выглядит так, будто кто-то его побил, у него испуганный вид и просящие глаза. Я думаю, он получает большое удовольствие от «твердокаменности» Генри. Ему нравятся карикатуры Генри. Он опускает голову, чтобы спрятать свой смешок. Да, Генри мог бы научить нас обоих, как стать тверже, как смеяться, как меньше проявлять чувства.

Я сбрасываю свою скорлупу. Я люблю эти долгие ночные разговоры в кафе, приход рассвета, сонных рабочих, идущих на работу или попивающих свое белое вино в бистро. Дети собираются в школу. В своих черных фартуках и с ранцами на спине они похожи на навьюченных альпинистов. Я прячу свой красный дневник, но это всего лишь по привычке, какие секреты могу я спрятать, раз Генри читал его. Со мной несколько страниц книги Фреда, они неуловимо нежны, словно написаны акварелью, а на страницах Генри извергается вулкан. А я чувствую себя цветком или плодом. Старая скорлупа сброшена с моего существования. Я живу теперь импровизациями, импульсами, сюрреалистскими причудами.

Серьезные вещи прорастают из всего этого. Идет брожение, и я его ощущаю. Смотрю на рабочих, несущих свои инструменты и сундучки с обедом, и чувствую, что мы тоже работаем, хотя никто из них, взглянув на нас, болтающих за бутылкой вина в кафе, не поверит этому.

Фред и Генри провожают меня на вокзал Сен-Лазар. Поезд, который отвезет меня в Лувесьенн, маленький, разбитый, тряский, прустовский поезд, и в моей голове покачиваются фразы из будущих книг. Образ Генри, разговаривающего с самим собой, Фред пытается задержать меня немного, как священник, желающий дать благословение. Грустные глаза Фреда словно извиняются за грубости Генри, но Фреду невдомек, что я сильный человек.

Образ Генри торчит надо всем, как гигантское изваяние. Генри, наклоняющийся вперед. Его записи на огромных бумажных простынях, на ресторанных меню. А там чего только нет, в этих дьявольских записях: что-то уворованное у других, передергивания, карикатуры, бессмыслица, выдумки, какие-то запутанные выкладки.

Стол в Клиши запачкан вином. Слова Генри заканчиваются каким-то гулом, словно он нажимает на педаль своего голоса и тем самым рождает эхо. Ни одна из его фраз не обрывается разом.

Он сразу же создает вокруг себя климат свободы и расслабленности. Когда смеется, он покачивает головой по-медвежьи. Он может совершенно раствориться в толпе в шляпе набекрень, со своей волочащейся походкой, со своей улыбкой. Он сидит, как рабочий перед своей выпивкой, объясняется с официантом, и каждому становится с ним легко. Простое слово «хорошо» он произносит так, что вся комната начинает светиться. Он весь отдан настоящему времени. И берет все, что дают.

Как-то под вечер Генри приехал в Лувесьенн. Он только что прочитал несколько страниц из моего детского дневника. «Теперь я вижу тебя одиннадцатилетней девочкой». Я занервничала так, словно эта девочка пряталась до сих пор где-то в тайном месте и вот теперь ее обнаружили. Как же мне изгнать эту нечистую силу? А Генри между тем явился предо мной другим, сентиментальным Генри, благоговеющим и напуганным. И тогда я сделалась ироничной, насмешливой, мудрой и стала дразнить его.

И вдруг он спросил: «А черные бумажные чулки все еще на тебе? И где корзинка, в которой лежит дневник?»

Нет от этого лекарства. Я поставила перед ним эту девочку такой живой, что теперь она будет существовать сама по себе.

Генри получил телеграмму от Джун: «Скучаю по тебе… Надо поскорее увидеться» и разозлился.

— Чего ты злишься?

— Не хочу, чтобы она приехала и снова начала меня мучить.

— А я боюсь, Генри, что она приедет и прикончит нашу дружбу.

— Ты ей не сдавайся, сохраняй свой великолепный здравый смысл, будь с ней строже.

— То же самое я могу сказать тебе. Только твоя мудрость не приносит тебе пользы.

— В этот раз все будет по-другому.

Неужели Генри наконец осознал, что он человек подлинного таланта и творческого воображения?

Знаю я все его чертовы выходки, знаю, что он нищенствует, занимает там и тут деньги, попрошайничает, но я знаю того Генри, которого нет в его книгах, которого не знают ни Джун, ни Фред. Я не слепая. Он показал мне другого себя. Когда он прячет под шляпой свои редеющие на макушке волосы, он выглядит как бесшабашный тридцатилетний малый, а снимет шляпу — и вот он лысеющий профессор, серьезный, в очках…

В кухне появляется Фред. Кухонный стол завален

рукописями, книгами, записями. Как только вы сядете к столу, там уж ничего нельзя будет передвинуть. Все трое мы смотрим на карту Европы, и Фред показывает места, где им с Генри хотелось бы побывать.

Я прошу Генри написать что-нибудь в мой дневник.

Он пишет:

«Мне представилось, что я теперь очень знаменитая личность и надписываю кому-то одну из своих книг. Так что я пишу уверенным почерком и малость высокопарно…»

Трехэтажный особняк доктора Альенди с маленьким палисадником перед домом и с садом позади, с кухней на первом этаже, приемной и кабинетом на втором и спальнями на третьем напоминает дом, в котором мы жили в Брюсселе, когда мне было восемь и девять лет. Похож он и на тот дом в Пасси, где сейчас живет мой отец, на тихой аристократической улице, с садовниками, ухаживающими за растениями, шоферами в машинах, поджидающими своих хозяев; на таких улочках не играют дети и сюда не пускают нищих.

Когда я в первый раз подошла к дому, окна были открыты и был виден верх книжных полок. Мне сразу же вспомнились книжные полки в кабинете моего отца в Брюсселе, где я проводила часы, когда отца не было дома. На кресло, в котором я читала, можно было поставить стул и дотянуться до верхних полок с книгами, бывшими для нас под запретом. Тогда я читала Золя, половины я не понимала и долго удивлялась, почему застигнутых взрывом в шахте любовников нашли так тесно сплетенными друг с другом, что не смогли разомкнуть их рук. Или почему дама, которой давали на ночь снотворное Монте Кристо, позже оказалась беременной. Эти белые пятна мне невозможно было заполнить. Но я все равно читала.

Когда мы в первый раз приехали в Париж, мы поначалу сняли холостяцкую квартиру некоего мистера Хансена, американца, уехавшего на лето. Ничего другого мы найти не смогли. Он оставил свою одежду, книги и всякие другие пожитки в чулане. Пытаясь навести порядок, в один прекрасный день я очищала полки и на верхней, в самом темном углу наткнулась на стопку французских книжек в мягких обложках. Я стащила их вниз, просмотрела и поняла, что эти отвратительные рисунки с голыми бабами нельзя держать где попало, а то, не дай Бог, мать или Хоакин наткнутся на них.

Одну за другой я прочитала все эти книжки, оказавшиеся для меня совершенно в новинку. В Америке я ни разу не встречалась с эротической литературой. А здесь были рассказики, купленные у

знаменитых букинистов на набережных Сены. Они меня ошеломили. Я была совсем несведуща до того, как начала читать эти книжонки, но после, наверное, не осталось ничего, чего бы я не знала о сексуальных подвигах. Одни из этих книжек были совсем недурно написаны, другие имели чисто информативный характер, третьи поразили меня настолько, что их невозможно было забыть. Мои познания в эротике поднялись на много ступеней.

И эти книги подействовали на мое восприятие Парижа, которое было до тех пор чисто литературным. Они раскрыли мне глаза, повлияли на другие органы чувств, они сделали меня более восприимчивой, так что предо мной предстали въявь maisons closes, кварталы красных фонарей, проститутки на бульварах, мне стали понятны опущенные посреди дня шторы на окнах, отели с номерами на час, роль парижских парикмахеров (великих сводников), и я согласилась с существованием разницы между любовью и удовольствием.

Далеко было до этого моему первому методу просвещения, когда в Нью-Йоркской публичной библиотеке я читала, чуть ли не в алфавитном порядке, книгу за книгой, и ни одна из них не могла стать мне путеводителем.

Холостяцкие книжки мистера Хансена были иллюстрированы, и многие рисунки были цветными, частью стилизованными под прошлый век, частью выполненными в современной манере. Я познакомилась с высокими сапогами, хлыстами, поясами, черными чулками, штанишками с оборками, альковами, зеркалами в потолке, смотровыми глазками в стенах и другими аксессуарами разнообразной эротики.

В те дни, заметив в незанавешенном окне обнимающуюся пару, я дрожала их дрожью, предвкушая чужое наслаждение. Во мне проявилось такое чутье, что, бывая в гостях, я могла угадать, какие супружеские пары верны друг другу, а какие супруги развлекаются на стороне, и часто даже вычисляла любовницу или любовника. Словно во мне открылось шестое чувство восприятия любовных вибраций и токов между людьми. Я ошибалась редко. Я могла определить присутствие любовного желания, словно sourcier[22].

Я привыкла к виду гостиничных номеров, глубоких альковов, ужинов за полночь, к разнообразию роскоши или к полному ее отсутствию.

Мои знания жизни были заимствованы главным образом из литературы, и не удивительно, что позже, когда я уже вступила по-настоящему в жизнь, «происходящее» иной раз казалось сценами из романов, а не из той жизни, которой я жила, в иных

комнатах я узнавала те, что я уже видела в книжках мистера Хансена.

Книги доктора Альенди, как я могла видеть по их обложкам, касались той же темы, но, увы, классификация отличалась. То, что под заголовками книг из библиотеки мистера Хансена называлось наслаждением, у доктора Альенди характеризовалось как патология, садизм, мазохизм, извращения, аномалии и т. п. Мне было удивительно, как это доктор Альенди, рассматривающий сексуальные привычки своих пациентов лишь как патологию и клинические случаи, сохранил еще интерес к сексу.

Еще и сегодня, входя в любой гостиничный номер, я не могу сдержать дрожь предвкушаемого наслаждения, рожденную во мне знакомством с книжонками мистера Хансена; именно тогда, я думаю, мне стали нравиться проститутки, и я поняла, почему Генри их любит. Изучение этих книжек заполнило белые пятна в романах Золя. Мужчина, встретивший смерть в объятиях проститутки, — врачу с трудом удалось оторвать его от нее… Нет, грошовые романы были куда информативнее.

Я начинаю замечать, как оживляется доктор Альенди, я вижу его теперь и в явно приподнятом настроении. Сначала я поговорила с ним о статье, которую он дал мне править, она показалась мне трудной для понимания. Мне надо было заняться исследованиями о черной чуме, на этом материале он хотел развернуть свою идею смерти. И он подсказал мне простейший путь работы над этой статьей.

Чтение его книг подняло его в моих глазах. Он не поэт, но в нем есть здравый смысл и способность к блестящим догадкам. Особенно в теме судьбы, которая является внутренним делом человека, и потому ее можно изменить, ею можно управлять. Удивительно удобная концепция.

Я рассказала ему свой сон: прекрасно одетая, я нахожусь в огромном зале. Там король, ему хочется танцевать со мной, он влюблен в меня. Он шепчет мне на ухо нежные слова. Я очень счастлива, я смеюсь. Я даже танцую одна, чтобы все видели, как я хороша и как прекрасно умею танцевать. Потом я еду домой в карете, и мое широкое пышное платье еле умещается в ней. И начинается жуткий дождь. Дождевые капли просачиваются в карету, платье мое намокает. Карета движется все медленнее, она уже плывет по воде. Мне хочется назад, в замок. Хотя я ничего не имею против воды.

Доктор Альенди объяснил, что любовь короля означает победу над моим отцом. Движение в воде — это погружение в бессознательное (вода — символ бессознательного), может быть,

воспоминание о внутриутробной жизни.

Я ощущаю себя любимой, плодородной, плодотворной.

Доктор Альенди говорит, что, кажется, мне уже нет в нем нужды. Но он считает своим долгом указать, что, входя в мир Генри Миллера, мир бедности, богемы, жизни как придется, я все более отдаляюсь от мира моего отца, роскоши, светской жизни, эстетичности, покоя, аристократических друзей и т. п.

Но мир Генри — мир искренний. Мне никогда не нравились отцовская суетность, его страсть к роскоши, его салонная жизнь, любовь к титулам, гордость своим аристократическим происхождением, его щегольство и тщательно продуманные знакомства.

20 мая 1932

Концертный зал — белый с золотом, «зал Шопена». Красные плюшевые сиденья стульев. Здесь будет играть мой брат Хоакин. Зал небольшой, и отцу моему захотелось стоять у дверей и принимать гостей, словно он сам устроитель этого концерта. Он понимал, как прореагирует на это моя мать, но не мог устоять против искушения позлить ее, чтобы испортить ей настроение на глазах у публики, в присутствии своих друзей. Все это закончилось тем, что Хоакин отправил ему следующую записку: «Будь любезен, займи свое место так же, как любой другой, иначе я тебя выставлю из зала». Порядок был наведен, но настроение перед концертом у Хоакина испортилось. Он заметно нервничал и, когда вышел к роялю, был бледен и напряжен. Но потом справился с собой и играл блестяще. На него просто обрушились аплодисменты.

Генри сидел на балконе, и я не могла его увидеть. Но я пригласила доктора Альенди, и, хотя музыку ему предстояло услышать не совсем традиционную, он приглашение принял. Когда я увидела его, идущего с женой по проходу, меня поразил его рост, он башней возвышался над всей публикой. Наши взгляды встретились. Глаза у него были грустные, выглядел он очень серьезным и задумчивым, но именно таким он мне нравился; я была тронута тем, что он пришел.

В антракте Генри спустился в зал. Он как-то робко стоял среди толпы. Мы пожали друг другу руки. Он показался мне странным, непривычно сухим и сдержанным. А когда я наткнулась на отца, мы обменялись формальными поклонами и едва заметными улыбками. Уж не доктор ли Альенди внушил мне такую строгость? Но все-таки в тот вечер я ощущала, что во мне сидит по-прежнему перепуганная девочка, хотя женщина Анаис лучезарно улыбалась всему и всем. Зато доктор Альенди выглядел каким-то пришибленным, таким он никогда не бывал в своем кабинете. Его, очевидно, поразило мое вечернее платье, высокая взбитая прическа в локонах, вся моя осанка. А мне хотелось спрятаться под своей бархатной накидкой. Тяжелым грузом казались мне мои рукава с буфами, хотя они и были воздушно-легки. Гипнотическое сияние бесчисленных ламп, множество людей, восторженные похвалы в адрес Хоакина, светская болтовня — я устала от всего этого. Я увидела в дверях холодное, бледное, аристократически надменное лицо моего отца, и все мои детские тревоги пробудились во мне, словно вот-вот, как тогда, разгорится сражение между моими родителями.

(Позже отец признался мне, что он специально напустил на себя такой вид.)

Я вырезала из газеты фотографию доктора Альенди. В машине, по дороге домой, Хоакин укутал меня своим испанским плащом.

Доктор Альенди сказал Маргарите, что я очень интересный субъект, очень восприимчива и живо реагирую на все. Так что я почти вылечилась! Но на концерте я попыталась поразить доктора Альенди тем, что раскрывала перед ним какую-то потаенную часть своего настоящего «я». Во мне все еще есть что прятать. Я все еще не даю каждому узнать меня до конца. А вот Генри я все-таки дала прочитать мою красную тетрадь. Но это в виде исключения. Что-то обязательно должно оставаться тайной, как в случае с Джун.

После концерта Генри написал мне письмо:

«Я был ослеплен, Анаис, твоей красотой. Ты оставалась среди всех, как настоящая принцесса. Ты была инфантой Испании, таких я не увижу больше. Так много разных Анаис ты уже показала мне, а теперь вот еще одну. Знаешь ли, что сказал мне Фрэнкель[23]?

«Я никак не ожидал увидеть женщину такой красоты. Как могла такая женственная, такая великолепная женщина написать книжку о Лоуренсе?» А я разыскивал в толпе твоего отца и думаю, что узнал его. По длинным черным волосам. Он очень похож на Сеговию[24]. Ты принадлежишь к другому миру. И я не нахожу ничего в самом себе, что могло бы тебя заинтересовать. А мне ты кажешься полной фантастикой. И все время откалываешь номера, играешь со мной во всякие жестокие игры».

Наконец-то я закончила статью для доктора Альенди. Надо было перевести его формулы с французского на английский, подобрать цитаты из его книг, скомпоновать его заметки для какого-то американского журнала. Мне пришлось основательно познакомиться с предметом статьи, а так как этим предметом была смерть, самая глубокая и трудная тема в психологии, мне понадобилось немало дней на усвоение материала. Несколько раз я порывалась бросить все и признать свое поражение и просто была счастлива, когда все-таки выполнила работу.

Я принесла доктору Альенди статью и сказала: «Давайте сегодня без анализа. Давайте разговаривать о вас. Я в восторге от ваших книг. Давайте поговорим о смерти».

Доктор Альенди согласился. Потом мы перешли к обсуждению концерта. Он сказал, что отец мой выглядит совсем молодым человеком. А Генри напомнил ему Жоржа Гроса[25].

Мягкий и в то же время… Может быть, Генри — латентный

гомосексуал?

— Статью вы сделали хорошо, — похвалил доктор Альенди, — но почему вы отказываетесь от анализа?

А в самом деле — почему? Оттого ли, что он завоевал мое доверие, оттого ли, что я начала полагаться на него, оттого ли, что я позвала его на концерт из-за боязни скандала между моими родителями?

Д-р Альенди: — Как только вы начали чувствовать свою зависимость, вы заработали, чтобы дать процессу обратный ход и заставить уже меня нуждаться в вас. Вот тогда вам станет комфортно. Вам необходимо чувствовать себя победительницей, потому что вы сама побежденная. Что вы думали обо мне на концерте?

Анаис: — Я удивилась печали в ваших глазах, ведь как-никак вы сделали меня сильной, а тут, среди всей этой публики, вы выглядели совсем неуверенным. И более человечным, как тот, кто порой чувствует себя несчастным.

Д-р Альенди: — Вам нужно было найти мою слабость…

Анаис: — Да ведь быть несчастным — не значит быть слабым! Я люблю всех своих друзей, но когда они в беде, моя любовь вырастает до нежности.

…Чтобы помогать Генри, я экономлю на одежде, на развлечениях, отказалась от садовника, обхожусь менее изысканной едой.

Обрисовываю доктору Альенди жизнь, которую ведут Генри и его друзья. Фред зарабатывает поденщиной в газете, подцепляет на улицах молоденьких девиц, обхаживает их, хочет быть первым. Я рассказываю, как они принимают приглашения на обед от кого угодно, как они берут в долг без отдачи, клянчат, пускаются во все тяжкие, чтобы прожить. Майкл Фрэнкель скупает нераспроданные, ничего не стоящие книжки вроде устаревших безнадежно словарей и справочников и сбывает их монашкам в глухих монастырях на Порто-Рико.

Доктор Альенди начал терзать меня, говоря о контрасте между жизнью Генри и жизнью моего отца — той жизнью, в которой я росла. Мы знались только с талантливыми людьми, с избранным обществом, с музыкантами, писателями, профессорами.

Но мне нравится эта босяцкая жизнь Генри. Она кажется мне подлинной. А что втолковывает мне доктор Альенди? Что я ушла на другой конец света, к противоположному полюсу, забыв о своем отце, отрекшись от его образа и его ценностей? Да мне плевать на все то, чему он придает такое значение: на силу воли, умение управлять своими чувствами, на культ успеха, эстетизма,

на элегантность, на светские, аристократические ценности, на всю эту буржуазность.

Что может сказать мой отец о разнокалиберных блюдцах, чашках с отбитыми ручками, разбросанных окурках, столах, покрытых линолеумом, что он может сказать о мебелишке, тоже разнокалиберной, набранной с бору по сосенке, о жалких диванных подушках, о ковриках, о посуде от Вулворта[26]?

Да, я забредаю с Генри и Фредом или с другими друзьями Генри в такие кварталы, куда никогда не заглянет мой отец, сижу в барах, куда он ни за что не войдет, разговариваю с людьми, которых он не пустит на порог своего дома.

Фрэнкель любит мой дом, мой очаг, идею дома, как основы всего, сердцевины, фундамента. Генри, скиталец по натуре, посмеивается над суждениями Фрэнкеля, что дом — это необходимое условие творчества, что всякие коловращения и блуждания мешают росту и ничуть не расширяют горизонт, но тот чуть ли не со слезами на глазах говорит о том, как он сделает из дома основу всего, как будет туда приглашать интересных людей со всего света, как сделает из них символы.

— Почему символы? — удивляется Генри.

— А потому, что только так можно их удержать. Как идея они уже принадлежат вам, вросли в вашу жизнь. Но как люди во плоти и крови они… ну, как бы это объяснить… Скажем так: современная жизнь не способствует долгой дружбе.

— А зачем их удерживать? — спрашивает Генри. — Я никогда никого не удерживаю.

— О, вы живете без всяких правил, без цели. Такая уж у вас роль — просто плыть по течению, поворачивать в любую сторону, не сверяясь с компасом. Вам и надо оставаться существом сумасбродным, без руля и без ветрил. И ваше сумасбродство по-своему логично. Но кому-то придется за вами присматривать, заботиться о вас…

— Я буду заботиться, — вмешалась я в их разговор.

Что-то во Фрэнкеле, напоминавшее Фауста: маленькая бородка, узкое лицо, средневековый плащ, чувственный рот. У него было хитроватое, лисье выражение лица и хилое тельце недокормыша. Но его слабые руки не знали устали, они указывали направление, они утверждали нечто, вздымая острый указательный палец. Порывистая, страстная жестикуляция актера романтического театра вовсе, казалось, не пристала его тщедушной фигуре, а вот поди ж ты… Он написал эссе о Вертере, вернее, о смерти, да и сам мог быть Вертером. Только ему не требовалось совершать самоубийства. Он уже был мертв. Я никогда не встречала человека, до такой степени иссохшего

изнутри, такого мертвого заживо.

«Расти!» — говорил он, прижав руки к груди в молитвенном жесте, а потом резко тыча пальцем в пространство. Генри никогда особенно не задумывался ни о жизни, ни о смерти. Но он тянулся к людям, чьи концепции сам не разделял. Сначала это был Уолтер Лёвенфельс[27], а вот теперь Фрэнкель. У Фрэнкеля своя система мыслей. Он весь погружен в размышления. В абстракции. По-моему, это ужасно. Я могу понять его стремление к Генри, но стремление Генри к нему мне совершенно непонятно. Фред Фрэнкеля терпеть не может; Фрэнкель постоянно изобличает Фреда в нечеткости мысли.

У меня ощущение, что первоначальный толчок разбил меня вдребезги, я как расколотое зеркало. Все кусочки разлетелись и живут сами по себе. Но живут, не умирают от этого удара (как это случается со многими женщинами, которых убивает измена, которые одевают траур, совершенно отрекаются от любви и больше не идут на контакт с мужчинами), пусть разделенные на несколько сущностей, живущих каждая своей собственной жизнью. И не страх удерживает меня от собирания себя в одно целое. Просто существует женщина по имени Анаис, которая не умеет собрать вместе все части и может слепо поклоняться кому-нибудь, любить и все равно оставаться одинокой и разделенной.

И доктор Альенди видит это, понимает, что есть одна Анаис, живущая интересами домашней жизни в Лувесьенне, исправно несущая свои обязанности, преклоняющаяся перед матерью, перед братом, перед своим прошлым. И есть другая Анаис — завсегдатай кафе, живущая жизнью искусства, не знающая времени, не бегущая прочь от отца, для которой ценности искусства превыше всех других. Потому что писательство для меня — всеохватность безгранично расширяющегося мира.

Может быть, я люблю мать, а отца не люблю.

Они увидели друг друга в первый раз в музыкальном магазине в Гаване, на Кубе. Отец прибыл туда из Барселоны, спасаясь от военной службы. Владелец магазина позволял ему заниматься на фортепьяно в задней комнате. Отец был тогда девятнадцатилетним юношей, темноволосым, голубоглазым, со смуглой чистой кожей, коротким прямым носом, ослепительными зубами и прекрасными манерами.

Моя мать была светской девушкой. Ее отец занимал пост генерального консула Дании в Гаване. Мать считалась когда-то одной из самых блестящих невест Нового Орлеана и происходила из хорошей французской семьи. В Гаване они жили на Малеконе, широком проспекте, идущем вдоль моря. В двадцать семь лет мать все еще не была замужем. Она растила трех своих сестер и

троих братьев, после того как ее матушка сбежала из дому. Она носила англизированное имя Роуз, но все называли ее Роза, на испанский манер. У нее был чудесный голос, и она училась вокалу. В ее сундуках я еще видела платья, которые она носила в молодости: все в кружевах, с длинными кружевными рукавами и стоячим воротничком с двумя тоненькими костяными пластинками, подпиравшим подбородок. Плечи в буфах, талия ужасающе узкая (девушки того времени затягивали друг на дружке корсеты до тех пор, пока не начинали задыхаться, и танцевать они могли только на пустой желудок, такая тугая была шнуровка корсета. Немудрено, что в те времена так часто падали в обморок). На улице мать появлялась с белым кружевным зонтиком. У нее была несколько полноватая фигура и живой темперамент; она была энергичной и неунывающей. В свои двадцать семь лет она еще ни разу не влюблялась, к ней безуспешно сватались богатые и титулованные мужчины, дипломаты и военные.

Делая вместе с сестрой покупки в музыкальном магазине, она услышала звуки фортепьяно. Хозяин разрешил девушкам пройти в заднюю комнату. И они увидели моего отца. Он играл «Лунную сонату» Бетховена, а потом Шопена. Шопена он играл особенно проникновенно и нежно. Для матери моей это была любовь с первого взгляда, а что касается отца, я так и не могла понять. Правда, однажды он мне сказал: «Сестра Розы была покрасивее ее, но в Розе чувствовались сила, смелость, решительность, как раз то, в чем я нуждался».

Молодой человек был приглашен в гости, хотя у него и не было подходящего для визита в такой дом костюма. Моя мать сообщила, что это пришел ее будущий учитель пения. Семья была не в восторге от такого знакомства. Дед мой просто пришел в отчаяние. Но влюбленная девушка стойко выдержала семейный натиск и вскоре стала женой нищего музыканта. Этот род занятий не имел никакого престижа на Кубе, и для семьи этот брак казался позором. Молодые отправились искать счастья в Париж, где через год родилась я. И все-таки мой дед регулярно посылал им деньги, а в качестве свадебного подарка презентовал концертный рояль.

Почти десять лет мои родители не возвращались на Кубу, пока дедушка не заболел раком. Тогда только что родился названный в его честь мой брат Торвальд. Мать подхватила его и меня и поспешила в Гавану, в дом на Малеконе. Отец появился позже и все время пребывания на Кубе посвятил попыткам соблазнить младшую мамину сестру. Я в это время подцепила тифоидную лихорадку и чуть было не умерла. Моя мать была

единственным человеком в доме, который решился позволить доктору сделать ее отцу инъекцию, чтобы облегчить невыносимые страдания. Ее любовь была отважной и решительной.

Хоакин, Роза и другие

В конце этой главки Анаис впервые заговорила о прошлом своих родителей и родных, а мы начнем с этого наш комментарий к записям от 20 мая 1932 года.

Процитируем коротенькую статью из «Музыкальной энциклопедии» (Москва, 1976): «НИН-И-КАСТЕЛЬЯНОС Хоакин (29 сентября 1879–24 октября 1949) — кубинский композитор, пианист, музыковед. С 15-летнего возраста выступал как пианист в Испании, во многих странах Западной Европы и Южной Америки. С 1902 года жил в Париже, где занимался у М. Мошковского (фортепиано) и в «Схола канторум» и у В. д'Энди (композиция). В 1906–1908 годах преподавал в «Схола канторум», в 1908–1910-х — в Берлине. В 1910 году основал в Гаване консерваторию и концертное общество. С 1913 года работал главным образом в Париже и Брюсселе; в 1939 году возвратился на Кубу. Большинство инструментальных сочинений Н. отмечено национальным колоритом, значительный интерес представляют его обработки испанских песен. Н. — видный фольклорист, автор исследований в области старинной испанской музыки. Составитель сборника для фортепиано из произведений испанских композиторов XVI–XVIII вв. Последние годы жизни провел на Кубе, профессор Гаванской консерватории».

Этот краткий «послужной список» — необходимое, на наш взгляд, дополнение к тому, что уже рассказала и еще расскажет о своем отце. А вот мать Анаис — Роза Нин-Кульмель (1871–1954) такой блестящей музыкальной карьеры не сделала. В Европе она иногда выступала вместе с мужем в концертах, но, переехав после развода в Нью-Йорк, она через несколько лет увидела, что концертная деятельность в Америке еле позволяет сводить концы с концами. Ей необходимо было вырастить троих детей, и она решила зарабатывать, организовав торговлю готовым платьем преимущественно для состоятельных кубинцев Нью-

Йорка. А потом — заботы о детях, беспокойство по поводу музыкальной карьеры Хоакина-младшего (она удалась, и он стал, пожалуй, не менее известным, чем его отец), ярое неприятие образа жизни дочери (это уже в Париже). Только и было у этой энергичной и жизнелюбивой женщины счастливых лет что первые годы жизни с любимым, хотя и ветреным супругом…

Анаис — семейное имя Кульмелей, так звали и тетку и бабушку со стороны матери. Анаис Вордигё (в замужестве Кульмель) была лихой женщиной: в далеко не юном возрасте, будучи матерью семерых детей, она бросила их и мужа, совершив романтический побег с одним из своих многочисленных любовников.

Муж этой отчаянной бабушки, патриарх семейства Торвальд Кристенсен, прибавил к своему имени вторую фамилию Кульмель, когда в 1891 году прибыл на Кубу из Дании (поработав на датской дипломатической службе во Франции, на Гаити и в Новом Орлеане). Оставшись без жены, он с помощью старшей дочери Розы сумел вырастить своих детей, дочерей (за исключением одной) выдал удачно замуж, а сын его и тезка Торвальд Кульмель унаследовал в двадцатидвухлетнем возрасте после смерти отца в 1907 году его должность. Добавим еще, что и дед Анаис и мужья ее теток были людьми весьма состоятельными.

25 мая 1932

Письмо от моей соседки, мадам Пьер Шаро, чей муж в 1931 году построил в Париже первый дом из стеклянных кирпичей.

«Я только что дочитала вашу книгу о Лоуренсе и должна совершенно по-другому взглянуть на вас. Вы, казавшаяся мне женщиной-ребенком, оказались способной на такое глубокое суждение (что редко случается с женщинами вообще и с молодыми женщинами в особенности), что просто трудно поверить, что так может чувствовать молодая очаровательная женщина, что так же непроизвольно, как вырвались у меня эти слова благодарности, она может крикнуть всему миру, может быть, только тем, кто считают себя художниками: «Я понимаю!» Если бы Лоуренс мог прочитать вашу книгу! Этот ваш крик заглушает, пусть хоть на момент, собак, облаивающих огромного писателя…»

…Поздняя ночь. Я в Лувесьенне. Сижу возле камина в своей спальне. Опущены плотные шторы. И комната кажется накрепко вросшей в землю, укорененной в нее. Слышен запах мокрых деревьев и сырой травы. Ветер заносит эти запахи через каминную трубу. Стены толстые, толщиной в ярд, и в них, над кроватью, вделаны книжные полки. Кровать широкая и приземистая.

Генри называет мой дом лабораторией души.

Войди в эту лабораторию души, где каждое чувство просвечено рентгеновскими лучами доктора Альенди и видны все составляющие, все изгибы, все шрамы души, которую несет поток жизни. Войди в эту лабораторию души, где все случаи занесены в дневник, проанализированы, чтобы доказать, что каждый из нас глядится в искажающее зеркало и кажется себе то слишком огромным, то слишком маленьким, слишком жирным или слишком тощим; каждый, даже Генри, считающий себя свободным, беспечным, ничего не боящимся. Войди туда, где тебе откроется, что судьбой можно управлять, что нет нужды оставаться в рабстве у ран, нанесенных детской впечатлительностью, что нет несмываемого клейма на твоей личности. И тогда обманное зеркало разлетится вдребезги и ты ощутишь себя цельностью, и ты познаешь радость.

И все это совершается доктором Альенди. А потом плоды его анализа, его исследований я бережно несу домой и процеживаю свой дневник, избавляя его страницы от посторонних примесей, от неверных представлений. И затем осторожно, поэтично,

артистически стараюсь пересказать это Генри. И до него порой это доходит, если нет в моих рассказах клинического запаха, нет обыденного жаргона психоаналитиков. Многое он пропускает мимо ушей, но, когда рассказ должным образом расцвечен, приправлен, драматизирован, ему интересно. И тогда, так же, как я рассказываю доктору Альенди мою жизнь, Генри рассказывает мне свою.

Замечание в скобках

Так прорисовываются контуры «Черной весны» — второй части автобиографической трилогии Генри Миллера. Если первая, «Тропик Рака», целиком посвящена жизни автора в Париже начала тридцатых годов, то «Черная весна» — это возврат во времена детства, отрочества, юности. На написание этой книги Миллера подтолкнула Анаис. Увлеченная психоанализом, она настаивала на том, чтобы Генри записывал воспоминания своего детства — первые друзья, первые влюбленности, первые страхи, первые крушения надежд. Эти записи и легли в основу «Черной весны», книги, которую Миллер называл «книгой Анаис» («Тропик Козерога» стал «книгой Джун»). На форзаце «Черной весны», вышедшей в 1936 году в Париже в издательстве «Обелиск-пресс», стояло посвящение. Эпиграфом автор избрал изречение Мигеля Унамуно: «Могу ли я быть таким, как представляю себя я сам, — или каким видят меня другие? Именно тут эти строки становятся признанием существования моего неизвестного и непознаваемого «я», которое неизвестно и непознаваемо мной самим. Именно тут я творю легенду, в которой должен себя похоронить».

Мужчине не дано знать того одиночества, которое знакомо женщинам. Он лежит себе одиноко в утробе лишь для того, чтобы набраться сил, кормится потихоньку, а потом поднимается и выходит в мир, где его ждут работа, сражения, искусство. Он не одинок. Он занят делом. Женщина тоже занята, но она ощущает себя порожней. Чувственность для женщины не только волна наслаждения, окатывающая ее, не только электрический разряд от контакта с другим телом. Когда в ее утробе находится мужчина, она чувствует себя заполненной, и потому каждое любовное слияние для нее — это впуск мужчины внутрь себя, акт

рождения и возрождения, вынашивание ребенка, мужчины вынашивание. Мужчина находится в ее лоне и возрождается каждый раз по-новому с желанием действовать и быть. Но высший пик наслаждения для женщины — не роды, а минуты, когда мужчина все еще остается в ней.

…Генри, Фред и я в кафе. Разговаривали, выпивали, спорили, рассказывали истории, пока не погасли уличные фонари, не растаяла ночь и прозрачный, робкий, окрашенный сиеной не возник в окнах рассвет. Рассвет! Я повторяю, рассвет. Генри полагает, что рассвет сам по себе — всегда новая жизнь. А я не могла объяснить, что почувствовала. Но в первый раз не ощущала в себе непреодолимого побуждения бежать; в первый раз предавалась братству, слиянию, доверчивости без внезапно ощутимой необходимости обратиться в бегство. Всю ночь я пребывала там, не испытывая желания резко обрубить все, без болезненного сознания разъединенности, постоянной нужды в своем собственном мире, невозможности остаться вне, в тот или иной момент отрешиться от всех. В тот раз такого не было; рассвет пришел как первый пролом в моем мучительном неумении приспосабливаться. (Единственный способ, который помогал мне скрыть от самой себя эту вечную драму разлада, — сослаться на часы. Пора уходить, именно отсюда и сейчас я должна уйти, потому что так тяжко для меня это общение, так напряженно я себя чувствую, с трудом терплю эту длительную пытку.) Я никогда не понимала, что происходит. На вечеринке, делая визит в какой-нибудь дом, за игрой, в кино вдруг возникала тревога. Я не могу больше выдерживать роль, казаться одной из них, звучать в унисон. Где же выход? Только в бегстве. В немедленном бегстве. Было ли это неумением приложить усилия, чтобы убрать препятствия, снять барьеры, раздвинуть стены? Но вот тихо подкрался рассвет и застал меня сидящей вполне уютно с Генри и Фредом, и это был рассвет освобождения от безымянного врага. Ведь к полуночи я всегда превращалась в одинокого, отрешенного странника.

Это бывало так, словно я оказывалась чужестранкой в незнакомой стране и меня там радушно принимали, и я чувствовала себя как дома, и участвовала во всех праздниках, присутствовала на крестинах, свадьбах, похоронах, меня приглашали на банкеты, на концерты, на дни рождения, и вдруг мне становилось ясно, что говорим мы на разных языках, и вообще все это лишь вежливая игра.

Что же мешало мне, не впускало туда? Сколько раз меня вводили или я входила сама в полную людей комнату с искренним желанием смешаться с ними, стать одной из них. Но

страхи мои оказывались сильнее моего желания, и в результате этой борьбы чувств я убегала. Только однажды я дала процессу обратный ход и тогда испытала, каково быть отторгнутой и оставленной теми, кто болтал и смеялся, вполне довольный общением друг с другом. Да, из этих заколдованных кругов я выходила сама, но выходила потому, что чувствовала, что круг этот как бы обнесен электрической оградой против воров и я не могу пересечь эту линию, не могу пренебречь ею. А мне страстно хотелось быть частью каждой яркой, радостной минуты, каждым мгновением жизни; хотелось быть смеющейся и плачущей женщиной, женщиной, которую страстно целуют; женщиной, которой прикалывают цветок на платье, женщиной, которой помогают подняться в автобус; женщиной, которая склоняется из окна, женщиной, которая выходит замуж и рожает детей.

Героем этой книги может быть человеческая душа, но это одиссея странствий из внутреннего мира во внешний, и герой книги — сам Генри, разгоняющий мглу робости и одиночества, таскающий меня из улицы в улицу и держащий меня в кафе, пока не придет рассвет.

До встречи с ним я думала, что искусство — рай, неземное блаженство, не имеющее отношения к человеческой жизни; только искусство может превратить боль в абстракцию.

Но есть другой, мужской путь преодоления боли — поставить искусство и пространство, и время, и философию, и историю между собой и жизнью.

Искусство — это рецепт здравомыслия и утешения пред ужасами и страданиями человеческой жизни.

Я приготовилась снова посетить доктора Альенди. Он по-прежнему неумолимый допросчик. Чувствует, что во мне имеется какой-то секрет. Тема моего побега его не удовлетворяет. Я вижу, что нечто во мне не поддается его определениям. А меня пугает его скальпель. Я живу и живу, сама выбрала именно такую жизнь. Его интересует та встреча на концерте, когда он показался мне печальным и встревоженным. Как я себе это объяснила? Что у него финансовые затруднения? Или не удается работа? Или заботят сердечные волнения?

Я вижу сегодня изъяны в формулировках доктора Альенди. Меня раздражает, как он поспешно классифицирует мои сны и мои ощущения. Когда он молчит, я сама занимаюсь анализом. Стоит мне начать, и он скажет, что я пытаюсь выставить его некомпетентным, невеждой, мщу за то, что он вынудил меня признаться в ревности к его жене. И в ту минуту он куда сильнее меня. А он признает, что я стала гораздо свободнее, чем прежде.

Генри разлагает мою былую серьезность своими

литературными выходками, сатирическими манифестами, своими несуразицами, парадоксами, насмешками над «умниками», своими переменчивыми настроениями, своим гротесковым юмором.

И теперь я сама посмеиваюсь над моей беззащитной искренностью, стремлением понять других и не нанести обиды людям.

Мы услышали, что Ричард Осборн помешался. Генри приплясывает, паясничает: «Ричард Осборн сошел с ума? Ура! Давайте-ка сходим навестим его. Только надо сначала выпить, чтобы настроиться соответствующе. Ведь не каждый день случается такое редкостное событие. Надеюсь, что он и вправду спятил, а не морочит людей».

Меня на первых порах смутило такое заявление, но, поразмыслив, я пришла к выводу, что иронией Генри старается преодолеть трагичность ситуации. Вообще мне хотелось бы проникнуть в секрет его безразличия. Я сама кажусь слишком заботливой. То ли дело Майкл Фрэнкель! В книге Генри описывается их первая встреча: Фрэнкель спокойно ел свой обед, и когда Генри появился, он, как ни в чем не бывало, продолжал свое занятие, даже не пригласив гостя к столу.

Генри написал пародию на мою первую повесть.

А о первом его романе Генри Лёвенфельс сказал как-то, что он банален и чересчур «завлекателен», что это макулатура. Ну, это мне принять трудно. Лёвенфельс претендует на то, чтобы приобщить Генри к современной литературе. А мне кажется, что в «Европейском караване» Путнэма содержатся определения, вполне приложимые к тому, что пишет Генри. Я подразумеваю импровизационное, сюрреалистический автоматизм образов, неистовый полет фантазии. Его настрой подобен «une entreprise de demolition»[28] Тристана Тцары[29].

В другой раз мы говорили об отсечении в литературе всего несущественного, чтобы создать концентрированную «дозу» жизни. И я сказала чуть ли не с возмущением: «Да ведь здесь и спрятана опасность. То, что подготовляет вас к жизни, в то же время создает угрозу разочарованности, потому что при такой высокой «концентрированной» концепции существования упускаются из виду обыденные, скучные, неяркие моменты. Вот и ты в своих книгах поддерживаешь такой высокий ритм, последовательность событий так лихорадочно уплотнена, что можно подумать, будто вся твоя жизнь проходит в горячке, словно тебя отравили чем-то».

Литература — это всегда преувеличение, всегда драматизация, и тому, кто поглощен ею (а я такой и была), грозит

искус взяться за непосильные ритмы. Попытаться жить по Достоевскому. А между писателями существует некое напряжение. Мы взвинчиваем один другого до стремительного джаза. Но интересно, что, когда мы сидим втроем, Генри, Фред и я, мы всегда впадаем в естественное состояние, принимаем самый натуральный вид. Может быть, нет среди нас блестящего, взрывного характера; может быть, никому из нас не нужны острые приправы. Ведь Генри на самом деле человек мягкий, совсем не бурного темперамента, ему эти сцены по Достоевскому ни к чему. Конечно, мы все можем писать о садизме, мазохизме, «Гран-Гиньоле», «Бубу с Монпарнаса» (где самым высшим доказательством любви кота к своей девке служит то, что он принимает от нее сифилис с тем же пылом, что и ее самое — этакое noblesse oblige[30] парижского дна), о Кокто, о наркотиках, о сумасшедших домах, о «Мертвом доме», потому что мы любим резкие краски. И все же, когда мы сидим в кафе на Пляс Клиши, мы разговариваем о последних страницах Генри, об оказавшейся длинноватой главе, о безумии Ричарда.

— Самая его большая заслуга, — говорит Генри, — то, что он познакомил нас. Он считал тебя чудом и боялся, что этот гангстер-автор будет тебе опасен.

Сегодня доктор Альенди был впечатляюще острым, напористым, деятельным. Я никогда, наверное, не смогу описать этот сеанс. Многое в нем было непонятным, воспринималось чисто интуитивно. Он сказал:

— Пока не станете поступать в полном соответствии и согласии с вашей собственной природой, вам не бывать счастливой.

Анаис: — А что значит моя собственная природа? Какую бы жизнь я ни вела, до встречи с Генри и Джун мне не хватало дыхания. Я умирала.

Д-р Альенди: — Но вы же не роковая женщина. Роковая женщина может наслаждаться, пробуждая в мужчинах страсть, изводя их, доказывая свое всемогущество, мучая их; однако мужчины не любят таких женщин по-настоящему глубоко. А вам уже ясно, что вы любимы по-настоящему. Так что не играйте в чужие игры. В Джун вам никогда не превратиться.

Анаис: — Я всегда страшилась судьбы женщин, всецело подчинившихся мужчине.

Д-р Альенди: — А вы знали кого-нибудь из таких женщин?

Анаис: — Моя мать. Всю жизнь она любила только одного мужчину — моего отца. И никого больше не могла любить. Полностью предалась ему. Когда он ее бросил, ее любовь

превратилась в ненависть, но все равно он был для нее единственным мужчиной. Я ее спросила однажды, почему она снова не вышла замуж, и она мне ответила: «Потому что после жизни с твоим отцом, узнав все его обаяние, его способность делать всякую вещь чудесной и интересной, его умение тешить иллюзиями, все другие мужчины казались мне тупыми, ограниченными пустышками. Ты и представить себе не можешь, каким очаровательным бывал твой отец».

Д-р Альенди: — Стало быть, всю оставшуюся жизнь она ненавидела вашего отца и боялась его влияния на вас.

Анаис: — Вот поэтому она и забрала нас в Америку. Она хотела погрузить нас в совершенно другую культуру. Сама она ведь воспитывалась в Брентвуде, монастыре для аристократических девиц в Нью-Йорке.

Д-р Альенди: — Чем больше вы будете стараться быть самой собой, тем скорее вы придете к удовлетворению всех своих нужд.

Анаис: — Я не очень-то понимаю, где я сама собой. Пока что я занята тем, что разношу в пух и прах то, что я собой представляю.

Д-р Альенди: — Все-таки я надеюсь, что смогу примирить вас с вашим собственным образом.

Ах, как это прекрасно сказано! Примирить меня с моим собственным образом. А может ли он помочь мне найти мой собственный образ? Но важны были не так слова, как те чувства, что он рождал во мне, словно развязывал хитрые бесчисленные узлы. Голос его звучал мягко и сочувственно. Он еще говорил, а я расплакалась.

Этот плач — от моей безмерной признательности. Он замолчал при виде моих слез, а потом спросил тем же ласковым тоном: «Может быть, я сказал что-то для вас неприятное?»

Это было счастливое время, и течение его нарушалось только прорывами из прошлого. Мне надо разобраться с этим.

Я стала одеваться очень просто. Не испытываю теперь никакой нужды в экзотических одеяниях. Могу ходить в самых незамысловатых платьях. Почему? Для меня костюмы имели значение символов. О, это означало очень многое: так в поэзии играет роль каждое слово. Для каждого случая выбирались разные цвета, воскрешались в памяти другие стили, другие страны (аромат Испании, оттенок Марокко и прочая, и прочая), что подчеркивало мою индивидуальность (я никогда не носила то, что носят другие, свои костюмы я придумывала сама). На моду я внимания не обращала и никогда ей не следовала. Но ни в коем случае не носила нейтральных тонов, скромных костюмов, простых, непритязательных вещей. Мне нужны были бьющие в

глаза наряды, которые выделяли бы меня среди других женщин. Костюм добавлял мне уверенности в себе, я ведь жутко настрадалась в детстве, когда меня одевали в обноски, присланные моими тетками с Кубы. Я ходила в американскую школу в платьях пастельных тонов, сшитых для тропиков, шелк их был так обожжен южным солнцем, что, случалось, на танцах или на вручении наград они ползли по швам и рвались. А вечерние или летние платья были такой кричащей раскраски, которую могли придумать только латиноамериканцы. После платья выбирала для меня мать, но они тоже никак мне не подходили. Я изобретала множество оригинальных аксессуаров к своей одежде, например носила часы на широком мягком кольчатом русском браслете, оторочила мехом свои зимние ботинки, сотворяла платья из испанских шалей и тому подобное.

В первый визит к доктору Альенди я явилась в самом своем ослепительном платье. Но он показался мне скорее удивленным. Мой наряд напоминал причудливые одеяния актрис или жены Метерлинка, которая говаривала своим друзьям: «Кто из вас решится взять меня под руку на улице?» (такой скандал вызывали ее платья).

Патологическая основа созидания! Я ведь могла бы стать прославленным модельером! Единственная трудность заключалась в том, что мое воображение создавало одежды, которые никак не могли пригодиться в обыденной жизни, в них нельзя было ехать в маленьком поезде из Парижа в Лувесьенн или приходить на прием к доктору Альенди. В одежде я искала то, что напоминало бы волшебные сказки. Однажды зимой в Нью-Йорке, позируя художнику, я в девять утра нарядилась в платье из ярко-красного бархата.

Кое-что из этого можно объяснить памятью о латиноамериканских тропических платьях, так не соответствующих ни зимнему Нью-Йорку, ни американской склонности к неброским расцветкам. Но вот здесь, в кабинете доктора Альенди, я оказалась в первый раз разодетая, как русская великая княгиня; а сегодня я походила скорее на королеву в изгнании, желающую остаться инкогнито. Перемену доктор Альенди отметил, а потом позволил себе сказать (хотя искусство психоанализа состоит в том, чтобы говорить правду лишь тогда, когда собеседник готов к этому, когда он прошел долгий и постепенный процесс), что, по его мнению, я одеваюсь так, чтобы подчеркнуть свою непохожесть, свое отличие от толпы, и это ему напомнило наряды дикарей, предназначенные устрашать врагов! Я рассмеялась. Представила себе боевую раскраску, перья, бусы из звериных зубов, костяные ожерелья, меховые шлемы и

позвякивающие колокольцы.

Д-р Альенди: — Непохожесть всегда настораживает людей. Вам кажется, что ваша оригинальность производит сильное впечатление, но она как раз отдаляет людей от вас.

Анаис: — Никогда не думала об этом. Меня просто влечет к необычному, и я пренебрегаю условностями. Если я стану «нормальной», что же делать с моим искусством одеваться? Я действительно никак не хочу становиться нормальной, усредненной, обычной. Я просто хочу поднабраться силы, отваги прожить свою жизнь более полно, больше наслаждаться всем, все испытать. Хочу развить в себе именно черты необычности, оригинальности.

Д-р Альенди: — Тогда вы опять почувствуете себя одинокой. Ощутите полную изоляцию. Вы этого и вправду хотите?

И доктор Альенди начинает говорить о том, что надо приноравливаться к жизни, романтик не выдерживает схватки с нею, гибнет, физически умирает — в старые времена от чахотки, а теперь от разных неврозов. Никогда прежде я не задумывалась о связи между романтикой и неврозами. Желать невозможного? Умереть, не достигнув желаемого? А почему не найти компромисс?

* * *

Реакция Генри на все окружающее, его способность всматриваться в каждого человека и в каждую вещь. Я никогда на улицах не смотрю по сторонам так, как это умеет делать Генри: каждый подъезд, каждый фонарь, каждая витрина, каждый дворик, каждый магазин, каждый предмет на его прилавках, каждое кафе, каждая забившаяся в угол книжная лавка, каждый антикварный магазинчик, каждый торговец газетами, каждый продавец лотерейных билетов, каждый слепой на улице, каждый нищий, часы на каждой башне, каждая церковь, каждый бордель, каждый винный погребок, каждый магазин, где торгуют эротикой и прозрачным бельем, цирки, певцы ночных клубов, стриптиз, шоу с девицами, грошовые киношки в Аркадах, танцульки под аккордеон, артистические балы, бандитские кварталы, блошиный рынок, цыганские кибитки, рынок рано поутру — все его интересовало.

Мы выходим из кафе под дождь. Он не беспокоит Генри. Только голод и жажда. Убогие комнатки ему не мешают. Бедность ему не мешает. Но есть одна вещь, которая меня крайне удивляет: у него нет никакого желания встретиться с другими писателями,

музыкантами, художниками, людьми, равными ему. Когда я говорю о них, ему неинтересно. «Ты хотел бы познакомиться с Жюльеном Грином? С Элен Бусинеск, переводчицей Шервуда Андерсона; с Флораном Шмиттом, он живет рядом с нами в Лувесьенне; с Мануэлем де Фалья или с другими?»[31] — «Нет, — отвечал Генри, — чего они могут во мне понять?»

Все это началось с моего чтения Лоуренса. Но Генри не Лоуренс. Лоуренс был романтиком, мечтал о сплаве тела и души. Генри стоит на стороне примитивных инстинктов. Всякое чувство он оставляет вне своих писаний. Никакой символики, никакой мифологии в Генри нет и в помине. И все же временами мы оба чувствуем, что не такие уж мы ординарные люди. Когда мы рассматривали фотоснимок дома Лоуренса, Генри сказал, что ему хотелось бы показать мне однажды дом в Бруклине, в котором он жил в детстве, и что он хочет увидеть номер 158 на Восточной Семьдесят пятой, где я писала тот дневник, который он сейчас читает.

Я призналась доктору Альенди в моей тяге к экспериментам и в моем любопытстве.

Анаис: — Мне любопытна ваша жизнь. Хочется знать, правда ли вы не знаете отдыха, правда ли вы не спите всю ночь, бродите по ночным клубам, заводите любовниц и всякое такое.

Д-р Альенди: — Не могу ответить на такие вопросы; для анализа лучше, если я останусь фигурой безликой.

Я должен быть загадкой. А знание моей интимной жизни не решит ваших проблем. Эксперимент сам по себе бывает полезен, но здесь важно ваше отношение. Иной опыт, отвечающий сущностным нуждам вашей природы, вполне уместен, но порою у меня возникает впечатление, что вами движут другие мотивы. Временами я подозреваю, что вы втягиваетесь в какие-нибудь приключения по каким-то случайным соображениям.

Анаис: — Я хочу расти, совершенствоваться. Хочу жить под стать жизни Генри и Джун. И я временами чувствую, что мне надо постараться преодолеть мои страхи и отвращение. Но только я боюсь, что, если буду следовать своим естественным наклонностям, останусь не от мира сего. Вот Генри, он принимает всех, и уродов, и больных, и простонародье. Я этим восхищаюсь. Сама-то я создала такой прекрасный мир, где живут только избранные, наполненный красотой и изяществом, но он неподвижен, он статичен.

Д-р Альенди: — Возможно, неразборчивостью Генри и не стоит восхищаться. Отсутствие оценки — это ведь плохо.

В первый раз доктор Альенди позволил себе суждение о

Генри.

Анаис: — А какие же мои эксперименты не истинные? Как мне отличать их?

Д-р Альенди: — Истинные доставляют наслаждение.

Анаис: — Вы однажды назвали меня «la petite fille litteraire»[32]. Вы что же, думаете, что я пробую жить по книжкам, а не по велению моего собственного «я»?

Д-р Альенди: — Иногда да.

Больше он ничего не сказал. Но я и сама открыла для себя кое-что. Временами я ощущала разницу между любопытством и подлинным чувством.

А он занялся исследованием вопроса, почему я «забыла» прийти к нему в прошлый раз. Я начинала доверять ему. Я была ему благодарна. Почему же я пропустила целую неделю? Чтобы стоять на своих собственных ногах, бороться в одиночку, вернуться обратно, ни от кого не зависеть. Почему? Потому что я испугалась боли. Испугалась, что не смогу обойтись без доктора Альенди и когда «курс» окончится, нашим отношениям придет конец и я его потеряю. Он напомнил мне, что лечение заключается в превращении меня в самодостаточную особу так, чтобы, когда со временем визиты прекратятся, он мне оказался бы уже не нужен.

Не поверивши ему, я обнаружила с тревогой, что мною все еще движут мои страхи.

И еще мне хотелось знать, не промахнулся ли он со мной.

Д-р Альенди: — Если вы меня теперь бросите, мне будет жаль, но не как врачу, который не смог вылечить пациентку, а просто как человеку, которому вы очень интересны. Так что, как видите, вы мне нужны, пожалуй, больше, чем я вам. И я очень огорчусь, если вы от меня уйдете.

Анаис: — Я всегда теряла все, к чему привязывалась сердцем. Любимые дома, любимые страны. Сначала я полюбила наш дом в Нейи. Там я была очень общительной. Мне было четыре года, и я выбегала на улицу и приглашала каждого встречного к нам на чай. Я любила и наш брюссельский дом, в нем всегда было много музыки и музыкантов. Но я его потеряла вместе с отцом. Я была счастлива в Испании. Я любила мою бабушку. Мы там жили куда счастливее, чем в Нью-Йорке. Моя мать училась в Гранадской музыкальной академии пению. У нас была небольшая квартирка с балконами, откуда можно было видеть горы и море. У нас была служанка, ее звали Кармен, и она распевала весь день за работой. У нас были уважаемые и интересные друзья. Отец мой был родом отсюда. Он рассказывал мне, что мы дальние родственники аристократического семейства Гель. Гели владели домом с

собственной церковью и великолепной библиотекой, которую сожгли иезуиты, — там было слишком много вольнодумных книг. Одному из Гелей была воздвигнута в нашем доме статуя. Нам рассказывали истории об их прошлом. Род разделился на две ветви, одна владела большим богатством, а из второй вышли в основном люди искусства. Один из них был некоторое время придворным художником, его звали Хозе Нин-и-Гель. Само собой, умер он в нищете.

Я сознаю, что вновь переживаю с доктором Альенди ситуацию счастья и страх его потерять. В детском своем дневнике я написала: «Я решила, что лучше всего никого не любить, потому что, когда ты любишь человека, потом все равно приходится с ним расставаться, а это страшно больно».

Июнь, 1932

Вчера утром часов до одиннадцати Хоакин упражнялся на фортепьяно. А потом я услышала его голос под моим окном: «Пошли со мной в сад, посидим на солнышке, что-то я неважно себя чувствую». У меня было полно дел, но я бросила их и вышла к нему; мы посидели в саду, а когда наступило время ленча, он не захотел ничего есть.

Это был аппендицит. «Скорая помощь», клиника Версаля. Самые долгие полчаса в моей жизни. Страх его потерять. Когда его вынесли на носилках, я увидела его белое лицо и впала в панику: вдруг он умер! Я взглянула на сестер и врачей. Врач успокоил меня: «С вашим братом все будет в порядке». Его положили на кровать, я стояла рядом. Он тяжело дышал, и это меня испугало. Я всматривалась в него. Он был мне не только братом. Это было мое дитя, на мне лежали заботы о нем. Я была его нянькой, была его второй матерью. В его расширенных болью глазах застыл страх смерти. Я люблю своего брата, и случалось не раз, когда эта любовь трансформировалась в ощущение, что каждый мужчина брат мне; я словно заключала соглашение, которое разоружало меня, лишало способности причинить вред мужчинам. Мужчина, брат мой! Нуждающийся в заботе и преклонении. Вот сейчас мы с матерью сидим в больничной палате, и каждая спазма боли отзывается в наших телах. Мы чувствуем, как жизнью, любовью и болью наполнены наши тела, словно в чреве нашем навеки присутствует любимое существо.

Летний вечер. Генри, Фред и я сидим в ресторане на террасе. Мы часть улицы. Это не мы, Генри, Фред и я, сидим и едим за столиком, это вся улица ест, пьет и ведет разговоры. Весь мир ест, выпивает и разговаривает. И мы поглощаем еще и все уличные шумы: голоса прохожих, гудки автомобилей, выкрики торговцев, детские крики, воркованье голубей, трепет голубиных крыльев, собачий лай. Мы в едином сплаве. Вино, которое течет в мое горло, течет и в горло всех других людей. День теплый, как мужская рука, положенная на мою грудь; тепло дня и запахи улицы ласкают каждого. Двери ресторана широко распахнуты, и улица проникает в ресторан. В этом вине, как в океане афродизиаков, купаются все: Генри, Фред, улица, мир и студенты, готовящиеся к Балу Четырех Искусств. Улица наводнена египтянами, увешанными варварскими побрякушками, вроде бы единственной их одеждой. Их кожа окрашена золотистым загаром. Они вываливаются из автобусов и такси. Заполняют кафе. Наливают себе вина из нашего графина, из других

графинов, воруют с тарелки свиную отбивную, жареную картошку, хохочут и следуют далее своей дорогой.

Генри пьян. Предается воспоминаниям. «Однажды как раз в день своей получки Фред потащил меня в кабаре. Мы там танцевали и подцепили двух девочек, привели их в Клиши. Сидели на кухне, закусывали, и они решили, что пора договориться. Заломили такую цену, что я хотел их отпустить подобру-поздорову, но Фред согласился, и они остались. Одна была акробатическая танцовщица и показала нам несколько своих трюков голышом, в одних туфлях».

Веселый гам и хохот студентов. Хотят затащить меня к себе: «Мы ее Клеопатрой нарядим. Она же вылитая Клеопатра! Ты только посмотри на ее нос!» Я вцепилась в свой стул, бутылки повалились, они сцапали одну. Нам пришлось продираться сквозь толпу.

— Вот, например, Полетта, — говорит Генри. — Они с Фредом спелись. Не знаю, чем это может кончиться. Она, по-моему, куда моложе, чем говорит; к тому же еще девственница. Втемяшила Фреду, что проститутка. Она сбежала из дому. Мы боимся, что у Фреда могут быть неприятности, если родители ее отыщут. Он оставляет ее на меня, пока сидит на работе. Я вожу ее в кино, но, честно говоря, она мне надоела. Нам совершенно не о чем говорить друг с другом. Ты знаешь, она ревнует к тому, что Фред о тебе пишет. Подумаешь, королева…

Все это Генри рассказал, пока Фред ходил встречать Полетту. Полетта худая, невзрачная, вид у нее напуганный.

Генри может воровать бритвенные лезвия, может не вернуть таксисту сдачу, отданную тем по ошибке, может предательски обойтись в своих писаниях с Джун и своими лучшими друзьями, но я-то знаю и совсем другого, совсем отличного от этого Генри, который в один прекрасный день может отречься от самого себя. Он показывает миру свою сторону, написанную резкими, грубыми мазками, а та сторона, которую знаю я, больше похожа на акварель. Он — сплошное противоречие.

— С дневником можно покончить, — вдруг заявляет он.

— Да зачем же? — удивляюсь я. — Я боюсь забвения. Не хочу ничего забывать.

— Это мой Золотой век между двумя войнами, — говорит он.

Я разговаривала в манере, напоминавшей манеру Джун, и Генри нашел это вычурным, но интересным. Мне ничего бы не стоило остановиться и все упростить для него, но я предпочла придерживаться в разговоре той легкой хмельной несуразности, которая казалась мне теперь такой приятной и успокаивающей. Генри испытывал то же самое, когда, написав однажды какой-то

кусочек письма ко мне, вдруг увидел, что из этого кусочка может получиться превосходное предисловие к чему-либо путному и серьезному. Нас обоих немного настораживает эта наша двойственность, и лишь временами мы позволяем себе впасть в состояние полной отрешенности. И это оттого, что нас обоих притягивает безумие таких поэтов, как Рембо, Тристан Тцара, дадаисты, Бретон. Свободная импровизационность сюрреалиста ломает искусственный порядок и симметрию сознательного творчества. Хаос плодоносен. Как трудно быть искренним, когда каждое мгновение нужно выбирать между пятью или шестью душами. Быть искренним — с кем, быть в мире — с кем из них? — как спросил меня однажды доктор Альенди.

Я начала понимать, что мои костюмы были щитом для меня. Вспомнила, как однажды Генри хотел потащить меня на Монпарнас, а на мне было совсем простенькое платьице, и я почувствовала, что в таком наряде не смогу смело смотреть в глаза его друзьям. Я потеряла свой правильный ритм. Но что такое — мой правильный ритм? Такой вопрос оказался для доктора Альенди чересчур прямым, он сказал, что может дать только косвенный ответ. Ему ясно, что я по сути своей бесхитростна и обаятельна, женственна и мягка. Все остальное — литературщина, умничанье, воображение. Будь я и в самом деле холодно-бесчувственна, я бы не выказывала при каждом подходящем случае столько жалости, сочувствия и доброты. Вообще в том, что играешь какую-то роль, нет ничего страшного, лишь бы не относиться к этому всерьез. А я слишком часто искренне вживаюсь в роль и иду до конца.

Он спросил, где я чувствовала себя наиболее счастливой. Полностью, абсолютно счастливой.

Я ответила, что это было в Швейцарии, на природе, где я обходилась без косметики, без экстравагантных нарядов, отказавшись ломать комедию и играть роль.

— Видите, — сказал доктор Альенди, — вы хотите нравиться, хотите быть любимой и ради этого принимаете позы. Даже ваш интерес к извращению — тоже поза. Вам недостает веры в ваши глубинные ценности, вы придаете слишком большую цену внешнему.

Вот тут-то я и заартачилась. Если психоанализ собирается лишить меня всех моих аксессуаров, костюмов, украшений, аромата, всех моих приправ, всех моих особенностей, что же мне останется тогда?

Июль, 1932

Ожидаю в приемной доктора Альенди. Свет, проникающий ко мне сквозь зеленые стекла оранжереи, окрашивает все в цвет подводного царства. Шныряют кошки. Удивительно, что они не пытаются поохотиться на золотых рыбок в бассейне. Я слушаю, как журчит вода в скульптурно-изваянном фонтанчике посреди бассейна. И слышу в кабинете доктора Альенди за плотным китайским занавесом женский голос. Я ревную. Меня раздражает, что там смеются. И, кажется, смеются чаще, чем смеемся мы, когда я сижу в том кабинете. В первый раз он так надолго задерживается. А ведь я приготовила ему такой лирический сон и в первый раз позволила себе подумать о нем с нежностью. Наверное, не надо ему этот сон пересказывать. Это отдаст меня в его руки, подчинит меня ему, тогда как он… Но вот он возникает в дверях кабинета, и все мои сомнения исчезают. Я рассказываю сон.

Мне снилось, что мы сидим лицом к лицу в его кабинете. Он держит мои руки в своих. Сидит и разговаривает со мною, забыв обо всех других пациентах. Полностью поглощен мною. И между нами дух невероятной близости.

Я доверяю ему полностью. И не боюсь никакого соперничества, потому что верю, что он от меня в восхищении. А вот это, говорит он, шаг вперед. Несколькими месяцами прежде я бы уступила сопернице. А сегодня я посвящаю его в мой сон, приснившийся после того, как он в прошлый раз показал, что прекрасно меня понимает!

Но все-таки странно, что сегодня он впервые так задержался. И тут он обращается к идее судьбы: «То, о чем мы со страхом думаем, боимся, как бы это не случилось, непременно случается». Я всегда боялась оказаться покинутой или хотя бы незамеченной, и вот это и произошло… Я заставила произойти. Накликала. Мы формируем нашу судьбу, но в какой степени — тайна даже для доктора Альенди. Впрочем, он слишком далеко заходит, утверждая, что, если бы я так не боялась пренебрежительного к себе отношения или даже меньшего, по сравнению с другими пациентками, внимания к себе, он бы не вышел ко мне с такой задержкой. Все это очень темно, гипотетично. Но я и в самом деле думаю, что меня преследует рок. Я задумываюсь о фатальности. Неужели человеческое существо способно воспринимать волны, испускаемые мыслями другого человека? Неужели доктор Альенди уловил мои волны — вы забываете обо мне, и я не могу больше верить вам, любить вас и тогда подпаду под власть

других?

Он явно радуется сердечности, установившейся между нами. Но показывает мне, как выдает меня мой сон: я чувствую себя более счастливой оттого, что он ради меня пренебрег другими пациентами, все внимание обратил на меня, и вот именно это я ценю выше, чем его внимание само по себе.

Анаис: — Странно, что как раз сегодня я собиралась спросить вас, почему так мало людей, которыми я увлечена. Почему мои привязанности касаются лишь единиц? Я не могу распахнуть объятия так широко, как это получается, скажем, у Генри.

Д-р Альенди: — Да, именно так, и это дурной знак. Вы не можете довериться многим, они вас, следовательно, не могут хорошо узнать, и тогда вы тут же делаете вывод, что они не в силах понять вас и полюбить. А вот на тех немногих, с которыми вы чувствуете общность, вы щедро изливаете свое преклонение. Вот с этим и надо покончить. В любви тоже кто-то должен уступить, ослабить свою любовь. Вы соперничества не допускаете. Чем более широко и открыто, без всякой исключительности вы любите, тем скорее вы обретете некую мистическую цельность, тем богаче будет ваше восприятие любви, менее индивидуалистской, более универсальной любви.

Я начала понимать. Чувствовала, как спадает напряжение, утихает боль. Доктор Альенди всегда отвечает на искренность искренностью. Он говорит мне, что я сдерживаю ревность, раздражение, обращая их на себя. Конечно, я демонстрирую умение владеть собою. А мне надо, говорит он, избавляться от этих чувств, не подавляя их в себе, а проявляя их. Он говорит, что я упражняюсь в фальшивом великодушии, стараюсь выглядеть обходительной и приятной, заставляю себя быть терпимой и снисходительной. «На время, хотя бы на этот раз, перестаньте прятать свое негодование, выказывайте его. И если хотите отомстить кому-нибудь — мстите.

Вот они, жуткие последствия такого совета. Я нахожу теперь в себе тысячи поводов возмущаться Генри: легкостью, с которой он соглашается на все мои жертвы, его стремлением не принимать никакой критики, возражать всему, что бы ни было ему сказано, его настороженностью по отношению к интеллектуальным женщинам, его страстью к людям обыкновенным, к простонародью, его безосновательными приступами раздражения и больше всего его полной незаинтересованностью в попытках разобраться в других людях и себе самом. Что он вбил себе в голову, за то он и держится.

Доктор Альенди говорит, что это замечательно — обратить гнев и раздражение не на других, а на себя; верное средство не

приносить никому вреда. Но этим мы всего лишь откладываем более честное решение. Я хотела очистить свою натуру от всего неблагородного и некрасивого. Но у доктора Альенди другой способ. Он заключается в том, чтобы встать лицом к лицу со всем, что вас раздражает, злит, тревожит, со всеми подобными мыслями и чувствами, с ревностью, недоброжелательством, отвращением, и найти их причины, докопаться до их корней и именно на них и воздействовать.

Все размышляю о Дэвиде Лоуренсе, таком колючем, ожесточившемся, нервном. Это он подготовил меня к Генри, к беспричинной его раздражительности, к непостоянству его взглядов. О Генри можно сказать словами Генри Джеймса о Мопассане:

«Он попросту обошел молчанием рефлектирующую, мыслящую сторону своих мужчин и женщин, ту часть, которая руководит поведением и создает характер… Он вперяет холодный взгляд в ограниченные области человеческой жизни, как правило в безобразное, мрачное, убогое, омерзительное, берет частичку этого и выжимает из нее либо гримасу боли, либо струйки крови. Иногда гримаса получается забавной, иногда за ней обнаруживается чудовищная рана… Месье де Мопассан рассматривает жизнь как ужасное, мерзкое дело, в котором порой проглядывает нечто комическое…»

Я очень чувствую иногда, что моя дружба с Генри не только наше личное дело; это еще и символ дружбы между Францией и Америкой, между аристократией и простыми людьми, между цивилизованным человеком и дикарем. Человек завтрашнего дня придет из того слоя, который отрицает цивилизацию. Что сотворит это средоточие ярости и горечи?

От этой ярости и горечи мне и приходится защищать Джун. Генри собрался отослать ей уничтожающее письмо, сущий обвинительный акт, и в этот момент я подсунула ему документальное оправдание и объяснение всех ее поступков. Это была книга о поведении наркоманов:

«Их разговор отличается многословием, блеском и остротой при отсутствии глубокого проникновения в суть дела и может затрагивать темы, которых нормальные люди предпочитают не касаться. Манера говорить показывает их возбужденность, которая может принимать и другие формы. У творческих людей, например, увеличивается сила воображения.

Боязнь и отвращение к дневному свету.

Беспокойность. Неумение сосредоточиться на чем-либо надолго. Необходимость постоянного движения.

Сверхчувственность. Склонность к извращениям.

Отсутствие моральных ограничений.

Наркоманы часто обуреваемы страхом перед полицией, им всюду мерещатся полицейские происки (рассказ Джун о полицейском, донимавшем ее, когда она сидела в такси).

Наркотики создают иллюзию укуса насекомых — употребление наркотиков само по себе вызывает зуд кожи, принимаемый за укусы насекомых (расчесывание носа, сухость губ).

Наркомания приводит к туберкулезу, эпилепсии, самоубийствам».

У Джун налицо многие из этих симптомов.

Генри был ошеломлен. Джун так часто возвращалась к теме наркотиков, что напоминала преступника, который возвращается к месту преступления. Ей, видимо, было необходимо говорить о них и упорно отрицать свое к ним пристрастие (ну, может, два-три раза попробовала и все — единственное, в чем она позволяла себе признаться). Генри стал все складывать по кусочкам и… Мне стало страшно, когда я увидела его отчаяние.

— Мы, возможно, несправедливы к ней. Ты знаешь, неврозы дают схожие симптомы, — сказала я и добавила: — А если это и правда, надо ее жалеть, а не набрасываться на нее.

Но Генри твердит, что наркотики страшно разрушают человеческую личность и делают невозможными нормальные взаимоотношения. И мне снова стало жаль его, когда он сказал, что, припомнив какие-то моменты, связанные с любовью Джун, он понял, что она его по-настоящему не любит.

— Она, — сказала я, — любит тебя по-своему, ее любовь жестока и капризна, но это сильное чувство.

— Себя она любит сильнее, — вот что ответил мне Генри.

Говорим с Генри о жизни писателя. Как замирает в нем жизнь, когда он принимается за работу; он не то чтобы в спячку впадает, а просто умирает как человек. И действительно, когда Генри глубоко погружен в свою книгу, он производит впечатление зомби, человека, чья душа покинула тело. Но это смерть временная, и она, в свою очередь, работой пробуждает новую, обогащенную жизнь; выработка энергии приостанавливается, чтобы воспрянуть с новой силой.

Но за то, чтобы быть сильным во время творческого труда, Генри расплачивается последующей колоссальной расслабленностью. Думаю, что это так, потому что я сама, встав из-за письменного стола, чувствую, что осталась без сил.

На всяком сборище он старается пробыть до конца, когда остаются одни подонки. Я предпочитаю уйти до того, как начнется безобразие. Он хочет выхлебать все до дна. Я хочу

сохранить иллюзии.

Что-то я в нем затронула, но станет ли он писать иначе?

Жизнь его с Джун предстает теперь как дикие метеоритные зигзаги, сравнимые с моими побегами от моего подлинного «я».

Если бы можно было писать одновременно на всех уровнях, на которых идет наша жизнь, — сразу и обо всем! Всю правду! Генри близок к этому, а я не могу избавиться от порока приукрашивания.

Помимо прочтения Лоуренса есть еще одно обстоятельство, подготовившее меня к трущобному языку Генри, к его плотоядным раблезианским пассажам. Это словечки моего отца, когда он находился в мужской компании или был выведен из себя. Испанские мужчины не стесняются грязных ругательств, но, разумеется, только не в присутствии женщин. На любом социальном уровне, независимо от образования и воспитания. Мать моя была в отчаянии от этого и старалась всеми силами, чтобы до наших ушей ничего не долетало. Она признавала, что это — нестираемая черта испанцев. Однако поразительно все-таки, что мой отец, тонкий рафинированный человек, ругался почище пьяного извозчика.

Буря разыгралась вчера вечером, когда мы сидели в кафе. Мраморные градины, яростное море деревьев…

Я прочитала один из немногих понятных мне пассажей Шпенглера. Это там, где он говорит об отношении между архитектурой и национальным характером. Как дома на Востоке раскрывают эмоциональную сторону людей. Никаких окон наружу, все выходят во внутренний дворик, частная жизнь — тайна. И все комнаты связаны этим внутренним двориком. Богатства скрыты. Мысли скрыты.

Генри начинает изображать элегантного джентльмена, снисходительно и высокомерно беседующего с проституткой, потом переходит к изображению женщины в конвульсиях страсти, и вот потекли истории. Буйное детство на улицах Бруклина. Жестокие игры на пустырях, драки, гонки на велосипедах — ничего, что указывало бы на будущего писателя. Все его штучки. Хитрости. Проделки. Воровство мелочи у слепого продавца газет. Вранье. Жульничество. Терзающая тело и душу похоть. Кроме бедности, убожества, мерзости, здесь нет ничего, что оправдывало бы его озлобленность. Не могу найти место, откуда родом его горечь.

* * *

Мы все, Генри, Фред и я, сидим в нашем саду в Лувесьенне. «Это не просто обычный сад, — говорит Генри. — Здесь все таинственно и полно значения. В одной китайской книге есть упоминание о небесном царстве или саде, подвешенном между землей и небом. Вот это и есть тот самый сад».

Еще одна ночь. Во время прогулки показываем Генри старый дом, почти замок с двумя башнями. Я рассказываю, что никогда не бывала внутри этого замка, и тем не менее знала, какая там мебель, как выглядят комнаты в башнях, какие там стены — в деревянных панелях с многочисленными дверцами, шкафчиками и прочими тайниками. Совсем недавно тетушка прислала мне рукописный дневник моего прадеда, того самого, что покинул Францию во времена Революции, отправился на Гаити, потом оказался в Новом Орлеане и наконец на Кубе, где он, между прочим, построил первую железную дорогу. Он описывает замок, брошенный его родителями в Анжу, и сразу становится ясно, что дом в Анжу — точная копия нашего замка. Тетка прислала фотографию замка в Анжу, это двойник нашего дома с башнями. Тетка описала комнаты в башнях и их обстановку. Все в соответствии со вкусами тех времен. Но я-то каким образом все это уже знала? Может быть, это родовая память?

Лувесьенн спит. Только взлаивают собаки, когда мы проходим мимо. Я слушаю Генри. В нем решительно два человека. С одними женщинами он грубый, резкий, видавший виды мужик. С другими — наивный романтик. Джун в вечер их первой встречи явилась ему в виде ангела, несмотря на всю атмосферу дансинга вокруг нее. Я вижу теперь в нем человека, способного стать рабом своих страстей. Но во всех его историях ощущается присутствие женщины, берущей инициативу на себя. Вот почему, признался он, ему так нравятся проститутки. Ведь Джун сама положила голову ему на плечо в первую ночь их знакомства и попросила поцеловать ее. А грубость его — чисто внешнее. Просто, как все слабые люди, он может совершить самый гнусный поступок именно потому, что слабость превращает его в труса. Он обходится с женщинами при расставании ошеломляюще грубым образом, потому что ему непереносим сам момент разрыва.

Но кажется, что все его действия продиктованы могучим, инстинктивным потоком энергии. И я не могу поверить, что человек способен быть таким безжалостно жестоким, хотя он как будто живет совсем по другим законам, живет первобытной жизнью, по другим, совсем не моим, родовым обычаям и традициям. Ничего не чтит. Живет — и все тут. Сказал мне как-то, что ангел или дьявол мог бы изменить темп жизни Джун. И

его тоже. Это сама природа с ее безглазыми бурями, землетрясениями, приливами и отливами, с ее ненасытностью. И все же он отдает собаке половину своего бифштекса, он раздвигает пределы мира и приносит радость.

Затем этот беспорядочный, легко меняющий настроение человек сосредоточивается на рассуждениях о своих книгах. И в нашем разговоре сразу появляется, как всегда, стойкая, бодрящая жизнерадостность. Его разгульного существования, дотошности, вкуса, безнравственности, сентиментальности хватит на сотню книг. Застой ему никогда не был знаком. Самоанализу спокойная жизнь не требуется. Генри — генератор энтузиазма.

А с чего бы это он сказал: «Мне надо оставить рубец на лице мира»?

Этим утром я получила несколько первых страниц его новой книги. Вот это да! Здесь все — цельность, мощь, каждое слово бьет в цель. Блестяще написано.

В один из вечеров за нашим с Генри столиком в кафе сидела и Маргарита. Шел довольно бессвязный разговор, пока Генри не стал задавать вопросы о психоанализе. Все, о чем читала каждый год, все беседы с доктором Альенди, мои собственные изыскания в этой области, мои теории — все это я постаралась выложить с невероятной горячностью и безапелляционностью. Относилось это к теме судьбы. Никакого предопределения нет. То, что мы зовем судьбой, есть на самом деле, наш характер, и этот характер можно изменить. Понимание того, что мы несем ответственность за наши действия и отношения, вовсе не должно нас обескураживать: оно означает также, что мы вольны изменить свою судьбу. Она не раба нашего прошлого, обусловливающего наши чувства, наш жизненный путь, наше наследство и весь вообще наш фон. Все это может быть изменено, если у нас хватит мужества проанализировать, каким образом это нас формирует. Мы можем изменить наш химический состав, если не побоимся разложить его на составные элементы. Генри остановил меня:

— Не верю я ни идеям доктора Альенди, ни твоим рассуждениям. Я его видел всего один раз. Он по-животному чувственный, вялый, апатичный, хотя по его глазам видишь, какой запас фанатизма таится в этом человеке. А вот ты, о, ты так понятно, так красиво все для меня расставила по местам — еще бы, ты ведь у нас страшно умная и все у тебя так хорошо получается. Но сейчас я все-таки сомневаюсь в твоем искусстве. Изобразила ты великолепную схему — каждая вещь на своем месте — такая красота выглядит убедительно, даже слишком убедительно. Но ты-то сама вовсе не на этой безмятежной поверхности, а гораздо глубже, ты погрузилась глубоко-глубоко, в

самые темные бездны. Есть ведь еще слои и слои, они лежат на бездонных, неизмеримых глубинах, потому что ты сама бездонна и неизмерима. Обманчивы твоя ясность и простота. И такой мыслитель, каким ты сейчас предстала предо мной, только приводит меня в величайшее замешательство, вызывает сомнение, тревогу.

Маргарита произнесла совершенно спокойным тоном:

— Такое ощущение, что она показывает вам замечательную модель поведения, но сама-то соскользнет в сторону и посмеется над вами.

— Это точно, — сказал Генри.

Я рассмеялась. Но то, что Генри вдруг набросился на меня с такой критикой, меня огорчило. Война, неминуемо предстояла война с ним.

Однако когда Маргарита унта и мы остались вдвоем, он заговорил иначе:

— Теперь-то я поведу себя как обычно. А то я говорил вовсе не то, что думаю. По правде говоря, твои слова меня потрясли. Ты никогда раньше так не смотрела в корень, как сегодня. Но я стал ревновать к успеху Альенди. У меня сильнейшая, какая-то извращенная ненависть ко всякому, кто открывает для меня что-либо новое. Ты открыла для меня целый мир, но ведь в этом заслуга Альенди.

Неубедительно прозвучало для меня это объяснение.

Я сама окутана ложью, но она не проникает в мою душу и прибегаю я к выдумкам только для того, чтобы успокоить других; mensonge vital[33] никогда не становится частью моего существа. Она вроде моих костюмов. Но что делать с ложью Генри?

А он говорит о своей злорадности, о внезапно возникающем в нем желании играть роль, да такую, которая сбивает с толку людей, поверивших ему, поверивших в то, что они его знают и понимают. Если целокупность невозможна для писателя — ведь он представляет собой море духовной протоплазмы, способной течь во всех направлениях, поглощать каждый попавшийся на пути предмет, просачиваться в любую трещину, заполнять любую пустоту, — то, по крайней мере, возможна правда, состоящая в признании того, что мы бываем лицемерны. Временами, когда мой разум порождает что-то несусветное, я обогащаю это своими истинными чувствами и начинаю искренне верить, что обрела нечто настоящее, свое.

Генри говорит, что я сломала его своей лекцией о destinee interieure[34], словно потрудилась над ним, провела по всему всколыхнувшему его циклу психоанализа. Доверие, понимание, любовь, уверенность в помощи, раскрепощенность. Мои слова об

откровенности, о раскрытии души, о радостном покое полной доверчивости, успокоения, зависящего от другого человека, — все это потрясло его, попало точно в цель. Я так страстно говорила о полной вере в другого — поток психоанализа несет тебя куда уверенней, чем объятия любви. Какие скрытые, тайные источники открывает анализ! Древнее китайское изречение гласит: мудрость в том, чтобы разрушить идеалы. Вот этим и занимается психоанализ. Ведь в основе нашего лицемерия лежит именно идеализация нашего образа, мы сотворяем прекрасный образ и стараемся внушить это наше представление другим — пусть полюбуются. Но когда анализ разрушает этот образ, наступает разрядка, облегчение, потому что жить в соответствии с таким образом слишком тяжело. Хотя для некоторых такая разрядка может послужить причиной самоубийства.

Как справиться с этой трагедией, прячущейся в каждом часе нашей жизни, которая неожиданно и вероломно душит нас, выскакивая, как из засады, из какой-то мелодии, старого письма, книги, цвета платья, походки незнакомого прохожего? Твори литературу! Ищи в словаре новые слова, замешивай на своих слезах форму, стиль, слог, риторику. Аккуратно подбирай газетные вырезки, пользуйся цементным клеем, бери свои фотографии. Рассказывай всем и каждому, сколь многим ты им обязана. Внушай своему издателю, что он открыл гения, а потом возвращайся к своей работе, терзайся, как скорпион, попавший в огненное кольцо, и убивай себя своим ядом.

Если бы китайцы не открыли, что мудрость есть отсутствие идеалов, я бы совершила это открытие сегодняшней ночью.

За работой я впадала в отчаяние, понимая, что отдала Генри все мои разгадки Джун и он пользуется ими. Прихватив все мои эскизы, он пишет свой собственный портрет Джун. Я осталась с пустыми руками, и он отлично это понимает, ведь сказал же он: «Я чувствую себя воришкой». И с чем же мне теперь работать? А он дополняет свое полотно всеми деталями, полученными от меня.

Что же мне остается делать? Идти туда, куда Генри путь заказан, в миф, в сны, в фантазии Джун, в ее поэзию. Писать как женщина и только как женщина. А начинаю я со сновидений, ее и моих. Это принимает знаменательную форму, ближе к озарениям Рембо, чем к обычному повествованию.

Когда жизнь становится слишком трудной, я кидаюсь к моей работе. Я плыву в новых потоках. Я пишу о Джун.

Генри потребовал от меня невозможного. Я должна подпитывать его концепцию Джун, быть суфлером его книги. И когда я вижу, что с каждой новой страницей он все более воздает

Джун должное, все более и более постигает ее суть, я чувствую, что это моим видением проникся он, мои взгляды он позаимствовал. Ничего не скажешь, ни от одной женщины не требовалось так много. Я все-таки человеческое существо, а не богиня. Но я считаюсь понимающей женщиной, и потому от меня ждут, что я все пойму и все приму.

Сегодня я подумала о бегстве. Писать поэмы, создавать мифы недостаточно. Я задумываюсь об уроках Альенди. Многие мои поступки подсказаны его мыслями. Это он научил меня пониманию, что мир необъятен, что не должна я быть рабой наложенного в детстве проклятия, не должна стелиться перед всяким, кем бы он ни был, взявшимся играть, в мажоре ли, в миноре, отчасти или полностью, роль чертовски необходимого мне отца. Не надо мне быть беспомощным ребенком или женщиной, покорной до самоуничтожения.

Вчера явился Генри. Серьезный, усталый Генри. Он не спит уже несколько ночей — так захвачен своей книгой.

Измучен он совершенно, и я забыла о своих литературных мятежах.

— У меня есть вино, — сказала я, — давай посидим за ленчем в саду. Я ведь тоже много поработала, кучу всего должна тебе рассказать, только чуть-чуть подожди.

Эмилия накрыла стол в саду. К нам присоединился Хоакин, а потом мы остались вдвоем и начался разговор.

Бедняга Генри, бледный, напряженный, а глаза голубые-голубые, непорочные глаза.

— Пишу книгу, — сказал он, — и понимаю, что между мной и Джун все умерло года три-четыре назад. То, что мы протянули до последнего времени, когда она была здесь, было механическим продолжением. Вроде затянувшегося импульса, который все не может окончательно затухнуть. Конечно, это был страшный опыт, перевернувший мою жизнь. Вот почему я пишу о ней с таким бешенством. Но то, что я пишу сейчас, — моя лебединая песня…

А потом он добавил:

— Конечно, я смог все это пережить, но именно потому, что я это пережил, я с этим кончаю. Я чувствую, что я сильнее Джун, но все-таки, если Джун сюда вернется, все может начаться снова, это какой-то рок. Все, чего я сейчас хочу, так это спастись от Джун. Не хочу снова чувствовать себя ограниченным, униженным, сломанным. Я вижу, что мне необходимо порвать с нею. Боюсь ее возвращения, того, что это развалит все, что я выстроил, всю мою работу. А вот ты — мне сейчас ясно, сколько времени и внимания отдаешь мне ты. С тобой всегда можно решить любую проблему, и ты помогаешь мне всегда бескорыстно. А кроме того, ты

пишешь, пишешь глубже и сильнее, чем кто бы то ни было, умеешь увидеть то, на что другой и не обратит внимания, касаешься совсем неизведанных тем, недоступных другим.

* * *

За эти дни я написала почти тридцать страниц возвышенной прозы в образной, метафорической манере, настоящий лирический взрыв[35].

Генри озадачен моими страницами. «А что за этим плетеньем узоров? — спросил он. — За этим красивым языком?» Меня расстроило его непонимание. Я принялась объяснять. «Так ты должна была дать ключ, а то вдруг кинула нас в совсем непривычное. Это же надо по сто раз перечитывать».

Сам он пишет о Джун очень реалистично, напрямую. Но я-то чувствую, что таким путем в нее не проникнешь. Я выбрала путь сюрреализма. Я пишу ее сны, ее фантазии, пишу миф о Джун. И нет ничего в этом мире непостижимого, ничего, что не поддается расшифровке.

Генри уже собрался уезжать на своем велосипеде, но передумал и с типичной для него доскональностью решил добраться до сути написанного. Он расхаживал взад-вперед, вникая в мои абстракции…

Я вижу символику наших жизней. Живу на двух уровнях — обыденном, человеческом и поэтическом. Мне понятны и близки иносказания, аллегории. Генри — закоренелый реалист, а я, чувствую, могу подняться в стратосферу и разглядеть мифологию Джун. Мне хочется описать оттенки, блики, передать скрытые намеки. Все факты, относящиеся к Джун, никак не могут помочь моему визионерскому восприятию сути ее подсознания. Я провожу дистилляцию, а вовсе не вышиваю парчу; здесь все полно смысла.

Чем больше я говорила, тем в большее волнение приходил Генри. Наконец он сказал, что я должна продолжать в том же духе, что я создала нечто уникальное, что если кто-то пишет по-сюрреалистически, то это прежде всего я. Потом он остановился на этом подробнее. Он не мог бы дать определение тому, что я сделала. Нет, пожалуй, это не сюрреализм. Это более сложная концепция, более широкий охват, более определенное отношение. Нет, не нужно никакой подготовительной работы, не надо просить ключей к разгадке. Он понял, что я создаю нечто неповторимое. Он прочтет это еще раз, и смысл ему откроется.

Глядя в окно, он произнес:

— Как мне теперь возвращаться в Клиши? Это все равно, что в тюрьму возвращаться. Вот здесь можно дышать, расти, здесь просторно.

Теперь он начинает превращать пережитое в страницы книг, и тем самым куда острее чувствует то, что пережито.

От объективности Альенди ничего не осталось. Он начинает вслух осуждать Генри. Я пробую обрисовать ему контраст между двумя Генри; вот один — пьяный, краснорожий, драчливый, самоуверенный, бессердечный, весь из инстинктов и животных импульсов; а вот другой — трезвый, собранный, рассудительный, по тону почти монах, бледный, мечтательный, сентиментальный, ребячливый, хрупкий. Поразительно полная трансформация! Но у Альенди другое название этому, научный термин: раздвоение личности, шизофрения.

Я цитирую ему слова Генри: «Господи, каким же слепцом я был раньше!»

— Вам необходимо избавиться от такого окружения, — отвечает доктор Альенди. — Очень вредна для вас такая среда, ma petite Anais[36].

Снова я пришла к Альенди. Предложила прекратить наши сеансы и навестить нас в Лувесьенне. Он ответил, что это никак невозможно, пока он не будет уверен, что я «выздоровела». Мы поговорили на тему подавления одного человека другим. Я ощущаю его силу и уверенность. Он как-никак руководит мною, ведет меня. А вот Генри меня как раз расстроил тем, что он написал по поводу моих тридцати страниц лирики в прозе. Это не страницы Генри, это передразнивание меня. Сатира. Бессмысленное издевательство. Зачем? Понимает ли он, что сотворил карикатуру? Понимал бы, я бы его таким и приняла.

Стало быть, он высмеивает то, что ему непонятно? Таким способом хочет завоевать то, что не дается ему в руки? Альенди не объясняет. Но всякий раз при упоминании о Генри он хмурится.

Альенди написал книгу об алхимии, он занимается астрологией. А вот пьесы и романы не читает — они кажутся ему скучными и бесцветными в сравнении с той жизнью, о которой ему рассказывают книги в его маленькой, тускло освещенной библиотеке. И о его жизни мне ничего не известно. Однажды я упрекнула его в том, что, будучи ученым, он совсем не понимает людей искусства. Да нет, ответил он мне, я ошибаюсь. У него много друзей среди людей искусства, а его свояченица была художником. Ей устроили студию на верхнем этаже их дома, она там и жила.

У Альенди глаза провидца. Улыбка сияет великолепными

зубами, рот несколько женственный. И выглядит очень уверенным в себе.

Все разговоры Генри с Джун, рассказывает он мне, обычно заканчивались ожесточенными схватками. Джун ухитрялась высказывать-такие обидные вещи, что Генри чуть ли рассудок не терял от отчаяния и гнева, а теперь он видит, что все эти грандиозные битвы были пустыми, бесплодными, делавшими его разочарованным, не способным не то чтобы работать, а даже просто жить. У нее был какой-то особый дар все испортить, все изломать, не задумываясь даже, просто инстинктивно.

Начать писать о Джун подтолкнула одна зажегшая меня фраза из Юнга: «Прорваться из сна в действительность…»

Сегодня, когда я повторила эти слова Генри, он очень разволновался. Он записывал для меня свои сны, а потом старался определить их корни, найти ассоциации.

Во время нашей беседы о снах Генри сказал: «Я уяснил себе, что я человек довольно крепкий и не сдамся никому».

Альенди ошибается, не принимая всерьез мои творческие устремления. Писательство, литература, творческий риск — для меня не игрушки. Меня трогает его отеческое покровительственное отношение, но в то же время и смешит. Строго ограниченная искренность людей, подобных Альенди, не вызывает во мне такого интереса, как Генри с его неискренностью, спектаклями, враньем, литературными эскападами, экскурсами в неизведанное, дерзкими экспериментами, с его отвагой и нахальством. В самой своей основе я могу быть доброй, человечной, любящей, да и не только такой, а гораздо больше: человеком сложным, с удвоенной фантазией; я могу быть иллюзионистом.

Возможно, Альенди ведет наши разговоры, чтобы успокоить свои сомнения. Он упирает на мою хрупкость, на мою наивность, тогда как я, повинуясь глубокому инстинкту, избираю тех людей, кто будит во мне энергию, очень многого требует от меня, обогащает меня опытом и болью, не сомневается в моей отваге и твердости людей, подобных Генри и Джун, не считающих меня наивной и непорочной, бросающих вызов моей проницательной премудрости, людей, у которых хватает смелости обращаться со мной как с женщиной, невзирая на то, что они прекрасно осведомлены о моей уязвимости.

Щедрое лето

Лето 1932 года для Анаис, казалось бы, небогато событиями. Дневниковые записи за май — июль состоят из описаний сеансов психоанализа у доктора Альенди, пересказа разговоров с Г. Миллером о Джун и рассуждений о литературе. Это на поверхности, но углубишься в это лето, и открываются сокровища.

Записи в «Дневнике» — почти протокольные отчеты о психоаналитических сеансах, сопровождаемые комментариями пациента — дают нам редкую возможность заглянуть в лабораторию психоаналитика, который, как правило, сохраняет свои заметки и содержание бесед с пациентом в тайне. В сеансе психоанализа (во всяком случае, в первые годы его становления) участвуют только двое — врач и пациент. Теперь на этот сеанс приглашены и мы.

Психоанализ — открытый великим австрийским психиатром и психологом Зигмундом Фрейдом (1856–1939) психотерапевтический метод и выросшая на основе этого метода разработанная Фрейдом теория психической жизни человека. Мы не будем подробно излагать теорию Фрейда, но несколько слов о ней необходимы. Фрейд утверждал, что в основе психической жизни человека лежат влечения, имеющие органический характер, именно они являются основными силами, определяющими активность психической жизни. Эти влечения не осознаются человеком, они находятся в области бессознательного. Основным из них Фрейд считал половое влечение, или «либидо». К нему присоединяются влечение к власти, к значимости и, наконец, к смерти.

Психоанализ коллекционирует и анализирует сны, ошибочные действия, оговорки, невольные ассоциации, стремясь проникнуть в глубины бессознательного, определяющего сознательную жизнь. Казавшееся всесильным человеческое «я» на самом деле марионетка бессознательного; осветив его, человек сможет над ним господствовать.

Какими же были приемы этого «освещения»? В чем заключалась практика психоанализа?

Психоаналитик предлагал пациенту длительно, в совершенно спокойном, «пассивном» состоянии высказывать все те мысли и ассоциации, которые, казалось бы, случайно приходят ему в голову, ничего не задерживая и по возможности ничего активно не меняя в

их течении. Это длительное «свободное ассоциирование» приводило обычно к тому, что круг ассоциаций сужался вокруг тех переживаний и конфликтов, которые когда-то испытывались пациентом, а затем были им забыты, вытеснены из сознания. Всплывание этих переживаний в сознании вело к их трезвому осмысливанию и преодолению.

Именно этим и занимался доктор Альенди с Анаис (так же, как и другие целители неврозов методом психоанализа).

Теорией венского ученого Анаис интересовалась давно, но что — или, вернее, кто подтолкнул ее к решению подвергнуться испытанию психоанализом?

В своем «отредактированном» дневнике она называет «подсказчика» — некую Маргариту С. Эта же дама присутствует за столиком в кафе, когда Анаис посвящает Миллера в теорию и практику психоанализа. Не только присутствует, но даже отпускает одно очень важное замечание (см. стр. 190 нашего издания).

Но Маргарита С. — лицо вымышленное. Ей отдала Анаис реплику другого человека из трио в кафе, и она же заменила другого в роли инициатора знакомства Анаис с доктором Альенди. Оба эти человека — люди, прошедшие рядом с Анаис почти всю ее жизнь. Обоих она решила не упоминать ни на одной странице, готовя свои дневники к печати. В первом случае — муж Анаис Хьюго Гилер, во втором — ее кузен и предмет ее первой, полудетской любви Эдуардо Санчес. Это он, Эдуардо Санчес впервые посвятил Анаис в проблемы психоанализа, это он уговорил ее пойти к доктору Альенди, пациентом которого сам стал незадолго до этого. Анаис не захотела рассказывать об этом интересном и очень занимавшем ее человеке в своем «Дневнике». Но она рассказала о нем в своей прозе, и с этим отрывком из ее повести «Елена» мы и познакомим читателя. Эдуардо Санчес выступает под именем Мигеля, себя же Анис выводит здесь в качестве главной героини.

«Мигель приехал в Париж после восьми лет разлуки. Он приехал в Париж, но не принес Елене никакой радости, никакого облегчения, потому что он был символом первого крушения ее надежд.

Когда Елена впервые встретила Мигеля, они были просто детьми; дальние родственники, затерявшиеся среди многочисленных кузин, кузенов, дядюшек,

тетушек на грандиозном семейном обеде. Мигеля сразу же, как магнитом, потянуло к Елене, словно тень следовал он за нею, ловя каждое ее слово, а ее слова не всякий мог расслышать — таким тихим прозрачным голоском говорила она.

С того дня он принялся писать ей письма, часто навещал ее во время школьных каникул — романтическая привязанность, где каждый был для другого персонажем легенд, романов, рассказов, когда-либо прочитанных ими. Книжные герои воплотились в них самих.

Их встречи были окутаны такой дымкой нереальности, что им и в голову не приходило прикоснуться друг к другу. Они даже под руку не ходили. Слишком высоко парили они рядом, слишком возвышенны были их чувства…

Они танцевали, не подозревая, какая они красивая пара. Но окружающие это видели. Елена замечала, что другие девицы глядят на Мигеля и стараются привлечь его внимание.

Потом она увидела его беспристрастными глазами, с которых спала жаркая пелена обожания, окутывавшая ее. Перед ней стоял высокий, с гибкой фигурой молодой человек, движения его были изящны и легки, но в них чувствовалась скрытая сила…

…И Мигель в первый раз видел Елену не под пологом легенды, который он опускал над нею; видел, как останавливаются на ней мужские взгляды, видел ее ни на минуту не замирающее тело, легкую поступь, почти неуловимую и дразнящую. К тому же в Елене было то, что пробуждало в любом мужчине стремление сделать ее своей добычей: чувственность, живость и нечто невероятно земное, плотское. И еще рот: полные чувственные губы в сочетании с изящной, невесомой, как пух, фигурой. Рот, словно доставшийся этому лицу из другого мира, голос, исходящий из него и западающий прямо в душу, так влекли Мигеля, что он не позволил никому танцевать с Еленой. И в то же время ни единой частью своего тела он не прикоснулся к ней, разве что во время танца. А она втаскивала, звала своими глазами Мигеля в себя, и он цепенел, словно одурманенный наркотиком. А к ней во время танца пришло осознание своего тела, и это тело внезапно потянулось к плоти — легко воспламеняющейся плоти, которая должна была

зажигаться от каждого танцевального па. Елена жаждала припасть к его пухлым губам, отдаться этому непостижимому опьянению.

Опьянение Мигеля было другого рода. Он держался так, словно его соблазняло существо нереальное, призрак. Тело же Мигеля было глухо к телу Елены. Чем ближе он оказывался к ней, тем сильнее ощущал он власть табу, наложенного на Елену, и замирал перед ней, как перед неосквернённой святыней…»

Отрывок интересен тем, что здесь Анаис ярко и откровенно описывает себя, вот такой видит она себя в зеркале своей памяти. Ну а что же Мигель — Эдуардо Санчес? Что происходило с ним? Перед тем как рассказать о нем, нам придется снова вернуться к Фрейду, к влечениям как фактору человеческой психики. По многим причинам наиболее сильному «вытеснению» подвергаются половые влечения, особенно в их ранних формах; поэтому немалое количество бессознательных комплексов носит сексуальный характер. В том числе и т. н. Эдипов комплекс. Он выражается в том, что один из наиболее острых конфликтов ребенка связан с отношением его к родителям (фиксация влечения мальчика на матери с враждебным отношением к отцу, у девочки же положительный и отрицательный полюсы меняются местами). Доктор Альенди легко вскрыл Эдипов комплекс у Анаис. Читайте дальше, что пишет об Эдуардо Санчесе, о его драме.

«Перед ним в тот момент, когда он произнес имя Елены, возникла его мать: такая, какой он видел ее в раннем детстве. Она выделялась среди других женщин своей дородностью. Широкая, огромная грудь, изобилие плоти, вываливающейся из ее свободного белого платья. Могучая, вскормившая его грудь, за которую он цеплялся, когда его отнимали от нее, и потом, пока не коснулся сознанием темных мистерий пола.

Всякий раз, когда он видел груди большой, дородной женщины, напоминавшей ему мать, у него возникало желание сосать, жевать их, кусать, пусть даже до боли, прижиматься к ним лицом, задыхаться в этом душном изобилии, ощущать плотный сосок у себя во рту. И только. Никакого желания проникнуть в эту женщину, полностью овладеть ею у него не возникало.

В то время, когда он встретил Елену, у нее были крохотные груди пятнадцатилетней девочки, они

вызывали в Мигеле чувство снисходительного презрения. Ничего от грубой эротики его матери не было в Елене. У Мигеля никогда не возникало соблазна раздеть ее. Она вообще не представлялась ему женщиной. Это был бесполый образ, подобный виду святых на рождественских открытках, героиням романтических повестей, изображениям на слащавых женских портретах.

Половые органы были только у проституток, которых Мигель узнал очень рано, когда старшие братья затащили его в бордель. Пока братья употребляли шлюх, Мигель занимался их грудями, жадно набивал рот мягкой жаркой плотью. Но то, что было у них между ногами, его напугало: ему увиделась гигантская, мокрая, алчущая пасть. Ее он никогда не сможет насытить, казалось ему. Он страшно испугался этой затягивающей дыры, твердеющей от прикосновения пальцев, жидкости, выступающей на этих губах, как слюна в уголках голодного рта. Эта пасть заглотит его пенис и ему никогда уже оттуда не выйти. У шлюх, с которыми ему пришлось иметь дело, были мясистые ляжки, отвислые, в кожистых складках губы и огромные ягодицы.

Кто же тогда оставался Мигелю? К кому он мог обратить свое вожделение? Да к мальчикам! Конечно же, к мальчикам, у которых не было зияющих дыр, которые внизу были устроены так же, как и он, а это его ничуть не пугало. К мальчикам, чьи желания он мог удовлетворить.

Итак… Мигель нашел для себя золотую середину между шлюхами и Еленой — юноша пробуждал в нем желание без всяких табу, страхов и сомнений.

Елена, совершенно не посвященная в любовные отношения между мужчинами, проплакала дома всю ночь — так ее убила воздержанность Мигеля. Никогда она не была столь красива, как в тот вечер, она чувствовала, что он ее любит, что он перед ней преклоняется. Так почему же он даже не прикоснулся к ней? Танец соединил их, но он ничуть не взволновался. Что это может означать? Какая тайна скрыта за этим? И почему он явно ревновал, когда к ней приближались другие молодые люди?..

И вот теперь Мигель был здесь со всем своим прошлым, все познавший, с длинным хвостом любовных связей, всегда, впрочем, не слишком продолжительных.

Он был постоянно в поисках, постоянно неудовлетворенный, тот самый Мигель, такой же обаятельный, только чуть-чуть возмужавший.

…Мигель посещал знаменитого французского психоаналитика. Всякий раз, когда он увлекался кем-то, когда хотел кого-то, когда овладевал кем-то, ему казалось, что на его шее затягивается еще один узел. Он рвался к свободе, к свободе жить без своей аномалии. И не мог освободиться. Каждый раз, любя какого-нибудь мальчика, он чувствовал, что совершает преступление. А после мучился сознанием своей вины. И искупление видел в страданиях.

Теперь он мог ей рассказать об этом и без всякого стыда раскрыть ей всю свою жизнь».

Красавец Эдуардо Санчес был ровесником Анаис, он писал стихи и тоже вел дневник. Еще в Америке, во время каникул на Лейк-Плэсид, слушая рядом с ним «Неоконченную симфонию» Шуберта, Анаис испытала то, что назвала «первыми муками любви». Когда Эдуардо возвращался на Кубу, где его отец, женатый на тетке Анаис, держал крупное скотоводческое хозяйство, Анаис писала своему кузену письма на десяти — пятнадцати страницах каждое. Он был ее первым конфидентом. Ради Эдуардо, чей французский язык оставлял желать лучшего (он, например, путал слова «кузина» и «кузен»), она перестала писать дневники по-французски. 9 июня 1920 года «Mon Journal» превратился в «My Diary». Теперь кузина и кузен могли при встрече обмениваться дневниками.

И после замужества Анаис их отношения сохраняют прежний характер. Хьюго совсем не ревнует Анаис к Эдуардо, напротив, ему нравится красивый, прекрасно воспитанный новый родственник, и они становятся друзьями. Эдуардо заканчивает Гарвард и бывает частым гостем в доме молодоженов. Втроем они присутствуют на представлении «Пер Понта» и после спектакля Анаис доверяет дневнику свою мечту написать историю женщины, которая любит одновременно двух мужчин и «засыпая в объятьях одного, видит во сне другого». Через тридцать лет она претворит эту мечту в повесть «Искушение минотавра».

Анаис уезжает в Европу и на три года расстается с предметом своей первой любви. Только в 1927 году во время недолгого пребывания четы Гилеров в Нью-Йорке

она снова встречается с Эдуардо Санчесом. С ним произошли перемены. При первой же встрече Эдуардо сообщает, что он проходит курс лечения психоанализом. С напряженным вниманием слушает Анаис его рассказ о ежедневных визитах к психоаналитику, о кушетке в кабинете врача, лежа на которой Эдуардо дает волю своей откровенности — до этого дня о психоанализе Анаис ничего не знала. И второе, еще более поразившее ее открытие — он, оказывается, гомосексуалист. О гомосексуализме ей кое-что известно из книг, ведь она читала Марселя Пруста и Андре Жида, но вот рядом с ней сидит юноша, в которого она была влюблена, который явно ухаживал за ней несколькими годами раньше, и признается, что его привлекают мужчины… Может быть, пойди она ему тогда навстречу более решительно, попытайся она, отбросив девичью стыдливость, завоевать его, стань она его женщиной, он не свернул бы с «правильного» пути. И Анаис подумала… Вот что она пишет об этом в уже цитированной нами «Елене»:

«…Елена впала в распространенную среди женщин ошибку — ей захотелось соблазнить гомосексуалиста. Обычно это представляет собой вопрос женской чести, желание испытать свои силы в исключительно неблагоприятных условиях, наконец, может быть, объясняется ощущением, что каждый из таких мужчин может изменить своим привычкам и соблазниться женщиной».

Как бы то ни было, когда Эдуардо в 1930 году перебирается в Париж, он становится частым гостем в доме Гилеров. Они с Анаис проводят долгие часы в так располагающих к доверительным беседам парижских кафе, их рассуждения о Лоуренсе перемежаются воспоминаниями об их юности. Анаис еще не пришла в себя от недавно закончившегося короткого, но бурного романа с профессором Джоном Эрскином и надеется, что Эдуардо «вылечит» ее. Только что оставленный очередным любовником, Эдуардо надеется, что теперь он сможет перейти к тому, что зовется «нормальной» любовью. Несколько раз, признается Анаис в своем дневнике 1930 года, они подходили вплотную к интимной близости…

Но ничего не получалось. Эдуардо Санчес оказывался импотентом с женщинами.

Зато на долгие годы осталась близость духовная: общность интересов, полная открытость друг перед другом, верность юношеским воспоминаниям о первой влюбленности и чувство двойничества («Мне кажется, что мы близнецы, — сказал ей однажды Эдуардо, — любить тебя, все равно что в себя влюбиться»).

Вот этот человек, а не мифическая Маргарита С, свел Анаис с доктором Рене Феликсом Альенди, бородатым здоровяком-бретонцем, на четырнадцать лет старше Анаис, ставшим ее первым психоаналитиком, но не только…

В самом деле, разве не видим мы, даже в отредактированном, «очищенном» дневнике, как пытается Анаис соблазнить своего доктора? Простодушно выставляет ему напоказ свою обнаженную грудь и наслаждается его восхищением. Рассказывает ему сон, в котором они сидят лицом к лицу («я видела сон, в котором он страстно целовал меня», — пишет она в своем «неочищенном» дневнике и наверняка именно такой вариант излагает доктору Альенди). Что ж, в этом нет ничего необычного: влияние Эдипова комплекса (а в психической жизни Анаис он несомненно присутствовал) испытывает каждый врач, на которого, по мнению Фрейда, больной переносит те чувства, которыми характеризуется его отношение к родителям. Но близость с пациенткой — табу для всякого уважающего себя психоаналитика, и доктор Альенди стойко выдерживает натиск Анаис. До поры до времени.

А пока доктор Альенди занимается ее прошлым, а Генри Миллер — ее настоящим и будущим (у него уже возникла мысль о женитьбе на Анаис), она пишет свою первую художественную вещь из тех, что увидят свет при жизни автора. Название у нее шокирующее — «Дом инцеста». Но «пусть ваши очи разомкнутся» — инцест в этой повести не гнусная кровосмесительная связь между близкими родственниками, а более широкое понятие — символ всего запретного, идущего вразрез с общепринятым, страшного и все же преодолимого в любви. В пору начала работы над «Домом инцеста» Анаис составила в дневнике список своих грехов: любовь к своей родной крови (Эдуардо), к духовному отцу своего мужа (Джон Эрскин), к женщине (Джун), к мужу этой женщины (Генри), к своему аналитику (Альенди), который был, по сути, духовным учителем Эдуардо.

Именно в этой вещи Анаис вышла к тому стилю, который можно было бы назвать «лирическим сюрреализмом». Как сказал один из американских критиков: «Сны были ее специальностью, что она доказала «Домом инцеста».

Вот таким богатым по сути оказалось столь бедное внешними событиями лето 1932 года.

Октябрь, 1932

Джун приехала вчера вечером.

Генри позвонил мне по телефону. Голос его звучал глухо, он явно был озадачен.

— Кажется, она приехала в довольно сносном настроении. Выглядит смягчившейся, рассудительной.

Генри сбит с толку. Уж не последний ли это приезд?

Позвонила мне и Джун. Она хочет приехать ко мне завтра вечером.

Что же теперь произойдет с работой Генри? Как Джун поступит с ним?

— Меня ее приезд ошарашил…

Генри слабый, растерявшийся. Неужели Джун снова начнет его терзать?

Я вышла погулять. Кроваво-красный vigne vierge[37] стелется по изгородям и стенам. Ветер дует мне в лицо. Собака лижет мою руку.

Как далеко я уже отошла от Джун! Почувствовав, что она начинает ревновать ко всему, что я делала для Генри, я сказала: «Я же это делала для тебя». И она тоже соврала мне: «Я хочу увидеть тебя раньше, чем увижу Генри».

И вот она явилась, и вместе с нею возвратилось безумие. Она сказала: «Мне так с тобой хорошо» и сразу же начала говорить о Генри, что он ее «прикончил». Она прочитала все, что он о ней написал.

— Я любила Генри и верила ему, пока он меня не предал. Дело не только в том, что он изменял мне с другими женщинами, он извратил меня как личность. Изобразил бессердечной, а я вовсе не такая. Мне так нужны доверие людей, любовь, понимание. И пришлось ограждать себя от Генри спасительной ложью. Иначе я не защитила бы свое истинное «я». Но вот теперь ты вселяешь в меня уверенность. В тебе есть спокойствие и сила, и ты по-настоящему понимаешь меня.

И пока мы вместе поднимались по маленьким темным улочкам на холм, я видела новую Джун, смущенную, мучающуюся, ищущую защиты.

— У Генри не хватает воображения, он ни черта не видит. Но он вовсе не такой простак. Это ведь Генри запутал меня, лишил меня радости жизни, убил меня. Он притащил сюда литературу, создал вымышленный образ мучающей его женщины, которую и возненавидел; он ведь может писать только тогда, когда его подстегивает ненависть. Я не верю в него как в писателя. Он

временами может быть человеком, но вообще-то он лгун, лицемер, фигляр, актеришко. И он ищет драму везде и создает чудовищ. Простота ему не нужна. Он ведь интеллектуал! Он может добиться простоты и сразу же начинает рушить ее, изобретать чудовищ, придумывать что-нибудь болезненное и тому подобное. Это все фальшь, фальшь, фальшь.

Я была потрясена. Я столкнулась с новой правдой. Увидела гигантский запутанный клубок. Мне все темно и, как ни странно, одновременно все ясно. Я в нерешительности колеблюсь не между Генри и Джун, а между двумя очевидными для меня правдами. Я верила в Генри, как в человеческое существо, хотя прекрасно понимала, что он сущий литературный монстр. Я верила в Джун, хотя прекрасно знала ее разрушительную мощь.

Джун опасалась — и первым делом сообщила мне об этом, — что я окончательно приняла версию Генри о ее характере, и потому собиралась приехать в Лондон, а уж оттуда пригласить меня к себе. Но здесь, едва заглянув в мои глаза, она снова поверила в меня. Так же, как верит в меня и Генри. Им обоим нужна эта вера. А мою веру в Генри, мое желание защищать его Джун старается поколебать.

— Ничего ты не добьешься. Он только прикидывается понимающим, а потом раз — и все порушит.

Но разве со мною Генри не становится более человечным, а Джун более искренней? Я, познавшая природу обоих, не провалюсь ли со своими попытками справиться с их притворством и добраться до их истинной сути? Я припомнила, какое острое чувство жалости пронзило меня, когда я прочла в записках Генри о том времени, когда одна Джун работала и на Генри и на свою Джин. Как однажды, не выдержав, она крикнула: «Вы все говорите, что любите меня оба, но ведь вы ничего для меня не делаете!»

А сегодня я вижу, что Джун изменилась. Стала разумнее, нет в ней былой истеричности, изломанности. Здравый смысл, человечность — именно этого и хочет от нее Генри. Они теперь могут разговаривать друг с другом. Он может понимать ее лучше.

Мы вошли с Джун в дом и остановились в дверях, озаренные тем же светом, какой падал на нее в тот вечер, когда мы впервые встретились. Мы обе были ярко освещены и смотрели друг на друга. Что случилось, что сделало и меня и Генри более ясными, прозрачными для нее? И откуда этот лихорадящий жар, не исчезающий даже при полной ясности? Им-то все ясно и в себе самих, и друг в друге. Ну, а я? Мне предоставлено страдать от того безумия, которое они оставляют после себя. Позволено разбираться в их путанице, неискренности, сложностях.

Сумеет ли она лишить Генри его веры в себя? Ведь она пытается покончить с его книгой. Оставит ли она его еще раз без всего, да к тому же и униженного? Она настойчиво советует мне не помогать Генри с публикацией книги, которую намеревался осуществить Кахане.

— Анаис, ты возвратила меня к жизни. Ты даешь мне то, что Генри отобрал у меня.

Мы сцепляем наши руки и, пока я говорю ей всякие ласковые слова, я напряженно думаю, как мне спасти Генри.

Кто же лгун? Кто настоящий человек? Кто самый умный? Кто самый сильный? Кто самый последний себялюбец? Самый преданный и верный? Или все это намешано в каждом из нас? Но во мне больше человечности, потому что я чувствую в себе желание защитить их обоих.

Джун, хотя и старше меня, относится ко мне, как к учительнице из «Девочек в униформе»[38]. А на себя смотрит, как на Мануэлу, ищущую убежища в моем спокойствии и уверенности.

А теперь — письмо Генри: «Благодаря тебе, Анаис, я смог устоять на этот раз. Не теряй в меня веры, прошу тебя. Мне очень не хочется писать о том, как прошли первые две ночи с Джун, но, когда мы увидимся и я расскажу тебе, ты убедишься в абсолютной искренности моих слов. В то же время, как это ни странно, я не ссорился с Джун. Будто у меня теперь больше терпения, понимания, больше сочувствия к ней, чем когда-либо прежде. Джун предстала предо мной в самом лучшем своем виде, и это могло бы вселить надежды, если бы надежды были мне нужны. Но я понимаю, что все это пришло слишком поздно, я уже прошел дальше. И отныне я должен буду прожить с Джун еще какое-то время в условиях грустной и великолепной лжи. Может быть, ты увидишь в Джун больше, чем видела раньше, и будешь права»[39].

Каждый из них отыскал во мне нетронутый, неиспорченный образ самого себя, свой реализованный потенциал. Генри видел во мне великого человека, каким он мог бы быть, Джун — возвышенную личность. Каждый из них льнет к этому образу самого себя во мне. Источник жизни и силы.

Но в Джун нет созидающей силы, только разрушительная, направленная на других мощь. А Генри до знакомства со мной мог утверждать свою силу, лишь яростно.

…Я оставляю Джун в такси, и она смотрит на меня взглядом обиженного ребенка. Уходя, я вижу за стеклом ее бледное лицо, страдающее лицо женщины неудовлетворенной, неуверенной, отчаянно пытающейся удержать власть в своих руках, напуская на себя таинственность. Нервы у нее натянуты до предела. В каждом

жесте — неистовое желание казаться необычной, привлечь к себе внимание, может быть, любовь. Напряжение. Ей надо поднимать шум, вызывать ненависть и ревность, порождать конфликты — это ей кажется драматической жизнью. Она чувствует, что Генри не сможет жить, если ее не будет рядом. И ей надо доводить атмосферу вокруг до точки кипения. Потому что она считает, что Генри умрет, если не будет вне себя от ярости и злости.

Прекрасная Джун, говорившая со мной три часа то здраво и осмысленно, то переходя на скучную и пустую болтовню. Ее существо в постоянной тревоге — тревоге за Генри; ее существо, верящее только в минуты головокружения, в экстаз, в исступление, в битву, в лихорадочный жар. И расставаясь со мной, она борется против искажения своего облика. С Генри она теперь разговаривает осмотрительно. А наши разговоры с ней всегда начинаются просто и понятно, но в конце концов она все запутывает.

За минуту до этого она сказала:

— В тебе я вижу себя, какой была до встречи с Генри. В тебе такая же смесь абсолютной женственности и мужского начала.

— Так это же неверно, Джун, — ответила я. — Как только в женщине увидят творческие способности, воображение или же как только она начнет играть активную роль в жизни, про нее тут же говорят: «Сколько в ней мужественности!» У доктора Альенди совсем другие слова для этого: «Ты человек активный, а Генри пассивный, вот и все».

Генри рассказывал Джун о моей любви к правде, о моем спокойствии. Джун сказала:

— Генри никогда не стремился к таким вещам. А я пыталась научить его этому.

Шел дождь, вода скатывалась по окошку такси, и бледное лицо Джун за стеклом казалось мне лицом утопающей. Мне было отчаянно жаль ее. Как я могу помочь ей?

Их конфликтующие образы мучили меня. Они, казалось, увечат друг друга, и мне приходило на ум, а не видят ли они и меня так же искаженно? Я думала, удастся ли мне помочь им обрести другой, неискаженный взгляд, полюбить друг друга опять. Я видела, как силится Джун вернуть себе былую власть. Она хотела, чтобы книги Генри были опубликованы, а вот наших планов насчет этого не одобряла. Жаловалась, что Генри никогда не слушает ее советов.

— Только четыре человека в моей жизни по-настоящему волновали меня: Генри, Джин, ты и еще один человек, которого ты не знаешь.

Может быть, она имела в виду того, кто обеспечил отъезд

Генри в Европу, кого Генри считал ее любовником?

Мне было бы интересно увидеть Генри под новым покровительством. Джун теперь была для него только испорченным, патологическим ребенком.

Я была удивлена, узнав от Джун, что Генри расстраивался, когда слышал о себе отзывы, будто он пишет всего лишь «пиздопортреты». Не потому ли он так усердно засел за свою книгу о Лоуренсе?

Я сказала ему, что на самом деле он принес Джун в жертву своей «беллетристике», использовав ее как прототип нужного ему персонажа (образ жестокой женщины, нужный ему то ли потому, что ему вообще требуются насилие и жестокость, чтобы творить из этого, то ли ему нравится изображать себя жертвой роковой женщины — этого я не знаю). Генри говорит, что он зачарован пороком и, кроме того, все, что он делал, он делал, чтобы наказать Джун и зажить так свободно, как надо жить.

Как я рада тому, что я писатель, что сама пишу портрет, а к его работе отношусь только как к искусству писательства, а не созданию карикатуры на того, о ком я забочусь.

Пласт накладывается на пласт. Озорное лицо Генри. Внезапная вспышка его многосторонней натуры. А за ним проглядывается суровый доктор Альенди, выносящий ему приговор. А следом вижу лицо Джун, исчезающее за пеленой дождя, и целый мир обрушивается на меня.

Генри пишет: «Потому что я монстр. Монстр, ты поняла! Необходимый монстр. Божественный монстр. Герой. Завоеватель. Праведный разрушитель. Разрушитель мертвых ритмов. Творец живых».

Главнейшая вещь — освобождение страстей. Драма есть все, причина драмы — ничто. Как сказал Эли Фор: «Герой есть артист».

В первый раз Генри пристально всматривается в свою внутреннюю жизнь.

Остановит ли мудрость Альенди мое желание двигаться дальше, разбрасывать себя или он будет держаться за мою руку, когда я отправлюсь путешествовать через ад?

Генри посылает мне написанное им о Прусте и Джойсе и просит меня засучить рукава и приготовиться помогать ему критикой. А Джун превратилась в помеху. И я внезапно чувствую, что он прав, она — помеха. Генри провозгласил: «Хоть бы Джун возвратилась в Нью-Йорк. Хочу свободы!»

Ноябрь, 1932

Вчера вечером я приехала в Клиши. Генри и Джун я была нужна как рефери в очередной их схватке.

Я сидела молча. Потом спокойно объяснила, что говорить с ними буду, только с каждым по отдельности. Генри был раздражен неостановимым словесным потоком Джун. А Джун сказала: «Он как каменная стена».

Генри был в высочайшем рабочем настрое. Он работал над двумя книгами сразу. Я уже читала то, что он написал о Джойсе и Лоуренсе Мы обсуждали это. А про Джун Генри сказал, иго она никак не дает ему работать.

Я поняла его малопонятное настроение. Взгляд суровый и сосредоточенный. Джун накрыло волной его творческого горения.

Обычно после их ссор Джун проводила всю ночь вне дома. Но нынешней ночью она вернулась и со смиренным видом заявила Генри, что теперь его понимает. На следующий день она сообщила мне об этом примирении: «Я застала Генри за работой и счастливым».

Неужели Джун действительно любит Генри? Проверить это невозможно, она ведь все время лжет.

А в ту ночь к тому же она заболела. Проснулась среди ночи в жару, ее била лихорадка. Генри сказал: «Я-то знаю, почему она оказалась больной. Я к ней чувствую только жалость и ничего больше. А раздражает она меня сильней, чем кто-либо». Джун не может вызвать в нем подлинного сострадания. Меня угнетает и приводит в ужас, как грубо они обращаются друг с другом.

Это какие-то дикие джунгли.

Наверное, потому я и возвращаюсь к Альенди. Его окно открыто, как вход в гавань. Видны книжные полки. Я стою на улице и представляю себе его спокойный голос, его мягкий смех, его сочувствующие глаза. Я тоскую по тишине и покою, а мир Генри и Джун — словно проблески адского пламени.

Одна моя половина бежит от Альенди, бунтует против него. Я бунтую против мудрости, против сублимации. Конфликт все нарастает, потому что каждый человек силен в роли, выбранной им для себя, и неколебим в своей оценке. Альенди воистину царственный мужчина, смелый исследователь, ученый, человек, старающийся найти связи между наукой и мистицизмом; он лидер, учитель, целитель. Генри — полная ему противоположность. Генри живет чувствами, он анархист, авантюрист, сутенер, безумный гений. А строгость жизни Альенди вызывает во мне ощущение безысходности. Взад и вперед хожу

вдоль его дома, как другие прохаживаются перед храмом. Я закуриваю. Лицо у меня побледнело. Я похожа на Джун. А он там слушает, что говорят ему высшие сферы, ледяные высокие сферы, излучающие сострадание и проницательность. Он там разливает драмы по алхимическим бутылям, занимается перегонкой, наклеивает этикетки. А я должна позволить себе плыть сама по себе.

«J'ai ete bon quelquefois. Je ne m'en felicite pas. J'ai ete mechant souvent. Je ne m'en repens pas»[40], — написал Гоген.

Клиши. Джун, Генри и я. Мы с Джун сидим на кровати Генри. Сам он сидит перед столом, заваленным бумагами, книгами, блокнотами. Мы обсуждаем финансовые проблемы издания книги Генри. Кахане говорит, что его надо бы частично субсидировать. Я обещаю деньги добыть. Джун отпускает бессмысленные, лишенные всякой логики замечания. Подозревая, что она, может быть, ревнует ко мне Генри, я предлагаю ей попробовать достать деньги в Нью-Йорке. Генри терпеливо начинает:

— Ты послушай теперь, Джун. Ты в этом запуталась.

— Нет, — сказала Джун, — это ты сам все запутал. Как только они яростно сцепляются, мы забываем предмет разговора. Тогда Генри просит очень спокойно, даже кротко:

— Джун, я не могу здесь работать. Мне надо несколько дней побыть в Лувесьенне. Пойми. Это самый важный период в моей жизни как писателя.

— Тебе, Генри, не надо уезжать отсюда. Я уеду. Я вернусь в Нью-Йорк, как только достану денег. А сегодня я пойду к своим друзьям, — на глазах Джун показались слезы.

— Да дело же не в этом, — сказал Генри. — Я не прошу тебя уезжать, я прошу дать мне побыть одному. Я не могу работать, когда ты крутишься рядом. Никак не могу, Джун. Мне надо собраться, защитить себя от всего. Чтобы кончить эту книгу, я на преступление готов.

После этого нить разговора снова была потеряна. Джун впала в истерику, ее тело сотрясали рыдания, она выкрикивала, что в Генри нет ничего человеческого, что ей приходится защищаться от него, что если она останется, то или покончит с собой, или сойдет с ума.

Я старалась успокоить Джун, ласково гладила ее по рукам. Генри расчувствовался, в его глазах тоже блеснули слезы. И вдруг внезапно вернувшееся к ней чутье подсказало Джун другие слова: «Знаешь, Генри, то, что в тебе есть хорошего, мне не понять, а вот худшие твои стороны меня очень задевают. В тебе что-то такое, что я не могу никак ухватить. А рабски подчиняться твоим идеям я не могу. Ты для меня слишком умный. Я неподходящая тебе

женщина».

Она зарыдала опять и выскочила из комнаты. Я пошла за ней. В темной, без окон, ванной ее сотрясали рыдания. Я обняла ее, я гладила ее по волосам, словно утешая ребенка. Слезы ее капали мне на грудь. У меня разрывалось сердце от жалости к ней. Она прильнула ко мне, и я продолжала успокаивать ее, пока она не затихла. Оставив ее приводить себя в порядок, я вернулась к Генри. Мы опять стали обсуждать его работу. Появилась притихшая Джун. Я собралась уходить. Джун попросила Генри купить что-нибудь из еды и поймать для меня такси. Мы прошли с ним кварталов десять, разговаривая о Джун, о том, что она ребенок, о том, как ей помочь. Я предложила забирать ее с собой почаще, чтобы дать Генри возможность работать. Но он теперь понимал, что ее болтовня мне стала наскучивать. Сказал, что раньше все был готов отдать, только бы увидеть и услышать покорную и послушную Джун, умоляющую его о любви. А теперь ему это совершенно безразлично. Все, что она говорит теперь, только показывает, как она запуталась, как неправильно оценивает самое себя; она его то превозносит, то клянет, но все равно сути не понимает. Он рассказал мне, что однажды вечером она пришла домой и сказала: «Я верю, что ты самый искренний человек на земле».

А перед моими глазами все стояло прекрасное видение сидящей на его кровати Джун, ее распущенные по плечам волосы, и я думала, каким проклятьем прокляли эту красоту, что в ответ на свои слова она слышит от Генри: «Это все глупость, что ты говоришь, я никак не могу это всерьез принимать».

Опавшие листья бумажно шуршат у нас под ногами, когда мы идем по саду с Джун. Она оплакивает конец жизненного этапа. Заканчивается целый цикл жизни; как трудно сделать этот скачок — проститься с верой, с любовью, когда хочется снова поверить, вернуть былую страсть и — нельзя. А прошлое все всплывает, и надо бороться с ним, и надо очищать воспоминания; а наши сердца совсем не готовы разорвать жизнь на отдельные части, на «до» и «после»; и больно от этой постоянной раздвоенности и от смятения чувств; и мучительная жажда рубежа, где можно было бы остановиться, привалиться к нему, как прислоняемся мы к закрытым дверям, прежде чем двинуться дальше. На моих глазах осыпалась любовь Джун и Генри.

Мучительно было видеть спасовавшую перед жизнью Джун, ее жалкие попытки разобраться в этом, привести в порядок свои чувства, понять. Говорила она, как в горячке. Рассказывала: «Однажды вечером я пришла к Генри, чтобы исповедаться ему, словно к духовнику пришла. Я была исполнена благоговения.

Смотрела на него, как на святого. Но он отнесся к этому так, что я на полуслове замолчала. С того момента — все! Пусть его хоть на носилках полумертвого принесут, я и пальцем не двину. Большего оскорбления он мне не мог нанести».

Мы продолжаем прогулку, и Джун постепенно оживает, она меньше погружена в свое страдание. «Ты знаешь, Анаис, я чувствую такую гармонию, когда ты рядом», — произносит она, в точности повторяя слова, сказанные мне Генри. Может быть, я всего лишь медиум, призванный переносить от одного к другому ясность и ту гармонию, которую прочие находят сами своим «я», своим видением? А Джун добавляет: «Это не я изворотливая, а Генри. Он толкует о моей изворотливости, а сам жуткий проныра».

Так я увидела, какими разрушительными последствиями обернулись литературные изыски Генри для бедного, шаткого разума Джун. Все, что он написал, сказал, преуменьшив или преувеличив, запутало ее, разложило ее личность, веру в себя. Встав перед горою написанного Генри, она сама не знала, кто же она: проститутка ли, богиня, преступница, святая.

Генри окончательно зарылся в свою работу; у него нет времени для Джун. Я отступила к своему писательству. Генри звонит мне. Присылает по почте кучу написанного, и я пытаюсь вдуматься в его идеи, но какую же гигантскую вольтову дугу он сооружает! Лоуренс, Джойс, Эли Фор, Достоевский, критицизм, нудизм, его убеждения, его позиция, Майкл Фрэнкель, Кейзерлинг. Он утверждается как мыслитель; он предъявляет доказательства своей серьезности. Ему надоело считаться всего-навсего «пиздохудожником», экспериментатором, революционером. Фред говорит ему, что его произведения могли бы стать значимыми, если бы не куча непристойных эпизодов.

С грустью смотрю я на фотографию доктора Альенди. Я все время нахожусь между двумя мирами, в постоянном конфликте. А мне хочется временами отдохнуть, попользоваться покоем, выбрать какой-нибудь укромный уголок, сделать окончательный выбор. Какой-то безымянный страх и тревога, которую нельзя описать, заставляют меня быть все время в движении. В такие вечера, как этот, я хотела бы ощущать себя цельным организмом. Ведь только часть меня сейчас сидит у огня, только мои руки живут, шьют что-то. Я все думаю о несчастной Джун и все отчетливей сознаю, что от нее Генри больше вреда, чем пользы.

Бар. Джун веселехонька, потешается над Генри, над его непонятными переменами настроений, над его бездеятельностью, над его esprit d'escalier[41] как писателя. «Он уже, ты знаешь,

Анаис, мертвый. И эмоционально и сексуально умер». С каким же удовольствием они оба объявляют другого мертвецом! Мне приходится все время стараться заинтересовать Джун чем-то другим, отвлечь ее мысли от наркотиков. Я рассказываю ей всю свою жизнь, а она мне — свою. Что за истории! А она приходит в изумление, узнав, что в Южной Франции я жила совсем рядом с домом Лоуренса и так и не осмелилась попытаться встретиться с ним. «Но кто я такая? И с чем бы я к нему пришла?» — спросила я у Джун и рассказала ей, как однажды в доме Рене Лалу мимо меня прошествовал Андре Жид в своем длинном черном плаще. А Джун поведала мне об Осипе Цадкине и его диковинных работах и о том, как он добивался ее и как дал ей одну свою скульптуру, чтобы она продала ее в Америке.

Как на жарких углях, мы танцуем на нашей иронии. А потом Джун произносит, посерьезнев:

— Как ты мне нравишься в этом простеньком дождевике и в фетровой шляпке. — И целует меня в шею прямо перед окнами дома Альенди. И взгляд ее, как всегда при расставании, похож на взгляд утопающей.

И она говорит:

— Я сейчас отыскиваю кого-нибудь, перед кем буду преклоняться; преклоняться перед Генри я теперь никак не могу.

А я, преклоняюсь ли я перед Альенди? Или это дочернее уважение?

— Но я не хочу отказываться от своего безумия. Пробую объяснить Джун, как я понимаю писательство. Писатель — дуэлянт, не являющийся в условленный час; он подбирает оскорбление, словно некую любопытную вещь, находку для коллекционера; потом он рассматривает это на своем столе и лишь тогда выходит на дуэль со своим оружием — словом. Многие считают это слабостью. Я называю это обдумыванием. То, что для мужчины слабость, для писателя — достоинство. Он хранит, накапливает то, что взорвет позже в своем произведении. Вот почему писатель — самый одинокий человек в мире; ведь он живет, сражается, умирает и вновь рождается всегда в одиночестве; все свои роли он играет за опущенным занавесом. А в жизни он фигура несообразная. Чтобы судить писателя, надо любить его писание той же любовью, какой любишь его как мужчину. А большинство женщин любят только мужчину.

Излагая все это, я понимала, что Джун перескажет услышанное от меня Генри (и не сомневалась, что выдаст неподписанное произведение искусства за свое).

Над идеями, высказанными не будем задумываться и завтра. Виноват джаз. Всякий раз, когда я вхожу в бар или кабаре, еще до

того, как вручить пальто гардеробщику, я так глубоко затягиваюсь ароматом всех этих ощущений — красотой женщин, магнетизмом, исходящим от мужчин, звездным светом ламп, — что уже готова, как заправский пьяница, сползти куда-нибудь под столик. Как быстро скольжу я по снежному склону звуков, тону в затуманенных глазах, растворяюсь в музыке!

Джун и я, мы обе охвачены жаждой тепла и любви. Подарки, комплименты, тихие слова, восхищение, фимиам, цветы, духи.

Входим в танцевальный зал. Неожиданная изысканность и церемонность. Вечерние туалеты, шампанское в ведерках, белые смокинги официантов, мягкий камерный джаз. Может быть, стоит уйти отсюда? Но в глазах Джун я читаю — плевать! Она хочет бросить вызов этому обществу, дать пощечину всему миру, раз уж Генри зарылся в свою книгу и наплевал на нас.

Забыв о ледяной корректности места, мы болтаем, склонившись друг к другу. Джун — лучащаяся, яркая, предвещающая. Любому и каждому, кто понимает, под пару. Хочется знать, есть ли у нее в Нью-Йорке любовник.

Мы нужны друг другу. Мы порой сами не можем понять, кто из нас дитя, а кто мать, кто старшая сестра или мудрая опытная подруга; кто кому покровительствует, кто главенствует в нашем союзе. Эта с ума сводящая неопределенность охотно нами сохраняется, и мы не знаем, чего хотим одна от другой. Сегодня Джун говорит: «Хочу с тобой танцевать». И Джун ведет меня в танце, она крупная, высокая, а я маленькая и легкая. Мы скользим под последние умирающие вздохи джазовой пьески. Мужчины в жестких, более жестких, чем спинки их стульев, воротничках. Дамы туго сжимают губы. Музыканты улыбаются с коварной кротостью, радуясь спектаклю — пощечине их великолепным гостям. А те ничего не могут поделать, уж слишком хорошо смотримся мы вместе: Джун, нахмуренная, закрытая полями шляпы под Грету Гарбо, укутанная в пелерину, с трагически бледным лицом, и я — полный контраст ей каждой своей черточкой. Мужчины чувствуют себя оскорбленными. Официант дожидается у столика, чтобы сказать нам, что больше мы танцевать не будем. Тогда я требую счет тоном владетельной сеньоры, и мы уходим. На моих губах пряный вкус мятежа. Мы отправляемся в кабаре «Фетиш». Вот там мужчины и женщины ничего на себя не напускают, там не стесняются. Здесь мы не парии. Мужчины наперебой стараются обратить на себя внимание Джун, и она откликается взглядом и легкой улыбкой. Я корчусь от ревности. А Джун рассказывает. Все ее истории Генри уже мне рассказал, но теперь они подаются обратной стороной. Они не сходятся ни в одной точке. Каждая сцена реконструируется. Это

Генри сделал Джун вульгарной и ожесточил ее. На самом деле она чувствительная и тонкая женщина. Это Генри изменял ей постоянно и даже предавался любви с другими у нее на глазах. Это Генри, посчитав, что она должна быть роковой женщиной, толкал ее на наихудшие поступки. Это Генри научил ее языку подворотен. «Ему же не нужна человеческая жизнь, Анаис, не нужно человеческое счастье. Уж я-то знаю. Ему нужны фокусы и трюки, сумасбродства, штучки-дрючки, горячка, волнения. Мне пришлось делать все, что он должен был бы делать, если б духу хватило. Он ведь у нас смирненький, квелый. Я хотела подарить ему характеры Достоевского. Но он не Достоевский, он их не разглядел. В нем нет ничего от человеческого существа; он — хамелеон. Он меня ненавидит потому, что всем мне обязан; он испоганил все, что я ему дала. Ему и чувства реальности не хватает, и фантазии».

У нее глаза ворожеи и острый, стремящийся вперед профиль.

Обе мы уже хорошо выпили, и она принимается рассказывать о некоем человеке из Нью-Йорка. Очень благородный и очень красивый мужчина. Так она что, влюблена в него? Тут она начинает мяться, произносит каждое слово, будто сдает врагу позицию. Неужели боится, что я выдам ее Генри?

А она жалуется, что ей так и не встретилась большая любовь, а встречались только большие эгоисты, старавшиеся использовать ее для себя.

И мне начинает видеться сквозь всю туманность и бессвязность ее речей, что она рассказывает о былом Генри, а я-то знаю совсем другого.

— Я ждала от Генри, что он сотворит чудо из моей жизни, моих рассказов, моих друзей, поднимет их, прибавит им многое. А он вместо этого их принизил, сделал все убогим и безобразным…

Ну да, она хотела войти в литературу, как характер, во всем своем великолепии, богатстве и дикарстве.

— Я создам из тебя великолепный характер, Джун. Мой портрет тебе понравится.

— Но только не так, как в этой поэме, в «Доме инцеста». Я там ничего не поняла, это не я.

Генри не может навязать мне свою манеру, потому что я все делаю по-своему. И ее портрет могу сделать тоже по-своему.

Вдруг она сказала:

— Когда я приехала из Нью-Йорка в первый раз, я думала, что ты, конечно, стала уже подругой Генри и изображаешь любовь ко мне, чтобы выдать меня ему.

Я вспомнила сказанное мною Генри: «Если я когда-нибудь

выясню, что Джун вас не любит…»

— Ну, а теперь? — я взглянула на нее, и от чувства вины у меня навернулись слезы.

Джун приняла их за слезы умиления, это ее растрогало, и она положила свою руку на мою.

— Теперь я тебе верю.

И начала сбивчиво и бессвязно рассказывать о двухлетней связи с тем самым Джорджем, красивым, как бог, но лишенным основательности. «Я до безумия хотела его полюбить и не могла. А Генри, как бы то ни было, я была нужна. Он без меня просто бы сгнил».

Что же это, эхо большой любви или же всего лишь живучей, неизлечимой одержимости, охватившей их обоих?

— На днях Генри, разговаривая со мной, делал какие-то бессмысленные, дикие жесты, дергался, как марионетка. Но я не спрашивала, что с ним, меня это теперь не волнует.

Генри говорил Джун, что все ее жертвы придали ей столько величия, что на благодарность рассчитывать нечего.

— А что ты чувствовала, когда одолжила ему машинку, самой пришлось писать от руки, а он твою машинку снес в ломбард, чтобы купить для всех нас выпивку? Ничего не имела против?

Не со злорадством ли задает она эти вопросы, подчеркивающие бестактность Генри? Я вспомнила о его предостережении: «Она тебя попробует против меня настроить».

…Клиши. Джун, Фред, Генри и я сидим на кухне за обеденным столом. Генри прицепился к одной моей фразе, так, мол, по-английски нельзя сказать. Я защищаюсь, как могу. И говорю, между прочим, что мне снилось, будто я вся покрыта грибами.

— Ничего удивительного, — сказал Генри, — ты ведь существо эзотерическое.

— Генри терпеть не может интеллигентных и экзотических женщин, — откликнулась Джун.

— Le fiance des bonnes[42], — ухмыльнулся Фред.

Вспомнив о всяких трудностях моего отца с прислугой, я ощетинилась. Впрочем, беседа продолжалась. С игрой слов, подтруниванием, поддразниванием, с дуэлью острот, с намеками. Алкогольные абстракции. Джун начала терять точку опоры — она осушила чуть ли не целую бутылку Перно.

И мне показалось, что все мы понемногу сатанеем.

И тут Генри вдруг произнес так жалобно, так по-детски: «Ты меня не бросай, Анаис». Джун смутилась, Фред что-то съязвил. А Генри между тем напился. Он тряс головой, как медведь,

которого вожатый заставляет танцевать. Он и вправду пританцовывал и рычал. Джун пришла в дикое возбуждение и стала необъяснимо свирепой.

Разговор кончился, потому что Генри почувствовал дурноту и ему пришлось прилечь. Джун все не могла угомониться. Она уговаривала растянувшегося на своей кровати Генри выпить еще чего-нибудь для прояснения мозгов. Ей никак не удавалось убедить его, и тогда она сунула мне полный стакан и попросила отнести его Генри. Я подумала, что таким образом ей надо было убедиться в моей власти над ним, но теперь я понимаю, что она просто хотела остаться вдвоем с Фредом.

Дав Генри выпить и возвращаясь на кухню, я увидела сквозь стеклянную дверь их сблизившиеся головы, а войдя, услышала как они отпрянули друг от друга. Джун сидела широко раздвинув ноги, помада размазана по губам, юбка задралась до колен, бретельки спустились с плеч. Больно было видеть ее такой: взъерошенной, неопрятной, разлохмаченной, с лицом, сразу погрубевшим от выпитого. Я смотрела на нее с укором. Она почувствовала мою боль и забормотала: «Анаис, Анаис, я люблю тебя. Ты умная и безжалостная, все вы умные и безжалостные, потому я и напилась. Я жутко пьяная». Ее кинуло в мою сторону, и я едва успела ее подхватить. Глаза у нее наполнились слезами. Я повела ее к кровати. До чего же тяжелой она мне показалась (забавную, должно быть, картину представляли мы с Джун, почти лежащей на мне). Мы доковыляли до комнаты Генри. Он очнулся и помог мне уложить Джун. А она хохотала. Потом заплакала. Потом ее вырвало. Я положила мокрое полотенце ей на лоб, она сорвала его и швырнула в меня. И опять забормотала: «Я всегда хотела напиться пьяной, Генри, так, как ты напиваешься. Вот теперь я пьяная. Я отобрала у тебя твое пьянство». Но на самом деле она была не настолько пьяна, чтобы ничего не соображать. И осознавала свои страхи, сомнения, подозрения и выплескивала их наружу вместе с самоосуждением и детским призывом о помощи и защите.

— Генри, Анаис, какие вы оба умные и жестокие. Умные и жестокие. Я вас боюсь. А где Джордж? Джордж! Тебя я нисколько не боюсь. Я очень больна. Я насквозь прогнила. Оставь меня, Анаис, не подходи ко мне. Я ужасно больна. И устала. Мне хочется отдохнуть. Покоя хочется. Почему ты меня не успокоишь, Анаис? Оботри мне лицо. Дай холодное-холодное полотенце. И уходи. Отвратительно. Отвратительно пахнет.

Генри топтался, вытирая пол, ополаскивая полотенце. Растерявшийся, сбитый с толку и все еще не протрезвевший.

А меня с души воротило: я хотела освободиться разом от всей

своей жизни, от всего, что слышала, видела, от моих иллюзий, фантазий, от приключений, от выпивок, разговоров, оргий, от всех ощущений.

Джун приняла мою серьезность за упрек, за моральное осуждение, но это было не то. Это было отречением от грязи. От Джун, в черном шелковом платье валявшейся в рвоте. Грязь и пустота. Тоска от пустоты. Джун тошнило, а я чувствовала, что меня рвет всей моей жизнью. Вином, что мне приходилось пить, телами, прикасавшимися к моему телу, всеми поцелуями, всеми кафе, всеми кухнями, поддельными, внешними восторгами. Я тоскую по истинным восторгам, восторгам от только что написанного, только что прочитанного, по экстазу музыки, философии, созерцания. Я тоскую по той комнате, которую вижу сквозь открытые окна разлинованной книжными полками, парящей над жизнью. Там никогда и никто не свяжется с подонками, никогда и никто не совершит вынужденной посадки. Джун видит в моей печали суровое осуждение, но это не так. Я снова кладу холодное полотенце на ее лоб. Я успокаиваю ее. Я говорю ей, что я вовсе не жестокая, что я люблю ее. Она уже похрапывает. Я ложусь рядом с ней на кровать не раздеваясь, даже не сняв жакета. Генри приносит нам кофе. Джун пьет его медленными глотками. Уже светает. Джун спрашивает: «Ты придешь вечером?»

Я хочу к своему одиночеству, к своему миру, в красоту моего дома; я хочу снова обрести свою легкость и радость. Экстаза без похмелья, без тошноты. Джун пошла проводить меня на вокзал. Она купила мне букетик фиалок, я выброшу их в поезде под скамейку.

Свой рассказ о Джордже Джун перечеркнула. Она придумала его, как она говорит, из-за того, что в отличие от меня у нее ничего интересного не происходит.

Она усмехнулась, услышав, что я не приеду в Клиши сегодня вечером, что у меня просто нет сил. Не могла же я объяснить ей, что рвусь к своему дневнику, чтобы написать о новом образе Джун, представшем предо мной, не могла объяснить ей моего желания отдернуть руку.

…Я вернулась назавтра в Клиши, но там я не останусь. Мне этого не вытерпеть. Видеть Генри, безвольно взирающего на то, что выкидывает Джун, сторониться ее штучек, сравнивать их обоих — нет уж! Я хочу впустить их в свою жизнь, но жить их жизнью не хочу. Не могу больше видеть, как они рьяно крушат друг друга. И каждый другого опровергает. Генри говорит, что Джун была неразборчивой бабенкой, мучившей его и

разрушившей его романтическую веру и любовь. Он описывает ее наглость, самоуверенность, ее бессердечие и свои иллюзии. Он описывает Джун, как раскаявшуюся грешницу, которую он приучил к литературе, поднял с Бродвея, с пола дансинга. А Джун утверждает, что до встречи с Генри она была романтичной и незапятнанной, что она близко к себе мужчин не подпускала, что это она ввела его в мир Стриндберга, Ницше, Достоевского, Эли Фора. А в том, чему научилась от Генри, она его быстро превзошла, на голову выше его оказалась. Она упорно твердит, что Генри хотел видеть в ней лишь девочку, женщину, шлюху и не признавал за ней никакого интеллекта. И ей пришлось искать спасения от его циничной болтовни о сексе, от его похабства в своих историях о фантастических приключениях. Так что это его натурализм бросил ее в вымысел, заставил бежать от вульгаризации и опошления всего. Джун говорит, что Генри умалял ее достоинства и никогда не признавал ее влияния на себя. Она служила ему своим редким по ценности опытом, а он не сумел понять его и воспользоваться им. А ведь верно, что описания Генри их жизни в Виллидже, подпольных распивочных, друзей, бывших рядом с ними, самых разных историй Джун касаются лишь внешней стороны предмета, без всякого стремления понять его значение и обнаружить подтекст. Но теперь-то он это делает. Верно и то, что, когда Джун прочитала поэтические страницы о себе в моей длинной поэме в прозе, она в них не разобралась. Также верно и то, что она не может понять ни Генри, ни самое себя, что они оба не осознающие себя существа и действуют по большей части инстинктивно, вслепую. Верно и то, что Джун временами проявляет исключительно острую и глубокую интуицию, а порой ее разум просто помрачается, так что ее действия надо перевести на язык символов, а символика эта бывает Генри непонятна. Так что им необходим переводчик!

Вот этим я как раз и занималась: сидела на кровати Генри и переводила им друг друга. Джун была в ясном состоянии духа и говорила спокойно. А я рассказывала Генри, что он весьма мало знает себя и именно в этом корень его недостаточного понимания мира. И цитировала Джун. Генри сказал: «Ну вот, теперь мы поговорили». Джун одобрительно кивала на мои слова о его эгоцентризме, его сверхсамоуверенности, видной в его книгах, отсутствии в нем сердцевины; потому и жил он всегда, руководствуясь только своей реакцией на действия другого человека и никогда своим категорическим императивом; на отталкивании, я сказала, построил он свою жизнь и постоянно то страшно переоценивал, то недооценивал себя. А самопознание всегда лежит в основе мудрости. Генри исказил образ Джун из-за

своей невропатической любви к матери и его отвращения к ней, из-за своей нужды в женщине и в отталкивании от нее. Спасал ли он себя своей работой? А в его книге таится ли та самая основная слабость, что заметна у Джойса, Лоуренса, Пруста: чрезвычайно усиленное эго. Я критиковала его со всех сторон, но, разумеется, более тактично, чем описываю это здесь. Я заменила для Генри доктора Альенди, показав его зависимость от критики, от мнения других, его нужду в постоянном экспериментировании и неумение найти время на осмысление этого эксперимента; его желание побольше поговорить, вместо того чтобы попробовать уловить значение событий.

Все началось с разговора о его запутанной манере письма, о смешении стилей. Он, как сам говорит, человек, бегущий впереди самого себя. Он постоянно возвращается к уже законченным вещам, добавляет, переделывает, каждый день находит новые интонации, ставит новые акценты. Он накапливает, я это вижу, слишком много фактов, и их груз мешает ему разглядеть реальность. В нем полно диссонансов.

Потом Генри отправился за покупками к ужину, и мы с Джун остались вдвоем. Она сказала мне, что я была великолепна, что она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так разговаривал с Генри: без промашки, попадая ни слишком высоко, ни слишком низко; что я разъяснила многое и для нее тоже. Словом, все отрывки наших разговоров, все наши краткие встречи, все мимоходом оброненные реплики слились в монолог, который я всегда мечтала услышать от Джун: без истерики, даже без слегка повышенного тона, спокойный, мягкий, сдержанный, ясный и здравомыслящий.

— Я, Анаис, теперь умерла для секса. Перегорела, выжжена, сожгла в себе всякую веру и все мои великие иллюзии. А Генри тоже теряет свои мужские качества. Я это вижу по тому, как он меня обнимает. И чувствую — это не оттого, что он меня не хочет, ему вообще ни к чему любая женщина.

— Может быть, это потому, что он так много сейчас пишет. Когда я писала свою книжку о Лоуренсе, у меня две недели как будто вообще тела не было.

— Нет, это не то. Я видела его и в таких состояниях. Сейчас все иначе. Но я ему не хочу говорить об этом. Он и так задавлен комплексами, зачем добавлять еще один.

Однако, к чему бы ни относились сетования Джун, я видела, что она оплакивает мертвого Генри Миллера, а ведь был другой Генри, живой и счастливый. Она жаловалась, что он никогда ей ни в чем не верил. Да, он был жесток, но, может быть, это была самозащита против ее напора и воли.

Отсутствие в женском мозгу крепкой мускулатуры делало Генри подозрительным к женскому разуму. Правда, как раз перед самым возвращением Джун он начал доверять моей интуиции. Это тот вид женского мышления, который проясняется психоанализом, и я теперь могу лучше объяснить, что именно я чувствую.

У Джун смешное свойство путать вещи разной ценности. Она на одном дыхании произносит имена Достоевского и Греты Гарбо, Пруста и какого-нибудь типа из Виллиджа, вроде Макса Боденхейма. Литература для нее дамское украшение. Генри написал: «Она носит литературу, как перья на шляпке. Но то, чему меня научил Альенди, она понимает».

И вот пока она взволнованно говорила о полноте своей любви к Генри, я положила голову ей на колени и сказала: «Джун, я боготворю тебя». И в ответ: «Да я не хочу, чтоб меня боготворили, я хочу, чтобы меня понимали!» Это был тот же самый крик Генри: «Хочу, чтобы меня понимали!» И там и тут одно — жалоба на дефицит понимания и крик о помощи. Словно я прожила всю свою жизнь, с самого детства развивая в себе лишь одно необходимое им качество — способность проникать в значение всего на свете; готовить себя к верной оценке всех фактов, чтобы суметь понимать все это и как следует разъяснять им.

Тут я ощутила атмосферу ее разговора. Это звучало подобно завещанию или манифесту об отречении. Почему? Да потому, что она внушала мне, как я должна вести себя с Генри и как не должна. Неужели она догадалась о чем-то, наблюдая мое с Генри общение? Так ли уж плохо понимала она Генри и самое себя, так ли безнадежны были их усилия проникнуть в суть другого? Убедилась ли она, как далеко зашла наша дружба с Генри, и готова ли была отказаться от него, поняв, что разлад с каждым днем углубляется? Ее реплики, то ехидные и укоризненные, то демонстрирующие великодушие, явно направлены на то, чтобы разрушить теперь мою веру в Генри как писателя, она сама в него уже не верит. Именно забота обо мне заставила ее произнести следующее предостережение:

— Сегодня вечером ты показала, насколько ты мудрее Генри. Не позволь ему расстроить твой ум и помешать твоей работе. Помни, что она — прежде всего.

Что это, женская солидарность? Пророчество? Значит ли это, что Генри погубил ее? Но здесь разница. Они-то были любовниками.

— Но он может повредить тебе как писателю так же, как повредил мне как женщине, — он стремится все брать и ничего не давать.

Я не смогу записать в точности все события этой ночи, все, что мы говорили друг другу. Мне показалось, что Джун поднимается в какие-то безличностные сферы, отбрасывает личную ревность, что она уже примирилась с моей привязанностью к Генри и его ко мне.

Она сидела на краю кровати, распустив волосы, курила сигарету за сигаретой.

— Ты такая юная и доверчивая. И тело у тебя такое же: молодое, стройное, чистое.

Этой ночью каждое высказывание несло на себе странный груз, там были печаль, признание, горечь. Я ощущала, что ее преследует некий образ: образ ее прошедшей юности и свежести, возродившийся для нее во мне. Вспоминаю одну из ее фраз, произнесенную словно в бреду: «Почему у меня такое грубое, топорное тело, Анаис, я ведь не такая».

— Но, Джун, Генри и любит твое крепкое, крупное тело. И я тебя люблю такой, какая ты есть. И хочу быть такой, как ты.

Она хотела выскочить из своего тела с такой же силой, с какой я хотела жить в ее теле, превратиться в нее. Мы обе отказывались от себя и хотели превратиться в другую.

Мы проговорили до рассвета. Джун временами вскакивала и расхаживала по комнате. Я смотрела на нее снизу вверх.

Генри сказал: «Я много до чего сумел додуматься в жизни и понять. Кроме одной очень важной вещи. Что за вещь? Это, как ты говоришь, постижение самого себя. Твой взгляд на меня… Ты отбрасываешь все ненужные детали, не то что Джун: наворотит всего и не разберешь. А ты приводишь мои поступки и весь мой опыт к правильной пропорции».

Я застала его за работой под названием «Форма и язык». Я читала только что напечатанное на машинке, страницу за страницей; не успевала я прочитать одну, он протягивал мне следующую. И мы без конца говорили о его работе и всегда в одной и той же манере: Генри, фонтанируя идеями, разбрасываясь, растекаясь, а я аккуратно и целеустремленно плела петлю за петлей. Он заканчивал громким смехом над моей целеустремленностью. А я не умела останавливаться, пока не добьюсь совершенной законченности. Я всегда старалась добраться до центра, до сердцевины, до сути хаотического изобилия его мыслей. Я билась над тем, чтобы связать все несвязанные между собой концы.

Генри плевать на форму. Он подчиняется только ритму, как сказал Лоуренс. А все классические образцы — пропади они пропадом.

Так и в работе. В любой момент он может начать

декламировать, бормотать, может отвлечься на курение, на выпивку, ход его мыслей прерывается возбуждением, вдруг охватившим его тело. И это ему на пользу. Непостоянство во всем, сама жизнь непостоянна и нелепа. Он принимает ее нелепость.

Я проходила по улицам, любовь к ним внушил мне Генри. Старик гонит метлой воду с тротуаров, она течет медленным грязным потоком по сточным канавам. Открываются витрины: висит на крюках мясо, овощи выкладывают в корзины. Вертятся колеса, выпекается хлеб, дети прыгают через скакалку, собаки волокут за собой грузные хвосты, возле бистро кошка слизывает с шерсти прилипшие опилки, бутылки с вином выплывают из погребов. Я люблю эти улицы, которых лишена была в детстве. В свои детские игры я играла в домах: в Нейи, в Брюсселе, в Германии, на Кубе. Генри играл на улице. И вокруг него были обыкновенные люди, обыватели, а вокруг меня — артистический мир.

В отличие от Пруста Генри ведет поиски утраченного времени в движении, на ходу. Он может вспоминать свою первую жену лежа на шлюхе, он может вновь увидеть мысленным взором свою первую настоящую любовь, спеша по улице на свидание с приятелем; жизнь не замирает, пока он предается воспоминаниям. Препарирование происходит на ходу, а не за устойчивым столом вивисектора. Вот это постоянное пребывание в потоке жизни, его сексуальная активность, его разговоры с любым и каждым, его долгие сидения в кафе, его сомнительные уличные знакомства раньше казались мне помехой писательству, прерывающими его работу; теперь я вижу, что именно это качество отличает его от других писателей. Он никогда не сохраняет хладнокровия за письменным столом, он пишет, раскаляясь добела.

То же самое и с моим дневником. Он со мною всегда, и я могу писать за столиком в кафе, поджидая приятеля, в поезде, в автобусе, в зале ожидания на вокзале, в парикмахерской, пока сушатся мои волосы, даже в аудитории Сорбонны, если лекция становится скучной.

И детство свое я вспоминаю не за чтением фрейдовского «Предисловия к дневнику маленькой девочки», а на кухне за готовкой, в саду, на прогулке и даже в постели, занимаясь любовью.

Генри дразнит меня моей памятью на разговоры. То и дело он говорит: «Не забудь записать это в дневник», тогда как от других я слышу: «Только не заносите, пожалуйста, этого в свой дневник».

У него теперь даже лицо изменилось. С удивлением смотрю

на него, пока он объясняет мне Шпенглера. Ничто в нем не напоминает гнома или отчаянного сластолюбца. Серьезность. Сосредоточенность.

Разговоры о его работе. Иногда я чувствую, что с ним надо держаться серьезного тона, пока он валяет дурака, куражится; надо говорить ему о значимости его труда, как бы он ни оступался, ни запинался и ни метался из стороны в сторону. Фред критикует Генри за его беспорядочное чтение, за усилия мыслить, которые ему кажутся умничаньем. Он осуждает его интерес к науке, увлечение кино, театром, философией, литературной критикой, биографиями. А я говорю на это, что большой художник должен быть всеядным, ему все сгодится для его алхимических опытов, все пойдет в переплавку. Только слабенький писатель боится разбрасываться, расширять свои интересы. Генри должен удовлетворить сущностную необходимость: определить свое место, выбрать ценности, найти основу того, что он хочет создать.

Мне смешна теперь моя боязнь анализа. Знание не убивает предвкушения чуда, тайны. Там этой тайны еще больше.

У меня нет страха перед определенностью.

Генри заблудился в лабиринте своих представлений. Как страус в песок, он зарыл голову в кучу бумаг.

Он пожаловался: «Я — как человек, отвыкший от мирной жизни: меня доконали шесть лет войны с Джун».

Слова Альенди: «La fatalite se deplace: plus l'homme prend conscience de luimeme, plus il la decouvre interieure»[43].

Я предоставляю Генри и Джун заботиться о моем жестком «я». Юнг говорит:

«Мы должны включать мягкость и жесткость в нашу самость, ибо мы не можем постоянно позволять, чтобы одна часть нашей личности доставляла заботу другой…»

И он же замечает, что пациенту свойственно наделять врача непознаваемым могуществом, видеть в нем то ли мага-чародея, то ли демонического преступника, существо, лично общающееся с Богом, спасителя.

А еще Юнг говорит:

«Поскольку мы не можем повернуть назад к животному сознанию, нам ничего не остается, кроме трудного пути к сознанию высшему».

Pauvre de nous![44]

Генри пишет мне: «Провел жуткую ночь. Измученный совершенно, лег в постель около полуночи, через час проснулся и оставался в полусонном состоянии до пяти. Потом впал в ступор до позднего утра. Сны снились самые ужасные, видел свою

собственную могилу с надгробным камнем и каким-то сиянием над ней.

Меня бьет дрожь. Не пойму, откуда это. Попробовал тебе позвонить, тебя не было дома. Ощущение ужасное. Еще одна такая ночь — и я свихнусь. Боже мой! Чувствую себя, как Ричард Осборн перед тем, как сойти с ума».

Трио для флейты, гитары и ударных

Финал

В уже упоминавшемся нами фильме «Генри и Джун» есть эпизод с велосипедной прогулкой двух семейных пар — Гилеров и Миллеров. Анаис и Хьюго несколько поотстали от своих гостей и через несколько времени догоняют их в самый неподходящий момент: прямо здесь, в Лувесьеннском лесу Генри и Джун сплелись в жарких объятиях. Благовоспитанный пуританин Хьюго, смущенно улыбаясь, отворачивается от этой сцены и как ни в чем не бывало катит дальше. Анаис же не в силах оторвать взгляда от этого непривычного зрелища; движение продолжается, но велосипедистка едет, не глядя на дорогу, ее лицо повернуто в сторону леса.

Это очень яркое кинематографическое отображение того, что происходило с Анаис на первом этапе построения треугольника Анаис — Генри — Джун. Светская женщина, воспитанная в строгом католическом духе, не в силах противостоять соблазну совсем другой жизни, совсем других отношений. Не в силах оторвать взгляда от непосредственного проявления грубой животной страсти. Ей хочется испытать все!

Этим объясняется одна сторона отношений между Анаис и Джун. Если не в физическом, то в психологическом смысле они безусловно были любовницами. В отредактированном дневнике Анаис пишет о желании каждой из них стать телом своей подруги, но из «неочищенного», увидевшего свет лишь после ее смерти, это положение приобретает иной смысл: каждый участник этой пары хотел «познать тело другого».

До сих пор Анаис была знакома с лесбийской любовью только по книгам да понаслышке. Правда, еще в

1929 году, во время пребывания в Барселоне, она почувствовала странное влечение к одной даме, которую назвала в своем раннем дневнике «миссис Э». В феврале 1932 года она сообщила об этом в письме к Миллеру — пусть заинтересуется на всякий случай, а может быть, просто хотела его подразнить…

Что же касается Джун, то у нее в прошлом уже была связь с Джин Кронски, женщиной настолько привлекательной, что, как признавался Альфред Перле, он и сам был не прочь превратиться в лесбиянку, увидев Джин.

Но физическое влечение — лишь одна сторона, повторим, отношения Анаис к подруге своего возлюбленного. Еще до того, как она впервые увидела Джун, она уже знала о ней все — вплоть до поведения той в постели. Генри не скрывал от Анаис никаких интимных подробностей, никаких черт характера Джун, особенностей ее поведения и своих страданий от ее чудовищной лживости, так что Анаис не питала иллюзий по поводу любви и привязанности человека, которого она сама полюбила, как говорится, «на всех уровнях». Более того, она оплатила приезд Джун в Париж, желая подарить своему возлюбленному еще и такой подарок. Она хотела разобраться в этой женщине, понять ее и объяснить другому.

Если же говорить о третьей стороне этого треугольника (после линий Анаис — Джун, Анаис — Генри мы коснемся и линии Генри — Джун), то здесь мы позволим себе привести выдержку из книги Альфреда Перле «Мой друг Генри Миллер» в прекрасном переводе Л. Житковой:

«Она провела его через все муки ада, но он был в достаточной степени мазохист, чтобы получать от этого удовольствие… Генри отнюдь не заблуждался относительно Джун. Он видел ее такой, какова она есть, и любил такой, какой видел… Такой, какой она была, Джун была совершенна — для него, разумеется. Этот генератор лжи, этот ворох небылиц был необходим ему для собственного благополучия. Не будь она такой стервой, она не удовлетворяла бы его сложной чувственной организации. Более того, в попытке ее исцелить он подверг бы себя риску увидеть, как она растворяется в тонком эфире. О чудесном исцелении не могло быть и речи».

Декабрь, 1932

Давая Генри деньги на его стремительный побег в Англию, я никак не могла представить себе, что в вечер накануне отъезда к нему явится Джун и заберет все деньги. Он написал мне жалкое письмо:

«Я в бешенстве, проклинаю самого себя. Вечером отправляюсь в Лондон. На помощь пришел Фред. Я бросаю все это, больше ничего подобного не повторится. Ненавижу Джун. После злого, тошнотворного разговора чувствую себя униженным, и мне стыдно. Какую пытку я вытерпел! Не знаю, зачем я ввязался в это дело, наверное из чувства вины. Джун остервенела. Она — за пределами разума. Подлейшие угрозы и обвинения. И все из-за того, что я захотел уйти. Думаю, она способна на все. Сил у нее хватит».

Бороться Генри может только в своих книгах. В жизни он предпочитает бегство. Сейчас он сбежал в Лондон. Я достала для Джун денег на билет до Нью-Йорка, раз уж она попросила меня об этом. Я должна оставить их в «Американ Экспресс».

На прощанье Джун оставила по себе не самое прекрасное впечатление. Опустошила бумажник Генри и изругала его самого.

Его задержали на английском берегу: показалась подозрительной ничтожная сумма денег, с которой он решил въехать в Англию. Допросили. Выслали назад. Одет он был — хуже некуда, да еще поведал властям, что бежит в Лондон от жены!

Мы встретились в кафе, и он сразу же начал о Джун. И две вещи проявились в нашем разговоре: его великодушие, его подлинные чувства. Человеческая слабость, состоявшая в том, что он безропотно выслушал все, что наговорила ему Джун, становится для него, писателя, пассивностью художника как наблюдателя жизни. Он, слушая Джун, перестал быть мужчиной, который мог бы заставить ее замолчать; он превратился в следователя, обреченного выслушивать то, чем нормальный человек не может заинтересоваться.

— Мне раскрылась низость Джун. Сквозь ее ярость, в которой она хотела найти облегчение, я увидел чудовищный эгоизм. Даже хуже. Пошлость. Уходя, она уже в дверях обернулась и произнесла: «Вот теперь у тебя есть последняя глава для твоей книги!»

Он описывал эту сцену со слезами на глазах. Пошлость. Каким неожиданным словом заклеймил он Джун.

И выглядел он в ту минуту измученным, печальным и

глубоко искренним.

Потом он заговорил о Дэвиде Лоуренсе и об «Искусстве и художнике» профессора Отто Ранка[45].

Ход его мыслей совершает гигантские крюки, пока он окончательно не теряет нить. И тогда мне удается вернуть его назад не потому, что я знаю больше, чем он, или более цельная натура — просто у меня есть чувство ориентирования в мире идей.

Многое из того, что я читаю в «Искусстве и художнике», подтверждает мелькавшие у меня мысли по этому поводу. Но сколько усилий требуется мне, чтобы понять все! Бывают в разговоре с Генри такие моменты, когда я чувствую себя женщиной, тянущейся к знаниям, недоступным ее пониманию. Напрягаю свой мозг, чтобы он не сбился с дороги, следуя за всеми поворотами и изгибами мужского разума. А там расстилается пугающая меня огромная, равнодушная пустыня, вселенная, космология. Как слаб мой путеводный фонарь, как обширна мужская вселенная! Но я-то опираюсь на личное, человеческое, у меня персональное отношение к людям. Не хочу входить в безликий, нечеловеческий мир.

Стоит ли послушаться Генри? Он не хочет, чтобы я писала дневник дальше. Генри считает это болезнью, последствием одиночества. Не знаю. Дневник стал и записной книжкой моей экстравертности, путевыми заметками: он заполнен другими людьми. И предстает потому в другом аспекте. Нет, я никак не могу бросить его. А Генри говорит: «Упрячь его под замок — и вперед! Тебе нужно научиться жить без этих тетрадок, ты начнешь тогда писать другие вещи».

Но тогда я превращусь в улитку, оставшуюся без своей раковины. Всю мою жизнь все вставали на пути моего дневника. Мать всегда приставала, чтобы я оторвалась от тетрадок и вышла бы поиграть. Братья мои дразнили меня, крали дневник и потешались. Я держала его в секрете от своих школьных подруг. Каждый твердил, чтобы я избавилась от этой дурной привычки. Гаванская тетушка говорила, что я испорчу глаза и не буду нравиться мальчикам.

Генри рассортировывает свои записные книжки с тем, чтобы я могла их переплести. Я принесла последний номер сюрреалистского издания This Quarter.

Генри в одной рубашке без пиджака сидит за столом, заваленным рукописями. Перед ним выстроились книги для разных справок. Фред тоже печатает. Кто-то другой возится на кухне.

Попытка побега Миллера в Англию и «экспроприация», осуществленная Джун при этом, описаны в его новелле «Дьепп — Нью-Хэвен» и в книге Альфреда Перле.

Вернувшись в Париж, Генри обнаружил в своей квартире записку на обороте какого-то финансового документа: «Дай мне развод как можно скорее». Эта прикнопленная к стене бумажка, по словам Миллера, «в один день покончила с бурными и невероятно романтическими отношениями, которые связывали нас почти десять лет».

Развелись они заочно, в Мексике, через несколько лет. Анаис вернулась в Америку в 1939 году, Генри в 1940-м. Они ни разу не встретились с Джун Смит и даже не знали, жива ли она.

Простимся и мы с Джун Миллер, урожденной Смит, псевдоним Мэнсфильд. Марой и Моной обеих трилогий Генри Миллера, Альрауне из «Дома инцеста», с женщиной, о которой мы знаем только то, что рассказали два человека, любивших ее.

Январь, 1933

Лекционный зал Сорбонны. Атмосфера классной комнаты: чисто, серьезно. Присутствует и мадам Альенди, седоволосая, голубоглазая, по-матерински основательная.

На сцене появляется Альенди, серьезный, строгий. В первый раз я смотрю на него с такого расстояния. Здесь он выглядит менее внушительно, чем в своем кабинете. Сутулится немного, как школяр, просиживающий долгие часы над книгами. Отсюда можно видеть только его густые брови и пронзительный взгляд ясновидца. Его чувственный рот скрыт бородой. Я с трудом слышу, что он говорит. Обсуждение метаморфоз поэзии. Слова доктора, профессора, ученого. Он анализирует поэзию. Она превращается у него в труп из анатомички.

У меня на коленях муфта. Я вся в мехах: меховая шапка, лицо укрывает меховой воротник. Ведь уже зима. Сижу на жесткой скамье Сорбонны. Слушаю слова: science reductible, elements, fusions, pensee metaphysique, altitude poetique, antinomie proviennent de la pensee statique[46].

А я всего-навсего приятный осколок женщины.

На улице подмораживает. На моем одеяле оранжевая вышитая бабочка. Дневник мой лежит тут же. Если бы у него были крылья, он опустился бы на заляпанный вином столик кафе, но единственный след его вылазок в мир — мой дрожащий почерк, когда я пишу в поезде.

После шока от безобразного поступка Джун я снова пришла к Альенди. Я чувствовала себя совершенно ошеломленной тем, что произошло. Рассказала Альенди о моих отношениях с действительностью. Когда я натыкаюсь на нее (а в случае с последним поступком Джун именно так и было — столкновение, коллизия), мне словно наносят неожиданный и сильный удар, все рвется, я повисаю в пространстве, беспомощно барахтаюсь там, на огромном расстоянии от всего моего привычного. Потом, после такого столкновения, я погружаюсь в сонное состояние. Грубый материализм Джун для меня невозможная мерзость. И тогда я перестаю жить в реальности. Просто не замечаю ее. Живу или грезя, или в сфере чистой чувственности. Никакой непосредственной жизни. Обертоны и полутоны. И Альенди все понял.

Но вместо того чтобы постараться мне помочь, он стал рассказывать о своих собственных странностях. Странности эти совсем другого уровня. Он рассказал мне, что временами ощущает, что его дом — обиталище призраков, что его покойный

отец постоянно здесь присутствует. Он верит, что может все узнать о близком ему человеке, если от того нет вестей и он далеко, просто открыв книгу и ткнув наугад в любую фразу. Так было с одним его другом, Альенди взял его рукопись, взял наугад строку и прочел: «Il avait de la fièvre»[47]. Именно такая беда и приключилась с его другом. Альенди верит в гадание на картах Таро, в алхимию, в астрологию. Правда, в конце он добавил: «Только никому не говорите об этом, решат, что я сумасшедший».

Меня заинтересовала таящаяся в этом осмотрительном враче, мудром аналитике тяга к потустороннему… У него странная особенность оставаться молчаливым, отстраненным и никогда не отвечать на прямые вопросы, так что мне приходилось самой себя спрашивать, как далеко он заходит в этой сфере. Иногда он не понимает меня, например утверждает, что я тянусь к наркотикам из чистого снобизма, а вовсе не из подлинной любознательности. Вчера я пробовала разглядеть его яснее сквозь пелену моих тяжелых снов. Мне нравится его лицо, когда он говорит о написанных им книгах, о том, как ему надо найти время, чтобы поискать в Национальной библиотеке сведения по алхимии, — там столько замечательных книг по этому вопросу. Мне нравится он, когда, желая выяснить, что за непонятные шумы слышатся за дверью, распахивает ее и восклицает: «Это положительно таинственный дом!»

Меня беспокоят его упоминания обо всех этих интуитивно внушающих тревогу стихиях, ведь я смотрю на его книги, на его исследования, на его работу, как на надежный якорь среди достоевских скандалов и истерик. Хамство Джун изгнало меня из моего собственного мира, и здесь я ищу убежища, еще не ставшего для меня привычным и обыденным.

Я ухожу от Альенди и встречаюсь с Генри и его компанией. Мы сидим в кафе, и в ушах моих звуки уличного аккордеона, которые следуют за мной повсюду.

Генри заговаривает о «Бубу с Монпарнаса», рассказывает о своей собственной жизни в стиле Бубу, жизни на дармовщинку, об отношениях со шлюхами, о голоде и прочем. Описывает свои стоптанные ботинки и свои безумства.

И хотя эта жизнь для меня непривычна, я ее понимаю. И если есть расстояние между жизнью Альенди и моей и гораздо меньшее между моей жизнью и жизнью Генри, то на какой же дистанции нахожусь я и званый обед в фешенебельном доме, на который мне пришлось отправиться после кафе? Между нами астрономическое расстояние. Мне пришлось бороться с опиумным облаком моих мечтаний, глядя на высокие потолки, на длинные парные свечи, на кружевные узоры салфеток на столе.

Позвякивание хрустальных бокалов на серебряном подносе напомнило мне о колоколах, звучавших для меня в далеких отсюда горах Швейцарии ранним утром. У меня не получалось разглядеть этих людей, они воспринимались, как гравюры или рисунки. Я могла почувствовать свое вечернее платье, волочащееся по усыпанной гравием дорожке, я различила безликого шофера, открывшего мне бесшумную дверцу автомобиля, но накрахмаленные передники прислуги показались мне парусами корабликов. С меховым пледом на коленях я старалась понять, какой наркотик сделал обычную внешнюю жизнь невидимой для меня.

Я все еще проверяю какие-то свои истории из тех, что рассказывала Альенди, проверяю их изъяны, отыскиваю лазейки. Он ведь просил меня больше не видеться ни с Генри и его приятелями, ни с Джун.

И я сказала, что порвала с ними.

Могла ли я обмануть профессионального психоаналитика?

Секрет моих выдумок заключался в том, что я всегда подходила к ним осмотрительно, прежде всего спрашивала: «А как бы я себя чувствовала, окажись это правдой?» (Что будет со мной, если я порву с миром Генри?) и лишь затем начинала прочувствовать и продумывать ситуацию. Я научилась также и «переносам». Заимствую потрясение, причиненное мне поступком Джун, и переношу его в настоящее время. Я поражена, возмущена Джун. Ну так надо всего-навсего включить это ощущение в мой разрыв с Генри. Мне же иногда хотелось найти в себе силы порвать с его кругом. Оттого и руки у меня ледяные и проявляю я и другие симптомы душевного смятения. Альенди может проверить это, ему невдомек, что тут другая причина. Я чувствовала себя так, будто я порвала и с Генри, и с его друзьями, и с его кафейной жизнью (а ведь так и впрямь было в течение одного часа). Но правда и в том, что я нуждалась в Альенди. Меня по-человечески тронуло, что он уже больше не мог быть объективным.

— Вы обязаны были так поступить, — говорил Альенди. — Вам грозила серьезная опасность. Теперь могу вам сказать, что, когда на концерте вашего брата я увидел Генри, он показался мне чудовищем. Только вашим неврозом объясняется союз с Генри, Джун и с их приятелями. Вы такая необыкновенная женщина… словно la fleur sur du fumier[48].

Я рассмеялась. Альенди решил, что я смеюсь над предположением, что моя тяга к богеме объясняется моим неврозом. Увы, дело было в другом. Его фраза о «цветке на навозной куче» словно была взята из бульварного романа, услады

кухарок и горничных, так мог обратиться к какому-нибудь «предмету» джентльмен с сигарой в зубах и в шляпе на затылке. А мне-то каково было это услышать!

Но произнесено это было так искренне и с таким преклонением, что я закрыла глаза на явную чушь этого утверждения. Лишь позже, уйдя от Альенди, я сказала себе: «Оказывается, влюбленный психоаналитик так же ошалевает, как и всякий другой влюбленный».

Но покончим с моей ложью для доктора Альенди.

— Он был с вами груб?

— Ну что вы! Конечно нет. — Я чуть было снова не рассмеялась, представив себе грубого со мной Генри. — Вас, доктор, подвела литература. Груб Генри только на бумаге.

— Да вы его выдумали, так же, как выдумали и Джун.

— О нет, я Генри хорошо зна… ла. (Осторожней, Анаис, пользуйся только прошедшим временем!)

— Он был счастливым человеком. У него больше уж никогда не будет такого друга, как вы.

Я не могла не повеселиться про себя над этим посмертным диагнозом нашей дружбы с Генри. Альенди в самом деле считал, что Генри был иллюзией (был! был!).

Потом он спросил о дневнике. Чего здесь-то он тревожится? Я сказала, что сейчас занимаюсь им гораздо меньше.

— Это хороший знак. Вы мне все должны рассказывать.

Когда, опутав Альенди сетью своей лжи, я уходила от него, я была счастлива. Я чувствовала, что он удивительный персонаж. На какой-то миг мне показалось, что я действительно порвала с миром богемы, я ведь и раньше неохотно принимала их образ жизни. Оттого и походка моя сделалась беззаботной и легкой. Лишь позже я пожалела о своем обмане, потому что этот обман вел к одиночеству. Мне надо было говорить с кем-нибудь совершенно откровенно, а своей ложью я сама отбросила себя в страшное одиночество. Как поступит Альенди, когда ему откроется правда? С гневом отпрянет от меня. Он ведь так самолюбив.

Он всегда говорил, что чувствует ложь. А вот мою ложь не почувствовал. Он, должно быть, думает обо мне как о несерьезной женщине, легко поддавшейся соблазнам артистической жизни.

Что меня больше всего тронуло в Альенди, так это его обращение «моя маленькая Анаис».

Он не поэт, и это жаль. Его ресурсы воображения и символистики ограниченны. А что требуется мне? Литература. Литература — мой хлеб и мое вино.

И еще я знаю, что поддаюсь соблазну иметь детей и что к

Альенди прихожу потому, что мне нужен кто-то, кто поможет мне позаботиться о моих детях.

В Сорбонне Альенди красноречиво говорил о сюрреалистах. Антонен Арто, по его словам, ему как сын родной. А обо мне он все еще беспокоится из-за Джун; опасность, он говорит, еще не миновала.

Он выглядит очень человечным, очень искренним. Но художника, как я поняла, прочитав «Искусство и художник», он не понимает.

Он считает, что своим чувством к нему я обязана только «перенесению».

— Всегда любишь того, кто тебя понимает. Я спросила, не страдал ли он от чрезмерных сомнений в чувствах других.

Он признал, что страдал от недостатка привязанности к нему, начиная с самого детства. Любовь его пациентов относилась к нему как к целителю, а не как к мужчине.

А ему хочется, чтобы я больше не нуждалась в нем, он хочет отлучить меня от себя.

И вдруг я осознала трагедию существования психоаналитика. Это напряженное контролирование жизни дает ему мучительное могущество войти в чужие жизни, узнавать их секреты, самую интимную сторону жизни, знать больше, чем муж, чем любовник, чем отец с матерью, брать себе и тело и душу пациентов и при этом оставаться всего только вуайером[49], не прикоснуться, не быть любимым, желанным или ненавидимым. И вся моя жизнь тоже была предложена ему, но он ею не владеет.

Впервые увидев меня, он подумал: «Как бы я был счастлив с такой женщиной!»

А сегодня он сказал мне: «В вас много прекрасных качеств».

Я понимала, что, если тихо отойду от него или оттолкну, признавшись, что вовсе не порывала с Генри и его миром, я потеряю последнего из мужчин-идеалистов, героев, человека-заступника, ученого, эрудированного, преданного. Ведь Генри не герой, он бунтовщик, воин, он наносит раны, а не исцеляет их, он не защитник и не покровитель.

Он прислал мне записку: «Прочти внимательно Ницше — он тебе понравится. И ты увидишь, какой ты замечательный мыслитель. Это великолепно сочетается со Шпенглером и Ранком».

Как без руля окажусь я без Альенди.

А кто может сказать, не становится ли психоаналитик такой же жертвой иллюзорной любви, как и пациент?

И если пациент любит врача, потому что чувствует, что его услышали, и потому поняли, потому любят, то и врач влюбляется

в пациента, потому что его допустили близко-близко к этому человеку; ему позволили заглянуть в самые интимные уголки, увидеть, как там занимаются любовью, услышать рыдания, понять муки жажды, страха, тоски; ему позволили жить этой другой жизнью, спасать, почувствовать груз вины другого, услышать его исповедь и познать его нужды. Врач чувствует себя необходимым, незаменимым, сплетенным, сомкнутым с другим человеком. Он может почти трогать это тело, где биение каждой жилки, дрожь каждого мускула ему позволено знать.

Почему эта любовь более нереальна, чем другие?

Думаю, что женский мазохизм отличается от мужского. Мазохизм женщины — весь из материнского инстинкта. Мать… страдает, отдает, кормит. Женщина приучена не думать только о себе, быть бескорыстной, служить, помогать. Этот мазохизм чуть ли не естествен для женщины. И этот мазохизм может исковеркать ее, взорвать, как, например, мою испанскую бабушку. Такой же мазохизм приводит к гибели людей под тяжестью католической набожности. Стало быть, материнский инстинкт подвергает меня опасности.

Если б только я могла освободиться от постоянных поисков отца! Отца? Или спасителя? Или бога?

Каждое подлинное взаимопроникновение в человеческую суть так редко и драгоценно, что его необходимо оберегать. Сейчас Альенди убежден, что здесь почти наверняка иллюзорность. А я, с тех пор как он признался мне в своей незащищенности, тревогах, желании любви, понимаю, что должна убедить его в реальности моего чувства.

Вот я и позвонила ему сегодня утром: «Может быть, у кого-нибудь из ваших пациентов грипп, так что я могу прийти вместо них?»

Отец у Генри, как и у Лоуренса, был здоровяком, с не слишком удобным для семейной жизни характером, весельчаком и любителем выпить, мать строгая, пунктуальная и очень неглупая женщина. Соль Колен говорит в своей книге о Лоуренсе[50], что Лоуренс пытался вернуть себе отца, трактуя его как Бога, как способ бегства от женщины и от преклонения перед матерью. Генри создал для себя культ мыслящего мужчины, и его работа — это борьба за победу над женщиной, над матерью и преодоление женщины в себе.

…Я начала наш сеанс, посадив Альенди в кресло пациента, с анализа «знаков», выражающих недостаток в нем доверия к жизни вообще и к любви в частности. Указала ему на то, что он носит в себе проекцию поражения, и это предопределяет неизбежность его неудач.

Пользовалась я его формулами и его профессиональным жаргоном.

Он сказал:

— Мне всегда хотелось стать волшебником. В молодости я постоянно воображал себя творящим чудеса.

— Возможно, в том, что вы стали заниматься психоанализом, отразилось это ваше желание.

— Я прошел мимо всех радостей и удовольствий жизни. Словно какой-то занавес существовал между мной и реальностью. И никогда я не был счастлив с женщиной.

Словом, я начинаю заботиться о нем, а не он обо мне.

— Может быть, это болезнь, но я никогда не относился к числу пылких мужчин, у меня могло быть все, что угодно, кроме женской ласки.

Генри сидит над правкой своего романа. Я так ясно понимаю его замысел, характер, так чувствую его тональность, что в состоянии убирать все ненужные частности и даже менять местами главы. Я объясняю Генри свою теорию бессмысленных деталей: надо обходиться без них, как без них обходятся сны; повествование становится не только насыщенней, но и получает дополнительную энергетику. Вот он начинает: «В среду утром я стоял на углу…» Я говорю, чтобы он выкинул «В среду», сбросил балласт, и скорость вырастет; самое главное… искусство сокращений. Его страницы, написанные в исступлении, по наитию, — самые пламенные страницы, читанные мною когда-либо. Пик кульминации наступает именно в таком экстатическом письме. Преклоняюсь перед ними. А бывает, он пишет что-то вроде штучек дадаистов: вот на таких он построен могучих диссонансах. Выскажет какое-нибудь суждение на одной странице, но на следующей же сведет это суждение на нет и станет утверждать нечто противоположное. Но эти вздыбленные сейсмическими ударами страницы — блистательны. От крайностей сентиментализма он бежит к холодному, чудовищному безумию. А когда мы с ним работаем, особенно когда держим корректуру, случаются забавные сценки. Однажды, выискивая опечатки, я прочла монотонно, механически, так же, как прочла бы «Четверг выдался солнечным», — «Перед эрекцией и после эрекции… генитальное пиршество».

И оба мы расхохотались.

Сейчас Генри думает только о своей работе.

Покончено с проститутками, со странствиями по кафе.

Первая часть его романа — пересказ различных эпизодов, во второй — взрыв вдохновенной прозы, поэтичной и

сюрреалистической; истоки этой реки — приключения, исследования, приводящие к великолепному финалу. Когда я начинаю превозносить его вещь за ее мощь и взрывчатость, он отвечает, что то же самое думает о моей. Я — феминистская революционерка.

На каждом из нас очень заметно влияние другого. Я даю ему артистичность и интуицию, веду за рамки реализма, он мне — грубую суть и витальность. Я даю ему глубину, он мне — конкретику.

Вчера я предложила поменять местами две последние главы, одна из них была вялая, сентиментальная, не слишком хорошо написана, тогда как другая — блестящая, совершенно безумная, и именно в ней ощущалась высшая точка. Вообще очень часто Генри не осознает как художественное произведение то, что он пишет. И в отличие от меня отказывается от каких-либо переоценок и вычеркиваний. Он не самокритичен. Я ведь тоже верю в наитие и естественность, но дисциплинирую себя, помня о форме.

Я безжалостна к его наивным тирадам (он завел особую папку для выброшенных мною страниц, тех, которые, как я говорю, всего лишь вспышки раздражения), мелочным или чересчур реалистичным (баталии с Джун из-за разной оценки Греты Гарбо). «Нашел из-за чего биться», — говорю я ему. Да, такое с ним случается, когда он раздражен. Он наконец перестал бесноваться из-за приверженности Джун к кольдкремам. Он изображает это как атаку вообще на американских женщин! По-моему, это дешевка, вроде газетного опроса: ваши мысли по поводу платиновых блондинок. Не хочу я, чтобы он допускал ошибки дурного вкуса, повредившие некоторым книгам Лоуренса. Дурной вкус и несдержанность.

Я действую только как психоаналитик, помогая ему открыть самого себя, всего-навсего выявить свою собственную природу, желания и стремления. Он же помогает мне, постоянно твердя, чтобы я говорила больше, писала с большим напором, яснее, шире, яростнее.

Во время первого визита Жанны в Лувесьенн все, что я отметила, были ее глаза, страдание в них и постоянное движение зрачков в орбитах.

Она была высокой, белокурой, облик Даниель Даррье[51], но только контуры не такие мягкие, более строгого стиля. Она прихрамывала. Чуть-чуть подволакивала ногу и безостановочно говорила.

— Невыносимо мне было бы наблюдать все время тела моих братьев, видеть, как они стареют. Как-то я сидела и писала

письма, а братья играли в карты. Я взглянула на них и подумала, что за преступление мы совершали, когда прикидывались живыми: это было подобие жизни, ведь все отошло давным-давно. Мы уже отжили, отдалились от наших мужей, жен, детей. Я очень старалась полюбить других; дошла до какой-то точки, а дальше никак.

Мы сидим с ней в саду позади дома, там, где деревья, кустарник, плющ и ручеек под японским мостиком. Муж Жанны в нашем доме общается с друзьями. А Жанна так беспокойна, глаза бегают из стороны в сторону — я предлагаю пройтись по лесу. Мы ступаем по толстому ковру сосновых иголок, а она рассказывает:

— У меня нет никакого сочувствия к людям, я не чувствую боли, не испытываю радости. Для меня существуют лишь мои братья. И я знаю только единственное чувство — страх, огромный страх, заставляющий меня держаться в стороне от театра, от чтения, от всякого пути к прояснению и осознанию. Я хочу сохранить мой разрыв с реальностью, и этот разрыв становится временами таким абсолютным, что я оказываюсь на пороге безумия. Бывают минуты, когда я делаюсь глухой ко всему миру. Я стою на улице, мимо проезжают автомобили, но я ничего не слышу. Я топаю ногами, но ничего не слышу. Вхожу в бар и задаю барменше за стойкой вопрос, вижу, как она шевелит губами, но не слышу ее слов. Мне становится страшно. Я могу лежать и в собственной своей постели, когда этот ужас наваливается на меня. И тогда я начинаю стучать в стену, бить ногой по полу, только б разорвать эту тишину. И лишь после этого страх покидает меня.

Во время прогулки она то и дело протягивает руку к деревьям и прислушивается к сухому звуку обламываемых веток. И говорит: «Passons a une nouvelle forme d'exercice»[52].

Мое умение слушать она оценила: «Вы слушаете молча, и все же чувствуется, что суждение вы уже вынесли. А что вы делаете, когда терпите неудачи?»

Но моего ответа она не ждет.

И останавливается на дорожке, переводит дыхание.

«Я могу пожимать чью-нибудь руку, — начинает она, — и вдруг этот человек пятится в другую комнату, и я вижу, что моя рука где-то очень далеко, а я остаюсь в своей комнате. Мне это забавно». Слово «забавно» — ключевое слово в ее общении с другими. В ее мире все должно быть забавным и занимательным.

Основательность и степенность ее супруга тоже забавны. Так же, как и его пунктуальность, методичное чтение газет, его занятия, от которых его нельзя отвлекать, его крайне важные деловые поездки.

— Как он отважился войти в нашу крепость, эзотерическую, таинственную, неуязвимую и нечеловеческую цитадель моих братьев и мою? Да и для жен моих братьев брак с ними обернулся трагедией: они чувствовали себя ненужными. А нам было не до их страданий — кто они такие? Да просто люди, обыкновенные, мелкие людишки, сбитые с толку, эмоционально раздавленные нашим равнодушием, неспособные разделить с нами нашу анахроническую экзальтированность, наши поиски романтики.

При прощании она сказала: «Заезжайте ко мне. Мы испытаем магическую веточку»[53].

Дом Жанны представлял собой замок, в котором можно было провести годы, переходя из одной комнаты, полной антиков, в другую. Но она стремительно поволокла меня сквозь них, словно не хотела, чтобы мое внимание задерживалось на мебели, бархате, зеркалах, статуэтках и кружевах. И привела в свою комнату, всю белую, с белыми портьерами, белыми коврами, белыми покрывалами, с закрытыми ставнями и без всякого беспорядка. Эта комната, казалось, совсем не была частью ее замка. Больше всего она походила на детскую, именно в такой жили они, когда были детьми. Кроватки, креслица, маленький стол, который она изобразила мне раньше; они здесь и сейчас сходятся в трудные минуты. Игрушки все еще на своих местах. Альбомы с марками, лошади-качалки, куклы, игрушечные поезда, разноцветные мячики.

— Вы-то не гоните свои страхи, — вдруг сказала она. — Вы смеетесь над ними.

— Я писатель, Жанна. Мне нельзя пугаться никаких призраков. Мне надо их хорошо узнать, поближе. Я должна уметь описывать их.

— Я тоже пишу, — вздохнула она.

Я читала ее писания. Это было так легко, несерьезно, поверхностно, это было, как ее жизнь в обществе — маскарад. Писала она совсем не так, как умела разговаривать.

Я смотрела на эту легкость и маски, на эти прыжки в пустоту, даже в безумие, как на способ перепрыгнуть через неудобопроизносимый инцест. Бракосочетания в пространстве, как у иных насекомых, спаривающихся в полете. Преданность первым обязательствам, первой ячейке, первому, созданному их детскими страстями, союзу. Поэту безумие кажется более приближающим к божеству, чем здравомыслие. Безумец добирается до смерти не в естественном ходе человеческой жизни, не естественным отмиранием клеток, а проходя через серию холокостов[54]. Жанна д'Арк, поджариваемая на костре, вряд ли терпела большие муки, чем Жанна, стремящаяся жить в

романтическом, давно переставшем существовать мире Байрона.

Этот род, чьи пять поколений истощили себя в обычных игрищах славы, богатства, красоты, ума, странствий, почестей, разврата, власти, оставил напоследок четырех отпрысков, которые могли любить только друг друга.

Когда мы поспешно проходили по комнатам, внезапно появившийся лакей обратился к Жанне: «Господин де Сент-Экзюпери ждет вас, мадам».

Теперь она повела меня в гостиную. Сент-Экзюпери сидел у камина. У него было круглое бледное лицо с темными, ласково глядящими глазами, был он невысокого роста, скорее полноват. Мягкие манеры, тихий голос. Он показался мне каким-то полусонным.

Автомобиль, доставивший меня сюда, ждал, и я откланялась. Когда я садилась в машину, появился брат Жанны. Он церемонно поклонился, поцеловал мне руку. «Mes hommages, Madame»[55].

Из уносившего меня автомобиля я бросила прощальный взгляд на величавое здание, почти скрытое высокими старыми деревьями.

Мне вспомнились слова Жанны: «Я люблю почувствовать себя в незнакомом мире, сбитой с толку, вырванной с корнями. Люблю оказаться с самым ординарным мужчиной, который говорит банальности, который хочет преподнести мне чернобурую лису, старается, чтобы я почувствовала себя содержанкой».

Ее дом напомнил мне дом из «Странника» Ален-Фурнье[56].

«Пуассон д'Ор». Цыгане. Три прекрасные русские аристократки и двое солидных мужчин. Семь бутылок шампанского. Цыганам отдается приказание петь возле нашего стола. Русский художник сидит напротив. Внимательно на меня смотрит. Во время танца мы с моим кавалером сталкиваемся с художником, и тот быстро целует меня в шею. Разгул танцев и песен. Русские женщины от полноты чувств плачут. А художник и хозяин стола чуть было не сцепились из-за того, что во время пения цыган человек стал колоть куски сахара. Музыканты приплясывают и играют для разгневанного хозяина, словно хотят успокоить его. Художник хитро улыбается мне. Дама в белом начинает танцевать одна прямо перед ним. Она уволакивает его с собой в танец и устраивает ему сцену. Как в насмешку, томительная чувственная музыка все не кончается. Ощущение, что, отдавая пальто в гардеробной, я отдала и свою самоценность. Я растворена в атмосфере, в красных портьерах, в шампанском во льду, в музыке, в пении, в типично русском чувствительном плаче, в ласкающих глазах художника. Все сверкает, все источает тепло и цветочный аромат. Я не распалась, подобно Жанне, на

тысячи кусочков. Я та, что купается в море ощущений, блеска, шелка, кожи, глаз, губ, вожделений.

Хочу назад, в кухню к Генри: вот он, в одной рубашке, солит паштет из гусиной печенки (разве можно!), на окнах испарина, от калорифера пахнет теплом, рокочущий голос Генри наполняет все пространство, локти на столе, скатерка в сигаретных дырах.

Перед каждым новым явлением, новой личностью, новым обществом я останавливаюсь в сомнениях, предвидя новые трудности, новые тайны, новые источники боли; я допускала ошибки из-за недостатка смелости. Страх, боязнь довериться сужали мой мир, ограничивали круг людей, которых я могла бы узнать ближе. Трудности общения. Je vous presente mes hommages, Madame. Учтивость — это защита. Культура — щит. Мир моего отца. А с Генри я оказываюсь в мире моей матери.

Читаю рукопись Жанны. Трогательно, но жидковато, мелко, туманно. Сказка о феях. В снах и то больше зрелости, завершенности, энергии, глубины. Тяжелый труд. Мне хочется взять ее за руку и повести с собой. Ее волосы, длинные волосы Мелисанды[57] распущены, рот приоткрыт, глаза широко распахнуты. Ее кожа прекрасна и бледна. «Elle vivait pour lui-même»[58], — написала она. Я слышу ее низкий, глубокий голос, она поет бразильскую песню, аккомпанируя себе на гитаре.

Грузинский князь Мареб влюбился в Жанну. Мы с Люси убеждаем Жанну отдаться ему. А я между тем анализирую Жанну лирически, поэтически, фантастически.

Жанна сидит, свернувшись калачиком, на диване и выглядит совершенно отрешенной. Она рассказывает, что ей хочется одарять Мареба волшебными дарами, и жалуется, что князь изъясняется ужасающими банальностями. И во мне пробуждается странная ревность и сожаление, что я не мужчина; уж я-то знала бы, как разговаривать с Жанной, как угодить ее мечтательной душе. А сейчас я сижу тихо-тихо.

Жанна — женщина таинственная, загадочная, не дающаяся в руки. В одно из рождественских утр она выходит из дому, обмотав вокруг шеи елочную мишуру, посадив на мизинец маленькую стеклянную птичку. Конечно же, ей попался таксист из белых русских, и конечно же, он все понял и не хотел брать с нее плату за проезд, и конечно же, она повязала елочные нити вокруг шеи таксиста, посадила стеклянную птичку на его счетчик и выдала ему пятьдесят франков.

Мы наметили «случайную» встречу с князем Маребом. Жанна, ее муж и я собрались посидеть в «Московском Эрмитаже». Князю мы дали знать — он должен был оказаться в том же месте с каким-нибудь приятелем.

Но когда князь, разыгрывая удивление, подошел к нашему столику, я увидела глаза супруга Жанны: в них зеленым огнем горела ревность. Всех нас он заподозрил в предательстве. Варварская музыка, шампанское, Жанна, разбившая три шампанских фужера, словно разбивала свой брак. Я танцую с князем Маребом, высоким брюнетом, спокойным и очень глупым. Но в каждом его жесте видна чувственность: в том, как он танцует, как зажигает сигарету, как пьет шампанское, словно это он вас всю выпивает. Он не отрывает от вас своих горящих глаз, будто пытается загипнотизировать. Поросшие длинными черными волосами запястья, смуглая кожа; он говорит мало, никогда не раскрывая тайну, скрытую в его глазах. Я вижу, как смотрит на нас муж Жанны (она сказала ему, что я интересую князя), и мне становится неловко. Глаза повсюду. Жаннины глаза плывут, как водяные лилии в затуманенном пруду. Она пьяна непослушанием, ненавистью, разрушением, радостью разрушения. Глаза ее брата ласкают меня, а глаза мужа выворачивают наизнанку, выпытывают подноготную: «Вы меня предали». Он смотрит на Жанну, экзальтированную, непрестанно бьющую бокалы. Мы танцуем. Я изнемогаю от сочувствия Жанне, я знаю, что она сейчас пытается сломать свою тюрьму, но боюсь, что не князь Мареб сможет помочь ей в этом. Грузинский князь остался в одиночестве на полу, он исполняет народную пляску, дикий казак, испускающий первобытные воинственные вопли. Вот таким его и можно представить: в папахе, верхом, с саблей в руках. Я тут же вспомнила, как дети Жанны объясняли какому-то гостю, почему мама часто уходит из дому: «Папа очень скучный. Он все время читает газеты».

Мы остались одни в ночном клубе. Уже третий час ночи, музыканты устали, но Жанна все требует: «Грузинский танец! Румбу! Вальс! Еще шампанского!» При вспышках подносимых к сигаретам спичек можно разглядеть глаза. Пьяные глаза Жанны; глаза князя, тяжелый, апатичный взгляд, сейчас в нем нет даже обычной, прячущейся, как огонь под сучьями, затаенной мечты о love-making[59]; настороженный взгляд мужа Жанны; усмешливые глаза ее брата. Я сижу как раз между ними, Жанной и ее братом, и ощущаю единство их настроений, синхрон всех их движений, их гордыни, претензий, заносчивости. И когда он говорит ей «Возьми любовника», а она подталкивает меня в его объятия, я понимаю, что мы всего лишь дублеры, князь и я. Глаза, подобные полным, пенящимся бокалам. Любовь с другими — это просто вылазка, необходимая, чтобы отвлечь внимание от их неразрываемого детского брака. Без прикосновений, без причудливых промискуитет жестов. Они соединились давным-давно, еще в их

детской, в ребячьих играх и ритуалах, как «Трудные дети» Кокто[60].

Генри пишет мне:

«Вчера я купил тебе «A Rebours»[61] и почти сразу же со мной приключился жестокий приступ совестливости. А что я когда-нибудь покупал тебе? Почему, получив тот чек от Конасона, я его не обналичил и не подарил тебе что-нибудь? Я всегда думаю о себе. Возможно, я и в самом деле, как утверждает Джун, самый большой эгоист на свете. Сам удивлен своим себялюбием. Когда покупаю книгу, я чувствую себя червяком. Маленьким таким червячочком. Я мог бы скупить всю книжную лавку и вручить тебе, и все равно это было бы пустяком…»

«Под стеклянным колоколом»

Рассказ Анаис под таким названием был впервые опубликован в 1941 году в журнале «Диоген» и дал впоследствии имя сборнику ее рассказов. Важный, стало быть, для автора рассказ, большое наверняка впечатление произвела на Анаис женщина, явившаяся ее прототипом. Это была французская аристократка, ставшая впоследствии известной писательницей, Луиза де Вильморен (1902–1969). К моменту знакомства с Анаис эта высокая красивая блондинка, успевшая побывать невестой Сент-Экзюпери, женой венгерского графа Пальфи, оставившего ей роскошный замок, была замужем за одним из клиентов банка, где работал Хьюго Гилер, Генри Хантом. Чуть ли не при первом их разговоре Луиза рассказала своей новой знакомой, что ее страстная любовь к братьям мешала серьезным отношениям с другими мужчинами и приводила к разрывам. Анаис была в восхищении от самой Луизы, от аристократизма ее семьи (Вильморены считали себя потомками Жанны д'Арк), от замка, в котором та обитала, от ее сложных душевных переживаний. Именно эти переживания легли в основу рассказа «Под стеклянным колоколом». Луиза де Вильморен под именем Изолины появляется и в повести «Дом инцеста».

Анаис готовила свой дневник к изданию еще при жизни Луизы де Вильморен и потому в дневнике не решилась описать ее под настоящим именем.

Февраль, 1933

Мне надо жить только в состоянии экстаза, упоения полнотой жизни. Малые дозы, скромные любовные истории, полутени меня не трогают. Я люблю чрезмерность. Письма, которые оттягивают сумку почтальона, книги, вырывающиеся из-под своих обложек, сексуальность такого накала, что взрываются термометры. Сознаю, что я превращаюсь в Джун.

Альенди разговаривает со мной об изысканиях, которыми я могу для него заняться в Национальной библиотеке. Но говорит: «Вы на все смотрите глазами поэта». И я не знаю, упрек ли это. А еще он говорит: «Вы напоминаете мне Антонена Арто. Только он настолько переполнен яростью, что я не могу ему ничем помочь».

Итак, человек, ставший волшебником лишь наполовину, приезжает к нам в четверг вечером. Я не могла, или не хотела, вообразить себе, что он берет такси, едет на вокзал Сен-Лазар, покупает в кассе билет, выходит на маленькой убогой станции, как самый обыкновенный человек. Я сказала ему, что одна приятельница одолжила мне автомобиль с шофером и он может добраться прямо от своего дома к моему, как по волшебству. По моим рассказам, он был в восхищении от графини Люси, вот я и выдумала, что автомобиль предоставила она. Мне хотелось устроить путешествие, подобное путешествию из «Странника», в дом в лесу, где все еще продолжается маскарад. Почти все свое месячное содержание я потратила на то, чтобы нанять на весь вечер автомобиль.

Альенди приехал. И дом и сад привели его в восхищение. Сидели мы внизу, у огня в маленькой гостиной.

Он казался чужим среди подступивших к нему плотских, эмоциональных красок. Прыгающие блики огня озаряли камин, который я отыскала в «Декоративном искусстве» — сделанный из марокканской мозаики, интенсивно голубой с редкими вкраплениями золота. Альенди восхищался этой, как ему казалось, экзотикой. Отсветы огня играли на стенах, окрашенных в цвет персика, на темном дереве, на бутылках испанских вин.

За двести лет своего существования дом приобрел вид удобно вросшего в почву. Это не было иллюзией. Все было прочно, основательно, и только в угловых стыках потолка и стен была видна кривизна. Этот наклон потолка был особенно заметен в спальне, из-за этого наклонные рамы окон создавали впечатление, что за ними откроется вид на море.

Альенди был поражен цельностью и солидностью окружающей обстановки, фоном, что я создала для себя: вне ее я

производила впечатление эфемерного, готового вот-вот исчезнуть существа, у которого нет никакого прочного пристанища.

Дом заставил его взглянуть на меня, как на обычное человеческое создание.

— В восемнадцать лет, — признался он мне, — я хотел покончить с собой. Мать привила мне искаженный взгляд на женщин.

Точно так же, на примере моего отца, я стала считать всех мужчин неспособными к подлинной любви, ненадежными эгоистами.

И, проверяя точность этого образа, все время искала людей, соответствующих ему, подкрепляющих это утверждение — или, если угодно, это обобщение.

Но как чудесно узнать и совсем других!

Когда Альенди говорит: «Я сухой и мрачный человек», я вижу лишенного всякого блеска, погруженного в себя, закрытого человека, так и не сумевшего выбраться из-под материнского гнета.

Но нет человека, который родился бы без света и пламени в душе. Просто происходит какое-нибудь событие, появляется какая-нибудь личность, и пламя это слабеет и гаснет. А меня всегда искушала возможность воскресить таких людей моим светом и радостью.

Когда я, по русскому обычаю, била бокалы в ночном клубе, когда мое подсознание рвалось разразиться бунтом, — я протестовала против жизни, которая калечит таких романтических идеалистов. Я почитала этих уравновешенных, чистых, надежных, преданных, высоконравственных, деликатных и чувствительных людей больше, чем безошибочно расчетливых, отвечающих тремя ударами на один, беспощадных с теми, кто стоит у них на пути.

Однако я всегда предпочитала Лоуренса утонченному интеллектуалу Хаксли. Но всякий раз, когда я становилась на сторону примитивных людей, я поворачивалась спиной ко второй половине своего существа.

Своими глазами, глазами провидца, Альенди мог это видеть. Он, которому не хватает поэзии, экстравагантности, экстатической мощи. Зато он победил как психоаналитик. Потому что помог мне понять нечто очень важное. Оттого ли, что я принадлежу к латинской расе, или из-за того, что я невротик, мне были необходимы жесты. Я сама по себе была экспансивной, не таящейся; каждое чувство мне надо было выразить: словами ли, знаками, любым четким и недвусмысленным обозначением. И того же хотела от других.

Но Альенди утверждает, что такое стремление к проявлению своих чувств и к получению доказательств дружбы и преклонения — следствие неуверенности и недостатка доверия. Но мне они не так уж и нужны. Вполне могу обойтись и без них.

Доказательства дружбы и любви я все время даю другим. И все они казались довольными этим.

Альенди привел в восторг мой огромный аквариум с рыбами и растениями. Я спросила, могу ли я подарить ему девятнадцатого в день рождения такой аквариум. И он согласился.

После отъезда Альенди я не могла заснуть. Я восстанавливала в памяти всю свою жизнь в свете сказанных им слов и многое увидела под другим углом. Мой отец виделся мне как холодный циник, придирчивый садист. Но я, возможно, проглядела другую его сторону. Как-то, жестоко наказав моих братьев, он был готов приняться и за меня, но, взглянув мне в лицо, отступил и вышел из моей комнаты каким-то притихшим и словно пристыженным. Был ли он в самом деле смущен? Почему он бил нас — то ли потому, что испанские отцы верили в спасительную силу порки, то ли потому, что самого его в детстве бил отец, испанский офицер? В другой раз, когда я была тяжело больна, он купил мне компас и долгие часы просиживал возле моей кровати. А письма его из Франции ко мне, двенадцатилетней, тринадцатилетней, в Нью-Йорк были очень ласковыми.

Я не стала говорить Альенди, что Генри купил мне подарок, потому что Альенди сказал как-то: «Терпеть не могу Генри: он — варвар, а это самый ненавистный мне тип людей».

Варвар купил мне подарок, а его друг изобразил его в своем романе как бездушного, разнузданного пьяницу-разрушителя.

«У меня был плохой аналитик, — говорит Альенди, — и все эти годы я старался сам закончить эту работу».

Я пристала к нему с вопросами. Он сказал: «Я всегда считал, что любовь надо заслужить, и упорно работал, чтобы стать достойным любви».

Эта фраза так меня задела, что я записала ее в свой дневник.

…«Преступники» Фердинанда Брукнера в постановке Питоева[62].

На сцене — трехэтажный дом, и действие происходит в каждой комнате на всех трех этажах одновременно. Во время самых сильных сцен свет сосредоточивается именно на этом пространстве, а все остальные комнаты погружаются в полумрак, и актеры там говорят шепотом. Меня спектакль потряс. Но не

темой слепоты правосудия (самые разные преступления совершаются на каждом этаже, но все они одинаково осуждаются по одному и тому же закону без различия их тяжести и степени вины), а тем, как наглядно показана одновременность жизни, одновременность происходящего в самых разных комнатах (на самых разных уровнях).

Ведь такое происходит постоянно в обыденной жизни. Слои, пласты, уровни. Я спускаюсь вниз из студии, где я готовила аквариум для дня рождения Альенди, потому что меня зовут к телефону: Жанна хочет знать, что мы будем делать вечером. Потом я возвращаюсь к Ницше, испещренному замечаниями Генри, а в это время играет радио, и я открываю очередное письмо Маргариты, сбивчивое, неуклюжее, как походка человека на ходулях, и одновременно Эмилия приносит мне счет за электричество и напоминает, что надо позвонить угольщику, а у меня из головы не выходит мадам Альенди, пытавшаяся вчера вечером у них в гостях очаровать меня своим изыском и артистичностью их дома. Она водрузила посредине обеденного стола гигантскую матовую лампу, и все мы были как бы под планетарным сиянием. Она заставила тюльпаны раскрыть свои лепестки так, что они стали похожи на экзотические цветы (я спросила, как эти цветы называются). А еще она жаловалась, что кресла едва ли продержатся десять лет, они уже порядком износились, хотя обойщик давал гарантию, и спрашивает мое мнение, а я отвечаю, что никогда не думала о сроках сохранности кресел, потому что все время путешествовала и меняла дома и обстановку, и что entre nous[63] понятия не имею, как долго должны жить кресла!

Обед был устроен с целью познакомить меня с Бернаром Стилем, издателем Антонена Арто. Он хотел встретиться со мной, потому что ему понравилась моя книга о Лоуренсе. Забавную реплику отпустил он по поводу Лоуренса:

— Человек, в жизни своей не видавший солнечного света, — сказал он, на что я возразила:

— Да ведь он был сыном шахтера!

— Вас страшно интересует Лоуренс?

— Теперь уже меньше. Он уже не нуждается в защите.

Стиль дал мне книжечку Арто «Письма на Ривьеру».

На следующий день я прибыла с аквариумом. Я распаковала это творение некоего стеклодува и поставила перед Альенди. Все было изготовлено из стекла: цветные камушки на дне, рыбы, растения, кораллы, грот. Альенди залюбовался стеклянным кораблем, камнями под цвет его глаз, светильниками, скрытыми так, что казалось, будто свет излучают сами рыбы. Его глаза. Они

стали влажными — так он наслаждался этим зрелищем: стеклянный корабль, напоровшийся на рифы из самоцветных камней.

Альенди сказал:

— Я всегда хотел так много путешествовать… Вашим описанием Дейи на Мальорке я заслушался[64].

— А теперь?..

— О, теперь уже не увидишь ничего нового. Мы уже все увидели и узнали из фильмов и книг. Непознанное осталось только на Луне. Вы когда-нибудь думали о Луне?

— Это слишком далеко. Мне по-прежнему интересно столько мест вокруг меня, прямо здесь. Но изучать я собираюсь не то или иное место, а свою радость, удивление, свой ответ на все богатство мира. Мне недостаточно ни блестящих описаний Блеза Сандрара[65] Южной Америки и Сибири, ни фильмов. Я хочу видеть это своими глазами. Мне нужны мое ощущение и мое видение.

Меня пугает жизненная отрешенность Альенди. Он погасший, он умирает. Не хочу, чтобы он умирал, повторяю я про себя. Но не пускать человека к смерти — дело, сопряженное с опасностью. Я сознаю, что не от довольства жизнью потянуло его к размышлениям о Луне. Мне надо вернуть его к жизни, зародить в нем тягу к приключениям, но здесь речь не о перемене места, а о перемене настроения, взгляда, чтобы озарить светом убогие гостиничные номера, запачканные столики кафе, шумные людные улицы, кислое вино.

Я познакомилась с Цадкиным[66], скульптором, работающим с деревом. Мы пришли к нему в домик, притулившийся на задах большого доходного дома на Рю д Асса. Собственнно, это два домика, разделенные садом. В одном живет он сам со своей русской женой, в другой — его скульптуры. Их так много, что все это выглядит, как лес; множество деревьев растет в этом лесу, и вот из них-то Цадкин вырезает и выпиливает тела, лица, животных. Дерево разных пород, проявленная его структура, разница в окраске и плотности позволяют почувствовать, что все, присущее живому дереву, сохранено в скульптуре. Изваянные из бамбука женщины, рабы, согбенные под тяжестью непосильного труда, рассеченные резцом надвое лица ставших навеки двуликими существ. Искалеченные многоугольные фигуры из раненой, пронизанной жилами древесины, фрагменты тела, туловища без рук, без головы. Ночью, когда он выходит из своей студии, приходят ли деревья в движение — склоняются, плачут, содрогаются ли в тоске по своей листве? Стенания преображения.

И посреди всех этих фигур он сам, Цадкин. Маленький,

румяный, с круглым мальчишеским лицом, с взъерошенными волосами, всегда смеющийся, постоянно отпускающий шуточки проказник.

Его быстрые, мелкие жесты, ироническое, озорное выражение лица, румяные щеки делают его похожим на искусного клоуна, на крупную обезьяну. Но юмор его и веселье очень серьезны, они пропитаны философией, среди его шуток постоянно сверкают очень глубокие мысли, его скульптуры при всей их призрачности настолько основательны, что напрасно было бы искать связь между тем, что он творит своим резцом, и его очарованием, между его мальчишескими выходками и извивами дерева. Но и в изваянных им тюрьмах люди, обреченные на рабство, все-таки таят в себе его усмешку, словно они тоже часть его веселой игры.

Он носит вельветовые костюмы, оранжевые шерстяные галстуки; в таком виде и можно его, раскрасневшегося от вина, встретить у ворот своего хозяйства. Как сумело абстрактное искусство навсегда завоевать этого лихого русского, который храбро встречал снегопады в своей меховой, надвинутой на покрасневшие уши шапке и покрикивал на лошадей так же, как покрикивает на официантов в ресторане.

— Хотел бы увидеть вас снова, — сказал он мне на прощание.

Альенди рассказал мне о событии, отвратившем его в значительной мере от жизни. В детстве больше всех на свете он любил свою няню. Она обожала и баловала его, пекла ему сладкие пирожки и сдобы, которые он уписывал за обе щеки. Но она бросила его, выйдя замуж. Дитя Альенди стер ее из своей памяти. Он никогда не упоминал даже ее имени. И от сладких пирожков и сдобных булочек он навсегда отказался. Вскоре после расставания он впервые всерьез заболел — пневмония — и лет до восемнадцати не мог до конца оправиться от этой болезни. В прошлом ноябре, проходя по саду Трокадеро, он увидел няньку, кормящую сдобной булочкой малыша; прошлые дни тотчас же воскресли в его памяти; он пришел в сильное волнение и почувствовал, как с его души свалилась огромная затаенная тяжесть. Вот эту потерю он и обвиняет в том, что она породила в нем нежелание примериться к жизни.

Я говорю, что ему слишком рано готовиться к смерти; что примирение с разлукой есть уже шаг к умиранию (как он сам говорил мне). Он отвечает, что боится оказаться слишком привязанным к жизни. Не могу отделаться от ощущения, что нахожусь у постели умирающего человека. Давит на меня груз его уныния. Могу ли помочь ему? Он согревается моим теплом, он молодеет в моем присутствии. Но ложь моя его очень тревожит, он явно чувствует себя не в своей тарелке, сталкиваясь с нею,

смущен тем, что не может понять, когда я говорю правду, а когда выдумываю. «Вы так хорошо умеете лгать», — произносит он с тоской. Я возражаю: «Но моя ложь — как ложь доктора, чтобы успокоить больного». Он в ответ громко хохочет, а я никогда прежде не слышала его хохота.

Как же он нуждается в любви! Как расцветает, когда я проявляю заботу о нем. И какая же я мошенница! Но предательницей я себя не чувствую. Я чувствую себя сейчас, как в тринадцать лет, когда впервые ощутила безобразие жизни и начала по-матерински заботиться о своих братьях. В том, что Альенди полностью отдает себя другим людям, есть что-то сближающее его со мной. Когда Генри говорит: «Жизнь отвратительна», то он сам делает ее еще отвратительней. Когда я говорю ему: «Мне надо навестить мать», он спрашивает: «А зачем?» А затем, что я действительно хотела бы забыть обо всех своих долгах и об ответственности ради любой авантюры. Но что я никогда не позволю себе, так это оставить мать и Хоакина без помощи. Я не поступлю с другими так же, как поступили со мной.

Один из друзей Хоакина встречался недавно с моим отцом на юге Франции. Он рассказывает мне:

— Ваш отец страдает из-за разлуки с вами. И это искренне. Вообще-то он довольно часто лукавит, но я всегда чувствую, когда он говорит неправду. Он человек весьма чувствительный, в его характере много женского, и он, конечно, страшный себялюбец. Ему нужно, чтобы его любили и всячески обихаживали. Но как-то он пришел ко мне и несколько часов рассказывал, как он переживает разлуку с детьми. Сказал, что по многу раз перечитывает ваши письма и не может понять, почему вы перестали писать и совсем его бросили. Очень мучается из-за этого.

Я сказала:

— Напишите ему, что мы обязательно повидаемся, когда он приедет в Париж.

Вернувшись домой, я подсела к огню и долго всматривалась в него, долго, до галлюцинаций. Мне представилось, что я нахожусь внутри стеклянного колокола, точно такого, каким было мое пресс-папье, и я качаю этот стеклянный шар, и в нем взвиваются снежные вихри, и они заносят маленький замок.

Замок этот напоминал «Руины» в Аркашоне, том самом городке, где мой отец расстался с нами. «Руины» представляли собой копию средневекового замка, выстроенную для Габриеля д'Аннунцио; отец мой снял «Руины» на летние месяцы. Это было мрачное, покрытое плющом строение, прячущееся в тени высоких деревьев. Великолепно подходящее место для драмы, которой

предстояло там разыграться. Оно могло служить и антуражем для новелл Эдгара По. В его окна были вделаны, как в церквах, цветные стекла.

А сам Аркашон представлял собой оживленный приморский городок, заполненный публикой, съехавшейся сюда на лето; мы, однако, выпадали из этой веселой жизни. Я только что вышла из больницы после оказавшейся чуть ли не роковой операции гнойного аппендицита; почти три месяца я приходила в себя, была слабой и ужасающе исхудавшей. Мать посчитала, что морской климат мне поможет. Когда мы приехали, я увидела отца, наблюдавшего за нами из окна; казалось, он не слишком обрадовался встрече с нами. (Позже я узнала, что аренда «Руин» была оплачена родителями одной из его учениц, чтобы она могла продолжать свои занятия и летом. Звали эту ученицу Марука[67].)

Но там был сад, дикий, запущенный, огромный сад, в котором легко можно было заблудиться. И были там окна из цветного стекла, и сквозь них, сквозь по-разному окрашенные, то выпуклые, то вогнутые, пуговки можно было увидеть преломляющийся разными цветами мир — оранжевый, голубой, бледно-зеленый, рубиновый. Часами я просиживала у окна, любуясь этим невиданным призматическим миром. Другой мир. Это был мой первый взгляд на него. Краски. Рубиновые деревья и оранжевые облака. Лица, вытянувшиеся, как дирижабли, раздутые, как воздушные шары.

Неподалеку от нас проживал Габриеле д'Аннунцио, человек, написавший, что во всякий час он предпочтет рандеву с музыкой встрече с женщиной. У него была подруга, любившая своих собак больше своих детей. Детей она отправляла в больницу, а собак выхаживала сама.

А я решила сделаться художником. Мне было десять лет, я сочиняла стихи и строила планы на будущее. Я наметила стать хозяйкой детского — приюта и посвятить себя заботе о сиротках. Отдать бедным свое богатство. Заводить собственных детей я не собиралась.

Мы часто общались с богатыми покровителями моего отца. Я ревновала отца к Маруке. Ей было тогда шестнадцать лет, она могла бы играть с нами в детские игры. Миниатюрная, совсем ребенок с тоненькими ручками и ногами-спичками, она была официально помолвлена с одним юным художником, но я инстинктивно чувствовала, что из этого ничего не выйдет, потому что мой отец влюблен в нее. Интуиция меня не обманула: десятью годами позже они поженились.

Там, в Аркашоне, отец и сбежал от нас, дезертировал. Когда он объявил, что отправляется в концертное турне, я вцепилась в

его пиджак и закричала: «Не бросай нас, папа, не бросай нас!» В отличие от матери, я понимала, что эта концертная поездка не такая, как все предыдущие.

Много позже, когда я возвращалась в Европу после десяти лет американской жизни, отец приехал в Гавр встретить меня. Я впервые вернулась во Францию. Жизнь в Америке переменила меня.

Мы разговаривали в поезде все три часа до Парижа.

Я видела перед собой чужого человека. Это был денди. Сигареты он курил из золотого мундштука. Одежда его была пределом шика, кремовые носки, бриллиантовая заколка в галстуке, волосы длинные, но хорошо ухоженные, покрытые бриллиантином. Руки в кремовых перчатках и трость. Все это меня не встревожило, но его разговор…

Какой-то изъян ощущался в его разговоре. Он был фальшивым.

Может быть, живя в Америке с матерью, я стала более искренней.

Он приготовлял меня к своей женитьбе на Маруке.

Почему бы ему не сказать: «Я люблю ее» — и весь разговор. А он выстраивал долгую апологию, основанную на практических интересах: мужчина не может жить один; Марука богата и сможет помогать «бабушке» в Испании; здоровье его поправится, когда у него появится жена; его любовницы отнимают, мол, у него много времени и так далее и тому подобное. Это звучало так пустячно, поверхностно, неосновательно. От нашей встречи я ждала чего угодно, но только не светской беседы.

В Париже я встретилась с Марукой — платье от фешенебельного портного, волна дорогих духов, легкомысленный девичий голосок и жуткое желание понравиться. Подруга детства, да и только! Мила, изящна, ласкова. Но я не чувствовала никакого желания сблизиться с нею, особенно после того, как отец отпустил несколько критических замечаний в адрес моей матери. Годы бедности, жизнь наша в Америке вырыли между нами пропасть, и отец понял, что его бывшая супруга добилась того, чего желала: отдалить нас от него. Я разучилась говорить по-испански, позабыла половину своего французского. Родственные узы постепенно ослабли.

Мои крылья — такси. У меня не хватает терпения ждать чего бы то ни было. Как чудесно выходить в 3.25 из лувесьеннской «кукушки» в чад, шум и суету города, сбегать вниз, ехать, предвкушая встречу, через весь город и прибывать к Альенди как раз в ту минуту, когда он раздвигает черный китайский занавес. А после снова выбегать на улицу и спешить в кафе, где сидит

Генри с приятелями. Такси — волшебная карета, переносящая меня без всякого труда с одной орбиты на другую, плавно катит сквозь жемчужно-серые сумерки, сквозь опал, который и зовется Парижем. А потом отвечать на вопросы моей матери насчет окраски простынь, находясь в то же время на другом конце музыкальной темы, повторяя про себя все детали разговора с Альенди. А матушка моя говорит: «Доченька, тебе понравился переплет для последнего дневника? Стоит-то всего двадцать франков».

Я очень люблю теперь свою мать, люблю ее человечность, доброту, жизненную энергию. Хоакин говорит: «Ты какая-то притихшая. Уж не заболела ли ты?» А я улыбаюсь про себя, я радуюсь полноте моей нынешней жизни: мой бювар забит книгами, на которые у меня нет времени, шаржами Жоржа Гроса, книжечкой Антонена Арто, не отвеченными письмами и уймой всякой всячины. Может показаться, что я становлюсь похожей на. Джун с ее божественным пренебрежением деталями, с платьями, заколотыми английскими булавками, но нет, я не такая. В моих платяных шкафах царит великолепный японский порядок; все на своем месте, но порядок этот, подчиненный чему-то высшему, отходит в иные моменты жизни на второй план. Те же самые платья могут оказаться скомканными и брошенными на кровать, аккуратная прическа разметаться на ветру, те же самые булавки и шпильки рассыпаться, а высокие каблуки сломаться. Когда наступает высший момент, все частности стушевываются. Я никогда не выпускаю из виду целое. Безупречное платье для того и создано, чтобы его носить, рвать, чтобы оно мокло под дождем, пачкалось и мялось.

В разговорах с Генри я испытываю чувство, что придет время, когда мы оба будем понимать все, уж слишком стремятся соединиться друг с другом его мужественность и моя женственность, именно соединиться, а не одержать верх в схватке между собой. Джун можно было постигнуть, только переняв ее безумие. Территория женщины то, что не затронуто грубым мужским желанием. Мужчина бьет в самый жизненный центр. Женщина расширяет окружность.

Март, 1933

Телефонный звонок от Генри: встреча с доктором Ранком удалась на все сто процентов. Ранк сделался его другом. Он в восторге от Генри. Говорит, «Тропик Рака» не представляет его во всей полноте, там слишком все гиперболизировано.

— Я этим тебе обязан, — говорит Генри.

Я отвечаю:

— Ты обязан только самому себе.

Я предсказывала Генри, что Ранк его оценит. Генри был немного смущен этим, но поверил мне. Ему необходимо было подтверждение, что он сумеет соответствовать этой оценке.

Графиня Люси, не сходящая со страниц «Вог»[68], с кожей цвета нежно-розовой морской раковины, золотоволосая, зеленоглазая, похожая на Бригитту Хельм[69], изящная настолько, насколько можно быть изящной, не утрачивая чувственной притягательности. Tres frileuse[70].

Жаркий огонь в камине даже весной. Кресла и диваны обтянуты белым шелком. Хозяйка в домашнем наряде, вызывающем в памяти Одетту[71].

Разговаривает она нервно, возбужденно и как-то остронацеленно. Вместе с Эдмоном Жалу[72] она затеяла издавать журнал и хочет перевести для него что-нибудь из написанного мною. Я смотрю на широкие-широкие окна с кружевными занавесями. Под ногами подушки, вкус отсутствует. А она ждет не дождется, что я сотворю чудо. Она — Люси, пригласившая меня, чтобы сказать:

— Мне так нравится ваше удивительное спокойствие.

А у меня сейчас какой-то дурацкий, скучный период в жизни. Мне бы вашу уверенность! Я жду любви, ведь без любви нет у женщины настоящей жизни.

— А вы не ждите, — говорю я. — Сотворите свой собственный мир. Только свой. Оставайтесь в одиночестве. Творите. И тогда любовь придет к вам, она вас отыщет. Только после того как я написала первую свою книгу, окружающий мир вдруг зажил, распахнулся передо мной.

— Я чувствую, что обречена оставаться наблюдателем. Наблюдателем жизни Жанны. Я ее обожаю. Но мне надо найти мой собственный мир. Обычно я могу представить себе среду, формировавшую человека, но вашу среду представить не в состоянии.

— Могу вам только сказать, что моя среда — это я сама. Все — я сама, потому что я отбросила все условности, не обращаю

внимания на светские пересуды, на их законы. Я ведь не обязана, как вы с Жанной, исполнять роль светской дамы.

Люси барахтается между искусством и светской жизнью, между богемой и аристократией, между правилами и исключениями из них. Раз уж она натура художественная, то пыл ко восхищается моей походкой, руками, жестами. А я смотрю на ее тюльпаны: она так раскрыла их лепестки, что они потеряли свой естественный вид, выглядят, как какие-то экзотические растения. Отбросит ли она всю эту красоту, чтобы обрести вкус жизни? Чем мы отличаемся друг от друга? Я живу не во снах. Сны были только началом, они лишь указали путь, по которому надо следовать. Никак не хочу жить в том мире, который восхищал и соблазнял Пруста. Так что пусть Люси входит в мой мир.

Я выхожу в легкую, распускающую почки, набирающую силу весну, прислушиваюсь к новым звукам, вдыхаю свежий запах обновленной земли и радостно предвкушаю сегодняшний вечер, когда встречусь с Антоненом Арто и четой Альенди.

Альенди растворил нашу дружбу своим осторожным благоразумием. Но как сказать ему об этом, когда он уже начал мучиться ревностью и предъявлять требования? Истина в том, что я не могу противиться потрясающему удовольствию кокетничать и флиртовать даже в том случае, когда ничуть не влюблена. Вот это признание! Должно быть, это похоже на воодушевление, которое испытывает чемпион по лыжам перед прекрасным, бесконечным снежным склоном, или пловец перед набегающей высокой волной, или альпинист при виде уходящего за облака пика. Мудрость Альенди, однако, уберегла его от горших страданий. Я начинала играть, и он тут же брался приручать меня, уступать моим причудам, капризам, фантазиям. Воображаю, какую бы жизнь я ему устроила, если бы он в своей юности женился на мне! А ведь он пожалел как-то, что этого не случилось.

Гости ушли. Я сижу одна в своей студии…

Вместе с Альенди приходил Антонен Арто. Он загляделся на мой хрусталь. Потом мы прогуливались по залитому луной саду. Антонен был сильно взволнован, пребывал в романтическом настроении: «Мы думаем, что мир утратил красоту, а она вот где. Этот дом, этот сад полны волшебства. Все здесь, как в волшебной сказке».

Арто. Тощий, напряженный. Испитое лицо с горящими глазами пророка. Манера поведения сардоническая. То явно утомленный вид, то вспыльчив и озлоблен.

Еще одно замечание в скобках

Интересно сопоставить этот протокольно четкий портрет Антонена Арто с другим изображением того же человека.

«Он сидел в углу комнаты в глубоком кресле, и его составленное из углов тело противилось изо всех сил мягкости кресла; тело требовало камней, камней под стать своему сухому твердому костяку, под стать туго натянутым нервам. По его челу струился пот, но он не вытирал его. Он был захвачен образами, опаляющими его зрачки…»

Этот отрывок тоже принадлежит Анаис Нин, он взят из ее рассказа об Арто из сборника «Под стеклянным колоколом». Так дневниковая запись преображается в художественную прозу.

…Театр, он считает, это место для криков боли, гнева, ненависти, для пробуждения в нас ярости. Самая неистовая жизнь рождается из ужаса и смерти.

Он говорил о древних кровавых ритуалах, заражавших людей мощью восторга и ужаса. О том, что мы утратили магию возбуждения. Древние знали, какими ритуалами пробудить в людях безоглядную веру, охватывающую всех без исключения. Власть ритуала ушла. А он, Арто, хочет вернуть ее в театре. Сегодня никто не в состоянии проникнуться ощущениями другого. И Антонен Арто хотел, чтобы театральное действие помогало этому, было бы центром ритуала, способного всех пробудить. Он хотел завопить так, чтобы у людей заледенела кровь в жилах, а потом бы взорвались страсть и ярость. Никаких разговоров, никакого резонерства, никакой сцены в обычном понимании, действие происходит прямо в центре зала, и публика принимает в нем участие.

А я думала, пока мы говорили, прав ли он, что причиной всему — утрата ритуалов, или люди потеряли силу чувств и никакими ритуалами ее не возвратить.

Арто — сюрреалист, от которого отреклись сюрреалисты, измученный призрак, появляющийся в кафе, где его, однако, никогда не увидишь сидящим за стойкой бара или же в кругу веселящихся выпивающих приятелей. Он хмурый наркоман, бродящий в одиночестве и придумывающий пьесы, которые похожи на картинки из пыточных камер.

Томная голубизна в его глазах сменяется чернотой боли. Он весь из нервов. И при всем этом смог великолепно сыграть

влюбленного монаха в фильме Карла Дрейера о Жанне д'Арк[73].

У него глубоко посаженные глаза отшельника, сияющие из глубины пещеры. Глаза, словно погруженные в таинства мистерий.

Писательство тоже приносит Арто боль. Это приходит к нему спазматически и стоит большого напряжения. Он беден. Он в конфликте со всем миром, насмехающимся, как ему видится, над ним и грозящим ему гибелью.

В саду мы отдалились от других, и он стал проклинать свои галлюцинации. Я сказала: «В мире моих галлюцинаций я чувствую себя счастливой».

— А я про себя не могу такого сказать. Это всегда пытка для меня. Мне стоит нечеловеческих усилий, чтобы проснуться.

Альенди говорил мне, что пытался избавить Арто от губящего его пристрастия к наркотикам. Все, что я могла увидеть в тот вечер, так это его бунт против всяких стараний истолковать ему его самого. Он терпеть их не может, потому что воспринимает как попытки помешать его экзальтации. И с жаром рассуждает о каббале, магии, мифах, легендах.

Альенди сказал мне, что несколько раз говорил с Арто, но тот решительно отказывался от анализа. Это был окончательный ответ, и все же Альенди допускал, что еще сможет помочь Антонену.

О Лувесьенне Альенди сказал: «Я чувствую себя, будто попал в очень далекую страну».

А Арто сказал: «А я здесь, как дома».

Как я и предсказывала, на Генри Лёвенфельс действует как стимулятор, пока я попадаю под обаяние Арто; лишь оттого, что я живу многосторонней жизнью, мне понятен энтузиазм Генри. Его восторженные страницы о Лёвенфельсе так же экстравагантны, как и мои об Арто.

Арто писал о своем ужасающем одиночестве, и потому я, прочитав его «Искусство и смерть», дала ему «Дом инцеста» и написала письмо:

Дорогой Антонен Арто!

Вы, заставляющий говорить свои нервы, воспринимающий все нервами, сознающий, что лежит в глубине, чувствующий, что наше тело это не плоть, кровь и мускулы, а нечто висящее в пространстве, наполненном галлюцинациями, можете найти в этой книге ответ на констелляции зажженных вами слов, на вспышки ваших чувствований. Это взаимопроникновение, аккомпанемент, эхо, попытка достичь такой же головокружительной стремительности, это резонанс. Резонанс Вашего «grand ferveur pensante»[74], вашего «fatigue du

commencement du monde»[75].

И что особенно важно, вы не должны думать, что ваши слова падают в пустоту. Ни единого слова из «Искусства и смерти» не пропадет. И, может быть, вы увидите на этих страницах, как я готовлю мир к вашему появлению, как я стараюсь, чтобы мир вас принял. Эта книжка, хотя написана она до знакомства с вами, проникнута вашим видением мира и вашими чувствами.

Письмо от Арто:

«Мне хотелось подробно написать вам о рукописи, присланной вами, в которой я ощутил напряженность интеллекта, отточенный отбор слов и выразительность, подобную моим способам изложения своих мыслей. Но все эти дни я словно одержимый, буквально весь поглощен подготовкой к предстоящей мне в четверг лекции «Театр и чума». Эта трудная для изложения и понимания тема подталкивает мои мысли в сторону, прямо противоположную моему обычному мышлению. Вдобавок к этому я очень плохо читаю по-английски, а вы пишете на особенно трудном для меня английском, усложненном и изысканном, так что мои трудности удваиваются, если не утраиваются. Пожалуйста, извините меня за то, что письмо мое так кратко. Я напишу вам гораздо больше, когда покончу со своей лекцией. Пока же поверьте в чувство моей самой искренней благодарности за все, что вы уже сделали для моего театрального проекта, которому, я надеюсь, вы сможете обеспечить успех и как realizatrice[76].

Мой дневник — как мой путевой журнал. Арто не может понять, почему я храню его в сейфе. Он ведет себя совсем иначе. Он ничего не сохраняет. И у него нет никакой собственности. У Генри, когда я только познакомилась с ним, тоже ничего не было. Но у меня есть чувство судьбы, времени, истории. Генри говорит, что у него больше не хватит смелости пуститься в путь по большой дороге без гроша в кармане. Он потерял интерес к показушным авантюрам. Упорное собирание своих заметок, приведение их в систему, переплеты все это доказывают.

А я по-прежнему занимаюсь поисками для книги Альенди о Черной Смерти.

Генри говорит о шизофрении, о мире смерти, Гамлето-Фаустовском круге, роке, душе, макро- и микрокосмосе, цивилизации мегаполисов, подчиненности биологии. Мне кажется, что ему следовало писать о своей жизни, а не создавать романы идей. С чего ему вздумалось явиться мыслителем, философом? Или он старается привести свой мир в порядок и так найти место для себя? Или он совсем попал под влияние Лёвенфельса и Фрэнкеля? Вот он за своим столом бьется над

Лоуренсом, роется в груде записей, вздыхает, курит, чертыхается, бьет по клавишам машинки, прихлебывает красное вино. Но слышит, как я рассказываю Фреду о своих изысканиях для Альенди, для «Хроник Чумы», о неистовстве жизни, рожденном ужасом и смертью. Это явно было богатое и плодоносное время. Генри вслушивается внимательней, думает, что это хорошо укладывается в его схему, и накидывается на меня с вопросами, требует фактов, информации, подтверждающей его тезис. Он пользуется всем.

Его новая фаза развития — философская. Генри говорит о своей богемной жизни с Джун, о хаосе, что это всего лишь фаза, а не его истинная натура. Он любит порядок. Утверждает, что все большие художники любят порядок. Величайший порядок. Итак, теперь он пытается победить хаос.

— Джойс, — говорит Генри, — символизирует душу большого города, динамику, атеистичность, рост и крушение; он археолог мертвых душ.

Мы говорим о Лоуренсе и смерти. Я читаю ему мои комментарии.

— Это ты написала? В самом деле ты написала?

Он в полном изумлении:

— Все! Это последнее слово, после него говорить нечего.

Женский взгляд обычно страдает близорукостью. Но я не думаю, что это относится ко мне. Хотя абстрактные идеи до меня не доходят.

Перед этим нашим разговором мы пошли в кино смотреть фильм с Лил Даговер, одним из увлечений Генри. Дурацкий фильм, но Генри размечтался о ее превосходно сложенном, соблазнительном теле. Фильм кончился, и она явилась собственной персоной. Тощая жеманничающая притворщица, она его полностью разочаровала. Иллюзия рассеялась, и он от злости стал говорить грубости. Мы сидели в русском кафе. Женщины в вечерних платьях были безобразны, но Генри чуть было не соблазнился ущипнуть кого-нибудь за открытые плечи.

Генри считает, что сейчас он совершает великий переход от романтического интереса к жизни к классическому интересу к идеям. За год до этого, когда Фрэнкель сказал ему: «Люди это идеи», он спросил: «При чем здесь идеи? При чем символы?»

Он стал философом. Мы сидим в кафе, пьем вино, а он не прекращает говорить о Шпенглере. Отчего это?

Пытается ли он организовать свой жизненный опыт, поместить его в какую-то систему координат? Я довольна этой его деятельностью, но все-таки чувствую себя обманутой. Где тот кидающийся в приключения Генри? Его подполье, его кричащие

страдания, его бордельные вечера, поиски развлечений, любопытство, его уличная жизнь, его контакты с кем ни попадя?

Нет, я вовсе не бросила Альенди. Но каким мудрецом он показал себя, сомневаясь в моей любви. Однако зависимости моей пришел конец. А осталось чувство благодарности и признания его мудрости. Но мудрость, благоразумие — кратчайшая дорога к смерти. Я отодвигаю смерть самой жизнью, страданиями, ошибками, риском, жертвами, утратами. Решив с самого начала господствовать над жизнью, Альенди выбрал самую скорую смерть. Романтик покоряется жизни, классицист укрощает ее.

От боли он себя уберег. Но все равно он мертвец, потому что живет жизнью других, вуайером, усевшимся позади шезлонга, спрятавшимся за портьерой соглядатаем. Я так и слышу, как скрипит его перо над примечаниями к чужой жизни. Конечно, можно жить жизнью других, но только если живешь самостоятельно; потому что, если мы живые, мы в состоянии видеть, слышать, чувствовать, понимать больше, проникать в другие жизни. Его непрямое участие… наблюдение за альковами, ночными клубами, дансингами, барами, кафе, ночной жизнью, любовными делишками других…

Но он придал мне смелости продолжать жизнь. Отдаю должное. А я дала ему лишь печаль и сожаления, приступы острой тоски, несколько моментов безумия. Но проницательностью его и мастерством, с которым он обновил меня, я горжусь.

Аудитория в Сорбонне.

За большим столом Альенди и Арто. Первый представляет второго. Зал набит битком. Странной декорацией выглядит черная классная доска. Публика всех возрастов, поклонники чтений Альенди о «Новых идеях».

Свет не сфокусирован, и оттого взгляд Арто съеживается в темноте его глубоко посаженных глаз. Тем отчетливей проступает напряженность его жестикуляции. Он выглядит мучеником. Довольно длинные волосы то и дело падают на лоб. Актерская живость и стремительность движений. Лицо худое, словно изглоданное лихорадкой. Людей он как будто не видит. Глаза провидца. Длинные пальцы.

В сравнении с ним Альенди выглядит приземленным, тяжелым, мрачным. Массивный, заскорузлый, он сидит за столом. Арто выходит на кафедру и начинает говорить о театре и чуме.

Он попросил меня сесть в первом ряду. Мне кажется, что он прежде всего требует обостренного восприятия жизни, самой высокой формы существования и чувствования. Попытается ли он

напомнить нам, что появление во время чумы столь многих и прекрасных произведений искусства, в том числе и театрального, объясняется тем, что подстегиваемый страхом смерти человек ищет бессмертия, или бегства, или стремится превзойти самого себя? И тут он неуловимым движением отпускает нить, за которую мы все держались, и начинает представлять умирающего от чумы. Почти никто и не заметил, когда он начал эту игру. Иллюстрируя свои слова, он изображал агонию. Французское «La peste»[77] звучит более зловеще, чем английское «The Plague»[78]. Но дело и не в словах, слова не выразят того, что творил Арто на кафедре Сорбонны. Он забыл о своей лекции, о театре, о докторе Альенди, его жене, его учениках, студентах, профессорах, — обо всем.

Лицо его кривилось от боли, появилась испарина, волосы взмокли. Зрачки расширились, по мускулам пробегала судорога, пальцы не гнулись. Каждый мог ощутить его горящую пересохшую глотку, его муки, его горячку, огонь, сжигавший его внутренности. Он был в агонии. Он вопил. Он был безумен. Он разыгрывал свою собственную смерть, смерть на кресте.

Сначала публика вздыхала и кашляла. Потом стала хохотать. Хохотали все! Свистели. Потом один за другим начали уходить, уходить шумно, переговариваясь, возмущаясь. И выходя, хлопали дверями. Не двинулись с мест только Альенди, мадам Альенди, чета Лалу, Маргарита. Арто продолжал под протестующие выкрики и насмешки. Потом, когда зал опустел и осталась лишь маленькая кучка друзей, он сошел с кафедры, подошел ко мне и поцеловал руку. И попросил меня посидеть с ним в кафе.

У дверей Сорбонны наша компания распрощалась с нами, все разъехались, у каждого нашлось какое-то важное дело. А мы с Арто двинулись в совершенно замечательном тумане. Мы шли и шли по темным улицам. Он был изранен, оскорблен и растерян. Выпалил с раздражением: «Они всегда хотят слушать приятное. Им подавай обычную лекцию на тему «Театр и Чума», а я хотел заставить их заразиться чумой так, чтобы он «проснулись от испуга. Я хотел разбудить их. Они же не понимают, что уже мертвы. Их смерть абсолютна, как бывают абсолютны глухота и слепота. Эту смертельную агонию я и изображал. Мою, конечно, но и всякого, кто считает себя еще живым».

Туман окутывал его лицо, он вскидывал голову, убирая волосы со лба. По-прежнему он выглядел одержимым навязчивой идеей, но теперь он заговорил спокойнее. Мы сидели в «Куполь». Он уже забыл о лекции.

— Мне никогда не попадались люди, чувствующие так же, как я. Я принимаю опиум уже больше пятнадцати лет. Был совсем

юным, когда мне впервые дали попробовать, чтобы заглушить страшные головные боли. Иногда я чувствую, что я не пишу, а описываю трудности писательства, трудности родов.

Он читает стихи. Мы говорим о форме, театре, о его работе.

— У тебя глаза то зеленые, то фиолетовые, — вдруг произносит он.

Голос его звучит тихо и ласково. Мы опять выходим на улицу, под дождь.

Для него чума ничуть не хуже, чем посредственность, торгашеский дух, продажность, убивающие нас. Ему надо заставить людей понять, что они умирают, а для этого погрузить их в стихию поэзии.

— То, что они так всполошились, показало, что вы их разбередили, — говорю я.

Но какое потрясение видеть поэта, стоящего перед разъяренной публикой. Как же эта толпа бывает омерзительно груба!

«Le plus malade des surrealistes»

«Самый больной из сюрреалистов» называется рассказ Анаис Нин, герой которого списан с Антонена Арто.

Это почти неизвестное в России имя принадлежит выдающемуся деятелю французской культуры первой половины XX века, поэту, драматургу, художнику, актеру и теоретику театра. Яркий, неуравновешенный, страдавший галлюцинациями (почти десять лет он провел в психиатрической больнице, выйдя оттуда лишь за два года до смерти) Антонен Арто (1896–1948) был в числе основоположников сюрреализма. Его перу принадлежит, в частности, текст «Декларации» сюрреалистов от 27 января 1925 года.

Вскоре после этого Арто расходится с сюрреалистическим движением. В конце 1925 года он подписывает другую декларацию, в которой утверждается, что главенствующим является для сюрреалистов некое «состояние яростной страсти». Вот эта-то «яростная страсть», которой надо подчинить все, и вызвала недовольство главы сюрреалистов Андре Бретона; Арто впадает в немилость. Театральная деятельность его также не принимается сюрреалистами,

для них главным был кинематограф. Бретон резко осуждает спектакли «Театра Альфреда Жар-ри», одним из руководителей которого был Арто. Идеи Арто о создаваемом им «Театре жестокости» (а именно таким и являлся «Театр Альфреда Жарри»), пересказанные Анаис в своем дневнике, читатель может сопоставить с оценкой Арто последнего спектакля «Театра Альфреда Жарри» по пьесе Роже Витрака «Виктор»: «Эта драма — то лирическая, то ироническая, то грубо-откровенная — была направлена против буржуазной семьи и складывалась из адюльтера, кровосмесительства, непристойностей, злости, сюрреалистической поэзии, патриотизма, безумия, стыда и смерти».

После неудачного окончания театральной деятельности Арто отказывается и от карьеры киноактера, которая началась весьма впечатляющими ролями в фильмах Абеля Ганса «Наполеон» и в «Страстях Жанны д'Арк» Дрейера. Арто катится вниз, все усерднее прибегает к наркотикам, учащаются приступы, и в 1937 году Антонен Арто оказывается в клинике для душевнобольных.

Вот с таким человеком знакомятся Анаис и Хьюго Гилер в марте 1933 года. Он производит на них сильное впечатление, особенно на жену. Анаис потянуло к «думающей, нервной душе», к «синим, наполненным болью визионерским глазам мистика». Она дает Арто прочитать свою повесть, между ними возникает оживленная переписка (с некоторыми ее образцами знакомится читатель нашего издания). Напрасно доктор Альенди, ревнующий свою пациентку, предостерегает ее против Арто — наркомана, гомосексуалиста, психически больного человека. Анаис уверена: Арто не сумасшедший, он — гений.

Инцидент, описанный в мартовской главке нашего издания, произошел на самом деле 6 апреля 1933 года на лекции Арто в Сорбонне. Через семь лет Анаис претворит дневниковые записи в рассказ, напечатанный в журнале «Экспериментал Ревю» (сентябрь 1941 года). Арто выведен в рассказе под именем Пьера.

«— Я начинаю создавать театр жестокости. Никакой реальности нынешнего театра. Я против нее. Сцена у меня не будет отделена от публики, все действие идет среди зрителей, так что им будет казаться, что все происходит с ними самими. Круглая, как цирковая

арена, сцена и вокруг зрители, совсем рядом с актерами. И никакой сценической речи — жесты, крики, музыка. Как в древних ритуалах, чтобы народ был охвачен восторгом и ужасом. Мне надо представить такое насилие и такую жестокость, чтобы у людей кровь закипела в жилах, чтобы они вопили и плакали вместе со мной, вместе со всеми нами, актерами.

Вот так Пьер намеревался шарахнуть по обыденщине своим театром жестокости.

И мне захотелось пойти за ним. С разгоревшимися глазами я объявила ему, что буду с ним во всех его поисках и находках.

Но последовать за ним никто больше не захотел. Он стоял перед ними, выкрикивал свои идеи, а они смеялись. Смеялись потому, что каждая крупица того видения, которое он разворачивал перед ними, разрасталась непомерно, набухала его кровью, его потом, его слезами, его тягой к абсолюту. Но в абсолют никто из них не верил, никому из них не хватало отваги взорваться в судорогах немыслимого экстаза. Никто не пошел за ним. Они смеялись.

Из той кристально-прозрачной клетки, куда поместила меня его мечта, из его слов я узнавала, как напряжена его маленькая фигурка, рвущаяся к победе над этим миром. Я перестала слышать смех. Мы оба оказались внутри его театральных грез, образы, рожденные его видением, окружили и понесли меня.

Мы пошли прочь от этого сборища, изранившего его своим смехом. Мы шли и шли, пока не оказались у самых стен города. Какой-то пьянчуга спал в канаве. Быстрыми, нервными движениями бродячий пес раскапывал землю и уже выкопал целую яму. Пьер смотрел на собаку, и его колотила нервная дрожь. Я видела, что он весь взмок, словно сам копал эту яму. А поджарый пес все рыл и рыл, и яма делалась все глубже. И тут Пьер завопил: «Останови его! Он же роет туннель, и меня туда затянет, и я задохнусь! Я уже задыхаюсь!»

Я прикрикнула на пса, он, поджав хвост, отскочил в сторону и исчез. Но яма осталась, и Пьер смотрел на нее так, будто вот-вот рухнет туда.

— Люди говорят, что я сумасшедший, — вдруг сказал он.

— Нет-нет, ты не сумасшедший! Я вижу все, что ты видишь, и чувствую все, что ты чувствуешь. Ты не

сумасшедший, Пьер!»

Меня огорчает, что Альенди, человеку, который помог мне жить, я помочь не в состоянии. Очень не хотелось бы оставлять его в узком, ограниченном мирке. Куда приятней было бы научить его радости. Однажды он уже описал мне свое ощущение отделенное от жизни тяжелым занавесом. В прошлый вечер так было жаль видеть, как вянет его очарование. Впечатление такое, будто за время между концертом Хоакина и сегодняшним днем он еще больше удалился от жизни. Может быть, прошлым вечером в Сорбонне он уяснил себе, что кончается; что он так и будет выпускать в жизнь из своего маленького заставленного книгами кабинета какого-нибудь пришибленного невротика, надеясь, что тот хоть немного научился теперь жить и любить в этом мире; что он так и останется сидеть позади кушетки и делать свои заметки, пока все, чего он так страстно желал, будет проплывать мимо: приключения, авантюры, эротика, путешествия, страсти — словом, настоящая жизнь.

Да, прошлым вечером в Сорбонне дрогнуло, затрепетало, померкло и исчезло его волшебство.

Письмо от отца: «Анаис, дочь моя, моя дорогая дочь…» Я усмехнулась этим театральным словам в духе д'Аннунцио. Ничего не скажешь, отец мой — человек театра. Он и д'Аннунцио охотятся в одних и тех же угодьях: певицы, драматические актрисы. Хотя д'Аннунцио старше и циничней моего отца, он, как рассказывает отец, никогда не исполняет своих пылких клятв в отличие от моего родителя. И все же он умеет так восхитительно обращаться с женщинами, его разговоры так занимательны и интересны, что чаще всего слова и поэтические строки с успехом заменяют действия и оказываются вполне достаточными. Я до сих пор не забыла, как в Аркашоне, в далеком моем детстве, он наклонился в мою сторону и произнес нараспев: «Сколько страсти в ее глазах! Берегитесь!..»

Но я отвлеклась от Альенди. Я позволила ему руководить моей жизнью, судить ее, приводить в равновесие. До чего ж прелестным было время моей зависимости от него! Он был богом, совестью, отпущением грехов, исповедником, мудрецом. Он освободил меня от чувства вины и от страха. Но, превратившись в обычного человека, он пользовался своей властью, чтобы лишить меня моей жизни художника и снова втиснуть в душное и тесное буржуазное существование.

Теперь он предостерегает меня против Арто. Говорит мне, что Арто наркоман и гомосексуалист.

Нет у меня вожатого. Отец? Но я отношусь к нему, как к

своему ровеснику. А все другие для меня дети. Меня печалит, что я снова стала независимой женщиной. Такой глубокой радостью была зависимость от Альенди, от его проницательности, от его руководительства.

Сегодня приезжал совсем юный Бернар Стиль, издатель Арто. Он же издает доктора Ранка. Он привез мне экземпляр ранковского «Дон Жуана и его двойника». В тот вечер, когда я встретила Стиля в доме Альенди, он был ироничен, нагловат, и мне не понравился. Сегодня же, в саду, он выглядел мягким, живым, открытым, внимательно слушающим собеседником. С издевкой говорил о Лоуренсе и с иронией об Арто. Дул теплый ветер. В зарослях плюща шелестел ручеек. В воздухе пахло дикой земляникой. Мы сидели на солнцепеке, и бутылка шерри посверкивала, как драгоценный камень.

Бернар Стиль наигрывал на гитаре. Он человек явно неглупый, но парадоксальный, в нем полно контрастов и противоречий. Он музыкант, старающийся показаться интеллигентом. Как интеллигенту ему не хватает логики. Он изыскан и несчастлив. Но обмануть меня он не обманул. Его совершенно не интересуют ни издательские дела, ни литература вообще, он просто хочет хорошо жить.

Мы с Маргаритой откровенны и ничего друг от друга не скрываем. Разумеется, такая же открытость и в наших разговорах об Альенди.

Сегодня она меня повеселила.

Она хотела освободиться от Альенди так, чтобы его не обидеть, но не знала, как это устроить. И тут, возможно, чтобы вызвать в ней ревность, Альенди признался, что у него есть «законная» любовница и не дай бог, чтобы она узнала о Маргарите.

— Понимаешь, никогда в наших очень откровенных разговорах с Альенди не возникал вопрос о любовнице.

Он говорил, что ведет монашескую жизнь после напугавшего его случая с одной дамой-невротичкой. Я чувствовала, что он свободен, знала, что его отношение к жене чисто братское. И вдруг такая новость, я как раз натягивала чулки, когда он сделал такое признание. Чуть было не пошутила по этому поводу, но удержалась, а позже психоаналитическим путем дошла до того, что тут-то и находится выход из моего положения.

Когда я начинала продумывать «стратегию» безболезненного для Альенди освобождения от еже-четверговых встреч с ним, это были отвлеченные размышления. Но теперь я живо представила себе, какие чувства испытывала бы, если бы и в самом деле любила Альенди и узнала, что он делит свою любовь между мною

и другой женщиной. Так что, объясняясь с ним, я выглядела очень взволнованной и говорила совершенно искренне.

Альенди был кроток. «Я все понимаю, ты сторонница абсолютизма». Я даже была тронута его кротостью. Он сказал, что предчувствовал это, он знал, что я не из тех женщин, которые играют в любовь, но потерял голову и его проницательность исчезла. Я не должна его винить. Он хотел бы остаться моим другом на всю жизнь, отказавшись от всего прочего.

Хотя я сознавала, что обманываю Альенди самым бессовестным образом, я уже поверила себе! Меня настолько растрогала моя история и то, как сочувственно Альенди к ней отнесся, что все трудней и трудней мне было помнить, что нет у него никакой любовницы!

А он попросил о прощальной встрече в следующий четверг. Пообещал мне грандиозную сцену, целую драму; раз уж я люблю драмы, я ее увижу, он будет неистовым. Проявились и его юмор, и чувство игры. Он радовался, чуть ли не сиял. В глазах его мелькнула свирепость и он сказал: «Ну, я тебе задам, не хуже твоего отца отделаю. Ты это заслужила. Ты играла моими чувствами». Тема наказания часто встречалась в наших с ним разговорах, но теперь, когда в его глазах пылало пламя, я была потрясена. Мое любопытство разыгралось. Четверг обещал быть интересным.

…Они встретились у метро «Кадет». Маргарита опоздала, и Альенди уже приготовился к тому, что она не придет.

— Я сказала, что не прочь чего-нибудь выпить, но Альенди отверг это: он никогда не выпивает днем и не хочет изменять своим привычкам. На этот раз комната, куда он меня привел, была вся в голубом, стиль мадам де Помпадур, альков оформлен небесно-голубым бархатом. Альенди даже не поцеловал меня. Он сел на край кровати и сказал: «Сейчас ты будешь наказана за то, что превратила меня в раба, а теперь бросаешь». И он извлек из своего кармана плетку.

Вот уж на плетку я никак не рассчитывала. Отец мой обходился со мной невооруженными руками. Я не знала, как реагировать на это. Мне понравилась ярость Альенди, его горящие гневом глаза, его воля. Но при виде плетки мне стало смешно. Он скомандовал, чтобы я разделась. Раздевалась я не спеша, изо всех сил стараясь не рассмеяться.

Ох, Анаис, это был такой скверный театр! Гран Гиньоль. Бульварный роман. Что делать, если ты вдруг оказываешься действующим лицом бульварной книжонки? Какой-нибудь «La Vie Scandaleuse de Sacher-Masoch»[79].

Когда Альенди попытался нанести мне несколько ударов, я все-таки не удержалась от смеха. Ничего возбуждающего здесь не было. Только моя гордость могла пострадать. Я смеялась нелепости, нереальности происходящего. Когда меня бил отец, это было по-настоящему. Мать обычно рыдала в соседней комнате. Я отказывалась плакать.

Альенди сказал, что изорвет меня в клочья, что я буду ползать на коленях, молить о пощаде и делать все, что он прикажет. Но плеткой он коснулся меня лишь несколько раз, а потом я оказалась там, куда он не мог дотянуться. Он подумал, что я с ним играю.

И тогда он произнес фразу, уж точно из грошовой книжки: «Можешь кричать во все горло, никто не обращает внимания на крики в этом доме». После такой классики я расхохоталась вовсю, а он решил, что таким образом я его дразню и подзуживаю.

Незадолго до этой нашей встречи Альенди жаловался мне на монотонность своей работы: ему надоело наблюдать человеческие существа, похожие одно на другое, с одинаковой реакцией, с одинаковым поведением. Я вспомнила об этом, когда удары плеткой разогрели мое тело, faute de mieux[80].

Альенди выглядел довольным. И твердил, что чувствует себя прекрасно, что все получилось чудесно, что он знал, что мне это нравится, что это «разбудило в нем дикаря». Un sauvage pour rire![81]

Мудрец, будящий в себе дикаря при помощи плетки!

Но я вела себя так хорошо, что в такси он почувствовал возвращение «страсти» (выражаюсь в общем и целом) и весь расцвел. Сказал, что никому и в голову не могла прийти такая сцена, никому. Даже моему отцу! Эта мысль привела его в восторг. Бедняжке Альенди было невдомек, что если я и желала чего-то подобного, так это было желание подвергнуться истязанию плоти настоящей страстью, стать рабой только подлинного дикаря. А Альенди произнес с довольным видом: «От этого у тебя голова должна пойти кругом».

Насмеявшись, мы стали серьезными.

— Вопрос в том, — сказала я Маргарите, — умирают ли сегодня мужчины оттого, что вторгаются в источники жизни или же они вторгаются туда оттого, что чувствуют себя мертвыми и хотят оживить себя, пусть даже искусственно.

Минотавр не смог преодолеть искушения! Бедный

доктор Альенди нарушил-таки нерушимое для каждого классика психоанализа табу: он вступил в интимную связь с пациенткой.

Ну да, ведь Маргарита стала его пациенткой раньше, чем Анаис; но с Анаис у него, судя по «Дневнику», только намечался роман, а с Маргаритой, оказывается, осуществился.

Но не кажется ли вам, читатель, что «стратегия» Маргариты С. очень похожа на стратегию в конструировании своей лжи? Представляла себе, что будет она чувствовать, если все, что она готовится придумать, произойдет на самом деле? Маргарита С, дурача доктора Альенди, сама начинает верить в свою ложь. Но ведь мы знаем, что Маргариты С. не существовало, наша мастерица создала ее, чтобы на ее плечи взваливать ношу других. И то, что Маргарита С. рассказывает о своих отношениях с доктором Альенди, — это Анаис рассказывает нам о развязке романа со своим исцелителем.

И не только здесь. Из «Дома инцеста» (а это ведь и есть страницы «неочищенного» дневника) мы узнаем и дополнительные детали. Мы узнаем, в какую ярость пришел Альенди после выступления Арто в Сорбонне. Он упрекал Анаис и в том, что она сидела рядом с Миллером, и в том, что ушла вместе с Арто. «Не играйте с Арто!» — грозно предупредил он свою пациентку. Неистовство Альенди привело к тому, что в один из визитов Анаис он набросился на нее, и стало ясно, что Анаис удалось соблазнить своего целителя. Как пишет Ноэль Рилей Фитч, «искусав и истискав ее, он упросил Анаис пойти в укромный отель вблизи метро «Кадет». Анаис в своем дневнике (и в «Доме инцеста», где доктор Альенди проходит под именем Ориоля, а она сама зовется Мандрой) описывает незавидную сцену в наемной постели: Альенди оказался «вялым и толстым», но Анаис, хотя и была разочарована его «неуклюжестью», все же пришла ему на помощь со всем своим приобретенным уже умением. Но она надеялась «искупаться в сексе, как это бывало с Генри», а ей достался «квелый любовник». Тем не менее она согласилась еще раз встретиться с Альенди на следующей неделе. Тогда-то и произошел комический эпизод с «мягкой флагелляцией». Альенди это помогло мало, Анаис рассмешило, но ушла она домой с горящей

кожей — плетка как-никак была в мужских руках…

Так закончилось приобщение к психоанализу с помощью доктора Альенди. На горизонте уже вспыхивали молнии того, что в своем дневнике за 1933 год Анаис назовет, по примеру Артюра Рембо, «Сезон в аду».

Вчера Генри приехал с Уильямом Брэдли, литературным агентом и другом многих писателей. Симпатия с первого взгляда.

Брэдли пришел от меня в восторг. На обратном пути в поезде он без умолку говорил Генри обо мне.

Сегодня он мне телефонировал. Он прочел мой детский дневник. Говорит, что это замечательно — наивность, очарование и глубина. Поразительный ребенок. Необыкновенно. Сказано все самое главное. Я была усталой и сейчас не могу вспомнить все, что он наговорил. Голос его теплый и выразительный. Они с женой то плакали, то смеялись над дневником.

Арто пишет мне:

«Я очень много думал о том, что вы сказали мне о моем выступлении. Я ведь уходил оттуда с ощущением провала, но сегодня я этого уже не чувствую. С тех пор я услышал много отзывов на мою лекцию и вижу, что она не пропала втуне. Но я понимаю также, что намеревался сделать и какую фантастическую концепцию хотел предложить, когда замышлял все это. Но в итоге это вселило тревогу, вывело из душевного равновесия без какого-либо удовлетворения, без проникновения в сознание людей того, что я собирался им внушить. Вы-то поняли, но помимо моих слов, а не благодаря им.

Меня поражает одна вещь. Судя по рукописи «Дома инцеста», вы обладаете способностью проникнуть в тонкие, еле уловимые состояния, мне такое удается ощутить лишь ценой неимоверных усилий, которые мне совершенно ни к чему. Мне весьма любопытно узнать, какая наука помогает вам добраться до самой сердцевины психических состояний.

Простите меня, что пишу Вам с таким запозданием, но на мне сейчас лежит работа по подготовке для моего издателя книги о Гелиогабале[82].

Я сижу над ней все дни, да еще много времени приходится тратить на библиотеки. Поэтому-то я и не звонил вам.

Для книги о Гелиогабале я разыскиваю все, что связано с астрологией халдеев, и был бы счастлив поговорить с Вами об этом и о многом другом».

Я запустила мои туалеты. Я не плачу по своим счетам. Я пытаюсь закончить «Дом инцеста».

Генри пишет мне о том, что я уже написала:

«Разработай это тщательно! Только так можно выбраться из твоих водонепроницаемых абстракций. Прорвись сквозь них, сдерни с них покров таинственности, позволь им литься свободно, бить ключом. Время от времени ты разрываешь их и высказываешься с убеждающей силой и красноречием. Но происходит это так, будто ты сначала разбиваешь внутри себя алмазы, измельчаешь их в порошок, а потом превращаешь в жидкость — потрясающее произведение алхимии. Все-таки еще раз убеждаюсь: одна из причин, по которым ты так плотно засела в дневнике, заключается в том, что тебе страшно свое реальное «я» подвергнуть испытанию обществом. Ты производишь изящные драгоценности».

С тщательной разработкой, думаю, Генри прав. Но только он не понимает, что в дневнике я абсолютно естественна и свободна, а то, что выдаю наружу, — перегонка, миф, легенда. Вот здесь идет разработка. Это алмазы и жемчуга, родившиеся из естественного источника. Но разве люди не любят драгоценности?[83]

— Я пошел дальше Лоуренса, — заявил Генри.

Он берет назад свою критику «абстракций» как относящуюся только к началу «Дома инцеста»; он нападает теперь на чрезмерную сдержанность и туманность фразеологии, требуя большей ясности. Но ведь это поэзия, возражаю я. Поэзия — всегда абстракция. Я вовсе не уверена, что Генри понимает «Дом инцеста». Вскоре я получу пародию на эту вещь. Я ломаю голову над парадоксом между серьезностью отношения Генри к своей работе и карикатурным, бурлесковым ее характером. Читая его вещи, я нахожу там куски высочайшей буффонады, фиглярства, и он удивляется, с чего это я рассмеялась.

Арто — существо терзающееся. Временами заикается. Обычно он выбирает самый темный угол комнаты, сидит там, утопая в кресле, словно в норе притаился, готовится защищаться.

Разговариваем, и он мало-помалу успокаивается. Речь становится плавней, но разговор незамысловатый и какой-то призрачный. Оттого возникает странное ощущение, будто присутствуешь при процессе рождения мысли, чувства. Можно видеть некую туманность, бесформенную массу, старающуюся обрести форму, усилия ее осторожны, аккуратны, тщательно выверены, чтобы ни в коем случае не исказить свою мысль каким-нибудь небрежно оброненным словом. Он не уверен в точности и понятности. Мысль должна быть выслежена, окружена и заключена в оболочку, словно некий летучий материал.

— Я никогда не мог выразить словами, как я мыслю. С

большинством людей вы можете говорить об идеях, но не о путях, по которым они проходят, не о той атмосфере, в которую они погружены, не о той тонкой субстанции, которая ускользает, если пытаешься облечь ее в одежды.

— Но ведь это вовсе не идеи, — сказала я. — Это ощущения, которые невозможно описать, восприятие чувств.

Не могу без волнения слушать, когда он говорит о своих трудностях, об усилиях найти точное слово, о своей чрезмерной чувствительности, впечатлительности, неспособности почувствовать себя удовлетворенным. Все дается болью, все фильтруется раздраженными нервами. Никакой в нем инерции, никакого умирания, никакого равнодушия, а только высшая ступень каждой способности, каждого чувства. Он должен поднять бремя, увидеть восход солнца сквозь мглу, сквозь отвратную мглу. Стены трансцендентальности, о которые он бьется головой. Он не может жить без абсолюта, в мире относительного, в каждодневное; это всегда крайность и это мука существования.

И все-таки я не совсем понимаю чрезмерности его страданий.

— А я чувствую себя совершено свободно среди моих снов, кошмаров, галлюцинаций, — говорю я. — Я рада, что приходится жить в этом мире. Самые страшные, преследующие меня образы, как только я напишу о них, больше меня не пугают.

— А мне и это не дает облегчения, — отвечает Арто. — Я достигаю тех сфер, о которых вы сказали, но нет никакого успокоения. Это все та же пытка. Мне приходится делать сверхчеловеческие усилия, чтобы вырваться, проснуться.

— А зачем просыпаться? — спрашиваю я. — Зачем?

Мой фантастический мир, мои ночные кошмары я предпочитаю реальности. Я люблю дома, рушащиеся в реки.

— Да, я вас понимаю. Вижу, что вы довольны вашим миром. В «Доме инцеста» ощущаешь величайшую погруженность в мысль, замечательную оркестровку письма, силу, напряженность. Переведите для меня куски из «Дома», я не очень-то читаю по-английски.

Мы говорим о наших страхах, вслушиваемся в них. Его страхи — боязнь безумия, невозможности писать, разговаривать, общаться с другими («я лучше всех понял ненадежность языка, его обманчивость и то, как быстро мысль ускользает в глухие закоулки»). Но разве так уж трудно высказать то, что он хочет? Или помехи лежат в нем самом? Почему он думает, что не успеет всего высказать? Да это ведь и не его особенность, эти страхи обуревают каждого писателя, говорю я ему. Каждый писатель борется с зарождающейся, бесформенной массой и очень многим

не удается вылепить из нее нечто.

Бог мой, до чего же он нуждается в сочувствии!

Мы с ним рождены под одним знаком.

Он распрощался со мной и отправился на обычный по средам ужин у Альенди.

Доктор Отто Ранк, «Искусство и художник»: «Невротик, не имеет значения продуктивный или обструктивный, страдает в основном из-за того, что не может или не хочет принять как должное свое «я», свою индивидуальность, свою личность. С одной стороны, он чрезмерно самокритичен, с другой — идеализирует себя также чрезмерно, что означает повышенные требования к себе и своей самодостаточности, и потому каждая неудача приводит лишь к большей самокритичности. Если мы возьмем такую противоречивую персону и, в целях нашего исследования, сравним ее с человеком искусства, нам станет ясно, что художник в каком-то смысле представляет собой антитезу самокритичному невротику. Не только потому, что художник не относится к себе критически, но, находясь в согласии с собственной личностью, он не только реализует то, на что направлены тщетные усилия невротика, но идет гораздо дальше. Следовательно, предпосылкой для успеха творческой личности является не только принятие своей индивидуальности, но и фактическое восхваление ее».

Не может или не хочет принять как должное свое… Но как я могу принять ограниченное, поддающееся определению «я», когда я чувствую себя способной на многое? Альенди может поучать: «В этом вся суть», но я никогда не считала четыре стены вокруг субстанции моего «я» своей сутью. Я чувствовала только пространство. Безграничное пространство. И действие психоанализа таким образом смягчалось. Ясное, обнаженное видение самой себя снова уступало место подчиненности миру воображения, которому я предпочитала доверять. Покров разодрали, но почти сразу же я опять укрыла под ним истину. Водовороты иллюзий затягивали реальность в пучину. Я соглашалась лишь на неограниченное ясными представлениями «я». То, что я воображаю себе, то и есть истина. Я хотела снова затеряться в таинственном. Мудрость поглощалась жизнью.

Художник уходит дальше невротика. Он прославляет свою личность. Генри так и поступал. Я же совершала это посредством Джун, рисуя ее портрет.

У Генри есть чутье на это. Он говорит: «В первые дни я почувствовал и убедился в том, что в тебе есть порочность, что ты декадентка, вроде Джун. Я и сейчас ощущаю твою невероятную пластичность. Чувствую, что для тебя нет границ, ты можешь быть

какой угодно и делать что угодно. Отсутствие ограничений, готовность на любой эксперимент».

Но почему он называет это порочностью? Он ведь и сам такой же.

Меня интересует не моя суть, не моя сердцевина, а потенциальные возможности этой сердцевины, способность множиться и расширяться бесконечно. Излучения этого ядра, гибкость, умение примениться к любым условиям, его реактивность, его ветвление. Путешествия, соединяющие мостами разные явления и разных людей, пространство пожирающие, ведущие по звездам путешествия, все, что в самой сердцевине моей и вокруг нее.

Отец прислал мне прекрасное письмо:

«Твое письмо, твое дорогое письмо и чтение твоего детского дневника (великолепный подарок) было для меня не только откровением, но и оправданием моей веры в тебя, моих надежд, моих иллюзий, моей привязанности к тебе. Снова возникло то время, когда ты оплакивала меня возле рождественской елки. Ты моя дочь вдвойне: и в телесном смысле, ив духовном. Ты такая же, как я: мечтательная, экзальтированная идеалистка. Неизбежная катастрофа моего ухода. Как ты приникла ко мне в тот день, как целовала меня, как плакала. Ты, должно быть, предчувствовала, что это расставание на многие годы, великая скорбь, которая и теперь отягощает нашу жизнь».

Он подчеркивает гармонию, красоту, любовь. Я вне себя от радости от предстоящей встречи, встречи с тем, кого я называю своей половиной, близнецом моим. Я снова нашла моего отца, потерянного мною много лет назад, когда мать увезла нас в Испанию к нашим бабушке с дедушкой, родителям отца. Дед был старым генералом, а потом учителем, создателем первой в Испании не католической школы; еще он написал несколько памфлетов против боя быков. Бабушка был той женой, о которой мечтал мой отец: ангельского нрава, жертвенная, всегда грустная женщина, баловавшая моего отца, как только могла (ночами сидела она над шитьем, чтобы заплатить за прокат велосипеда для сына). Самоотречение, обожание, почтительность, бескорыстие.

Там, в типично испанском доме под черепицей, с окнами, выходящими во внутренний дворик, с низенькими дверями на легких шарнирах, так что ветерок свободно гулял по комнатам, постоянно освежая воздух, с защищавшими от солнца ставнями, с изображениями Святой Девы, с кружевными салфетками на спинках стульев, с фикусами по углам, мы и жили. Именно там мой отец надеялся, что сможет издали контролировать наше

возмужание, сразу же начав отправлять нашей матери письма с указаниями о том, как надобно нас воспитывать.

Но надолго мы там не задержались. Дед был тираном и скрягой, он вел подсчет garbanzons (крупные желтые фасолины, составлявшие нашу ежедневную пищу) и постоянно ворчал на нас в раздражении от нашей независимости.

Мы переехали в наш собственный дом, крохотный, но чистый и лишь недавно выстроенный. С балкона я могла любоваться морем и гулявшей по набережной публикой, слышать музыку, доносившуюся из кафе и ресторанчиков. Я начала писать — стихи, воспоминания. Ходила в монастырь, обучалась там каталонскому языку. Поучающие письма продолжали приходить. В Барселоне я не ощущала разлуку с отцом как окончательную. Он мог появиться в любую минуту, я видалась с его родственниками, с его сестрами и моими кузенами и кузинами. Это была его родина. Я училась его языку.

Я так и не знаю, просто ли матери надоела Испания или же она хотела вырвать нас из-под влияния отца. История гласит, что в гости к нам приехала моя тетушка и с обычным кубинским предубеждением против Испании раскритиковала все и вся. Она убедила мою мать, что той лучше перебраться в Америку, где она будет рядом со своими сестрами. Она говорила, что Америка — лучшая страна для одинокой женщины с тремя детьми, что она сможет там устроить нас в бесплатную школу. И вот мы отправились туда, разрубив корни, вросшие в землю, которую я полюбила, распростившись с родственниками, с друзьями, со школой, со счастливым солнечным городом у моря, с музыкой из кафе, не смолкающей всю ночь.

Дневник мой начинался, как дневник путешествия, сообщающий моему отцу все в подробностях. Я писала для него и намеревалась отправить дневник ему. Это были письма, по которым он мог следовать с нами по чужой стране и все о нас знать. И это был остров, на котором я спасалась посреди незнакомой и чуждой мне страны, где я могла писать на французском, думать свои думы и сохранять свою душу и самое себя. И вот я снова встречаю отца, став совсем другой. Он, оставивший такую печать на моем детстве, приходит к вполне зрелой женщине. Я воспринимаю отца как человеческое существо. Он снова мужчина, но он одновременно и ребенок.

Я представляла отца жестким, сильным героем, знаменитым музыкантом, возлюбленным многих женщин, триумфатором, а он был мягким, женственным, ранимым, полным недостатков. Страх мой и боль улетучились. Я встречала его снова, уже понимая, что слияние отца и дочери невозможно, оно возможно только у

мужчины и женщины.

Генри говорит, что это примирит меня с Богом. Мой отец пришел тогда, когда мне уже не нужен был отец.

Я иду к балаганам на Кони-Айленд. Почва проседает под моими ногами. Это все ирония: она делает почву зыбкой, и у меня кружится голова и разъезжаются ноги. Ирония любви, насмешка над никогда не совпадающими влечениями, трагедиями, которые не должны быть трагедиями, над страстями, не замечающими одна другую, словно они нацелены слепым человеком, слепой жестокостью и даже слепой любовью, над несочетаемостью, над обманчивым успехом. Любое завершение — не высшая точка, а продолжение иллюзии. Кажется, клубок распутан, но появились лишь новые узлы.

Отец появляется, когда я стала совсем другой. Он предлагает себя, когда он мне уже не нужен, когда я освободилась от него. В каждом случае исполнения желаний присутствует какая-то издевка, она бежит впереди, как бежит звук движущегося поезда. Отец мой появляется, когда рядом со мной великолепный писатель, когда у меня есть защитник, по которому я тосковала у Альенди, брат, символические дети, друзья, свой мир и написанные мною книги. И все-таки ребенок, который должен был бы давно умереть во мне, еще не умер, потому что, в полном согласии с легендами, я вновь обретаю отца. Старые легенды понимали, должно быть, что в отсутствие отца дети создают его прекрасный образ, обожествляют его, он становится предметом чуть ли не эротического обожания, превращается в понятие «Бог-Отец». А реальный отец воспринимается как существо человеческое, лишь как создатель именно этого ребенка, и когда его нет, дети остаются и без Бога, и без Отца. Но всю эту ужасающую путаницу во времени, в ответах на жаркие просьбы, в исполнении их нельзя разоблачать перед людьми, все это должно оставаться только в этой книге, предназначенной, чтобы спрятать те ночи, когда дитя умирает от чрезмерных своих ожиданий и всяческих околичностей, от всяких откладываний и неверно рассчитанных путей, которые могут привести к исполнению желаний.

Альенди однажды сказал: «Каждая написанная мной книга — компенсация за то, чего у меня не было, и я так бывал увлечен работой, что, когда заканчивал книгу, я не наслаждался победой. Не находил времени для этого. Никогда не получал от победы удовольствия».

С часовой цепочкой, пущенной по темно-серому жилету, со своей благородной сдержанностью, высокий, он выглядел очень впечатляюще среди своих книг; говорил медленно и веско, снова

вернувшись в свою атмосферу, в свое царство.

Меня задели его слова, я почувствовала, что они вполне применимы ко мне в канун отцовского возвращения. Моя жизнь была одной долгой попыткой сотворения, я стремилась сделать себя более интересной, развить свои способности, чтобы мой отец гордился мною; она была отчаянным карабканьем вверх, старанием избавиться от неотвязного чувства ненадежности и тревоги, созданного убеждением, что отец ушел, потому что был разочарован во мне, не любил меня, а любил женщину по имени Марука. Я всегда метила выше и выше, накапливала в себе, аккумулировала любовь других, чтобы вознаградить себя за ту, первоначальную потерю. Любовь за любовью, книги, творчество. Только бы сбросить с себя покровы вчерашней женщины и обрести новое видение.

В этой отчаянной борьбе я забыла наслаждаться всем тем, чем владею, а это удивительные сокровища. И вот я снова путешествую, с чувством, без устали. Пока есть еще неоткрытые страны, непрожитые жизни, непознанные мужчины. Что за безумие! Я хочу радоваться. И писать я буду теперь дневник моих радостей.

Письмо к Генри:

«Долгий разговор с Брэдли. Оказывается, в ранней молодости он написал книгу стихов, и этим-то объясняется его интерес к писателям и какое-то томление по литературе. Он любит помогать, направлять, критиковать и оказывать влияние на писателей. Мечтает играть роль, которую Х играл при Конраде. Поддерживал и подпирал Конрада. Вот так он и свою роль видит. Любит возиться с рукописями и реально принимать участие во всем; видно, что это ему доставляет огромное удовольствие. Это тип многих нехудожников, стремящихся стать участниками художественного процесса, если у них хватит скромности и силы, чтобы отречься от прочего и служить только искусству. Я обожаю Брэдли за это…

Он очень любопытен, расспрашивает о моей жизни. Представляет меня, как нечто сокрытое, как дорогое неведомое сокровище, открытое им. У него вытянулась физиономия, когда я сказала, что в моей жизни было полно событий. Вот этого он как раз не хотел. Никому не надо, чтобы я жила, стала известной. Как гитара, предназначенная лишь для домашнего музицирования. Только ты говоришь мне: «Выбирайся! Будь немного пожестче». Ты подталкиваешь меня. И ты прав. Окаянный мой дневник окончится в среду, когда в Лувесьенн приедет мой отец. Зато моя жизнь только начинается. Мне понравилась мысль об анонимности моего journal[84]. Вполне совпадает с моим давним

желанием оставаться нераскрытой. Чудесно снова стать инкогнито и быть таковой всегда».

Все это невероятно: интерес к моему раннему дневнику, предоставление его Альфреду Кнопфу (тому самому, который отверг мою книжку о Лоуренсе). Брэдли все время касается вопросов здоровья, из-за того, наверное, что натыкался в дневнике на упоминания о плохом моем самочувствии. Спрашивает, не устаю ли я от его визитов. Меня его восхваления даже пугают. Я нервничаю, хотя тронута его благожелательностью, благородством. Он взглянул на фотографию Джун и сказал, что она выглядит выдуманной, ненастоящей, фальшивой. Она деланная, претенциозная, а в сущности пустышка. «Отвратительная вещь нравственная косметика», — закончил он сентенцией.

В присутствии таких людей, как Брэдли, я сама начинаю чувствовать себя подделкой, и все мои дневники и книги тоже кажутся мне фальшивыми. Когда кто-то восхищается мною, я думаю, что дурачу всех. Начинаю складывать в уме все мои обманы, и меня бьет дрожь. Я должна сказать себе: «Либо я еще более искусная лгунья и актриса, чем Джун, либо я такова на самом деле». Слишком много людей, людей недоверчивых и проницательных, инстинктивно верят мне. Простодушные люди, ненавидящие искусственность, строгие, нравственные люди. Такие, как Брэдли.

И я вижу, что вопрос о моей искренности, если я буду терзаться им постоянно, может завести меня очень далеко, прямо в больницу для душевнобольных. Мое воображение безнадежно запутало меня. Я теряюсь. Особенно мучительно сознавать, что я, кажется, играю чувствами других. Джун упрекала Генри за то, что в их отношениях он взял себе роль «жертвы». Я часто спрашиваю себя, а не была ли Джун самой искренней из нас, раз ее так легко можно было уличить во лжи.

Май, 1933

Отец приехал.

Я ожидала увидеть его таким, как на фотографии, только с более открытым лицом. Менее изборожденным морщинами, менее маскообразным, но новое лицо мне понравилось: резкость черт, крепость подбородка, женственность и обаяние улыбки, тем более удивительные в контрасте с дубленой, как пергамент, кожей. Улыбка делает заметней ямку на щеке, собственно, это не ямка, а шрам, оставшийся от падения в детстве на острые прутья лестничных перил. Аккуратная, плотная фигура, изящество, энергичные жесты, легкость, моложавость. Какой-то неуловимый шарм. И величайший, не стыдящийся себя эготизм. Разговор он ведет так, словно обороняется от непроизнесенных обвинений, оправдывает всю свою жизнь: любовь к солнцу, к Южной Франции, к роскоши, зависимость от мнения других, боязнь критики, впечатлительность, постоянное актерство. Остроумие и четкость выражений, сила образов, крепкая и яркая испанская образность, перенесенная во французский язык.

Когда-то он приехал из Испании во Францию, занимался у Венсана д'Энди, стал самым молодым профессором «Схола Канторум», как раз к тому времени я и родилась. Детская, обезоруживающая улыбка. И постоянное излучение обаяния. Прежде всего обаять. Таящаяся детскость, отсутствие чувства реальности. Мужчина, избаловавший себя (или избалованный женщинами?), ищущий противоядие против жизненных невзгод в роскоши, в салонной жизни, в эстетизме, и все же страдающий боязнью всякого разрушительного начала. Вынужденный быть общительным, светским, расширять круг знакомств, жить неустанно в поисках чувственных радостей и не знать других путей добиться желаемого, кроме как притворством. И страсть к творчеству. Концерты, композиторство, книги, статьи. Исследования забытой и редкой музыки, поиски талантливых людей и представление их публике («Агилар-квартет» из Аргентины, к примеру)[85].

Неужели этот источник чувств высушен претенциозностью, притворством, актерничаньем? Станет ли мой двойник двойником дьявольским? Он воплотил в себе все опасности моей иллюзорной жизни, моих придумываний ситуаций, моих мошенничеств, моих ошибок. Но тогда он — карикатура на меня: ведь мои поступки мотивировались сильными чувствами, а у него цели суетные, земные. В его жизни главные роли принадлежали публике, концертной эстраде, критикам, светским и

титулованным друзьям, салонам, церемониям. А то, что было во мне человеческого и теплого (моя мать?), жило совсем другими ценностями, истинными ценностями. А у него — демонстрация напоказ, одежда, деньги. Другие люди его не интересовали. Это был чуть ли не цинизм.

— Ты теперь говоришь и пишешь на языке, которого я не знаю. И ничего не знаю о твоей жизни в Америке, что ты там делала. Твоя мать очень ловко увезла тебя подальше от меня, ей надо было сделать нас чужими друг другу. Она знает, что я не люблю Америку, даже боюсь ее. Что я не знаю английского. Le pays du «bluff»[86].

— Но вы же могли приехать повидаться с нами, могли приехать с концертами. Мне говорили многие, что вас приглашали.

— Да, это верно, я бы мог приехать, когда вы еще были детьми. Но меня пугала Америка. Слишком там все по-другому.

Я понимала, что он ищет сходства между нами.

— Ты любишь хорошо одеваться?

— Я люблю одеваться оригинально, по-своему, а не по моде.

— А садом заниматься любишь?

— Но не засучив рукава.

Мы оба рассмеялись.

Когда он начинает рассказывать о себе, я вижу, как старается он создать свой идеализированный образ. Ему хочется самому поверить, что он человек добрый, отзывчивый, благородный, альтруист. А ведь столько людей говорят о его эгоизме, о том, что он не посылает денег своей матери в Испанию, жалуется, что нет у него таких возможностей, а между тем курит сигареты с золотым обрезом, носит шелковые рубашки, обзавелся роскошным американским автомобилем и живет в фешенебельном районе Парижа в арендованном особняке.

Мы оба всматриваемся в зеркало, ищем подтверждения нашего кровного родства и тождественности.

Мы аккуратны, это заметная наша черта. Хотя часто нами движут непреодолимые порывы, но мы оба испытываем потребность в порядке вокруг нас, в нашем доме и в жизни, словно порядок в наших шкафах, бумагах, книгах, в наших фотографиях, в воспоминаниях и в одежде может предохранить от хаоса в наших чувствах, в нашей любви и в нашей работе.

Равнодушие к еде, воздержанность; но это, надо признать, попытка борьбы с нависающей над нами угрозой недолговечности.

«Воля, — произносит отец, выпрямляясь во весь рост. Воля к уравновешиванию, желание найти противовес внезапным

порывам чувств, полетам лирических фантазий. Да, он тоже страдает романтизмом, донкихотством, цинизмом, наивностью, жестокостью, шизофренией, расщепленностью своего «я», мучается от dedoublement[87] и не знает, как синтезировать все это в цельность и единство.

Мы сочувственно улыбаемся друг другу.

Типичный испанец, требующий от женщин слепого обожания, покорности, тепла, любви и ласки, он поражен, встретив в женщине дух, схожий с его собственным: авантюристический, мятежный, взрывчатый, чуждый условностям. Поражен, а на первых порах и обрадован, ибо всякий нарцисс мечтает о своей копии. Не о портрете Дориана Грея, а об отце, «таком же, как я», о дочери, «такой же, как я». О двойнике, отвечающем на вопросы.

Ты так чувствуешь или этак? Ах, ты тоже так? Вот и отлично, значит, мы не чужие. И нас уже двое. А те наши части, которые не совпадают с желаемым образом, мы отбрасываем. Но только я собираю эти фрагменты в своем дневнике и не забываю о них. А мой отец забывает.

Отец остается верным женщине, которая верит в него всем сердцем — чистой и искренней Маруке.

Но он сам не так уж невинен. Целый час потратил на объяснение, почему ему пришлось на четыре месяца отправиться на юг Франции. Но я же не просила у него никаких объяснений! А он называл и состояние своего здоровья, и промозглую парижскую зиму, и общее утомление. Да почему же человеку не отправиться на Юг, если ему захотелось? Нет, тут что-то скрывается. Вполне возможно, он поехал туда провести время с любовницей.

Когда он приближался ко мне, улыбаясь и что-то говоря, мне показалось, что это не мой отец, а некий моложавый мужчина бесконечного обаяния и шарма, запутанный, как лабиринт, и текучий, проскользающий меж пальцев, как вода.

— Мы всегда должны говорить друг другу правду. Что за необычная просьба, дорогой папочка!

— Мы оба люди с очень развитым чувством собственного достоинства.

Мы оба веселы и беспечны. Не выказываем нашего беспокойства, страхов, неуверенности.

— По дороге сюда я спрашивал себя, какая кровь в тебе взяла верх — испанская или французская? Но ты никогда не смотрелась такой истинной испанкой, как сегодня.

Почему он казался мне в детстве таким суровым? По отношению к детям, да и вообще ко всей домашней жизни он проявлял ужасающую придирчивость, все было не по нему. Все

его раздражало, всем он был недоволен. Ни малейшего признака нежности, никаких знаков внимания. Улыбчивым, сияющим, обаятельным отец был только для гостей. Вот сегодня я была его гостьей. Ничего от его обычного поведения, когда он старался выискать любую погрешность, любую слабость, любой недостаток и ткнуть туда носом.

Я всегда жила, не желая быть такой, каким был дома мой отец.

Годами я рисовала его портрет, чтобы не повторить его в себе. В чем-то мы были очень схожи, и тем сильнее я боялась этого повторения. Я не хотела быть им. Потому что я стремилась к более безыскусной жизни, к подлинным ценностям, не придавала значения внешним формам, бежала от светского общества, от богатства, от аристократов и снобов.

Мы оба любили музыку.

Мы оба любили море.

Мы оба боялись нищеты, но, боясь ее, я никогда не гналась за деньгами. Я стойко переносила нашу бедность. Я могла решаться на реальные жертвы. Никогда не занималась мелочными расчетами. Была способна на безграничное преклонение перед кем-либо или чем-либо. Я старательно вытравливала в себе всякие признаки пристрастия к роскоши и прочим прелестям. К легкомысленной пустоте. К шикарным гостиницам. К автомобилям. К светским салонам.

Отец мой был денди. В наши детские годы его одеколон или сверхмодная сорочка значили куда больше, чем наши игрушки или платья нашей матери.

Когда он ушел, я подумала, что только что видела ту Анаис, какой ни за что не хотела бы быть.

Антонен Арто. С горячностью говорим мы с ним о нашей приверженности к сжатому энергичному стилю, к тщательному просеиванию материала в поисках самого главного, о нашей любви к самой сути, о дистилляции ее капля за каплей в жизни, в литературе. И не заранее обдуманные усилия, а просто вера в наш способ мышления и чувствования и следование ему. Это не сознательная попытка конденсации, а естественное стремление к сгустку. Всякий раз, когда мы выделяем суть, мы приближаемся к истинному нормальному движению нашего разума. Ни с кем другим не проступал для меня так ясно смысл поэзии: это абстракция, в которой взаимодействуют иносказательные аллегорические узоры.

Спорим о психоанализе. Арто обидно, что он используется так прагматически. Психоанализ, по его словам, служит только сексуальному освобождению человека, тогда как его надо

использовать в качестве метафизической дисциплины, способствующей достижению цельности, и т. д.

Арто говорит:

— Я никогда не нуждался в этом, потому что никогда не терял равновесия. Я могу сохранять ясное и объективное представление о своем бытии и описать его. Мы родились под одним знаком, но вы существо труднее уловимое. Я не верю в вашу доброту в прямом смысле этого слова; я думаю, что вы сотворяете добро из сладострастной радости творчества.

Речь его льется плавно, легко. В нем уже меньше жесткой, напряженной горечи, подозрительности, мании преследования. Но как глубока его неуверенность в себе! Он всегда думает, что никому не нужен, что он отрывает меня от важной работы, когда звонит мне. И очень растроган моим интересом к нему.

Сижу в ожидании отца, полностью сознавая уже всю его поверхностность. Звякает колокольчик, и мне сразу же вспоминаются коровы на пастбищах Швейцарии. Эмилия открывает большие железные ворота. Американский автомобиль, давняя мечта моего отца, вкатывается во двор. Лицо отца скрыто большим букетом цветов, и с ним еще ящик, в котором оказывается ваза от Лалика[88].

Отец сегодня настроен на искренность, он больше не играет роль.

Он все старается обнаружить наше сходство. Мы порождаем гармонию, ощущение безопасности, создаем уют, домашний очаг, но в то же время мы можем, как дикие мустанги, рвануться с места ради какой-нибудь авантюры. Неугомонные, полные энергии, опасающиеся больно задеть других, поломать чужие судьбы, но жадные до жизни, ищущие обновления, развития. Мы пасуем перед великодушием и преданностью других людей. Нас считают деспотами, но мы с отцом знаем, как легко можно нас завоевать нежностью, добротой. Обновление, говорит мой отец, может прийти от кого угодно, даже вообще ниоткуда.

Есть такая салонная игра в вопросы и ответы: «Ваш любимый цветок? Ваша любимая музыкальная пьеса?» Отец расхаживает взад и вперед по красному кафельному полу и засыпает меня вопросами: как насчет религии? а как с политикой? а что ты думаешь о морали? И радуется, потому что я отвечаю именно так, как ему хотелось бы. Словно именно он воспитывал меня. Говорит: «Нам нет нужды лгать друг другу». Все та же песня. Мы не будем лгать друг другу, но, конечно, при первом же сигнале опасности, попадании в уязвимое место, признаках ревности, отдаления мы начнем лгать, чтобы наши отношения казались превосходными, развивались бы без сучка без задоринки.

— Ты стала красавицей, — говорит он. — Замечательно, эти черные волосы, зеленые глаза и алые губы. И видно, что ты настрадалась: лицо такое спокойное, безмятежное. Такое спокойствие и красота даются только страданиями.

Я стою возле каминной полки. Он смотрит на мои руки.

— У тебя такие же руки, длинные и тонкие пальцы, как у твоей бабушки. Это фамильная черта. Когда твоему предку, придворному художнику, писавшему портреты королей и королев, аристократов, знаменитых людей, требовалась модель с красивыми руками, он писал руки твоей прабабки.

Я внезапно отдернула руки и задела стеклянный шар с хрустальными рыбами и камнями, он разбился, вода потекла на пол. Отец продолжал:

— В июне ты должна поехать со мной на Ривьеру. Тебя примут за мою любовницу. Это будет прелестно. Я буду говорить, что ты моя дочь, а мне никто не будет верить.

Я его поддразниваю, называю «старым дубом», смеясь над одним его вконец сентиментальным письмом, где он сравнивал меня с солнцем, «озаряющим ветви старого дуба». Говорю ему, что просто неприлично иметь так молодо выглядящего отца. Ему пятьдесят с лишним, но ему нельзя дать больше сорока. У него роскошные волосы (правда, крашеные), подтянутая фигура, очень живая жестикуляция. Он кажется временами мягким, умным, здравомыслящим человеком.

Его идеал, как у Леонардо да Винчи, — «человек разносторонний». Он разбирается в медицине, в архитектуре, в декоративном искусстве; он сочиняет музыку, концертирует, пишет книги по искусству; он идет впереди своего времени — начал принимать солнечные ванны еще в ту пору, когда люди на пляжах ходили одетыми, заставлял нас носить сандалии, чтобы дышали ноги, он придумал машину для записи музыки чуть ли не раньше, чем ее изобрели в Америке. Живой, пытливый, исследовательский ум. Подобно Оскару Уайльду, он вложил свой гений не только в свое творчество, но и в свою жизнь. Он сотворил свою личность. А еще в нем были качества спартанца: он уклонялся от выпивок, помногу не ел, чтобы сохранить стройную фигуру. Жизнь его была строго дисциплинированной. Все было пронизано стремлением к совершенству. Даже его выдумки были направлены на то, чтобы приукрасить, усовершенствовать реальность. И это не было ни пороком, ни декадентскими штучками; это была огромная светоносная сила, мудрость и умение радоваться. Единственную поблажку он позволял себе в делах амурных.

Странно, что, живя под бдительным надзором матери, натуры

совершенно противоположного склада, я выработала в себе ту же дисциплинированность, тот же спартанский дух, житейскую мудрость и тягу к гармонии. Что в своей жизни я развивалась сама по себе, была сама своим наставником, опекуном, бралась за трудные вещи, критически оценивала свое поведение; с самого детства я словно бы взяла на себя роль отсутствующего отца, стараясь, как и он, достигать совершенства. Сама себе назначала задачи, сама ставила цели.

Безмерно горжусь отцом. Правда, он любил нас не по-людски, ради нас самих, человеческих существ, в которых отразился он, которые призваны повторить его, продлить его путь. Он любил нас как свое порождение, свое создание, свое творчество. Каково было этому себялюбивому человеку видеть, как стараниями заменившей его нашей матери его дети все более удаляются от него, говорят на чужом языке, становятся американцами. И как радовался он тому, что вопреки всему этому его кровь, его пристрастия победили. Торвальд унаследовал от отца интерес к научным исследованиям, Хоакин — его призвание музыканта, а я — писательские способности.

Он рассказывает о наших недомоганиях с такой гордостью, словно это фамильные ценности, наследственные бриллианты или поместья. Повод для гордости он находит даже в наших унижениях. Моя гордыня умеряется моей женственностью. Для выражения этого чувства я выбрала путь смирения, скромности. Но чем скромнее форма, тем достойней содержание. Я страдала от бедности, и глубину нанесенных ран можно было объяснить только великой гордостью. Не будь я такой гордой, я не была бы так смертельно оскорблена.

Я горжусь своим отцом. Мне понятен его художественный эгоцентризм и поиски защищенности. Так женщина, вынашивающая ребенка, ищет мужской поддержки. Беременная женщина беспомощна. И так же беспомощен художник в процессе творчества. Он тоже ищет гнездо. И я вижу и понимаю в нем, так же, как вижу и понимаю в Генри, эту нужду в независимости, в стимуляторах, в любовных интрижках.

Внешний блеск в нас имеется. Важность, серьезность, напряжение, страсть, радость. Но мы обескуражены нашими ошибками, мучаемся и поражаемся нашим слабостям. Намерения благородны. А упущения замаскируем ложью.

Бывает, я провожу часы за ручной работенкой, замазываю шпаклевкой отверстия от гвоздей, расписываю бельевую корзину или подносы, стираю со стен пятна и все такое прочее. А потом устыдившись, я придумываю более важные занятия: перевожу для Альенди или сажусь за свою поэму в прозе. А отец мой все больше

и больше набирает певиц, с которыми занимается, дает все больше уроков и концертов. Он тоже стесняется часов, проведенных за подбором газетных вырезок о новейших открытиях гормонов, о средствах против отсыревших стен, о спиритических сеансах.

Генри никогда не стыдится того, чем занимается. Он принимает все: ветхое, ничтожное, прекрасное, уродливое, даже пустое. Генри — существо всеохватное. И лишен критического подхода. Хотела бы я знать, не оттого ли он привел меня в восхищение, что мне требовалось отдохнуть от опостылевшего перфекционизма[89].

Я просто уронила хрустальный шар, и вода хлынула на пол. Но не разбила ли я тем самым искусственное устройство, в которое была заключена жизнь, и дала жизни возможность вырваться наружу и течь так, как ей надо? Без всякого контроля. На природе, а не среди хрустальных стенок.

Отец ценит хрусталь, но обратился ко мне с такими словами: «А мы ведь оба с удовольствием смотрели на это. Мы любим хрусталь за его прозрачность, светоносность и в то же время весомость. Ощути, как тяжела эта лаликовская ваза».

А позже он сказал:

— Знаешь, я не мучился тем, что старею, я знал, что я совсем не старик. Но меня пугало то, что ты увидишь меня слишком поздно, когда поубавится во мне сил, когда я уж не смогу так весело смеяться и заставлять смеяться и тебя.

Какой большой вкус к жизни! И я почувствовала прилив восхищения моим двойником. И пожалела, что столько лет я не знала его и ничему у него не училась.

Генри часто жалуется: «Устал я от этих сражений. Я должен избавиться от ожесточения. Мне нужен мир». Он уверен, что Лоуренс мог сделать гораздо больше, если бы жил с Фридой в мире и спокойствии. Оставь меня в покое! — это и лоуренсовский вопль, и точно так же поднимал мой отец голос против моей матери. Как далеки мы сегодня, я и мать! Нас связывают лишь одинаковые материнские инстинкты. Генри понимает меня, когда говорю: «Я знаю, что такое материнство. Испытала на опыте, что значит вынашивать ребенка. И мое материнство выше биологического — чувствовать, как в тебе растет художник, растет жизнь, растет надежда, растет творчество». Это еще Лоуренс сказал: «Откажись от вынашивания детей и расти в себе надежду, любовь и преклонение перед всем, что уже родилось».

Просыпаюсь сегодня утром и читаю только что пришедшее отцовское письмо:

«Анаис, cherie, ma plus grande amie![90] Я обязан тебе самым

прекрасным, самым проникновенным, самым полным днем в своей жизни. Я уезжал от тебя растроганным до глубины души. Вчера я словно бы приподнял пелену, сгущавшуюся все эти годы. И снова твое великолепие раскрылось передо мной. Я вижу его, чувствую его, понимаю все это: таившееся и могучее, трепетное твое обаяние. Благодарю тебя, Анаис. Мы подписали договор о самой прочной дружбе. Посылаю тебе мои мысли, чувства и весь жар моей души». Я была счастлива.

А потом он позвонил: «Я должен повидать тебя сегодня, хотя бы на часок».

И вот отец появился, весь сияющий, и мы чудесным образом сразу поняли друг друга. Он возлагает надежды на полярность: самый мужественный мужчина и самая женственная женщина. Он так же, как и я, ненавидит насилие. У добра и зла огромные возможности, но нельзя забывать о строжайшем надзоре. Формировать наши жизни мы должны так, чтобы были исключены катаклизмы. Мы ищем порядок и стремимся подчинить его течению жизни, но в любое время мы должны уметь притормозить, так же, как должны не забывать о тормозах во время езды на автомобиле. При нашем темпераменте это необходимо. «Даже комната, обставленная соответствующим образом, мешает иным вещам там находиться», — говорит мой отец.

Он говорит, и я вижу его усилия все уравновесить, ведь у нас обоих уравновешенность в природе. Но разве возможно, чтобы я стала дурной копией моего отца вместо его противоположности? Который из нас собирается выйти из-под контроля другого? Если мой отец нацелился на попытку помешать мне вырваться на свободу, ему тоже несладко придется, я его очень огорчу. Он не сможет терпимо относиться к извращениям, к однополой любви. И догадывается, что, даже когда я кажусь наиболее покладистой, я все-таки остаюсь разборчивой, сохраняю право выбора. Приятель сообщил ему, что я в опасности из-за психоанализа, который может убрать все тормоза. Отец понимает, что моя готовность исследовать все на свете, ничем не брезгуя, — признак моей силы. Тот, кто бессилен, довольствуется предубеждениями. Предубеждения — это охранная грамота. Мы с этим согласны.

Мы оба тщательно обдумываем все это и получаем удовольствие, открывая для себя другого. Он сидит, любуясь устройством книжных полок, и советует мне смазать маслом ворота (а мне нравится долгая флейтовая мелодия ржавых петель). У него страсть к усовершенствованию, что пугало меня еще в детстве. Я чувствую, что никогда не смогу жить по таким принципам.

Его привлекает моя сила. А я понимаю, что могу на него опереться. Я меньше, чем он, сконцентрирована на чистоте, а его мания доходит до того, что он постоянно чистит столовое серебро и каждые десять минут моет руки. Я более неприхотливый человек, я невротик и я немного безалаберна. Но чувства легко делают нас обоих своими рабами. То, что мы вообще выкарабкались из этого положения, — чудо. Некоторые ляпсусы в рассуждениях мне представляются божественной мудростью… Я только стараюсь достичь того, что он уже достиг давно. Отец любит вести за собой, играть роль наставника, выступать судьей в ссорах: он любит формировать жизни. А еще он ревнует к моему дневнику. Говорит: «Вот мой единственный соперник». (Они все прикончили бы мой дневник, если бы могли.)

Отец в отчаянии от того, что я окончательно перешла на английский, на котором он не может читать. Говорит, что, перейдя на английский, я совершила насилие над своей природой, над испанской страстностью и французским остроумием. Но я могу, возражаю я, придать английскому все эти свойства, могу спаять их так, как мне нужно, расширить язык, выйти за его пределы. И я люблю английский: он богатый, синонимичный, тонкий, текучий, воздушный и совершенно достаточен для выражения любых моих чувств и мыслей.

Я отправила Арто маленькое вспомоществование. И, самое главное, написала письмо, которое его успокоит, может быть, он перестанет ощущать весь мир, как враждебный себе.

Мне припомнился разговор с Альенди:

— Не играйте с Арто. Он слишком, бедняга, жалок.

— Но я интересуюсь только его талантом.

— Тогда не кокетничайте с ним, будьте ему только другом.

— В отношениях литературных я почти мужчина.

— Но силуэт ваш совершенно не мужской.

Долгая прогулка с Хоакином вокруг озерца, ходим и говорим, говорим, говорим об отце. Я умоляю Хоакина не судить отца, пока он его как следует не узнает. Я говорю:

— Раз ты осуждаешь отца, ты осуждаешь и меня, мы с ним очень похожи.

Хоакин горячо возражает, говорит, что если сходство есть, то только в мелочах, а не в главном:

— Отец живет в нечеловеческом мире, — и Хоакин принялся превозносить «человечность» нашей матери.

— Инстинкт собственницы и страсть к принуждению, — сказала я, — у нее в самом деле человеческие. И примитивные.

— Это лучше, чем отцовская изощренность. Защита Хоакином нашей матери всегда проходит под девизом: «Она любила своих

детей».

— Как самка своих детенышей. Биологически — да, любила. Но в конце концов она была эгоисткой не меньше, чем отец. Она кормила нас, одевала, работала на нас, но никогда не позволяла нам жить самим по себе. Отец с его гордыней, нарциссизмом любил нас как результат своего творчества. Но я предпочту его интеллектуальную любовь к идеям, к детям как к собственным творениям собственническому инстинкту матери. Она любила нас, совершенно не стремясь понять, а что же в этом хорошего?

— А я ее понимаю и жалею, — ответил Хоакин.

— Почему бы тебе не пожалеть и отца?

— Потому что он не человек и его жизнь я не одобряю. А он хочет моего одобрения. Ему всегда надо было быть победителем. Все это эгоизм и тщеславие. — И он добавил: — Он никогда ничем не жертвовал. А мама жертвовала. Она его любила.

— Любить — это значит прощать, понимать, желать другому счастья. А у матери нашей была не такая любовь. Просто слепая привязанность к своей собственности…

Я заплакала. Во время этой прогулки мной вновь овладел страх быть похожей на своего отца (а мать упрекала меня за это постоянно, чуть я сделаю что-нибудь по-своему). И осуждения Хоакина я боялась. Я попросила его не бросать меня, умоляла отнестись к моей жизни с пониманием. Неужели он перестал верить в меня?

— Нет, — сказал Хоакин.

— Тогда повернись ко мне. Если ты от меня отвернешься, как это сделала мама, мне останутся только объятия отца.

— Нет, нет, не бойся. Ведь у нас уговор. Таких чувств, как к тебе, я никогда к отцу не испытывал. Я — мост между отцовским чуждым миром и человеческим, и я никогда не отпущу тебя в тот, чуждый мир.

Он взял меня за руку, крепко сжал ее в своей. Прогулка наша приближалась к концу, он успокаивался и сказал шутливо:

— Отец уже испытал много радостей от того, что ты вернулась к нему, от твоей преданности. Я человек экономный. Я приберегаю эти чувства на будущее.

— Отец всегда ждет худшего, — отозвалась я. — Когда он почувствовал, что я верю ему, он отбросил всяческие позы и весь вечер разговаривал со мной совершенно искренне, ни единой фальшивой нотки.

А что же он думает о Хоакине, этом аскете, который не отвлекается ни на что, для которого существуют только его музыка и его религия?

— Отец всегда старается оправдать свой разрыв с мамой. Его

совесть мучает.

— Но, может быть, это просто сверхщепетильность. Если в нем нет ничего человеческого, как ты говоришь, он бы не стал оправдываться ни перед кем.

Помня о первородном грехе, о древнем бремени вины, лежащем на всех нас, я спрашиваю себя, давно ли родилось в моем отце сознание вины. И в каком преступлении он готов раскаяться?

…Радостное пробуждение к новой жизни. Солнце. Отличная погода. Эйфория. Ванна. Игра воды. Пудра. Духи. Атласный халат. Кто там? Откройте двери. А за дверями сплошной праздник, наполненный запахом сирени и жимолости.

Я замираю на месте, переполненная радостью. Итак, отец любит меня, и я его люблю. Я ему нужна. Мне есть что подарить моему отцу. И чувство, с которым я прожила долгую жизнь, чувство, что отец не любит меня и в этом я сама виновата, исчезло в один день. Он говорил в лицо каждому: «Никто, никто не давал мне того, что дает Анаис». С сильным ударением на каждом слове. И все понимали, что человек стал настоящим. С настоящими чувствами. Бедный мой отец. В один момент я поняла так много, что это ошеломило меня. Я говорила о вере, о вере, творящей чудеса…

Письмо от отца:

«Мечтаю о своем полете на юг и о том, чтобы взять тебя с собой на несколько дней. После такой долгой разлуки мы заслужили это. Мы должны быть вместе какое-то время, чтобы лучше, глубже узнать друг друга. Благословляю тебя, Анаис».

Как часто уходила я по своим следам назад, к начальной точке. А где она? Начальная точка памяти или начальная точка боли?

Память. Франция, дом в Сен-Клу. Сад. Я люблю выбегать за его ограду на улицу и приглашать каждого встречного к нам в гости на чашку чая. Я останавливаю экипажи, я видела, как это делала моя мама. Это розовая, пухленькая, праздничная Анаис еще до того, как подхватила на Кубе тифоидную горячку. Но трагедия уже возникает. Нелады между родителями.

Папа весел и приветлив только для гостей. Когда нет гостей, в доме постоянно бушует война. Целые сражения. Они гремят за обеденным столом. Над нашими головами, когда мы засыпаем в своих постелях. В соседней комнате, когда мы играем в свои игры. Я все время слышу звуки войны. Но я не понимаю, зачем она.

В наглухо запертой студии таинственная музыкальная

деятельность. Много музыки, квартеты, квинтеты, поющие голоса. Отец репетирует с Пабло Казальсом[91]. Скрипачами были Манен и Изаи[92]. Казальс был старше отца и ничего не имел против, чтобы оставаться со мной, когда родители уходили на концерт. Я часто засыпала под звуки камерной музыки.

Гости. Разговоры. Громкий смех. Мой отец, всегда подвижный, живой, напряженный, неистово хохочущий или неистово гневающийся. Когда открывалась дверь и появлялся отец, от него, казалось, шло излучение. Это была вспышка. Боевой марш, даже если он всего-навсего шел из комнаты в комнату. Молнии Зевса. Таинство. И мы все трое чувствуем, что и мы включены в его гнев. Но мы отодвинуты в тень бушующей схваткой. Никакого спокойствия, нет времени на ласку. Постоянное напряжение. Жизнь, издерганная и изорванная раздором. Даже за играми я это слышу, я это чувствую. И мне больно от всего этого: тревоги, таинственности, сцен. Покоя нет. И нет настоящей радости из-за сознания подступающего. Однажды, когда ссора дошла до невероятной ярости, я перепуталась. Огромный, иррациональный страх. Страх катастрофы. Страх, что они сейчас убьют друг друга. Багровое лицо матери и смертельно бледное лицо отца. Ненависть. И я закричала, я закричала. Мой крик напугал их, и они замолчали. Наступило спокойствие. Или спокойствием прикинулась подспудная злоба, подозрительность. Соседка писала мне письма, в которых рассказывала волшебные сказки, и передавала их мне через ограду нашего маленького сада; показалось, что эти письма пишутся ради моего отца, чтобы очаровать его. Подозрения. Ревность.

Я краду книги из отцовской библиотеки и читаю их, ничего в них не понимая. Я знаю чуть ли не наизусть Баха и Бетховена. Я ложусь спать под звуки Шопена.

Вот шторм в Нью-Йоркской бухте. Пассажиры-испанцы в ужасе. Встав на колени, они молятся на палубе, а молнии бьют в нос парохода. Мы прибываем в Нью-Йорк с чемоданами, плетенками, птичьими клетками, скрипкой в футляре, но без денег. Тетушки, дядюшки, кузины и кузены на причале. Негры-носильщики с нашими пожитками продираются сквозь толпу. Я упрямо держу в руках футляр со скрипкой — пусть люди видят, что я артистка.

Странная страна Америка, там люди не идут вверх и вниз по лестнице, а стоят спокойно, а вместо них вверх и вниз движутся лестницы. Но все происходит в ускоренном темпе. В подземке тысячи жующих ртов; Торвальд спрашивает: «Это жвачные животные?» И торчат огромные высоченные дома.

Я веду записи для моего отца. Тут едят овсянку и бекон на завтрак. Тут есть удивительные магазины, которые зовутся «Пять центов» или «Десять центов», и книги в библиотеках здесь выдают бесплатно. В ожидании лифта мужчины потирают руки и плюют в ладони. А лифты летят так стремительно, словно сорвались и падают вниз. И никто не одевается так, как одевался мой отец. Он носил пиджаки с бархатными воротниками или черный бобровый мех. Отутюженная одежда и запах одеколона «Герлен».

Нет, не нравится мне новая жизнь. Плохой климат и школа, где учат на непонятном мне языке.

Бывает, до нас доносится эхо прежней жизни. Когда какой-нибудь знакомый нам музыкант приезжает в Нью-Йорк с концертами, мы празднуем встречу со знаменитостью. Нас приглашают в ложу или в артистическую комнату за кулисами после концерта и там — разговоры, смех, блеск полный. Отзвуки другой жизни. В Нью-Йорке мать героически сражалась с трудностями. Ее не обучили ничему, кроме классического пения. Но очень скоро от карьеры концертной певицы пришлось отказаться. Бедность и все, что с ней связано. Куча работы. Домашнее хозяйство. Дети. Я взяла заботу о братьях, когда мать пошла на работу. Кухня. Каждый день простые и неинтересные гости. Друзья матери были гораздо менее интересны, чем друзья отца. Но я сотворяю другой мир из прочитанного, из моего дневника. Я сочиняю сказки, чтобы развлечь братьев. Я читаю им из ежемесячных журналов истории с продолжением, вместе с ними разгадываю головоломки и ребусы, рассматриваю забавные рисунки.

Мать никогда не нападает на отца впрямую, но при каждой нашей вспышке темперамента, каждом вранье, каждой театрализованной нашей выходке, каждом своенравном поступке она восклицает: «Вы совсем как ваш отец!» Взрывной темперамент Хоакина, скрытность Торвальда, моя страсть фантазировать.

Но я начинаю сознавать, какой тяжелый груз тащит она на своих плечах. Я начинаю помогать ей. Я становлюсь второй матерью для своих братьев.

Мать опирается на меня. И делит со мной свои тревоги.

Фигура отца расплывается, черты лица бледнеют, голос звучит все слабее. Его образ уходит куда-то в глубины моего существа. Тоска по нему иссякает. Мы переписываемся. Он присылает мне книги, пробует в письмах учить меня французскому. Но я не очень усердная ученица. Как-то я исписала целых три страницы без единого «аксана»[93], а потом в конце письма вывалила их целую сотню и приписала: «Это для вас, чтобы вы расставили их правильно».

Но хотя он, казалось бы, безнадежно потонул на дне моей памяти, какое-то волшебство не давало его образу изгладиться окончательно. В моем подсознании отец направлял мои действия. Сознательно же я превратилась в то, что хотела моя мать, в прилежную, всегда готовую помочь, преданную домоуправительницу, в мать семейства, отмеченную всеми буржуазными добродетелями: умеренностью, чистоплотностью, простотой. В общем, жизнь наша протекала «как у людей» — ежедневная борьба за существование, добросердечные, трудолюбивые друзья. Я превратилась в примерную любящую дочку. Но притом я жадно читала и ставила пьесы (сплошная импровизация, новые и новые изменения, чем ставила в тупик моих братьев). Я не писала текст заранее; все должно быть внезапным, но однажды, уже в костюмах, они остановились в недоумении: «Что нам дальше говорить надо?»

В школе я завела подруг: одна была ирландская девочка и вторая — девочка-еврейка. Мы проводили вместе целые дни, катаясь на роликах в Центральном парке. Кроме того, мы писали для школьного журнала. Я ходила в танцевальную школу и влюблялась.

С помощью своих сестер матери удалось купить дом, чтобы сдавать там комнаты. В доме поселились разные артисты, семья Мадригера и прочая[94]. Я влюбилась в скрипача-каталонца. Мать говорила: «Берегись артистов, берегись каталонцев». Мне было уже шестнадцать, а она обходилась со мной, как с ребенком. Я была застенчивой и наивной.

На книги я буквально набрасывалась, читала запоем все из библиотечного каталога по алфавиту, мне было все равно, так я восставала против грубости и буйства средней школы № 9.

Отец приглашал меня приехать в Париж и пожить у него с Марукой. Ответное письмо я послушно написала под диктовку матери. Содержание его сводилось к тому, что раз уж он не любил меня настолько, чтобы беспокоиться постоянно об условиях моей жизни, о том, как я питаюсь, учусь, во что одеваюсь, то теперь, когда мои трудности подошли к концу, я не могу бросить мать и переехать к нему. А мать твердила мне, что отец не любит меня по-настоящему, что для него это опять же вопрос гордыни — похвастаться своей хорошенькой дочкой.

Приняла приглашение пообедать сегодня у Бернара Стиля в загородном доме. Мы с Арто приехали поездом, Стиль встречал нас на станции. Я привезла показать ему «Тропик Рака». Он с самого начала рассчитывал на то, что я останусь у них до утра, так и приглашал. Но обстановка и обеда и всего вечера

показалась мне невероятно фальшивой, деланной, даже циничной; я переглянулась с Арто и увидела, что он мучается всем этим не меньше меня. Пришлось сказать, что мне необходимо вернуться в город, и мы с Арто отправились на станцию.

Сидя в холодном, резком свете вагонных ламп на грубой деревянной скамье, Арто погрузился в глубокое раздумье. Я сказала, что не могла выдержать язвительных шуточек, пустого зубоскальства и всей искусственной атмосферы нашего вечера. Арто кивнул головой — он чувствовал то же самое.

— Но я заметил, как был разочарован Стиль, когда вы сказали, что не можете остаться.

Он заметил! А мне-то весь вечер казалось, что он где-то далеко, за тысячи миль от нас.

— И я слышал, как вы пообещали ему потанцевать для него.

— Это вполне естественно, он же играет на гитаре.

С чего бы это Арто указывать мне, что слова мои расходятся с делом? Или он сомневается, что мне хотелось убежать от этой поддельной веселости за столом у Стиля?

Он сидит нахмуренный, словно действительно подозревает меня.

Назавтра он написал мне: «Весь прошлый вечер меня чрезвычайно занимали, вернее, я был одержим некоторыми мыслями, появляющимися у меня только в минуты опустошенности. Я даже не поблагодарил вас и не сказал вам еще раз, как дорого мне ваше душевное расположение. Вы однажды сказали, что у вас не вызывает раздражения раскрытие интимных сторон жизни человека, но есть вещи, даже более трудные для признания в таком состоянии души, как у меня, которые, однако, более чем достаточно объясняют мое вчерашнее отсутствие в разговоре, граничившее с невежливостью».

За этой короткой, специально доставленной запиской последовало письмо:

«Несколько страниц «Гелиогабала», написанные мною этой ночью, которые я надеюсь прочитать вам в четверг, объяснят вам и, возможно, оправдают позицию, которую я занял в последний наш вечер и которая могла вас встревожить. Вы, конечно же, должны понимать подобную одержимость рассудка, но вы никогда не жили — надеюсь, что никогда и не испытаете — в таких состояниях умственного удушья, озлобленности и опустошенности, внешне проявляющихся в постоянном разыгрывании мною ролей. Внутренняя работа и муки моего духа — вот причина лжи на нескольких уровнях, самый откровенный из которых — поставить себя в некую позицию, позицию явной

холодности, статичности, официальщины: улыбка на лице соответствует тайной гримасе, в высшей степени тайной. Понимаю, что мне не надо больше говорить, не надо задерживаться на этом. Вода очень близка огню. Но я представляю, что позиция, подобная моей, не может внушать доверия, но тем не менее это реальная позиция. Нет нужды объяснять вам, что я не таков, каким я кажусь, что я не испытываю тех чувств, какие изображаю, что моя неподвижность вовсе не то состояние, в каком я предпочел бы находиться, и все же я решительно не способен изменить свое внешнее поведение. Я уверен, что Вы понимаете меня, но я хочу объяснить Вам еще более ясно при личной встрече детали, которых не передать в Письме, я считаю, что написанные слова не в состоянии адекватно отразить подобные состояния. Внешне выражая себя таким образом, я поступаю наперекор себе, против моих желаний, и все-таки по временам я остаюсь доволен таким моим внешним выражением: организм мой не может и мечтать о других возможностях, не может вести себя иначе. Лучшее во мне убывает до точки несуществования. Простите мне это бессвязное и взбалмошное послание; какое-то ощущение вины и стыд заставили меня написать Вам письмо как можно скорее…»

Этакая щепетильность. Очень многие из нас виноваты в том, что не бывают сами собой, но почти никто не берет на себя смелость в этом признаваться. Он не мог быть самим собой в неестественной атмосфере дома Стилей. Я видела, как он был раздражен и унижен своей неспособностью попасть в тон разговоров. Но я не смогла в поезде заставить его понять, что я чувствовала все это, что играть фальшивую роль — значит принять необходимые меры для защиты своего истинного «я» во враждебной обстановке. Такая маскировка — совершенно естественный прием, особенно если внутренне ты весь истерзан работой, созиданием.

Так я ему и написала. И добавила: «Невозможно демонстрировать свою подлинную сущность повсюду и в любое время. Это Стили оказались в полном диссонансе с Вами. Я пробовала сказать Вам в поезде, когда мне показалась невозможной беседа за тем обедом, что мы оба с Вами были dépaysé[95]. Вы можете играть тысячи ролей, но я никогда не обманусь в том, что такое настоящий Арто. Играть роль — это не преступление. Я ясно представляю себе глубинную суть. И раз уж я ее узнала однажды, поняла ее, поверила в нее, неважно, что произносит маска. Фальшивые разговоры, фальшивый тон того вечера всего лишь детали, не имеющие никакого значения. Вы чувствовали себя оскорбленным банальностью и вульгарностью. Я

понимаю это. Когда душа поистине богата, обычная, ординарная жизнь становится пыткой. Я догадывалась, какой болезнью болели Вы в тот вечер. Вот почему, чтобы показать Вам, что я на Вашей стороне, я ушла вместе с Вами, обидев тем самым Стиля».

Мне безмерно жаль Арто, ведь он постоянно мучается. Вот я и хочу излечить его от мрака и горечи. Физически он меня не трогает ничуть, но я люблю его огонь, его гений.

Июнь, 1933

Всепонимающий Брэдли наносит мне визит. Его радует роль советчика, руководителя, и он советует мне перейти к прямому, непосредственному повествованию, писать прозу. Хочет выманить меня из моих тайных пещер. Он очень интересно рассуждает об искусстве, музыке, литературе, о писателях. У него острый взгляд и тонкое чутье.

Он считает, что писателю литература только во вред, что Генри напортил себе, читая слишком много. Говорит, что тема моей любви к отцу — такой же навязчивый невроз, как у Генри с Джун. Ее необходимо преодолеть, излившись на бумаге, выписаться. Но как часто в разговоре с людьми я чувствую, что все, о чем меня просят, я выполняю именно здесь, в своем дневнике; именно здесь я такая, как они хотят: подлинная, страстная, взрывная.

Брэдли нападает на поэтичность «Дома инцеста». Стилизация. Говорит, что я попала под влияние американского идеализма, с чем я никак не могу согласиться, на самом деле — я под воздействием пуританства, идеализма, пришедших от моей матери; это влияние Дании, влияние севера. Брэдли говорит: «Ваш отец остается самой большой любовью в вашей жизни — это безжалостно по отношению к другим людям. Заявляю от имени моего пола».

Брэдли ироничный, деятельный и очень упрямый человек. Все подталкивает меня быть более эгоистичной. Мое человеколюбие, говорит, это моя слабость. Уговаривает жить для себя, писать для себя, работать только для себя.

— Но я чувствую себя живой только тогда, когда живу для других, живу ими. И тем не менее, не послушав вашего совета, я все равно стану большим писателем. И если пока что еще не стала, меня это не беспокоит. Но я стану и матерью, и музой, и слугой, и вдохновительницей для большого писателя. Верно, что женщина превыше всего должна любить людей. А я прежде всего женщина. И вся моя работа заключена в моем дневнике, я писала и пишу его для отца, которого я потеряла, которого любила и которого хотела удержать. По существу, я живу сердцем, а не умом. И я не понимаю абстрактного искусства. Только то, что рождено любовью, страстями, болью.

Отец пишет мне:

«Ma GRANDE CHERIE!

Твое письмо показало мне еще один лик твоего многоликого существа. Лик, исполненный доброты и великодушия,

раскрывающий твою исключительную способность к состраданию и самопожертвованию. Не сожалей ни о своих усилиях склонить Хоакина на мою сторону, ни о неудаче этих попыток. Ты бросила в землю семя, и оно даст ростки. Твой образ, Анаис, твои руки, твои глаза, твой голос, все, что я так люблю в тебе, все это для меня счастье, счастье такое новое и глубокое, так редко озарявшее меня, что я не могу вместить другую любовь. Ты не можешь представить себе, как ты наполнила мою жизнь новым чувством близости и проникновения в женскую душу. Я никогда не знал такого прежде. Лживая религия, лживая и узкая мораль каждую минуту уводят нас в сторону от всех форм счастья, возможных для нас. Весь мир страдает из-за того, что ему не хватает интимности, самозабвения, ощущения взаимосвязи и (не боюсь этого слова) взаимопроникновения.

Помнишь ли тот день, когда, рискуя тебя потерять, я рассказал тебе о всех своих слабостях и недостатках (от которых до сих пор не избавился) и спросил тебя о твоих? Это и было началом нашей истинной связи. Эти качества я считал само собой разумеющимися, но, как бы то ни было, многие из них — благоприобретенные качества. Как бы ни тщились наш здравый смысл и наша воля исправить эти недостатки, они суть самое реальное выражение наших первобытных натур, природных начал, находящихся в стадии первозданной чистоты. Непроизвольные догадки, молниеносные мысли, реверберации нашего внутреннего «я», новый, непостижимый трепет, наследственные отголоски, эхо голосов наших праотцев, все деформации и ограничения, навязанные нам нашим обществом — физические, моральные, психические, — чувства добрые или злые, благородные или эгоистические, сладость или горечь, бесстыдство или бессмысленность, чудовищные чувства или нормальные (ох, эти бесполезные, бедные слова, такие беспомощные, когда ищешь их для мира души) — все это мы. Стараться понять другого, стараться полюбить другого и в то же время прятать наше второе «я», которое только и есть подлинно наше, которое мы не сотворили и за которое не отвечаем — это значит не понимать и не любить жизнь».

Я ни о чем не сожалею. Я сожалею лишь о том, что все хотят лишить меня моего дневника, моего единственного непоколебимого друга, только он делает мою жизнь сносной. Потому что мое общение с людьми так ненадежно, доверчивость моя так робка, что малейший признак невнимания заставляет меня замолкнуть. А в дневнике я чувствую себя совершенно свободно.

У нас с Генри бывали очень важные разговоры о сновидениях.

Генри внимательно следил за ходом моих мыслей и записывал их. Теперь он начинает присматриваться, как бы приладить их к книге, он видит в них подлинный сюрреализм[96]. Он начинает интересоваться свойствами сновидений и как их надо толковать, задавать те же самые вопросы, которые я задавала себе. В «Доме инцеста» сюжет вырастает из сновидения, потому что так часто мои сны были по настрою самой жизнью, были о жизни и я могла к тому же грезить наяву. Генри же держался ближе к подлинным снам, которые снятся по ночам.

Я говорила о свете, атмосфере, текучести снов; он о тоне, об исчезновении всяких запретов, о теле и чувствах, действующих в унисон, о чудесном ощущении легкости. Я радовалась тому, что Генри входит в мир сновидений и начинает им овладевать. Сначала он вводил описания снов в свой текст просто для того, чтобы понравиться мне. Смеялся над ними. Я говорила ему: «Держись за них, они помогут тебе писать в новом ключе». Это была моя епархия, но, как обычно, Генри входил туда со своим уставом.

Помимо всего, я не могу понять, что произошло на днях с Арто. Он появился вчера с объяснениями. Оказывается, его недавняя скованность была вызвана вовсе не язвительными насмешками Стилей, а тем, что у него возникли на мой счет подозрения. Он насторожился и стал подозрительным. Он напуган.

— Ничего не понимаю, — сказала я.

Мы сидели в саду. На столе лежали книги, рукописи, из которых Арто читал мне. Как раз перед тем, как высказать мне все это, он рассказывал о своей книге «Гелиогабал» и о своей жизни. Он родился в Турции… Тут он внезапно остановился и спросил: «Вам действительно интересно слушать о моей жизни?» А потом добавил: «Я хочу посвятить эту книгу вам. Но вам ясно, что это будет значить? Это не будет обычным светским посвящением. В нем должно быть видно наше тончайшее взаимопонимание».

— Но оно же существует на самом деле, — сказала я.

— А не эфемерно ли оно? Что это с вашей стороны, прихоть или существенно важная, необходимая связь? Я вижу в вас женщину, играющую мужчинами. В вас так много теплоты и сочувствия, что трудно принять это за чистую монету. Кажется, что вы любите всех, просто расшвыриваете во все стороны свое расположение. Боюсь, что вы непостоянна, изменчива. Я так и вижу, как сегодня вы горячо интересуетесь мною, а назавтра отворачиваетесь.

— Вам надо доверять своей интуиции. Моя всеобщая благорасположенность — вещь чисто внешняя. На самом деле

совсем немного людей, к которым я привязана прочно и искренне. Не так легко меняются подобные отношения. А мой интерес к вам объясняется не какими-то практическими соображениями, а тем, что я вчитывалась в вашу работу внимательно, до конца, и почувствовала, что понимаю вас. Вот и все.

— А вы часто пишете писателям такие письма? Может быть, это для вас дело привычное?»

Я усмехнулась:

— Я пишу совсем немногим писателям. Это не в моих привычках. Я — человек очень разборчивый. Кроме вас, я писала только двум — Джун Барнс[97] и Генри Миллеру. Вам я написала потому, что увидела взаимосвязь между тем, как мы оба работаем. Я начала на известном уровне и на том же уровне встречаюсь с вами. Это тот уровень, где не играют в забавные игры.

— Вы сделали потрясающе нетрадиционную вещь. Я не мог в это поверить. Если это делалось с тем самым пренебрежением к миру, исходя только из тех импульсов, которые вами описаны, это слишком прекрасно, чтобы поверить в такое.

— Бернару Стилю я так не напишу. Но если вы не поняли того, что я написала, того, что адресовалось Антонену Арто, каким он видится из своих вещей, значит, вы вовсе не Арто. Я постоянно живу в том мире, где все происходит совершенно не так, как в мире Стилей, к примеру. Я понимаю, что Стиль мог по-разному истолковать мое письмо, но только не вы.

— Но я не мог поверить, что такое возможно, — сказал Арто. — Никак не считал такие отношения вообще возможными в этом мире. Боялся допустить. Боялся обмануться, когда все это придет к тривиальному концу и вы окажетесь светской женщиной, тешившей себя умными письмами, изображавшей сочувствие и так далее. Вы же видите, я отношусь ко всему всерьез.

— Вижу, — сказала я нарочито жестко, чтобы он больше не ошибался. — Я очень ласкова с людьми, радушна, дружелюбна, но все это на поверхности. Но когда дело касается глубинных чувств, подлинного смысла, устанавливаются лишь редкие связи, и только ваша серьезность, то, что вы поэт загадочный, объясняет, почему я обращаюсь к вам напрямую, без обычных условностей. Моя интуиция реагирует быстро, и я ей доверяю. Я ведь тоже отношусь ко всему всерьез. Я вам уже говорила, что живу в другом мире и вы можете проникнуть в него так же, как я проникаю в ваш.

Арто встрепенулся:

— Той ночью, в поезде, когда вы говорили со мной так

ласково, я почувствовал, что вас неприятно поразила моя замкнутость.

— О нет, я приписала это вашей работе. Я ведь знаю, что, когда в человеке совершается работа воображения, он полностью погружен в нее и ему очень трудно очнуться и выбраться в мир, особенно если этот мир легкомыслен и зол.

— Все это было удивительно. Это меня и напугало. Я слишком долго жил в страшном моральном одиночестве, духовном одиночестве. Есть люди, которым легко жить в таких условиях, но мне это тяжко.

Он положил руку мне на колено. Я вздрогнула: это было его первое физическое движение. Я не шевелилась и только произнесла: «Такого духовного одиночества вы больше не будете чувствовать». Эта дефиниция, подумала я, отложит вопрос, который я читала в его глазах, который нависал над нами и приводил в смущение — какова будет природа нашего союза. Он отдернул руку. Мы сидели очень тихо. В эти минуты у него были удивительно красивые глаза, серьезные, полные тайны и чуда, как у Данте, когда он вышел из ада. Я попросила его прочитать мне из своей книги.

Он сказал, что Стиль пытался выставить его смешным и нелепым из ревности. Он был прав. Я же видела, что Стиль наблюдал за моим растущим интересом к Арто с явным раздражением. И снова стало ясно, что единственный путь ко мне — дорога фантазии и воображения. Стиль видный и привлекательный мужчина, но уж больно он ординарен. Арто страдающий и вдохновенный.

В ночь после визита Арто мне приснилось, что я ему отдаюсь и удивлена его страстностью. Но проснулась я без всякого ощущения, что именно таким будет наш союз с ним. С кем я только не спала во сне! Двенадцать комнат во сне? Прошлое, настоящее, будущее? Я обязана передать атмосферу снов лучше, чем кто-либо другой. Я так долго живу в этой атмосфере с ее ощущениями, впечатлениями, предчувствиями и верю им.

Погода, как в тропиках. Райское блаженство. Полное здоровье.

Мне не описать достойно то восторженное волнение, сопровождавшее мой разговор с Арто, эмоциональный разлив, прозрачную чистоту и открытость, те потрясающие моменты неудержимости чувств и возбуждения. Так обнажена была напряженность Арто, так разоблачающе смотрели его глаза. Чувство близости охватывало меня с такой силой, что другие могли бы принять за любовь то, что было видом горячей дружеской привязанности. Правда, чересчур горячей.

Любить, любить, любить, как может любить художник, поэт, влюбленный от всей полноты души, обожающий все живое на свете, соблазняющий этот мир песнями, танцами, поэзией, музыкой, огромной страстью к жизни, страстью ко всем ее обликам, ко всему, что в ней содержится, ко всем ее сторонам, к мужчине, к женщине, к ребенку, к солнцу, к нервам, к боли, к нервной испарине на страждущем лице Арто. Арто смотрит на облака, плывущие над ним, и все время запинается, читая свои ранние стихи.

Страхи Арто, сны, где мне приходится успокаивать и утешать тех, кого я мучаю и дразню днем, любовь к творчеству, к стихам, к мужским мечтаниям… любовь.

Я встретила Арто в кафе, он поклонился мне со страдальческим видом.

— Я же ясновидящий. Я вижу, что вы не придавали никакого значения тому, что наговорили мне на днях. Сразу же после нашего разговора в саду вы стали отчужденной, лицо сделалось непроницаемым. Не ответили на мое прикосновение. И обратились в бегство.

— Но там ведь речь не шла о любви человеческой, плотской. А я, как только выговорилась перед вами, тут же почувствовала, что вы дали моим словам именно человеческое истолкование.

— Тогда о чем же вы говорили?

— О духовном родстве, дружбе, взаимопонимании, творческом братстве.

— Но мы ведь живые люди!

Я забыла последовательность наших фраз. Я знала только то, что я никак не хочу физической близости с Арто. Мы вышли из кафе. Арто сказал: «Мы идем в ногу. Это божественно — ощущать рядом с собой человека, идущего в одном с тобой ритме… Прогулка по эйфории». И тут я почувствовала, что начинаю выпадать из реальности. Меня не было больше в моем теле, я вышла из него и смотрела на себя со стороны. Я видела Арто, взиравшего на меня с восхищением; я видела, как он смотрит на мои сандалии; я видела, как вздымается и опадает при каждом дуновении ветра мое легкое летнее платье; я видела, как мою обнаженную по локоть руку сжимают пальцы Арто. И увидела: на один миг радость вспыхнула на его лице, и мне стало нестерпимо жаль этого тоскующего, исстрадавшегося безумца с его болезненной сверхчувствительностью.

Мы сидели в «Куполь», мы там целовались, и я придумала для него целую историю о том, что я — разделенное существо и не могу любить одновременно и человечески и творчески. И закончила этот рассказ о своем раздвоении словами: «В вас я

люблю поэта».

Выдумка оказалась удачной, она и растрогала его, и ничуть не умалила его гордости.

— Это очень по мне, — сказал он. — Как я. Люди представляются мне привидениями, и я сомневаюсь и пугаюсь жизни, и все кажется мне нереальным; я пробую войти туда, стать частью этого. А вот вы, мне кажется, более земная, чем я, с вашей плавностью, с вашей трепетностью. Я никогда не встречал такой женщины, легкой и в то же время горячей. Все в вас меня пугает: огромные глаза, расширяющиеся глаза, невозможные глаза, все ясно в них, все прозрачно и нет в них никакой тайны, но тут же понимаешь, что, стоит только глянуть сквозь, сквозь вас, и такие бездны откроются под этой ясностью, за этими нагими, волшебными глазами…

Что-то во мне шевельнулось, я вздрогнула, а он взмолился:

— Скажите, кого вы любите. Я знаю, что в вас влюблены Альенди, Стиль, многие другие, но кого любите вы?

И сказал еще:

— Мягкая, хрупкая и коварная. Люди говорят, что я сумасшедший. Вы тоже думаете, что я сумасшедший? Это вас и пугает?

В эту минуту, глядя в его глаза, я поняла, что он безумен и что я люблю его безумие. Я взглянула на его губы с черной каймой по краям от лауданума — губы, поцелуя которых я не хочу. Поцелуи Арто, я знаю, потащат меня к смерти, к помешательству; я знаю еще, что он ждет от женской любви возвращения в жизнь, реинкарнации, возрождения, теплоты и ждет напрасно, потому что потусторонность его существования делает невозможной всякую человеческую любовь. Чтобы не ранить его, я сочинила миф о моей расщепленной любви, где тело и дух никогда не могут соединиться. Он сказал на это: «Вот уж не думал, что могу найти в вас свое безумие».

И вот он сидит в «Куполь», изливаясь стихами, болтая о магии. «Я — Гелиогабал, безумный император Рима», потому что он всегда превращается в того, о ком пишет. В такси он откидывает назад волосы, открывая искаженное лицо. Красоты очаровательного летнего дня он не замечает. Высунувшись из машины, вытягивает руки в сторону кишащих людьми улиц: «Революция вот-вот придет, и все будет сметено. Весь мир должен быть разрушен. Он развратился, он полон грязи и мерзости. В нем полно мумий, говорю вам. Рим эпохи упадка. Гибель. Мне нужен театр, действующий, как шоковая терапия, гальванизирующий, встряхивающий человеческие чувства».

И мне в первый раз показалось, что Арто живет в таком мире

фантазий, в котором этот шок, это потрясение нужно ему самому, чтобы почувствовать реальность этого мира или же воплотиться во всем могуществе великой страсти. Но он все стоял возле автомобиля и выкрикивал что-то, и яростно плевался, и толпа глазела на него, а шофер такси явно нервничал. И я подумала, что он забыл о том, где мы, о том, что мы на вокзале Сен-Лазар и поезд сейчас увезет меня домой. Мне стало ясно, что ему нужна революция, нужна катастрофа, всеобщее крушение лишь для того, чтобы положить конец его невыносимой жизни.

…Генри объединил свой «Автопортрет» («Черная весна») с книгой сновидений. Исписал огромное количество бумаги, но только многое приходится рвать на части и — клочок за клочком — отправлять в надлежащее место. Он смешивает в себе критика, философа, романиста, исповедника, поэта, репортера, ученого и нотного писца. Это же труднейшая задача — творческий синтез таких фрагментов, слияние их воедино. Его работа хаотичная, разномастная, неуравновешенная; она как поток, в котором надо держаться какого-то ориентира, а не то тебя затопит, поглотит, унесет. Посмотришь, он вроде бы сдался, его тащит по перекатам, он захлебывается своими впечатлениями, желанием откликнуться, экспансивностью. Но нет, он выбрался-таки на берег. Если он все еще настороже, он бессердечен, но если он чувствует себя в безопасности, нет никого мягче и человечнее.

Он был настроен на воспоминания, рассказывал о жизни с Джун и с первой своей женой. Музыка по радио вызвала у него слезы. «Никакая литература не может передать трагедии жизни, напряжения борьбы. В литературе это выходит бледно». Рассказывает, как уступал сексу, постоянно разрываясь между плотским влечением к женщине и презрением к ней, ее ограниченности и пустоте. «Позорное отречение от прямоты и честности. И тогда является призрак неудовлетворенности…»

Когда из-под пера Генри выходят безумные страницы, это безумие вызвано жизнью, а не отсутствием ее. Безумие сюрреалистов, Бретона и прочих рождается в вакууме, тогда как Генри заражается им от всех нелепиц, насмешек, страданий сверхперегруженной жизни. И его жизнь никогда не кончается кристаллизацией, а только фантастическими витками восторга, движением к вершине, вечным вращением.

Я увидела Арто. Он стоял величественный, горделивый, с безумно радостными глазами, глазами фанатика, сумасшедшего. Лицо триумфатора, встречающего мое появление. Тяжеловесность, цепкость, странная деспотичность жестов. Руки его еще только нависали надо мной, парили над моими плечами, а я уже ощущала их магнетическую тяжесть.

Я оделась в красное, черное и в металл — стальные браслеты и ожерелье; я была, словно воин в доспехах, готовящийся защищать свою честь. Комната его оказалась бедной, как монашеская келья. Кровать, стол, стул. Я взглянула на фотографию на стене, на его поразительное лицо, изменчивое лицо актера: переполненное мраком и горечью, оно вдруг начинало сиять божественным экстазом. Он весь, словно из Средних Веков, мрачная напряженность. Он Савонаролла, сжигающий языческие книги, предающий огню все земные радости. В его настрое что-то сатанинское, это не просветленная улыбка, а хохот дьявола. Тягостно ощущать его властное присутствие; весь он натянутая струна и очистительное пламя. В движениях незыблемость, напряженность, жестокость, испарина на лице выдает жар, опаляющий его изнутри.

Он показывает мне свои рукописи, говорит о своих планах, говорит темно, загадочно, а потом умоляет меня, опускается на колени. Я повторяю все, что говорила раньше. Все вертится вокруг наших отношений. Он встает, лицо застыло в напряженной гримасе.

— Альенди предупреждал, что я слишком усердствую с опиумом… что раньше или позже вы все равно начнете презирать меня. Я не создан для чувственной любви, но она так важна для женщин.

— Только не для меня.

— Я не хочу потерять вас.

— Вы и не потеряете.

— Меня убивают наркотики. И я никогда не смогу заставить вас полюбить меня… удержать вас не смогу. Вы — человек. Вам нужна любовь цельная.

— Нет, мне просто нужен союз совсем другой природы.

— Но вы не убежите от меня? Не исчезнете? Вы для меня все. Я никогда прежде не знал таких женщин. Вы — редкость. Я не мог поверить в это. Боялся, что мне приснилось. Что вы исчезнете.

Его руки вцепились в меня судорожной хваткой утопающего.

— Вы пернатый змей, — продолжал он. — Пресмыкающееся и птица сразу. Тело скользит по земле, а крылья плывут в небе. Та маленькая подробность, что вы пришли ко мне в одеянии Марса — стало быть, вы придаете значение символам, — уже одно это поразило меня. И к тому же ваш странный, не похожий на других экстаз. Он не накатывает на вас приливами, он постоянен. Вы живете постоянно на одном уровне, у вас сохраняется определенная интонация, из которой вы никогда не выпадаете. Ваш разговор независим от действительности.

Он отождествляет себя с Гелиогабалом, безумным

властителем Рима. Но Арто красивый, печальный, хмурый, трагичный не перенял у царственного юноши бесстыдства и извращенности.

— Вы называли самоубийство жертвой всесожжения, — сказал он. — Выходит, вы можете принести себя в жертву Богу?

— В жертву абсолюту. Человек умирает, если жаждет абсолюта, окончательной действительности.

— Я гордец и себялюбец, — вдруг произнес он.

— Как все люди творящие. Вам ничего не сотворить без гордости и себялюбия.

И тут он предложил сжечь для меня все, что у него еще оставалось, посвятить себя мне. Я заслужила жертвы всесожжения. А что же Арто собирается сжечь ради меня? Я не стала спрашивать. Но я понимала, что насколько магия Альенди была белой магией, настолько магия Арто черна, ядовита и опасна.

— Пишите мне. Каждый день ожидания как день пыток. Не мучайте меня, прошу вас. Я очень преданный и ужасно серьезный человек. Мне страшно, что вы забудете обо мне, оставите меня.

Письмо от Арто, он вспоминает наш визит в Лувр: «Я приводил многих людей, мужчин и женщин, взглянуть на это удивительное полотно, но в первый раз я увидел, как художественное впечатление тронуло человека настолько, что привело его в трепет, подобный трепету любви. Твои чувства были потрясены, и я понял, что твоя плоть и твой дух полностью слиты, раз чисто духовное впечатление могло пробудить в тебе такую бурю. Но в этом немыслимом союзе дух должен восторжествовать и в конце концов полностью подчинить себе тело. Я ощущаю в тебе целый мир еще не рожденных чувств и хотел бы стать заклинателем, вызвавшим их к жизни. Ты сама еще ничего о них не знаешь, но вся твоя женская суть и твой разум взывают к ним.

Такое существо, как ты, в состоянии понять, каким полным страдания наслаждением была для меня наша встреча. Судьба пожаловала мне больше, чем я ожидал и на что надеялся. Как всякий дар судьбы, я приму его покорно, без раздумий, но он так прекрасен, что мне становится страшно.

Мой дух, моя жизнь перемежаются то праздничной иллюминацией, то полным затмением. И эта игра все время происходит во мне, и потому — вокруг меня и во всем, что я люблю. А всем, кто любит меня, я всегда буду приносить горькое разочарование. Ты уже заметила, наверное, что временами во мне проявляется безошибочная интуиция, способность мгновенно угадать верный путь, а в другой раз я оказываюсь совершенно

беспомощным, слепым. Мне тогда не даются простейшие вещи, и тебе понадобится вся тонкость и острота твоего духа, чтобы воспринять эту горькую смесь просветленности и умопомрачения.

И еще одна вещь сближает нас друг с другом — твои молчания. Они похожи на мои. Ты единственное существо, с которым мне не тягостно молчать. У тебя удивительное молчание: оно насыщено страстью, оно многозначно, оно живое, словно люк в стенке колодца, сквозь который можно подслушать тайные шепоты земли. В том, что я говорю тебе, нет ничего от фабрикации стихов, и ты хорошо это знаешь. Я просто пытаюсь выразить эти могучие впечатления, настоящие впечатления, что обрушились на меня Когда мы стояли на станции и я сказал тебе: «Мы словно две души, заблудившиеся в бесконечном мире», ты ответила мне молчанием, и это живое молчание сказало так много, что мне захотелось плакать от радости.

Ты заставляешь меня сталкивать все лучшее во мне с самым худшим, но перед тобой я не испытываю чувства стыда. У нас с тобой одна сфера обитания, но ты дополняешь меня, давая мне все то, чего мне не хватает. Ты и правда любишь те же образы, что и я, стремишься воплотиться в те же формы, что и я, но физически и органически ты — тепло, а я — холод. Ты гибкая, податливая, томная, а я упрям, меня прокалили подобно руде. Судьба, стоящая у нас за плечами, свела нас вместе, ты сознаешь это, ты видишь наше сходство, ты чувствуешь, сколько добра мы можем сотворить друг для друга.

Чего я больше всего боюсь, так это того, что могу потерять тебя в один из тех периодов, когда распадаюсь надвое и остается лишь одна половина: ты испытаешь страшное разочарование и не захочешь идти дальше. Только-только началось нечто чудесное, что может заполнить все мое существование. За одну неделю жизнь полностью преобразилась. В детстве, когда мне было четыре года, мать называла меня Нанаки, это имя сохранилось и сейчас для самых близких моих друзей».

Вот что Арто высказал:

«С тобой я мог бы выбраться из бездны, в которой жил. Я все старался обнаружить деятельность души вне жизни, после жизни, в ее смерти. Расшифровал я только шевеление зародышей. Я сам бездонная, абсолютная пропасть. И воспринимаю себя только как существо, фосфоресцирующее при столкновении с тьмой. Я тот, кто глубже всего чувствует, как начинает заикаться человек, когда надеется, что ему удастся передать мысли. Я лучше всех понял ненадежность языка, его обманчивость и то, как быстро ускользает мысль в глухие закоулки. Это я достигал состояния, которые никто никогда не отваживался назвать, состояния

проклятой души. Мне известны эти недоноски разума, осознание неудачи, моменты, когда дух проваливается во тьму и там теряется. Для меня это хлеб насущный всех моих дней, постоянно длящийся поиск утерянного».

Прежде чем он смежил веки, зрачки его закатились, и я могла видеть только белки. Веки опустились на белки, и я подумала, куда же делись его глаза. Вдруг, когда он снова поднимет веки, я увижу глазницы пустыми, как у статуи Гелиогабала.

Если позволить Арто прикоснуться ко мне, в меня проникнет тот же яд, что отравил его. Мои мечты он уже сгреб своими ладонями, потому что они так схожи с его мечтами. Но я люблю в нем поэта, вошедшего уже в мои сны, люблю его боль и огонь, но не люблю мужчину. Физически я не испытываю никакого влечения к нему.

Мы с Арто бредем вдоль Сены и все время сталкиваемся с дурашливым буйством студентов с «Бала Четырех Искусств». В ту ночь, когда они преследовали нас с Генри, они выглядели веселыми клоунами, шутами, но сегодня вокруг Арто какие-то гримасничающие гаргульи[98], язвительно высмеивающие нас. Мы идем сквозь сон, Арто мучает себя сомнениями, вопросами, на которые не может быть ответа, толкует о Боге, о вечности, о необходимости пробудить во мне чувственную любовь. И я в первый раз спросила себя, а не является ли сумасшествие Арто на самом деле подобием крестного пути, где каждый шаг, каждая мука Христа описаны так, чтобы человек почувствовал себя виноватым, и не оттого ли отчаяние Арто, что не мог он найти никого, кто разделил бы с ним его безумие.

А он сказал: «Какой божественной радостью было бы принять крестную смерть от такого существа, как ты, такого неуловимого, такого воздушного».

Мы сидим в кафе, и из него изливается поток слов, в которых угадываются строки из его стихов, описания его состояния, настроений, галлюцинаций.

— Когда ты произносишь «Нанаки», это звучит так естественно.

— Это звучит по-восточному.

Когда мы снова выходим к Сене и идем вдоль нее, взятые нами с собой книги и рукописи падают на мостовую, и я чувствую некоторое облегчение, словно сеть поэзии, магия слов перестали опутывать меня. Но мне становится не по себе, когда он произносит с лихорадочным блеском в глазах: «Между нами говоря, здесь могло произойти убийство». Мы стояли у парапета набережной, и, произнеся эти слова, он уронил свою книгу вниз.

Когда-то он написал: «Я выбрал область страдания и мрака,

как другие выбирают блеск и великолепие». Красота и ласковость лета его совершенно не трогают. Он или не обращает на это внимание, или проклинает. «Я знаю только чувство боли», — говорит он.

Но как же мало он знает меня, если рассказывает: «Почему вы производите впечатление злой, жестокой обольстительницы, поверхностной и склонной к надувательству? Или это только видимость? Я ненавидел вас сначала, как можно ненавидеть всемогущую искусительницу, ненавидел как воплощение порока».

Мы с отцом договорились встретиться в Валескуре, но я приехала раньше условленного срока: нужно было несколько дней покоя и размышлений в одиночестве.

В отеле на берегу моря я добавила несколько мазков к портрету моего отца. «Он так радуется», — сообщил мне хозяин гостиницы. «Он очень за собой следит. Красит волосы, чтобы не было заметно седины», — сведения, полученные от парикмахера. «Очень любит хорошеньких женщин», — узнала я от маникюрши. Он не пожалел для меня денег, прислал телеграммы и цветы к моему приезду, распоряжался по телефону о приготовлении к его прибытию специальной тихой комнаты, специальной кровати. Его задерживал серьезный приступ люмбаго. И все-таки он приехал. «Этот костяк должен быть исправлен». Прямой, негнущийся и прихрамывающий сошел он с поезда. Не позволил мне распаковывать вещи — пострадала бы его гордость. Немедленно было велено подать особенные фрукты, особенные бисквиты, особенную воду. Гарсон получил приказание явиться с мушиной отравой, чтобы «ни одна муха не могла меня разбудить». Он организовывал среду своего обитания, свой день и курс своего лечения. Он требовал все незамедлительно и перед ценой не останавливался.

За завтраком в его комнате он сказал:

— Мы создали свою собственную систему жизни. Мы не можем равняться на других, только на самих себя. Мы жили как цивилизованные варвары, потому что мы, ты знаешь, первобытны и в высшей степени цивилизованны к тому же.

А потом:

— Самый большой ущерб нанесли миру два человека — Христос и Колумб. Христос научил нас чувству вины и готовности жертвовать земной радостью ради небесного блаженства. А Колумб открыл Америку и материализм.

И еще он сказал:

— Ты создала себя сама, собственными своими силами. Улучшила полученную от меня кровь. Я считаю, что ты мне ничем не обязана.

Он бледен. Сперва производит впечатление холодного и официального. Лицо, как маска. Мы медленно прохаживаемся. Он говорит:

— Мир этот — наш мир. У нас специфический взгляд на вещи. По общепринятым стандартам мы безнравственны, но мы следуем своей внутренней эволюции. И очень много дали другим людям, обогатили их жизни.

Мы не болтали о том о сем, мы просто искали подкрепление определенным теориям.

Он сказал: «Я до смерти хочу быть разносторонним человеком, осуществить идеал да Винчи. Это цивилизованный, но и первобытный человек, могучий, но и тонко чувствующий. Мне надо найти баланс элементов этого грандиозного дисбаланса, создать шедевр равновесия сил». Он старше меня, он нашел, очевидно, путь, чтобы достичь равновесия в полной противоречий природе, а я этого не могу.

За обедом он был воздержан, играл роль доктора, одержимого идеей строгой, бескомпромиссной диеты. Запретил мне хлеб и помидоры. И снова принял неприступный вид. Сказал метрдотелю, что я его невеста. Эта «маска» ужаснула меня. Напряженная воля, придирчивость, строгость. Следил за официантом и поморщился при виде нескольких капель воды, пролитых на скатерть. Еще в детстве у меня возникло смутное ощущение, что мой отец всем всегда недоволен.

Но свое нездоровье он переносит с достоинством и даже с изяществом. Хотя это причиняло ему жуткую боль, он принял ванну, побрился, ногти были безупречны, одежда в полном порядке.

После обеда отдохнул и появился потом в самом блестящем виде, одетым с невероятной элегантностью. Передвигался с неестественно вытянутой спиной, с тростью в руке, но голова поднята, шутил над своей немощью. Гостиничная прислуга со всех ног кидалась услужить ему, они его обожали, старались угодить каждому капризу. Мы отправились в его роскошном автомобиле. Я видела в отце образец несгибаемой жесткости. Я-то была более податливой, более беспечной. Мы мчались к морю, наслаждаясь опаловыми красками, светом, перемежаемым тенями, запахом вереска, ароматом цветов. Путь наш окончился у выступа скалы, обращенного к морю.

И вот там, на этой скале, отец стал рассказывать о своих любовных делишках, и они не показались мне такими уж несерьезными, такими малозначительными, как их изображала молва. Это не был Дон Жуан, покидавший свои жертвы назавтра после очередной победы. К своим удовольствиям он примешивал

творческий элемент. Его интересовало преображение живого существа. Вот, например, эпизод с некой гувернанточкой. Милое, робкое создание, но до того невзрачна, что никто не уделял ей никакого внимания. «Не будь меня, она никогда и не узнала бы, что такое любовь. Я обычно прикрывал чем-нибудь ее некрасивую мордашку, и это ее преображало, и я получал огромное наслаждение, она в таком положении казалась почти красавицей».

И еще он рассказывал: «Я тогда только расставался с женщинами, когда они переставали для меня что-то значить. Или наоборот, когда возникала опасность влюбиться. Обычно после трех-четырех ночей я присылал большой букет алых роз, и они понимали, что он означает».

На следующее утро он не мог подняться с кровати и был в отчаянье. Я старалась, как умела, развеселить его и обласкать. Наконец взялась распаковывать его вещи, а он тем временем болтал со мною. Продолжал рассказывать историю своей жизни. Еду принесли в номер. Я тоже рассказывала ему истории, всю свою жизнь.

— В тебе собраны все женщины, которых я любил. Какая жалость, что ты моя дочь!

Назавтра он уже сидел в кресле и читал мне статью о своем отношении к музыке.

Дул сильный мистраль, придавая летним дням лихорадочную напряженность. Отцу стало лучше, и мы смогли спуститься к обеду. Он довел свой облик до совершенства: в белом костюме, со своей алебастровой кожей и в мягкой шляпе он выглядел настоящим испанским грандом. Мы медленно прохаживались под тропическим солнцем, и он рассказывал мне о жизни насекомых, обучал именам птиц и различиям в их голосах, так что мир наполнился для меня новыми звуками, для которых раньше у меня не было названий.

Он рассказывал о жизни с моей матерью. Главной причиной их разлада была его страсть к эстетической стороне быта и ее полное равнодушие в этом смысле.

Она не придавала никакого значения тому, как одеться, как причесаться, как, что называется, пустить пыль в глаза. Они поссорились в самый день свадьбы, и тогда у него началась «утрата иллюзий». Мать обладала вспыльчивым нравом, была ревнивой и собственницей. И женщина она была простая и терпеть не могла «иллюзий», которые для нее железно сопрягались со словом «вранье». Совершенно безвредные отцовские выдумки, вроде той, например, что это его жена приготовила глазированные каштаны, вызывали у матери дикую

ярость, и она требовала, чтобы он прилюдно опроверг это беспардонное вранье. Если отец вешал на стену картину, мать непременно перевешивала ее на другую стену.

Он рассказывал мне и скабрезные истории. Корявая испанская приземленность смешалась в нем с романтической мечтательностью. Он показывал мне тысячу лиц, оборачивался тысячью сторон. Но не его ли грубый непристойный язык, знакомый мне с детства, позволил мне, не моргнув глазом, слушать «словечки» Генри?

Одно желание охватывает нас обоих: быть нежным, любящим, преданным, совершенным человеческим существом. Но наши страсти рушат плотину и погружают нас в ложь. Никогда не справимся мы с нашими изменами, с импульсивностью нашей натуры, с эволюцией и переменчивостью ее, со всем, что делает нас по-человечески ненадежными. Как сказал Лоуренс: «Каждый человек предает другого, потому что должен быть верным своей душе».

Но мы мечтаем о союзе, о полном доверии.

Как-то ночью мы прогуливались по гостиничной террасе. Была полная луна, и в ее свете отец выглядел на двадцать пять лет, не больше. Как Хоакин.

Он много говорил о том, как важно обрести равновесие. «В состоянии такого хрупкого равновесия, — сказал он, — трудно продержаться. Оно висит на очень тонкой нитке. Ищи больше света, больше ясности, ты же из латинской расы, старайся стать настоящей латинянкой». Чернокожий лакей принес на серебряном подносе письма. «Забери их, — проговорил отец и добавил: — Нам никто в этом мире не нужен».

И тут я почувствовала желание бежать — часто охватывающее меня желание. Боязнь приближающегося рассвета? Страх разочарования? Страх открыть то, что мы несовместимы? Трещина в гармонии? Отец все время подчеркивал нашу гармонию. Но если бы я осталась, нам открылись бы страшные контрасты. Бежать! Я всегда искала глазами выход. После девяти дней…

Отец сказал, что ребенком я раздражала его, потому что он чувствовал во мне целый мир потаенных мыслей, которые я не хотела или не могла выразить, потому что я лгала, как араб, и потому что у меня был нрав моей матери. Но у меня, объяснила я ему, было ощущение, что я никому не интересна, а когда я пыталась рассказать кому-либо о своих «фантазиях», следовал ответ: «Ты все придумываешь». Вот я и жила в своем придуманном мире и страшно боялась разрушить его. Он должен это понять. Может быть, это было так, словно свой собственный

мир он нашел в своем ребенке. «А теперь то, что мы открываем друг в друге, приносит нам покой и уверенность в правильном выборе. Вместе мы стали сильнее… у нас останется меньше сомнений».

Эта кажущаяся глубокой истина не помешала мне все же снова и снова спрашивать себя, так ли уж хороша связь со своим подобием, столь тесная, как это бывает у близнецов, не создаст ли она лишь иллюзию гармонии, успокоит нас насчет правильной ориентации? А может быть, вернее нам искать это по контрасту с другим, в высочайшей противоположности, как это случилось у меня с Генри? В одиночестве находила я путь, ведущий меня прочь от католицизма, от буржуазной жизни по образу и подобию моей матери, от пустоты нашего существования в Ричмонд-Хилле. И Лоуренса я обрела тоже в одиночестве.

Возможно ли, чтобы отец любил меня больше, чем я его?

Безупречность поражает меня, как паралич.

В Валескуре, в день, когда начались наши новые отношения, был праздник Святого Жуана. В Испании он называется Святым Хуаном, и в день его праздника люди сваливают в кучу всю вытащенную с чердаков рухлядь, все, что может гореть, и из старой мебели, старых кроватей, матрасов и стульев складывают на улицах костры. Смысл этого ритуала мне неизвестен, но для меня он был полон значения: мы с отцом сожгли на костре наше прошлое, наши воспоминания, все, чтобы начать жить заново. И все же я рассталась с ним и продолжила свое путешествие. Теперь отец мне пишет:

«Всю жизнь я ненавидел воскресенья (так же, как и я. — А. Н.). Воскресенье твоего отъезда было особенно мерзким. Поезд увез с собой всю яркость, чистоту, огонь. Моя комната кажется съежившейся, остывшей, мрачной. Где они, искры, charbons ardents?[99] Только тонкий аромат веет в воздухе, твой аромат. Когда сияет свет, появляются тени. Эта тень — я. А ты — неисчерпаемый поток драгоценных камней, редкостная душа, гордая и пылкая; твое внутреннее сияние полно красоты и прозрачности».

И еще написал мне отец:

«Получил письмо от твоей бабушки. Хоакин бывает у нее каждый день. Он ласков и очарователен. Все его любят. Мама пишет: «Он красивый и приятный мальчик, но ему явно не хватает твоей элегантности. Я спросила, видит ли он тебя, и он очень взволнованно ответил: «Нет, не вижу из-за мамы. Чтобы ее не обидеть. Лучше уж я пожертвую собой. Причем это двойная жертва: отец может подумать, что я его осуждаю, а это вовсе не так. Прежде всего потому, что у меня нет никакого права судить

отца, а во-вторых, я завтра могу повести себя точно так же, как и он, если еще не хуже. А мать посвятила мне всю свою жизнь, и я обязан быть ей преданным и стараться сделать все, чтобы она была счастлива. Даже такой ценой, что вижу отца только издали». Но он всегда радуется, когда кто-то замечает во всем его облике и повадке сходство с тобой».

А еще Хоакин добавил, что он никому этого не говорил, кроме бабушки и меня.

Только что закончил «Пернатого змея» Лоуренса. Полное разочарование. Я чуть не умер со скуки».

Мое письмо к Генри:

«Брось пыжиться с философией, у тебя ее нет. Зато у тебя потрясающее ощущение жизни. Твои умозрительные выкрутасы в книжке о Лоуренсе есть на самом деле протест против идеологии. Твое недовольство, твои атаки ветряных мельниц — это тоже протест против убеждений, суждений, проповедей, выводов. Во всех твоих письмах ко мне слышится негодование на идейность. Ты в войне с самим собой, со своим интеллектуальным «я». Говорю тебе, оставь интеллект в покое, ты не ученый муж, не философ. Наслаждайся жизнью. Впитывай в себя ее яд. Описывай ее. Но только никаких комментариев, никаких ложных заключений. Ты переживаешь сейчас интеллектуальную зиму, горячку разума. Ты несчастен. «Черная весна» тебя осчастливит. Умоляю тебя, брось рассудочность. Ты бунтуешь, сам не зная почему».

Мне не нравятся яростные атаки Генри на все на свете, совсем по Лоуренсу. Когда Генри чувствует себя несчастным, он готов сокрушить весь мир.

Женщины куда честнее мужчин. Женщина просто скажет: «Я ревную». А мужчина наворотит вокруг философскую систему, прихлопнет книгой с критическим разбором литературы, утопит в психологических штудиях. Так часто Генри запутан, иррационален, бесформен, совсем как Лоуренс.

Непонятно, с чего бы ему так злобствовать. Почему он продолжает воевать со всем миром? Он любит войну ради нее самой. Живет в плотском, чувственном мире, где жизнь полна, но лишена какой-либо направляющей силы или вполне проснувшегося самосознания.

Записка от Арто:

«У нас есть уйма вещей, могущих расшевелить нас обоих, займемся ими, когда вы возвратитесь, с глазу на глаз. Все жизненно важно для нас, и я не могу в письме ответить на

множество вопросов и, прежде всего, на самый главный вопрос, который ваша многообразная личность ставит предо мной.

Нанаки.

Вы поймете мое долгое молчание и краткость моей записки, когда вернетесь в Париж».

Мое письмо к отцу:

«Твое письмо мне передали в Экс-ле-Бене в тот момент, когда я уже паковала свои вещи. Открыв его, я чуть было не расплакалась. Эта деталь — решить написать мне прямо в день моего отъезда — показывает всю твою заботливость и тонкость. Это то, чем я не могу похвастаться по отношению к другим, хотя сама мечтаю получать подобные знаки внимания. К сожалению, и другие в этом смысле не отличаются от меня. Надо уметь любить, уметь вдумываться в любовь, так же, как в другие искусства. Ты это умеешь. Мне кажется, что ты явился, чтобы вознаградить меня за растраченные мною на других искусство и изобретательность в любви. Вознаградить на всю мою оставшуюся жизнь».

Лувесьенн. Снова дома. Вечер. Войти в мой дом — это значит вступить в область цвета, музыки, аромата, волшебства, гармонии. Я стою на пороге, словно впервые встретившись с чудом, забывая, что все это сотворено моими руками, что это я окрашивала стены в китайский пурпур, в лазурь, в цвета персика, стелила темные ковры, выбирала мозаичный камин, лампы, портьеры. И воспринимая все это, как работу другого, я околдована ею.

Радость переполняет меня, сил прибавляется, я люблю жизнь и движение. И вот первые шаги по своему королевству. Саргассово море корреспонденции, и я плыву по нему; звонки телефона, Альенди, Арто, Генри, Хоакин. Работа. Приглашения. Письма. Каждому дать почувствовать, что он в числе самых избранных, что он фаворит, только он и никто другой. Если собрать в одну кучу мои письма и перечитать их подряд, сколько же там будет несуразностей. Второе письмо опровергает первое и в свою очередь опровергается третьим. Я ведь считаю, что люди хотят обманываться так же, как хочу этого и я. Уж слишком правда груба и бесплодна. Я сообщаю Альенди, что приехала только что, пусть он считает себя первым, кого я захотела известить о своем приезде.

Отец предлагает мне ложь совершенно невинную, к примеру: «Ведь это в первый раз мне нужна такая куча денег» (чтобы делать мне подарки). Но я-то знаю, что ему всегда была нужна куча денег — так как он любит роскошь, американские автомобили,

шелковые рубашки, дорогие сигареты и щедро тратится на букеты для своих любовниц. Я улыбаюсь. Весь фимиам, который я воскуряла другим, возвращается ко мне и щекочет мои ноздри. Все изобретенные мною трюки и выдумки и обманы предлагаются мне, извлеченные из отцовской волшебной шкатулки. Той самой шкатулки, которой я пользуюсь в своей практике иллюзиониста.

В то время как он пишет мне, Делия или какая-нибудь другая дама располагается от него в паре футов — от письма на меня может пахнуть ее духами, — а он, наверное, говорит что-нибудь вроде: «Мне надо написать моей дочери, что она теперь единственная женщина в моей жизни, потому что достойный романтический финал для стареющего Дон Жуана — бросить всех и стать chevalier servant[100] собственной дочери». Ненадежность иллюзии. Сотворение миражей и призраков. Приукрашивание реального. Кто собирается выведать правду у другого? Кто солгал первым? Однажды отец читал мне вслух письмо от Маруки, там был длиннющий пассаж, в котором она изъяснялась в любви ко мне. Письмо осталось на столе, когда он вышел из моей комнаты, я прочитала его, никаких пылких фраз там не было, только обычное «Сердечный привет Анаис».

У Генри бывают те же Сатурновы затмения, что и у Арто. Холодный, невыразительный, угрюмый, потерянный. Арто предупреждал меня о них, потому что он прекрасно осведомлен об этих состояниях, когда «я» разламывается надвое. А Генри не знает, откуда приходит беда. Я говорю «затмение», и это слово достаточно верно освещает хаотическое состояние Генри, пока он не начинает выбираться оттуда. Я помогаю сплотиться разъятым частям его разума. Я заставляю его искать верный путь, путь к самопознанию. Он приучает меня к вкусу улиц, кафе, фильмов, к вкусу еды и выпивки, а сам вкушает радости осведомленности. «Как это точно, как точно», — кричит он и почти сразу же бросается к работе.

Этот дневник показывает гигантскую, всепоглощающую тягу к правде, но, написав это, я рискую разрушить все здание моего вымысла, уничтожить все мои дары, все, что я сотворяла и оберегала, всех, кого я спасла от правды. Что же нужнее миру — иллюзия, которой я дарю жизнь, или правда, которую я вкладываю в дневник? Когда я принималась мечтать об удовлетворении людских грез, иллюзорном удовлетворении их голода, знала ли я, что существует более мучительный ненасытимый голод? Что побуждает меня теперь предложить правду вместо иллюзии?

Продолжаю по-прежнему выкраивать из ткани моих ранних дневников разные отрывки, чтобы синхронизировать их с

теперешним временем.

Я думала, что образ отца будет стираться со временем; еще в тринадцать лет я описала в дневнике человека, которого взяла бы в мужья:

«Очень бледное, непроницаемое лицо, ослепительно белые зубы, медленная величественная походка, холодная улыбка. У него будет приятный звонкий голос. Он станет рассказывать мне о своей жизни, полной трагических приключений. Я бы полюбила его за гордость и величавость, за то, что он много читает и играет на разных инструментах».

Но ведь это портрет моего отца. Образ, нестираемо выгравированный в каких-то таинственных глубинах моей души, ушедший в песок и постоянно проступающий то той, то этой чертой в других мужчинах.

«Небо было затянуто тучами, и они печалили меня, мне казалось, что тучи предназначаются именно мне, предвещая, что всю мою будущую жизнь затянут такие же тучи.

Мама разрешила мне прочитать романы Жорж Санд, и, вернувшись из ее царства, я любовалась темными водами озера с новым чувством, что я уже знаю, что такое любовь.

Милый мой дневник, это я, Анаис, говорю с тобой, Анаис, а не кто-то, кто думает так, как все думают. Дорогой мой дневник, пожалей меня и выслушай».

Уже тогда я помышляла о занятиях литературой. Это событие, предчувствовала я, было важным, решающим.

«Надо переписать прибытие в Нью-Йорк. Мне кажется, что краткость описания не соответствует важности случившегося».

Я еще не понимала, что скрытой причиной нашего переезда в Нью-Йорк было страстное желание нашей матери оторвать нас от отца не только дальностью расстояния между нами и им. Она хотела погрузить нас в совершенно другую культуру, противостоящую латинской, научить нас языку, которым отец не владел. Это был поступок, направленный против всего, что он собою представлял.

Америка должна была, по расчетам нашей матери, научить нас идеалистическому подходу к жизни, душевной чистоте в ее понимании. Само ее нордическое происхождение восставало против латинского мира. Кровь датчан против крови французов (ведь ее мать считалась первой красавицей в Новом Орлеане, имела любовников и бросила своих детей). Моя мать была воспитана в пуританском духе, да еще и поведение моего отца настроило М враждебно к сексу и вообще к мужчинам. И хотя к сексу она относилась настороженно, все же была цветущей, нормальной, полной душевной теплоты женщиной,

любительницей поесть и вообще вполне земной. Но она превратила себя в квинтэссенцию Матери, бесполую, всю поглощенную заботой о своих детях; героически (именно так!) борющуюся за своих детей, работящую, всем для детей жертвующую. Она привила нам сознание долга, сознание того, что она отдает нам всю свою жизнь, и ЭТО было разительным контрастом с себялюбием нашего отца. Да, она поклонялась буржуазным добродетелям, экономила, погрязла в домашнем хозяйстве и т. д. и т. п. Она старалась в нас искоренить все, напоминающее нашего отца. Но она позволила Хоакину посвятить себя музыке и поощряла мой интерес к литературе.

Август, 1933

Арто устроил мне сцену. «Прежде чем вы что-нибудь скажете, — начал он, — я должен сообщить вам, что из ваших писем мне стало ясно, что вы меня больше не любите, или, вернее, никогда не любили. Вы заняты какой-то другой любовью. Я знаю, я догадываюсь, что это ваш отец. Так что все мои сомнения оказались верными. Ваши чувства непостоянны и переменчивы. Но эта ваша любовь к отцу, простите за откровенность, есть мерзость».

Бедный, ожесточившийся Арто, весь ярость и озлобленность. Я приняла его с истосковавшейся нежностью, но это его ничуть не тронуло.

— Вы заставляете каждого поверить в иллюзию горячей любви к нему. Не поверю, что я единственный обманутый вами. Вы, чувствую, любите многих мужчин. От вас пострадал Альенди, да и другие, возможно, тоже.

Я молчала. Ничего не стала отрицать. Но я понимала, что он напрасно толкует мое поведение как преднамеренное. Ему повсюду видится злой умысел.

— Я уверен в вашей абсолютной нечистоплотности.

Похож на монаха со своими идолами, со своими непорочностью и нечистотой. Но все эти инвективы меня ничуть не задели. Я только вспомнила проповедника, мечущего с кафедры громы и молнии. Нет, пусть он лучше считает меня Беатриче Ченчи[101], чем одной из тех, кто притворяется, что любит его. Беатриче привлекает его только на сцене, а в жизни он возвел бы ее на костер и сжег. Он ведет себя не как поэт, а как самая пошлая брошенная любовница с пистолетом в сумочке. Апокалипсические молнии. Конечно, ничего приятного нет в его ярости, но мне, кажется, доставляет некоторое удовольствие то, что он не разобрался во мне. Потому что он не поверил, когда я сказала: «Вы не нужны мне как любовник», а теперь порицает меня за слабость. Ну и пусть. Я не собираюсь помогать ему ни понять меня, ни разобраться в самом себе. Пусть описывает меня как «мрачное мерцание». Пусть произносит свою анафему, свои грозящие гибелью, отдающие черной магией заклятия. Он все больше и больше походит на сыпящего проклятиями мрачного скопца в монашеской рясе.

Он обвинил меня, что я живу в мире литературщины. Вот это меня позабавило. Мужчины могут влюбляться в героинь романов, поэм, в литературные или даже мифологические образы, но позволь им встретиться въявь с Артемидой, Венерой, с богиней

любви из любого пансиона, они тут же начнут изобличать ее в безнравственности.

В тринадцать лет я записала: «Существует ли тот, кто поймет меня? Да я ведь и сама себя не понимаю».

Я понимаю, однако, что я совсем не та, за кого меня принимает Арто.

Из моего детского дневника:

«Время ничего не может поделать с моими школьными подружками. А для меня каждый день все происходит по-новому, и даже мой характер, мне кажется, меняется каждый день. Несмотря на то что я встаю в один и тот же час, каждое утро для меня отличается от вчерашнего. Даже когда на мне то же самое платье, мне кажется, что здесь совсем другая девочка. Весь год я читаю одни и те же молитвы, но каждый раз они для меня разные и понимаю я их по-разному.

Сегодня я начала новый рассказ под названием «Сердце золота» и намешала туда много таинственного.

Под моими ногами глубокая пропасть, и если я буду издать в нее все глубже и глубже, как долго продлится мое падение, прежде чем я достигну дна? Моя жизнь представляется мне этой пропастью, и в тот день, когда Я ударюсь о дно, я перестану страдать. В один из таких дней я и скажу моему дневнику: «Дорогой друг, я коснулась дна».

Вопрос заключается в том, похожа ли я на кого-нибудь еще?».

Я говорю Генри:

— Я не намерена больше лгать. Никто теперь не благодарит меня за вымысел. Теперь им подавай правду. Но как ты думаешь, придется ли Альенди больше по душе то, что я напишу о нем, чем то, что я ему сказала или намекнула своими недомолвками? Не думаешь ли ты, что Маргарита предпочитает знать то, что я о ней думаю, тому, что я ей говорю? Правда — дело опасное, так же как и все твои правды, Генри. Ты психически погубил Джун своим грубым прямодушием, так же как и других, о которых писал. Люди могут и не показать, что они задеты, оскорблены, обижены, но от этого невозвратимый урон, нанесенный их душе, не станет меньше.

— Я всегда доверяла бергсоновской «mensonge vital»[102] — продолжала я. — Беда не в моих вымыслах; беда в том, что все мы воспитывались на волшебных сказках. Мы отравлены этими сказками. Женщины ждут, что любовь придет к ним в романтической одежде, вся — сплошная лирика. Мы все надеемся на чудо, ждем непостижимого. Да ты же сам писал мне на днях: «Я так много жду от жизни, а она такая короткая». Ну, а меня отравили сказки больше, чем кого-либо.

Я всего-навсего решила сотворять чудеса. Я решила, что когда кто-нибудь скажет: «я хочу», так это буду я, кто выполнит его желание. Я решила, что стану крестной матерью-волшебницей, дающей замыслам претвориться в жизнь. И в какой-то степени мне это удалось. Разве моя вера в тебя не придала тебе чудесным образом силы? Только не забывай — в основании волшебных сказок лежит ложь. Я хочу, чтобы все получили все, чего хотят. Ошибка моя в том, что я решила объять необъятное. Я не смогла сделать всех счастливыми, позаботиться обо всех, и те, кого я должна была оставить, возненавидели меня за это. Я переоценила свои силы. И когда я лгу, то это ложь ради жизни.

— Действительно, твоя вера меня подпитывает, — сказал Генри. — Что бы я делал, не окажись ты такой энтузиасткой.

— Но я добавила к вере еще и понимание. А вера моя в тебя это ведь не иллюзия. Посмотри на свою работу. Тебя теперь и Лёвенфельс превозносит, и Каммингсы.

— Но тебе можно обманывать меня.

— А разве не даю я тебе читать мой дневник, пока ты сам не остановишься. Забыл?

— Большую часть времени, — произнес Генри со свойственной ему прямотой, — я самый жуткий эгоист. Слишком переполнен своими идеями, чтобы подумать о других.

Из моего детского дневника. Тринадцать лет.

«Временами я не могу объяснить себе, что за чувства я испытываю, не могу справиться со своими порывами, избавиться от неотвязных впечатлений, от снов и размышлений, совершенно не похожих на сны и мысли других людей. Читая какую-нибудь книгу, я начинаю обсуждать ее сама с собой, спорить, отыскивать в ней достоинства и недостатки, начинаю вдумываться в нее и погружаюсь в такие глубины, что теряюсь и ничего уже не могу понять…»

А вот что я написала после визита к одной писательнице, очень меня ободрившей: «Я не сумасшедшая, я не думаю о вещах невозможных. И я не глупая, я могу однажды на что-нибудь сгодиться.

А если я легко впадаю в тоску и уныние, так это оттого, говорит мама, что я унаследовала драматическую душу, гораздо легче принимающую печаль, чем радость.

Я рассказываю Хоакину и Торвальду столько разных историй, что мама сравнивает мою фантазию с Ниагарским водопадом, такая же громада и такое же постоянное движение.

В моих глазах отец мой так же красив и великолепен, как мои сны…

Так как мои мечты — моя собственность, так как они никогда не могут превратиться в реальность, так как я всегда могу их позвать обратно разделить мою компанию и помочь мне жить, я держу их в глубинах моего существа или же на самых секретных страницах дневника».

Пишу отцу:

«Бессодержательность и пустоту нашей жизни можешь заполнить только ты.

Увы, почему я должна так резко измениться? Я ничего не чувствую сегодня. Я безучастна к религии, не понимаю ее. Знаю лишь то, что это моя экзальтированная натура служит причиной внезапного моего безразличия ко всему, чему я поклонялась всеми силами своей страстности.

Я легкая, я не упрямая, а увлекающаяся».

Отец попросил меня приехать на несколько дней в Валескур, а потом мы вместе возвратились бы в Париж. В Валескуре он встречал меня один, и что он почувствовал при встрече — нельзя было понять по его лицу. Все та же ледяная, непроницаемая маска. А когда он снял очки, его близорукие голубые глаза смотрели как-то тоскливо и просительно. Потом я узнала, что накануне он не спал всю ночь.

В гостинице нас поджидала Марука. На этот раз я разглядела ее лучше и оценила по достоинству. Маленькая, с округлыми плечами, этакая статуэтка из Танагры с забавно вздернутым носиком на мальчишеской физиономии. Тоненький девичий голос, непринужденность и прямота. Быстрые, уверенные движения. От нее исходило тепло, и я ответила ей тем же.

Она повела меня в мою комнату, с ласковым любопытством вглядываясь в то, во что превратилась знакомая ей еще по Аркашону маленькая девочка. Я подарила ей привезенные с собою духи. Пока отец наслаждается сиестой, мы с Марукой болтаем. Она экспансивная, естественная, женственная, настоящая японская жена. Мы приглашены Падеревским на обед. Отец просит, чтобы мы принарядились. Делия, их подруга, находит смешным облачаться в наряды летом в отеле, где почти нет публики. Но отец настаивает, и мы подчиняемся.

Падеревский, казалось, стоит в луче прожектора: он был весь в белом, и блики света играли на его белоснежных волосах. Он склонился к нашим рукам истинно по-королевски. Обаяние. Благородное лицо. Добрые голубые глаза, в которых сквозили знания и ум. Его сопровождали доктор и секретарь; они были облачены в обычные для Ривьеры летние рубашки, и им очень не понравилось явление моего отца при всех регалиях, затянутого во фрак. В этом был он весь. Когда бедняком, обремененным

семейством, он впервые приехал в Париж, то явился играть перед д'Энди тоже в парадной форме. Д'Энди, нечесаный, как большинство пианистов в домашней обстановке, одетый кое-как, с неухоженными ногтями, не очень приветливо отнесся к гостю. Но похожий на витринный манекен молодой человек исполнил Баха так, что пораженный мэтр воскликнул: «Кто вас учил так играть?» «Я это взял из одной старинной рукописи и моей собственной логики», — ответил мой отец.

И вот теперь он беседовал с Падеревским, очаровывая его своим тактом, остроумием, эрудицией. Падеревский подпадал под чары моего отца, ведь он и сам был человеком безмерного романтического обаяния. Это было замечательное общение. Падеревский выглядел как человек из легенды, похож на свои фотографии, где он изображен то склоняющимся над роялем, то со вскинутой головой и свободно текущими по плечам волосами. Изысканность, романтичность, яркая индивидуальность — все это лучилось в его белых волосах, чистой розовой коже, длинных пальцах.

У него была потрясающая память на детали. Рассказывая о городах, где ему довелось концертировать, он всякий раз не забывал назвать точную численность городского населения. Он говорил о моем отце: «Он — l'homme complete[103]. А ему сказал: «Анаис — самое удавшееся вам произведение». В нем были величавость, достоинство, мудрость.

Я так подробно описываю Падеревского, потому что он — вымирающая раса. В конце обеда он обнял отца, как бы благословляя его, поблагодарил за красные розы — отец распорядился разбросать их по столу. Провожая меня к маленькому, похожему на клетку лифту, он тепло улыбнулся и произнес: «Ваша красота совсем из других времен».

На следующий день мы собираем вещи. Отец делает отметки на дорожной карте. В Париж мы отправляемся одни. Делия присматривается ко мне. У нее сияющие блестящие глаза маленькой девочки на лице пятидесятилетней женщины. Марука снабжает меня инструкциями, как надо заботиться о моем отце. «После обеда — обязательно сиеста, он должен отдыхать».

Автомобиль подан. Обедаем в Канне. Жара. Мухи. Ночуем в Арле. Под окнами нашими шумная ярмарка, и я слышу, как поют «Хабанеру». Ванна наполняется так медленно, что я начинаю заниматься другими делами и совсем забываю о ней, когда отец стучится в дверь и зовет завтракать. Сидя в столовой, я смотрю, как по кафельным ступеням течет переполнившая ванну вода, и это напоминает мне фонтаны Версаля.

Отец в стиле «герр профессор» дает мне еще один урок:

«Когда путешествуешь, ты должна отказаться от всех своих запросов. Принимай все с улыбкой. Брось все свои привычки». Он так и не заметил, что у меня нет привычек! А он улыбается, он все принимает и все терпит, кроме грязи. Когда ее слишком много, он приходит в ярость. Так он написал в «Livre d'or»[104] одного отеля вслед за многими весьма уважительными записями: «Это место полно дерьма».

За обедом разговаривает в основном он. Он убеждает меня жить для себя, отказаться от паразитов, от богемы, от неудачников. «Поверь мне, я был такой же, как ты. Но человек сам виноват в своих неудачах. Не внешняя сила, а какой-то внутренний дефект — вот причина его несчастий. Я понимаю, тебе кажется, что ты поступаешь справедливо. Но эти людишки выжмут тебя досуха, измотают, заберут себе твои силы, будут кормиться твоими идеями. Не было, наверное, человека более сострадательного, чем я, но сегодня я скажу тебе: «Не мешай слабым погибать, даже самоубийству не мешай. Ты уже исследовала много мрачных слоев, для женщины весьма опасных».

Он не уточнил, какие слои имеет в виду, он рассуждал вообще.

«Я не стал говорить тебе вначале, но меня страшно беспокоили твоя жизнь и твои друзья. Каких опасностей ты едва избежала!»

Мы расположились на балконе, отец принимал солнечную ванну, а я залюбовалась его ногами. Маленькие, изящные, совсем женские ступни. Такими бы не по земле ступать, а по облакам.

Его ноги были самой уязвимой, самой откровенно-беззащитной частью той стальной пружины, какой представлялось его тело. Словно разоблачение интимного секрета. Ахиллесова пята требовала маскировки и объясняла все: и напряженную, непреклонную волю, и деспотический характер домашнего тирана, и прямую осанку. Из своей воли он сковал броню. Я увидела вблизи его ноги, и он сразу превратился в человеческое существо, и я уже не так благоговела перед ним. Я была рада стирать испарину с его лица, когда он вел автомобиль. Раскаленное добела совершенство пугает. Куда меньше я боюсь его холодной, беспощадной критики.

Под поверхностной внешней оболочкой — таинственность, вовек неисчерпаемые глубины, непознанные сферы, тянущиеся бесконечно, не поддающиеся измерению, ибо ему требуется создать идеальный образ. В глазах людей он хочет предстать в лучшем свете. В беспристрастное, точное зеркало он взглянуть не решается. Мне он видится как плотоядное, яркое пламя в чаше от

Лалика.

Я одета в блузку из органди лососево-розового цвета и черный костюм. Она весело трепещет оборками, и отец говорит: «У тебя такой вид, будто ты собираешься улететь».

Отец поднимает с дороги навозного жука-скарабея, чтобы случайно не раздавить его. Разговариваем во время пешей прогулки под утренним солнцем.

Две стороны отца: суровость сменяется неожиданной нежностью. Он высокомерен, и это делает его молчаливым. Но в нем много остроумия и находчивости, когда он вдруг оживляется. Он знает, что наша мать изображает его черными красками, и это его печалит. Он был лишен отцовской любви. Зато мать любила его слишком сильно. Его первая любовь изменила ему. Изолина. Незабываемая. Пылкая, рыжеволосая красавица с огненным темпераментом. Но, не захотев дожидаться его возвращения с Кубы, она неожиданно вышла замуж за другого. Он пространно рассказывал о том, как спасался работой. Он открыл талант Архентины, проталкивал, писал для нее музыку. Точно так же он относился и к Андресу Сеговия и к квартету Агилар. И всюду — неблагодарность. Он умоляет меня жить лишь для себя, не возиться с неудачниками. Неудачники — это кошмар, инкубы[105]; они навалятся на тебя, сожрут твой мозг, обманут.

Должно быть согласие между его писаниями, его музыкой, его жизнью. Он даже жалеет, что забывал о собственной выгоде. Слишком много времени потерял, помогая другим.

Строгие формы его жизни. Тактичность. Учтивость. Пунктуальность даже при свиданиях. Всегда вовремя. «Если бы я нарушал приличия в денежных делах, моя музыка не была бы такой ясной. Не удалось бы поддерживать строгие стандарты в моей музыке, философии, жизни. Каждая мелочь здесь важна».

Он совершенно потряс меня, сказав: «Генри — безвольный человек, тряпка. Он существует только за счет твоей мужественности». Он исходит из того, что слабость Генри — следствие его склонности ко всему безобразному, к вони, к резким запахам: они его возбуждают. Отец говорит, что это признак импотенции и извращенности. Здоровая чувственность не нуждается в стимуляторах.

Стоит тропическая жара. Стены в гостинице покрыты голубой штукатуркой, как это делается на Кубе, и отец начинает вспоминать о тамошней жизни. «Здесь, на юге, вполне приличные люди ходят в эспадрильях[106], а я на Кубе никогда в них не обувался; они ассоциировались для меня с испанскими бедняками, приезжавшими на Кубу искать работу. «Он явился в alparagatas[107] — это была уничижительная фраза, так говорили о

первых испанцах, эмигрировавших на наш остров в поисках счастья».

К животным отец относится хорошо…

У него все подчинено воле. «Ты должна поворачивать события по своему желанию». Он полон силы, энергии, у него стоическое отношение к жизни, он даже герой. Эти качества изменили ему лишь однажды, когда он женился на нашей матери, привлеченный ее силой, преданностью, верой в него и умением готовить.

Походка у отца необычайно легкая, держится он прямо, по-королевски.

Отец организует свою жизнь, контролирует ее, истолковывает. Его страсть к критике и его безупречность сковывают меня. С Генри, у которого полностью отсутствует критика, я чувствую себя свободно. Но, правда, эта свобода не должна заходить слишком далеко, она станет разрушающей силой и с ней ничего нельзя будет построить.

Прочные стены отцовского сооружения вселяют в меня ужас. Ужас стены, дисциплины, ограничения, контроля. Когда я весело и беспечно рассказывала отцу о своем, в шестнадцатилетнем возрасте, опыте позирования художникам, живописуя яркими красками мое первое появление в Нью-Йоркском клубе моделей и мое тогдашнее платье в стиле Уатто, отец строго оборвал меня: «Почему ты говоришь Уатто? Во Франции есть только Ватто»[108].

Когда я впервые встретилась с отцом в Париже, я страшно боялась, что ему не понравится дом в Лувесьенне. И после того, как он сказал: «C'est bien[109]. Здесь есть своя прелесть», у меня камень с души скатился. Оказывается, под суровостью бьет живой родник любви.

Все-таки мне хотелось бы, чтобы любовь моя к отцу была более спокойной. На седьмой день я осторожно намекнула на это, спросив, не устал ли он от своих усилий добиться во всем и от всех совершенства. Мы так усердно старались обновиться, вырасти, целясь все время выше и выше, отбрасывая каждый день наше вчерашнее «я». И если сегодня мой отец смог бы сказать и мне и себе самому «C'est bien», как было бы радостно.

…Печально. Наша Эмилия покидает нас, выходит замуж. Мы целуемся на прощанье и обе плачем. Господи, Эмилия, всегда старавшаяся проскользнуть незамеченной, чья честность, преданность, любовь служили мне такую верную службу и помогали сделать возможной мою трудную жизнь. Эмилия, беспорядочная, рассеянная, благожелательная, понимающая, неутомимая, с ее странным слепым одобрением моей жизни и

моих поступков.

Она несла свою службу с обожанием, которому ничуть не мешала потрясающая проницательность. Она умела хранить секреты, и не задавать вопросов. Я платила ей такими же чувствами, и она чувствовала себя счастливой у нас. Она слепо принимала все, ее радовала жизнь в нашем доме, дары, что приносили в этот дом художники и поэты, радовали мои изобретения — раскрашенные камни или гороскопы, намалеванные на покатых стенах мансарды, и медь астрологических инструментов, позвонивших мне быть осведомленной о всех небесных переменах, точно так же, как легко можно узнать, который час. Эмилия с ее асимметричным, как у женщин Гойи, лицом, выпуклым лбом, клочками жирных волос, с ее типично испанскими тяжелыми веками, мелодичным голосом, застенчивой улыбкой сироты, с ее пением за работой.

Ее единственным романом до того, как возник нынешний жених, была история с молоденьким лакеем-японцем в те времена, когда мы жили на Бульваре Сюше. Он пришел к нам повидаться с хозяйкой предполагаемой невесты и произнес передо мной церемониальную речь: Эмилия-де очень экономна, и он очень экономён, а потому он думает, что это будет очень удобный для обоих брак. Он не показался мне влюбленным и Эмилию, и у меня возникли недобрые предчувствия. Он как будто собирался открыть маленькое кафе в Японии, в своем родном городе.

Нет, уверенности в счастливом будущем Эмилии у меня не было. «Она так хорошо умеет работать», — все твердил он восторженно. Я беспокоилась о своей служанке, как о собственной дочери, но не могла же я восстать против их брака. Я предложила ему подождать, пока Эмилия не соберет себе необходимого приданого в добрых традициях старой Испании: нашьет себе нижнего белья, платьев, простынь и наволочек. Я купила Эмилии необходимые материалы, подарила деревянный свадебный сундук, и, воодушевленная мною, она принялась за шитье, вышивание, вязание, прошивая кружавчиками все свои свадебные наряды. Она оказалась мастерицей в этом ремесле, была терпелива и сидела за работой все вечера. Молодой японец был приглашен наведываться и наблюдать, как наполняется драгоценный сундук. Но время шло, и, прежде чем закончилось приготовление приданого, Эмилия открыла, что японец ее вовсе не любит. И вот теперь приданое достанется набожному испанскому супругу, обожающему Эмилию.

Мне снилось, что я еду в поезде. Мои дневники лежат в черном чемодане. Иду по вагонам. Кто-то останавливает меня и

сообщает, что мой чемодан с дневниками пропал. Ужас. Вдруг слышу, что какой-то человек сжег мои дневники. Я прихожу в ярость, это же страшная несправедливость! И я прихожу в суд с жалобой. Там же присутствует и мужчина, сжегший мои дневники. Я надеюсь, что адвокат меня защитит. Судья сразу же понимает, что тот мужчина совершил преступление, что он не имел права сжигать мои дневники. Но никто из адвокатов ничего не говорит и не вступается за меня. Судья впадает в какую-то апатию. Никто не произносит ни слова. У меня ощущение, что все настроены против меня и мне придется самой себя защищать. Я поднимаюсь и произношу великолепную речь. «Из этих дневников вы сможете увидеть, что я воспитывалась в испанско-католическом духе, что в моих поступках позднее не было никакой злонамеренности; я просто боролась против тюремного заключения». Я говорю, говорю. Сознаю, что все уже убедились в моем красноречии, но молчат. Один из судей прерывает меня, поправляя мой французский. Я говорю: «Разумеется, я понимаю, что не могу говорить на безукоризненном французском языке». Тем не менее я продолжаю приводить доводы в вою защиту и в пользу обвинения того мужчины. Но все остаются безучастными. И в отчаянии от такого равнодушия я просыпаюсь.

Сезон в аду

Лихорадочные записи лета 1933 года. Анаис кидается от цитаты к цитате — переписка с Арто, переписка с отцом, выдержки из ранних, еще детских дневников, ей явно не хватает собственных слов, чтобы выразить свои ощущения от того, что обрушилось на нее в июне — сентябре 1933 года.

Этот период ее жизни, который позже, опять же прибегнув к цитате, на этот раз из А. Рембо, она назовет «Сезоном в аду», отмечен двумя яркими и не бесследно прошедшими для нее событиями — романом с Антоненом Арто и обретением отца.

Антонена Арто мы представили в предыдущем комментарии. Добавим к сказанному яркую характеристику этого человека. Ее дал один из крупнейших наших философов Мераб Мамардашвили в эссе «Метафизика Арто»:

«…он — мученик мысли. Он как бы все проделывал на самом себе. Так он был устроен. Это тело без кожи,

полностью обнаженное для ударов окружающего мира, для любых впечатлений. (Представьте себе, все время жить с содранной кожей!) Вот так жил Арто».

Анаис встретилась с ним в тот момент, когда оба они мучительно искали ответа на вопрос — как человеку осуществиться, как пребыть, как войти в творческое бытие. И этот огненноглазый безумец сразу же увлек ее. Но только как поэт, как мыслитель, как творческая личность. Здесь нам придется коснуться одного деликатного, но очень важного обстоятельства.

Анаис была увлекающейся женщиной, и она достаточно свободно смотрела на сексуальную жизнь. Но ее никак нельзя причислить к известному типу ориентированных «на телесный низ» женщин. Среди ее любовников не было так называемых «великолепных экземпляров мужской породы». Мужчина привлекал ее прежде всего своим духовным обликом, ее интересовало в нем творческое начало. Так было с Генри Миллером: близости предшествовала полная взаимная ошеломленность творчеством друг друга. Так было и с Альенди. Сначала — удивительный парадокс: в паре психоаналитик — пациент обозначились два вектора: не только врач проникает во внутреннюю жизнь пациентки, но и она, проникнув во внутренний мир своего целителя, стремится излечить его! Редко кому из общавшихся с Анаис мужчин удавалось забыть, что перед ними женщина. Анаис Нин была чертовски привлекательна и нравилась мужчинам. А ей нравилось нравиться, в ее натуре лежал мощнейший, пусть не всегда осознанный, комплекс совращения. И противиться этому было невозможно. Так обстояло дело и с Арто.

Вот она сидит за мраморным столиком кафе «Куполь», принимает, внутренне кривясь, поцелуи Арто. И стараясь не дать ему усомниться в ее искренности, она в то же время осознает, что ее тащит некая «демоническая сила, заставляющая поддразнивать, заманивать, создавать впечатление полной близости». И хотя Анаис совершенно не интересует физическая сторона отношений с этим отравленным наркотиками, полубезумным гомосексуалистом, ей лестно находиться в центре его поэтической души и она готова следовать за ним в смерть и разрушение. Она наслаждается своей игрой и выдумывает сказку своего собственного безумия. Он — ее трофей, этот человек, читающий стихи и

запинающийся, точно Гамлет. Возможно, ему она тоже кажется добычей, как казалась Генри, Альенди, Эдуардо… Она признает, что любит ритуал соблазнения, само по себе физическое обладание ее ничуть не интересует. В отличие от Дон Жуана ей нужны души, а не тела.

13 июня она приходит к Арто в его похожую на монашескую келью комнату. Не будем касаться подробностей этого любовного свидания, заметим лишь, что назвать его вполне удавшимся трудно. Именно тогда, сжимая Анаис в объятиях, Арто назовет ее «крылатым змеем». В отредактированном дневнике эта фраза дана в более невинном контексте. Миллера (которому Анаис «исповедуется в грехе» в тот же вечер) она приведет в такой восторг, что на следующий день он напишет ей двадцать четыре страницы, полные любви и всяческого фантазирования. Миллер, живший в Лувесьенне несколько дней, пока Хьюго находился в деловой поездке, накануне возвращения мужа отправлен домой, а сама Анаис идет вечером на свидание с Арто; они сидят за тем же самым столиком в «Викинге», где она не раз сиживала с Генри. И почти тут же, оставив мужу записку, послав Миллеру телеграмму и денежный чек, Анаис улетает в Ниццу, где ее ждет отец.

В «неотредактированном» дневнике тех дней Анаис рассказывает, как ее физически изматывали выступления на столь многих игровых площадках, иногда — по нескольку раз в день: «Я писала об Арто в то время, когда рядом со мной был Генри… Выходила навстречу Хьюго, ощущая на губах горечь поцелуев Арто… а к Арто, так же, как и к Альенди, приходила наполненная белой кровью Генри… Я начала сознавать, что это своего рода месть мужчинам — завоевывать их и бросать».

Позже Анаис расскажет отцу, что радовалась симметрии, встречая двух любовников в обстановке одной и той же комнаты, передавая одному носовой платок другого; расскажет, как привела Генри в тот же самый гостиничный номер, куда ее приводил Эдуардо, как за тем столиком, за которым она сидела в «Викинге» с Генри, она потом сидела с Арто.

Так вести себя может только порочная женщина, но Анаис не чувствовала угрызений совести. Она чувствовала, что, отправляясь на встречу с отцом, она улетает прочь от Хьюго, от своей матери и брата, от

Арто, от Генри — от всего и всех. Но может быть, ей еще хотелось столкнуться лицом к лицу с тем, кто завоевал ее и покинул, с Дон Жуаном, оказавшимся ее отцом.

Сентябрь, 1933

Марука привела меня в отцовский дом. Опрятнейшая, самая чистая улица в Париже, где садовники подрезают и стригут редкие, словно законсервированные кусты в маленьких стильных садиках перед фасадами домов; где лакеи старательно начищают дверные ручки; где автомобили скользят по земле так бесшумно, что всегда застают тебя врасплох; где каменные львы взирают на то, как дамы в мехах целуют маленьких собачонок. Зимними вечерами роскошные дома натоплены, как оранжереи. Стекла окон горят янтарем, в коврах тонут ноги.

Марука дала мне фотографию отца, снятую как раз в те дни, когда он покидал нас. Я была влюблена именно в этот образ, еще не скрывшийся под маской. Лицо, еще не одержимое волей. Мягкий, чуть приоткрытый рот, губы, еще не стянутые в узкую напряженную полоску. Еще нет глубоких морщин, сходящихся к переносью, нет жесткости, нет решительности. Именно такое лицо я надеялась увидеть в день нашей новой встречи, именно такое лицо влекло к себе меня еще ребенком, лицо, в котором отражались чувствительность, ранимость, эмоциональность. Годы создали для него маску. Воля. Воля. Воля. Мне стало грустно. Я поставила фотографию на свой стол. И поняла, что любила все эти годы того, кого больше нет на свете, своего молодого отца; и ужас перед его старением проник в меня, леденя душу. Острое чувство ностальгии по тому зыбкому, уже несуществующему образу, который и был героем моей мечты, пронзило меня. Сегодня я вижу, как он окаменел. Маска мудрости, старения, смерти.

Мы с Генри встречаемся у Трокадеро. Я поджидала его под большим старым деревом, читая «Господина Фока» Жана Лоррена — болезненная, сатанинская копия «Наоборот» Гюисманса. Весь Париж был окрашен в цвет глаз Астарты, преследующей мужчину. Весь Париж источал запах опиума, убийства, безумия. Я ощущала все адские круги, описанные Арто и самыми безумными поэтами, даже тогда, когда несла свое здоровое, цветущее тело после верховой прогулки в Булонском лесу в восьмом часу утра. Я была похожа на идущую сквозь расколотое пополам зеркало. Сюжет был таков: одна женщина, элегантная, посвежевшая, в расцвете сил идет по направлению к Трокадеро, а другая прогуливается среди кошмаров, терзающих ее воображение. Именно это я описала в «Доме инцеста». Постоянные кошмары. Может быть, я любила их любовью Кафки и многих других поэтов? А в лесу чистый воздух и солнце, и крапчатая листва, и кровь танцует, и

лошадь цокает под тобой копытами.

«Le bouc noire passe au fond des tenebres malsaines»[110].

Генри не узнал меня в новой шляпке, но подумал: «Кто же еще, как не Анаис, будет ждать свидания, читая книгу?»

…Мы с ним оказываемся в Абиссинии, Судане, Восточной Африке. Смотрим на маски, деревянные изваяния, шляпы из травы, инструменты для магических ритуалов, ткани, рисунки на камне, изделия гончаров, на изображение Матушки-Смерти, костюмы для церемонии обрезания; мы с восхищением любуемся свитками рукописей и татуировкой, предохраняющей от недоброго глаза, с таким талисманом не расстаются всю жизнь. И всюду глаза. Глаза, а не головы. Квадратные чурбаки с проколами для глаз. Книги с магическими рецептами, книги заклинаний, чудища, сплетенные из волос, изготовленные из тонких веревочек, из рыбьего зуба, из обожженного дерева; груди раструбом, широко разинутые вульвы, какие-то каракули. Дрожь пробирает меня с ног до головы. Арто был прав — на художественные впечатления я реагирую всеми своими чувствами. Я ощущаю себя отравленной.

Потом мы сидим в кафе. Мне все еще смешно при воспоминании об огромном костяном ожерелье вокруг шеи лежащей женщины из дерева. Генри говорит о своих книгах, о своих идеях, о своих записях. Такое изобилие, такое богатство!

Его «Черная весна», его сценарий, его книга о фильмах, его книга о Джун. Он совсем растерялся.

— Теперь я отправляюсь в Китай.

— А что ты подразумеваешь под Китаем?

Генри начал с довольно туманных объяснений. Китай, кажется, означает определенные условия существования… мир простого бытия. Где живут, как растения, — бессознательно. Никакой воли. Великая невозмутимость, как у индусов: они же позволяют себе быть бездеятельными, чтобы позволить упавшему в них семени прорасти и расцвести. Что-то среднее между волей европейцев и восточной кармой.

Но до конца в «Китайской идее» Генри я не разобралась. Временами я чувствовала, что он имеет в виду, но это выглядело натянуто и ненадежно. Жизнь его была долгим противостоянием принципу воли; впрочем, ему это было нетрудно: он и родился лишенным воли, он родился бездеятельным. Это была философия, рожденная темпераментом. Он позволял событиям происходить. Он считает, что ради сохранения способности наслаждаться жизнью надо бы поосторожней обращаться с принципом воли, умерить здесь пыл; вот это он и намерен выразить в литературе. Ведь он человек, уклоняющийся от

будничных трудов, ответственности, всяких (в том числе и семейных) уз. Освободил себя от всех обязанностей, кроме одной: писать, возможно, и за счет других, за счет маленьких людей и мелких в сравнении с ним художников.

Но для работы разве ему не понадобится воля и энергия других? Он говорит о необходимости разобраться в его заметках, горы листков бумаги с его каракулями. Организовать. Много раз приходилось мне двумя руками зарываться в этот хаос, организовывать сначала человека, а потом его работу. Чтобы быть верным самому себе, ему не следовало бы требовать от меня всего этого: соединять отрывочные заметки, придавать им цельность, выявлять суть.

Потому что он, на самом деле, дада.

Манифест дадаизма.

Dada, c'est tout, ce n'est rien, c'est oui en Russe, c'est quelque chose en Roumain, c'est quelque chose en presque toutes les langues et qui n'a pas son dada, c'est l'absurde absolu, l'absolu du fou, du non, c'est 1'art pour Part, c'est Dada.[111]

Я люблю сумерки и темноту. Я люблю хождение по улицам Парижа, я иду, и мне представляется Захер-Мазох. Он такой, каким я вижу его на обложке книги: стелется в ногах у обнаженной красавицы, еле-еле прикрытой мехами, она в высоких сапогах, и она хлещет его плетью. Эта красавица обманывает его постоянно, но он сам просил ее об этом. Вот и сейчас он с вожделением смотрит на свирепого вида служанку, потому что думает, что та обойдется с ним еще круче, чем ее хозяйка.

Но фигура съежившегося у ног красавицы Захер-Мазоха не привлекает меня. Мне интересно это неистовое испытание самых ужасных жестокостей жизни. В тот день я не смогла заговорить ни с симпатичным привратником, ни с парикмахером, потому что я хотела спросить их, откуда во мне такая склонность, просто самая настоящая страсть к мехам. Было бы у меня достаточно средств, я бы устлала мехами все полы, покрыла бы мехами стены и сама бы оделась в меха. Возможно ли, хотела я спросить, что это говорит в нас память о том, когда мы были животными? Что моя неспособность к разрушению, в которой меня обвиняет Генри, вскоре обернется своей противоположностью? Что моя жестокость просто прятала свои клыки и когти под бархатной маской и перчатками?

Книга Захер-Мазоха, положим, чересчур цветиста. Но как же можно забыть венгерских крестьянок, сбрасывающих в жаркий день почти все с себя и танцующих в одних широких юбках, которые то и дело взлетают вверх, обнажая горячие, загорелые тела? Или африканские девушки с поясами из бисера и рыбьими

зубами с привешанными колокольчиками. Девичьи бедра раскачиваются под звон колокольчиков. И верховая прогулка сегодня утром, и рысь лошади, и запах ее пота между моими ногами. Сумятица жары, запаха и движение лошадиного хребта между ногами — и мне хочется упасть на траву и предаться любви с кем-нибудь.

Отними у Генри его писание, и не знаю, кем бы он был. Люди, знающие его кротким и добрым, удивляются, что именно он пишет такие вещи. И я временами чувствую, что эта его мягкость не совсем подлинная. Таков просто его способ очаровывания. Разоруживания. Он полагает, что так легче войдет, куда ему надо. Как бы замаскирует внимательного наблюдателя, критика, обвинителя, сидящего внутри. Замаскированы его суровость, его неприязнь, его возмущение. Они не явлены, не проявляются вовне. Вот почему потом они так потрясают остальных. Я нередко замечала, когда он вел приятную беседу, те маленькие, круглые, всевидящие фотографические линзы в его голубых глазах. Писатель — создание коварное. Он никогда не ведет свою борьбу sur place[112], открыто, в присутствии других. Позже. Позже. В одиночестве.

…Я начала письмо отцу словами: «Quelle triste heures…» и тут же сообразила, что собиралась написать «henreuse» вместо «heures»[113]. Разоблачительно. Я должна была рассказать ему, как мне грустно, что не могла приехать в Валескур. Почему? Почему?

Вспоминаю забавный эпизод во время чтения того места из моих ранних тетрадей, где мать рассказывает о том, как она приняла предложение отца. «Я взглянула на его прекрасные голубые глаза, длинные черные волосы, на его залатанные штаны… и сказала «Да».

Отец, отдыхавший после врачебной процедуры, чуть не вскочил с кровати. Благородное негодование! Полушутя, полусерьезно он воскликнул: «Залатанные штаны! Quelle blaspheme![114] Я, я в залатанных штанах, ты можешь себе такое представить? Да я в чинёных брюках и из дому бы не вышел, затворился бы, как в монастыре». И вправду эти понятия абсолютно не сочетались: мой отец в чинёных штанах!

У него есть трогательные шутки, которыми он прикрывает свою ранимость, маскирует ее под юмор, ироничность, насмешку над собой. Он потом напишет мне после получения от меня дорогого подарка: «Преступная расточительность. С чего бы тебе стать такой мотовкой? Ах, да! Ты же произошла от пары залатанных штанов!»

Юмор. Юмор на краю несчастной, трагической тайны, такой

же, как и у меня, веселость для других, словно букет в серебряной бумаге, на периферии, тогда как в центре…

Единственное мягкое и способное волновать его качество. Я понимаю, как он формирует свою жизнь, инструментирует ее, словно дирижер. Музыкальная сложность и ее раскрытие. Каждое слово, каждое чувство, каждое движение обдумано, некий синтез порыва, движения. В эту минуту он прав. Момент выбран верно. Свет. Пространство. Жизнь оркеструется, формируется его волей. Когда мы прогуливаемся рядом, он не берет меня под руку. Движение укрощено, движение отлито в форму. Жизнь, в которой нет места небрежности, неряшливости, несдержанности, случайности. Стиль. Форма. Теперь вы можете идти. Наденьте ваше вечернее платье. Никакого беспорядка, капризов, фантазий.

А Генри ломает все шаблоны, все формы, разбивает скорлупу, рушит все построения искусства, и то, что появляется в результате, пусть несовершенно, но по-человечески тепло.

Мой бунт против отца затихает. Я всматривалась в его фотографию, ему на ней двадцать лет. Подумала о его стоицизме, о его воле, которой он подчиняет свои настроения, свой хаос, свою меланхолию. Мы с отцом показываем миру только лучшее в нас. Я думала о его причудливости, о его веселости в минуты, когда он на самом деле тоскует. Но не хочу я гипсовой повязки стоицизма на мое лицо и мое тело. Я хочу выбраться из моей скорлупы. Победить эту проклятую, ограничивающую меня робость.

Октябрь, 1933

Надо учиться одиночеству. Никто по-настоящему не следует за мной до конца, никто не понимает меня полностью. Отец ушел в светскую жизнь, возит Марукину мать по фешенебельным домам, по кинотеатрам и все такое. Генри эгоистичный, как все творческие люди. Он еще лучший образец.

Милый мой дневник, ты мешал мне как писателю, но поддерживал меня как человеческое существо. Я создала тебя, потому что нуждалась в друге. И в разговорах с этим другом я, может быть, делаю свою жизнь богаче.

Сегодня я начинаю работать. Писать, так как враждебность мира привела меня в уныние. Писать, чтобы ты дал мне иллюзию теплоты окружающей среды, в которой я смогла бы цвести. Моя работа разведет меня с тобой. Но я не отказываюсь от тебя. Нет, мне нужна твоя дружба. Как раз, когда я окончу работу, я оглянусь вокруг, а с кем еще может поговорить моя душа без боязни остаться непонятой? Именно здесь дышит моя любовь к покою, дышит покой.

Отложила в сторону дневник и написала первые двадцать страниц истории Джун. Беспристрастно, без предубеждений. Продуманный порядок. Бесполезные детали выброшены.

Отец пишет мне:

«По-настоящему я ошибся в жизни только один раз — женившись на твоей матери. Но я был тогда очень молод, а она, сознательно или бессознательно, играла роль. Она одурачила меня и сбросила маску только в день нашей свадьбы».

«Театр жестокости» Арто его шокировал: «Больной, невротичный, неуравновешенный наркоман. Я не верю в его демонстрацию своей болезни миру. В его драматизацию своего безумия».

Диссонанс между отцом и мною. Я написала ему два письма: сообщала новости о Торвальде и передавала мой разговор с Хоакином. Однако впечатление от этих новостей было испорчено тем, что мое письмо пересеклось с его письмом и произошел беспорядок. Вот в чем главная беда: я обязана была дождаться его ответа на мое письмо и уж затем написать следующее, а так я дезорганизовала налаженный ход переписки, чем очень его расстроила. Я писала ему иронизируя, подсмеиваясь над собой, так как не обращала внимания на дирижерские указания, играла импульсивно и разрушала тем самым симфонию. В глубине души я ведь чувствовала, что этот безжалостный и безупречный порядок, убивающий всякую непосредственность и натуральность,

никуда не годится.

Но подлинная трагедия наших отношений заключалась в том, что мы оба воздвигли себе идеал, романтически чистый образ; мы оба собирались посвятить себя исключительно друг другу. Мы решили не лгать друг другу, стать наперсниками и друзьями. Но, будучи поразительно похожи, мы неизбежно срывались с этого высокого уровня: я скрывала от него свою богемную жизнь, а он от меня своих любовниц. Конечно, для меня были совершенно прозрачны его лицемерные извинения перед Марукой, что он отправляет ее в Париж на десять дней раньше, а сам вернется один на тридцатый день. Я отчетливо представляла себе, как он принимает любовницу в той же самой гостинице в Валескуре. Но он отнюдь не собирался ехать обратно в одиночестве. И это было оскорбительно для меня: было ясно, что мне предназначаются те же россказни, что и его жене.

Забыть об этой надоедливой дамочке, постоянно сетующей, что у ее мужчин не хватает смелости убить дракона, что способны убивать драконов только телефонные короли, нефтяные короли, чемпионы по боксу да пахнущие лошадьми генералы, все те, на кого я и смотреть бы не стала.

Прибить ковер в холле.

Купить любимые отцовские сигареты.

Привести в порядок дом.

И относительно драконов…

Так или иначе, я всегда остаюсь без проводника на полпути к вершине горы. Он превращается в моего ребенка. Даже отец.

Не думаю, что я ищу мужчину, а не Бога. Пустота, которую я начинаю ощущать, вероятно, и есть отсутствие Бога. Я призывала к себе отца, советчика, вождя, защитника, друга, возлюбленного, но я упустила нечто: это должен быть Бог. Но Бог живой, а не абстракция, воплотившийся Бог, сильный, с жадными крепкими руками и небесполый.

Может быть, я полюбила творческого человека потому, что творение наиболее приближает нас к божеству.

Подчеркивание отцом нечеловеческого совершенства представляется временами знаком, что он может играть роль Бога-Отца. А человеческое несовершенство ему претит.

Важное высказывание отца: «Ты смотри не на меня, а на все, чем я пытаюсь быть, смотри на мои идеальные цели».

Смерть Антонио Франсиско Мираллеса. Он умер от астмы в гостиничном номере в полном одиночестве. Пако Мираллес, тот, кто учил меня испанским танцам.

Всякий раз, когда я выходила из автобуса на Монмартре, до меня доносилась музыка ярмарочной карусели и мое настроение,

моя походка, все мое тело заражались ее весельем. Я сворачивала в боковую улочку, стучалась в мрачную входную дверь, мне открывала взъерошенная консьержка, я спускалась по лестнице и оказывалась в большой подвальной комнате со стенами в зеркалах. Здесь репетировали девочки из балетной школы Гранд-Опера. Спускаясь по лестнице, я слышала звуки пианино, топанье ног и голос балетмейстера. Когда пианино замолкало, из зала доносился отчитывающий кого-нибудь голос учителя и слабенький шепот и вздохи учениц. К моему приходу занятия уже заканчивались и девочки, смеясь и перекликаясь, спешили мимо меня в своих балетных костюмах, трепеща, как мотыльки над запыленными балетными тапочками. Вместе с ними я шла вдоль коридора, ведущего в костюмерную. Она была похожа на сад со множеством балетных юбочек, с испанскими костюмами, распяленными на вешалках. Все это дышало запахом кольдкрема, пудры и дешевого одеколона.

Пока они переодевались, чтобы выйти на улицу, я переодевалась для моих испанских танцев. Мираллес уже репетировал под звуки своих кастаньет. Слегка расстроенное пианино начинало танец Гранадаса. Начинал вздрагивать пол — другие исполнители испанских танцев пробовали, как работают их каблуки. Тап-тап-тап-тап-тап. Мираллесу было около сорока; стройный, прямой, он не был красавцем, но танцевал с потрясающим изяществом. Лицо отличалось какой-то неопределенностью, черты его лица были сглажены.

Я была его фавориткой.

Он был похож на кроткого Свенгали[115] и своими глазами, своим голосом и руками он умел так же научить меня танцевать, как и на обычных уроках. Он управлял мною с какой-то магнетической силой.

Однажды он дожидался меня у дверей, нарядный и подтянутый.

— Ты не хотела бы посидеть со мной в кафе?

Я согласилась. Путь наш был недлинным, до площади Клиши, всегда оживленной и сейчас, а в ту пору еще больше — там располагалась постоянная ярмарка. Вовсю вертелась карусель. Цыганки предсказывали будущее в маленьких киосках, увешанных арабскими коврами. Рабочие стреляли по глиняным голубям, выигрывая хрустальную посуду для своих жен. Слонялись в поисках клиента проститутки, мужчины присматривались к ним.

А мой учитель танцев говорил мне: «Анаис, я человек простой. Отец мой был сапожником в маленькой деревушке на юге Испании. Я пошел работать на литейный завод и таскал

тяжеленные болванки, и все шло к тому, что я изувечу свои крепкие мускулы. Но в свой обеденный перерыв я танцевал. Я хотел стать профессиональным танцовщиком и упражнялся днем и ночью. Вечерами я приходил к цыганским пещерам и учился танцевать у цыган. Я начал выступать в кабачках. А сегодня…» — тут он вытащил сигаретницу с выгравированными на ней именами всех знаменитых испанских танцовщиц. «А сегодня я могу сказать, что выступал со всеми этими женщинами. Если ты поедешь со мной, мы добьемся успеха. Я простой мужик, но мы будем танцевать с тобой во всех городах Европы. Я не молодой человек, но на танцы меня еще хватит. Мы будем счастливы».

Карусель кружилась и пела, а передо мной плыли картины моей карьеры с Мираллесом, танцы, так сходные с полетами из города в город, букеты цветов, похвалы в газетах, а в центре всего живительная музыка, наслаждение столь же многоцветное, как испанские платья — красные, оранжевые, черные и золотые, золотые и пурпурные, черные и белые.

Воображение… подобно амнезии. Забыто, кто я, где я и почему невозможно так поступить. Не зная, что ответить, не обижая его, я пробормотала: «Но у меня не хватит сил».

— Я так и подумал, когда увидел тебя в первый раз. Подумал, что тебе не выдержать дисциплины профессиональной танцовщицы. Но это не так. Ты выглядишь очень хрупкой, но ты здоровая женщина. Я могу определить здоровую женщину по ее коже. У тебя кожа чистая, сияющая. Нет, я, конечно, не думаю, что у тебя лошадиная выносливость, ты то, что у нас называется petite nature[116]. Но у тебя есть энергия и выдержка. Мы с тобой славно поездим.

Очень часто, после тяжелого урока, мы сиживали с ним в этом маленьком кафе, воображая, какой могла бы быть наша жизнь.

Я танцевала в дуэте с Мираллесом несколько раз: на открытии haute couture в доме одного миллионера из Бразилии, в ночном клубе. Но, когда мне устроили просмотр в «Опера» и я была приглашена в Amor Brujo и должна была с ними объехать весь мир, я перестала танцевать.

А Пако Мираллес умер один в гостиничном номере от астмы. В том самом, родном своем городе Валенсии, куда он и хотел возвратиться, старательно экономя деньги. Был он человеком добрым и непритязательным и говаривал мне: «Видишь, у меня нет норова, не то что у других. Тебе будет хорошо со мной». Как раз потому, что я прислушивалась к его красочным рассказам о своем ярком прошлом, он расцветал, оживлялся, бросался к своему танцу с воскресшими силами, молодел, покупал себе

новый костюм.

На время я как бы перемещалась в его убогий номер с фотографиями испанских танцовщиц на стенах. Я знала, как это было в России, в мюзик-холлах по всему миру. Запах танцев, артистических уборных, едкая атмосфера репетиций. Лола, Альма Вива, Аргентинита. Я влезала в комнатные шлепанцы, в цветастое кимоно. Я открывала дверь, а там стоял мой отец и говорил мне: «Ты что, забыла, кто ты такая? Ты моя дочь, и ты забыла о своем классе, своем имени, своем положении в обществе».

И однажды я очнулась от амнезии. Больше никаких танцев. Мираллес подернулся пеплом и золой, испустил дух. Он снова стал стареющим потрепанным учителем танцев.

Как часто я убиваю в себе идеал. Включаю критический взгляд. Теряю себя. Это — один из таких случаев.

Идеал медленно превращается в смешную фигуру. И мне смешно.

Написанное мною тоже распадается надвое: сны и грезы по одну сторону, человеческая реальность — по другую. Я изъяла из «Дома инцеста» то, что больше подходит «Зиме притворств». Там, где человеческий дух, а не галлюцинации.

Насчет «Дома инцеста». Читая «Сад пыток» Мирбо, я вспоминаю, как была поражена описанием физических мучений и жестокости. Вспоминаю также свою одержимость, преследовавшие меня навязчивые идеи и страхи; они были не менее мучительны, но описаны не столь ярко и живо, как пытки телесные. Вот я и хотела дать в «Доме инцеста» представление о психологических пытках, двойнике физических страданий. (Джун, Жанна, Арто, Маргарита и реальность их страданий.)

Генри очень доволен своим изображением в «Зиме притворств».

— До чего ж полный портрет! И такой человеческий, такой теплый.

…Отец пребывал в одном из своих «надмирных» состояний. Идя от ворот до дверей нашего дома, он читал на ходу, а затем начал монолог:

— Почему у них в поездах нет вагонов первого класса для курящих? Я пошел к начальнику станции с жалобой. Я сказал ему: «Этим же наносится урон финансам Франции, потому что курю я только французские сигареты», и еще много чего наговорил.

Поток слов у него, как у Джун. Для чего? Что он прикрывает этим? Я попыталась попасть в его настрой. Стала убеждать его, чтобы он продолжал вести прежнюю жизнь, развлекаясь со своими подругами, потому что любовь ко мне не должна

ограничивать его жизнь, а скорее наоборот. Он ответил: «Нет, я не смог бы так жить снова. Хочу, чтобы эта любовь стала апофеозом всей моей жизни. И нельзя ее запачкать обычными любовными интрижками. Она должна остаться чистой, неповторимой, единственной».

Насколько я могу судить о своем двойнике по самой себе, мне стало ясно, что, желая превратить нашу любовь в идеальный финал его карьеры Дон Жуана, он спутал желаемое с действительным. Я знала, что он жить так не сможет, и не думала просить его об этом. Это никак не входило в мою программу. Но когда он стал интересоваться моим взглядом на нашу будущую жизнь, я почувствовала, что должна дать ему те же романтические обещания. Мы оба обманывали один другого по той же самой причине: желание сотворить неосуществимый жизненный идеал.

Ужасно в стареющих мужчинах то, как они подсчитывают число своих любовных подвигов. Отец говорит: «В моем возрасте любовью заниматься можно лишь раз в неделю».

Он, стало быть, утомился даже от своих случайных, без любви, связей? Не хочет ли он заменить сексуальные развлечения более глубоким чувством?

Нарциссизм его куда сильнее моего. Он никогда не любил свою противоположность. Моя мать была ему противоположностью, и между ними незамедлительно вспыхнули распри. Кажется, величайшим ее преступлением (помимо властности и дурного темперамента) было преступление против эстетики романтики: в ночь их свадьбы (в те времена женщины носили накладки и шиньоны) она положила все свои фальшивые волосы на ночной столик возле брачного ложа.

И так как он способен любить только то, что похоже на него, то и во мне он хочет любить лишь то, что напоминает его, а не различия в наших характерах.

Он постоянно твердит: «Какая ты естественная, какая подлинная».

К концу пребывания в Лувесьенне он несколько расслабился. Я повела его в сад показать птичье гнездо.

Для него это было все равно что посмотреть в зеркало. Я знала, что на обратном пути в Париж он станет размышлять о своих ошибках, о которых он не говорил, о том, что вышло не так.

Может быть, он пожалеет, что не воспользовался предоставленным мною удобным случаем и не раскрыл мне всю правду о своей жизни.

Генри вернул мне экземпляр «Дома инцеста» со своими комментариями на полях. Я наткнулась на такое его замечание:

«Все изобразительные куски великолепны. Можно сделать киносценарий. Начать со сцены с гигантским шаром-аквариумом».

Когда он пришел, у нас завязался обстоятельный разговор. Он показал мне несколько фотографий Брассе[117] и сказал, что поговорил с ним. Я ознакомила Генри с Жозефом Дельтеем[118]. Мы начали составлять сценарий. Генри писал одну сцену, я — другую. Он создавал универсум сновидений, я занималась деталями. Его тянуло в космическую символику, меня — к личности. У нас кружились головы от того, что мы напридумывали. Как от наркотика. Мы говорили о снах — вернулись к моему первоначальному высказыванию, что большинство «сноописаний»[119] фальшивы и сконструированы, что реальные сновидения вполне аутентичны и могут быть осознанны. Интеллектуально сфабрикованные сны не способны вызвать ощущения присутствия при сновидении у остальных людей (пример — фильм Кокто[120]).

О снах я говорю охотно и обстоятельно. Это моя любимая тема, и мне хорошо знакомы все технические аспекты в этой сфере. Генри воодушевился, он придумывает, подсказывает, добавляет. Какое кино можно сделать из «Дома инцеста»! «Пойди и познакомься с Жерменой Дюлак, — говорит он. — Она тебе понравится».

Мы опьянены образами, словами, сценами. Мы в таком настроении, что Генри провозглашает: «Вот что значит наслаждаться — разговаривать так, как мы сейчас!» И продолжает: «Я ведь не ради удовольствия отправляюсь на все эти посиделки — все это мертво: кафе, кабаре, побольше народу. Я выхожу в надежде на что-нибудь интересное, а когда возвращаюсь, то плююсь от злости и отвращения». И он встал, чтобы показать, как он идет, сердито отплевываясь, и у него это получилось смешно.

Он читает последние страницы «Зимы притворств», критикует, похваливает. Я иронически отношусь к современной французской литературе, которую он ставит довольно высоко. Я не вижу в ней крупных фигур, уровня Лоуренса. Мы сходимся на том, что у французов есть прекрасные стилисты — Дюамель, Дельтей, еще несколько. Но другие, которые пишут хуже, гораздо крупнее. Нельзя объяснить почему. Они велики своим человеческим несовершенством. Их любят. Восхищаются ими. Они — как Бах в сравнении с композиторами-романтиками. Я люблю романтиков. Генри испытывает меня, экзаменует, приводя примеры, которых я не знала. И я сразу же улавливаю не нравящиеся мне черты, те, что оставляют меня холодной. Логика,

порядок, сконструированность, классическая строгость формы, уравновешенность, сдержанность. И мне хочется закричать: я люблю плохо пишущих писателей, люблю Достоевского, Лоуренса, Генри. У них есть мощь.

Генри все пытается обуздать крайности моего письма, хотя сам позволяет себе очень многое. Почему? Может быть, потому, что я еще не слишком сильна в своем ремесле. Стиль мой страдает, когда я рвусь на свободу, когда настроена слишком решительно. Тому, что я пишу, надо научиться выдерживать груз моей кипучей натуры, моей витальности. Думаю, что я еще не стала взрослым писателем. Но рамы высажены, чтобы открыть доступ кислороду, и именно теперь я дышу полной грудью.

Мне следует высмеивать свои слабости. Надо преодолеть трагическое ощущение жизни и внести в мое письмо комический дух. Надо быть менее эмоциональной и более ироничной.

Некоторые события для меня совершенно отчетливы, другие словно закрыты туманом. Что-то тепло и живо, что-то происходит как бы во сне. Например, мои отношения с отцом.

Проснулась я полная отваги. В моем списке три трудных дела, три тяжелых испытания. Визит к Ранку. Примирение с Бернаром Стилем. Визит к Эдварду Титюсу за причитающимися мне деньгами. Надо выбрать, с чего начать. Решила перво-наперво уладить недоразумение со Стилем, успокоить его гнев на меня за то, что не осталась у них на уик-энд, а предпочла уехать с Арто. Тем более что он ревнует меня еще и к Генри.

Стиля нигде не было.

Эдвард Титюс уехал на юг Франции.

Ноябрь, 1933

Когда знаешь человека по его книгам, думаешь, что жизнь его бесконечна. Для меня Отто Ранк был легендой даже после того, как Генри побывал у него с визитом. Он и оставался легендой до тех пор, пока в библиотеке Психоаналитического общества я не познакомилась со списком всех его работ и не увидела в левом верхнем углу библиотечной карточки дату рождения; в правом было оставлено пустое место для даты смерти. Это меня потрясло — такое наглядное свидетельство временности его присутствия на земле. Отмеренный ему срок был близок скорее к завершению, чем к началу, и мне надо было говорить с ним сейчас. Доктор Ранк не был вечен. В левом углу библиотечной карточки имелось неопровержимое доказательство его неотвратимой судьбы. Его книги, солидные основательные труды останутся здесь, но встретиться с ним я должна была теперь.

На карточке был и его адрес. Он жил в Шестнадцатом округе в доме вблизи маленького парка.

Имелись и другое резоны. Я чувствовала, что меня буквально разрывают на части отношения с несколькими людьми; я была способна полностью отдавать себя каждому, у меня хватило бы на это любви и преданности, но все они были в конфликте друг с другом. Все ценности моего отца отрицали ценности Генри; все влияние Генри на меня старались свести на нет Арто, Альенди и психоанализ.

Я была в смятении и растерянности.

Я не нашла отца в истинном смысле этого слова.

Туманным и мглистым выдался тот день, когда я решила явиться к доктору Ранку. Выйдя из метро возле его дома, присела на скамью в маленьком сквере, чтобы приготовиться к визиту. Я понимала, что из всего многообразия моей жизни надо выбрать то, что может его заинтересовать. Он специализировался на «художнике». Художник ему и интересен. Будет ли ему интересна женщина, прожившая в кругу всех тем, на которые он писал, — темы двойника, иллюзии и реальности, инцестуальной любви в литературе, творчества и игры. Все мифы (обретение отца после многих приключений и препятствий), все сны. Я вживалась в суть его глубочайших исследований так бурно, так порывисто, что не было у меня времени обдумать, проанализировать их. Я запуталась и потерялась в попытках жить всеми моими «я»…

Во мне всегда существовало, по меньшей мере, две женщины: одна — запутавшаяся и доведенная до отчаяния, чувствующая себя человеком тонущим[121], а другая хочет приносить людям

красоту, щедрость, радость жизни, она возникает на месте действия, словно восходит на театральные подмостки, пряча все свои слабости, беспомощность, отчаяние и выставляя напоказ только улыбку, пылкость, любопытство, бурный восторг и заинтересованность.

Так что же я, приду к доктору Ранку и сравню себя с расколотым зеркалом? Или упомяну мою книжку о Лоуренсе и другие, что пишу и напишу еще?

Он рассматривает невроз как неудавшееся произведение искусства, а невротика — как художника-неудачника. Невроз, пишет он, есть проявление воображения и энергии, направленных по ложному пути. Вместо цветов или плодов я породила наваждения и страхи. Но вот концепция, которая меня привлекает. Доктор Ранк не называет невроз болезнью, это, по его мнению, незаконнорожденный, который может быть так же красив и очарователен, как и рожденный самым законным образом благородный отпрыск. Невроз — это бородатый испанский мох на дереве.

Кого же я приведу к доктору Ранку? Ту ли Анаис, что могла посреди людной улицы отряхнуть прах земной со своих ног и погрузиться в опыт эмоциональной левитации? Улица, люди, происшествия, слова — все подвергается поэтической диффузии, и в ней растворяются чувства опасности, фатальной обреченности, ограниченности. Это какое-то абстрактное опьянение — вином ли, наркотиками, подобно пророческим прозрениям поэтов.

Или рассказать ему, как больно я ударяюсь оземь?

У меня не бывало промежуточных состояний — только полет, движение, эйфория; или отчаяние, тоска, разочарованность, неподвижность и — разбитое зеркало.

— Я из тех артистов, о которых вы пишете, доктор Ранк.

Да, именно доктор Ранк открыл мне дверь.

— В самом деле?

Он говорил с жестким акцентом города Вены, обволакивая острые, отчетливые французские слова в немецкий клекот, жуя их, словно кончик сигары, вместо того чтобы выпускать на волю, как пташек из клетки. Французские слова отправляются в полет, взлетают в воздух, как почтовые голуби, но доктор Ранк их жевал и пережевывал.

Он был невысокого роста, с темной кожей и круглым лицом; и на этом лице выделялись черные, широкие, огненные глаза. Глаза затмили и коренастую фигуру, напомнившую мне доктора Калигари[122], и неровные зубы.

«Прошу вас», — улыбнулся он и повел меня в свой кабинет,

оказавшийся библиотекой с книжными, до потолка, полками и широким окном, выходящим в парк.

Среди книг я почувствовала себя по-домашнему. Выбрала глубокое кресло, он сел напротив меня.

— Итак, — произнес доктор Ранк. — Вас прислал ко мне Генри Миллер. Может быть, вы пришли ко мне самостоятельно?

— Пожалуй… Я чувствую, что формулы доктора Альенди не подходят к моему случаю. Я ведь прочла все ваши книги. И я чувствую, что в моих отношениях с отцом присутствует нечто большее, чем простое желание одержать верх над моей матерью.

Его улыбка показала мне, что он понял и это большее, и мое неприятие упрощений. Он попросил меня обрисовать возможно четче и полнее контуры моей жизни и моей деятельности. Я постаралась.

— Я знаю, что художник может обратить свои конфликты себе на пользу. Но сейчас я чувствую, что трачу слишком много сил, чтобы справиться с мешаниной желаний, которые пока что не могу объяснить. Мне необходима ваша помощь.

Я тут же поняла, что говорим мы на одном языке. Потому что он продолжил меня:

— Я иду за пределы психоаналитического. Психоанализ сосредоточивается на людской схожести; меня интересуют различия между людьми. Психоаналитики пытаются привести каждого к некоему нормальному уровню, снивелировать; а я пытаюсь адаптировать человека к его собственной вселенной. Творческий инстинкт существует отдельно.

— Может быть, оттого, что я поэт, мне все время представляется, что существует нечто за нарциссизмом, мазохизмом, лесбийством и прочим.

— Конечно. Существует творчество.

Когда я упомянула краткие психоаналитические формулы, он снова улыбнулся иронически и сочувственно, как бы понимая вместе со мной их недостаточность. И я почувствовала, как далеко летят его мысли: за пределы медицины, в метафизический и философский космос. Мы быстро поняли друг друга.

— Мне хотелось бы знать то, что вы писали в периоды обострения невроза. Вот что мне интересно. Скажем, те истории, что вы сочиняли в детстве, которые все начинались со слов «Я сирота», их нельзя объяснять, как делал Альенди, просто преступным желанием избавиться от матери из ревности к отцу, из необычной любви к отцу. Вы хотели сотворить себя сами, вам было мало родиться от человеческих существ.

В нем не было напыщенной серьезности «специалиста», он не важничал, а реагировал очень быстро и живо. К каждому

произнесенному мною слову он относился так, словно только что выкопал драгоценное сокровище и в восхищении, что нашел его. Словно я была неповторимым явлением, уникумом, феноменом, который надо классифицировать.

— Вы пробуете придать вашей жизни характер мифа. Все, что вы ни нафантазируете, ни напридумываете, вам надо исполнить и довести до завершения. Вы занимаетесь мифотворчеством.

— Вот я и устала от нагромождения выдумок. Мне нужно очищение. Я должна вам признаться, в каком настроении находилась накануне нашей беседы. Вот что я записала в поезде: «По дороге к доктору Ранку обдумываю всякие способы надувательства, всякие фокусы и хитрости». Вместо того чтобы искать соответствия с истиной, я изобретала, что мне надо сказать доктору Ранку. Я репетировала текст, мизансцены, жесты, модуляции, выражения. Мне виделось, что я расположилась как бы внутри доктора Ранка и приглядываюсь к самой себе. Что мне надо сказать, чтобы произвести тот или иной эффект? Я обдумывала ложь, как другие обдумывают исповедь. Но все-таки я ведь иду к нему за помощью в разрешении моих многочисленных конфликтов, с которыми я не могу справиться даже своим писательством. Я готовилась к фальшивой комедии, как я это проделывала с Альенди. Готовилась ко всякого рода вывертам, лишь бы заинтересовать Ранка.

— Все ваши выдумки — это ведь тоже вы, — тут же отреагировал Ранк. — Они вырастают из вас.

— Может быть, я пришла не объяснить что-либо, а ради другого приключения, высветить, подчеркнуть мои проблемы, открыть все, что в них содержится, измерить их полной мерой. Опыт мой с Альенди был только новой проблемой, прибавленной к прежним. Я снова в тупике. Так что я перехожу к другим основаниям, меняю свои задачи. Конфликт не разрешился, вот почему я пришла к вам.

Я побаивалась, что он начнет сыпать определениями, формулами, но ничего подобного. У него на первом плане выступала любознательность, а не стремление к классификации. Он не был ни научным работником, норовящим втиснуть человеческое сознание в рамки теории, ни практически мыслящим врачом. Он полагался на свою интуицию, ощущал, что вот-вот откроет женщину, которую никто из нас не знал до сих пор. Новый экземпляр. Я чувствовала, что моя подлинная личность уже воссоздается в его видении. Он не бросил меня назад, в туманный океан всеобщности, не превратил в клетку среди миллиона подобных.

— То, что вы называете вашими выдумками, на самом деле

называется беллетристикой и мифами. Искусство создавать маскировку может быть таким же прекрасным, как и искусство живописи.

— Стало быть, вы говорите, что я сотворила одну женщину для своей жизни, как человека искусства, нагловатую, веселую, дерзающую, щедрую, неустрашимую; и другую, чтобы понравиться моему отцу, — проницательную женщину с устремлениями к красоте, гармонии, к самодисциплине, требовательную и разборчивую; и еще одну, живущую среди хаоса, смятенную, слабую, запинающуюся?

Вместо ответа доктор Ранк спросил:

— Что вас привело сюда?

— Ощущение, что я словно разбитое зеркало.

— Почему зеркало? И для кого зеркало? Для других, что отражаются в нем, или вы сами живете в этом зеркале, неспособная соприкоснуться с реальной жизнью?

— Альенди назвал меня литературной девочкой. Это не избавило меня от моей страсти к писательству, не вырвало из глубокой погруженности в поиск направления, не освободило от стремления осознать, в чем заключаются отклонения от моего творческого инстинкта. Но это было спасительное указание. Мне необходимо было отделиться от моих опасений.

— В стремлении к авантюрам интеллектуальным нет ничего плохого.

— Сейчас, когда я сижу перед вами, я так же правдива, как перед моим дневником.

— Искусство порождается путаницей мыслей, но если мысли чересчур запутаны, рождается дисгармония.

Он, казалось, был обуян страстью к творчеству, к вымыслам и принимал охотно, что в основе мотивации того или иного поступка лежат сновидения. Мой рассказ об отце он тут же связал с литературой различных мифов, основанных на увиденном во сне. Он говорил:

— Народная традиция, выросшая из волшебных сказок, знает множество сюжетов, сходных для всех народов, все они состоят из одинаковых элементов. Эти мифологические мотивы, как теперь видим, руководят и вашей жизнью. В этих историях исчезнувший отец возвращается через двадцать лет и находит свою выросшую без него дочь уже взрослой женщиной. В одной из моих ранних книг я собрал и тщательно проанализировал классические примеры этого сюжета. Один из самых известных — пример Перикла, бытовавший на протяжении всего Средневековья и претворенный Шекспиром для театра.

Детали этой мировой легенды меняются в зависимости от

времени и обычаев, но основное зерно остается неизменным: покинутая девочка чудесным образом спасается во множестве опасных приключений, находит отца, но оба они не могут узнать друг друга. Встреча эта происходит через те же самые легендарные двадцать лет. Временной перерыв объясняется очень просто: дочь должна созреть и быть готовой стать женщиной. Отец, не ведающий, что он обрел потерянную дочь, влюбляется в нее; дело идет к их браку, но здесь предания не допускают инцеста, в последний момент отец и дочь узнают истину.

Все эти тщательно разработанные фантастические истории могут быть — мифологически это так и есть — объяснены как символика космических циклов, как миф о Солнце и Луне, то уходящих в разные стороны, то снова встречающихся. Согласитесь, что подобное космическое объяснение, не заботящееся об астрономических деталях, подходит для этих невероятных приключений куда лучше, чем реалистическая интерпретация психоанализа, который видит в этих мифах доказательство стремления человека к кровосмесительной связи между детьми и родителями. Тот факт, что согласно традиции отец и дочь при встрече не узнают друг друга, не мешает этим психологическим толкователям: в этом факте они видят отражение негативного взгляда общества на стремление к инцесту, стремление, не осознаваемое людьми, остающееся в подсознании.

Вопрос в том, рассказаны или написаны эти истории с точки зрения девушки или же отца? Потому что аналогичные сказания о героях (я их исследовал в отдельном эссе, где герой представлен как чудом спасшийся ребенок, обычно женящийся на своей матери, подобно знаменитому Эдипу из греческого мифа) созданы, очевидно, с сыновней точки зрения; тогда как героиня в сказаниях другого рода кажется увиденной глазами отца и изображена соответствующим образом.

Другое различие между космическим героем и космической героиней — в том, как они изображены — равным образом заставляет поломать голову. Хотя миф о герое прославляет его богоподобные подвиги, выглядит это, для меня, по крайней мере, более человеческим, менее космическим, чем приключения дочери; ее самым большим достижением кажется то, что в своем потерянном отце она обнаруживает мужчину, следуя любовному наитию. Однако этот человечный, даже слишком человечный мотив выражен с обилием космической символики, которой явно не хватает в описании героя, чья жизнь и ее финальный аккорд достаточно земного свойства.

Этот кажущийся парадокс может быть объяснен тем фактом,

что у мужчины хватало сил претворить иные из своих честолюбивых мечтаний в жизнь актом художественного творчества. Женщина же, будучи ближе к космическим силам, должна была выражать даже человеческое в символах универсума. В сказках «Тысячи и одной ночи», например, выросших из давней семитской традиции, женщина не только постоянно сравнивается с луной, но она и есть луна и ведет себя, как положено луне. Она всегда исчезает на какое-то время, и ее верному любовнику приходится искать ее и найти, как день встречается с ночью на рассвете, всего для одного поцелуя, чтобы потом снова разлучиться.

Очеловеченная традиция этого «инцестуального цикла», каким мы ее обнаруживаем в литературе всех времен и народов, могла быть достаточно хорошо воплощена именно мужчиной. Он всегда наготове узурпировать акт творения, тогда как вошедшая в поговорки покорность женщины, которая всегда либо в ожидании, либо кем-то преследуема, дает мужчине право описать ее так, как он хочет, в истории ее жизни, написанной им. А вот теперь я был бы рад услышать женский вариант той же истории.

Таково было содержание нашей первой беседы. Во время разговора он прерывался на то, чтобы показать мне книги на своих книжных полках. А когда я уходила, он взглянул на тетрадь дневника, которую я держала в руках, и сказал: «Оставьте это у меня».

Я вздрогнула. Да, я взяла дневник с собой, как я это часто делала, чтобы внести в него новые записи, пока кого-нибудь жду. Но на этот раз там уже появились записи о всех тех выдумках, которые я намеревалась предложить доктору Ранку! И так вдруг, ни с того ни с сего, показать эти записи ему самому было страшновато. Что он подумает? Не потеряет ли интереса ко мне? Будет ли он шокирован, потрясен? Это был бы смелый ход. То, что я явилась к нему с дневником в руках, можно истолковать, как желание «поделиться». Я подумала и положила дневник на столик, стоявший между двумя креслами. И ушла.

…Вторая наша встреча. Доктор Ранк говорит:

— Мы очень мало знаем о женщинах. На первом месте стоял мужчина, придумавший «душу». Мужчина был философом, психологом, историком, биографом. Женщине дозволялось лишь принимать мужскую классификацию и интерпретацию. Женщины же, игравшие важные роли, мыслили и писали по-мужски.

Лишь в процессе изучения подсознательного мы начали понимать, что особый, женский способ действий, женские мотивации гораздо чаще происходят из той смеси интуиции,

инстинкта, личного опыта, личного отношения ко всем явлениям, которую мужчины отрицают. Именно через психологию нам открылся тот факт, что убеждение мужчины в его объективности — всего лишь фикция, в которую мужчина по необходимости верит. Самые объективные системы мышления могут иметь субъективную основу. Три формы жизни ближе всего к чувствам женщины: ребенок, художник, первобытный человек. Они действуют, доверяя своему непосредственному видению, чувству и инстинкту. Ведь они сохраняли контакт с той таинственной сферой, которую мы только открываем сейчас. Они бессловесны и выразить себя могут лишь посредством символов, снов и мифов.

Он это говорил, а я думала о трудностях, возникающих у меня при писании, о моих потугах четко выразить чувства, не так-то легко поддающиеся выражению. О моих усилиях в поисках языка для интуиции, чувствований, инстинктов, которые по самой своей сущности текучи и неуловимы.

Но разве не Лоуренс писал о том, как женщина берет за образец то, что предлагает ей мужчина, и продолжает жить с тем, что он изобрел для нее? Немногие писатели обладали достаточной проницательностью, чтобы провидеть женщину. Немногие женщины сумели проникнуть в себя! И тогда они восстали против того, что там увидели, точно так же, как люди возмущались тем, что излагал им Фрейд.

Мужчина должен бояться усилий женщины самой создать себя, а не быть рожденной из Адамова ребра. Они возрождают в нем старый страх перед женской властью. Но он забывает при этом, что зависимость не порождает любви, что управление силами природы — достижение, не большее, чем управление женщиной, ибо это всегда вызывает бунты инстинктов, землетрясения и гигантские приливные волны. Обуздывать природу — значит истощать гигантские природные ресурсы; то же самое и с женщиной. Ведь это женщина восстает против дегуманизации людей индустрией и машинами. Мужчина осуществляет это путем мятежа или преступления. Женщина ищет другие пути. Мятеж не в ее натуре. Доктор Ранк говорит:

— Я не верю в слишком продолжительный психоанализ. Не верю в необходимость долгого копания в прошлом, погружения в него. Я считаю, что невроз подобен вирулентному абсцессу или инфекции. На него надо набрасываться немедленно и беспощадно. Разумеется, причина болезни может скрываться в прошлом, но вирулентный кризис должен быть стремительно остановлен. Я верю в быстрый удар непосредственно в сердцевину болезни, обнаруженной по симптомам. Прошлое — это лабиринт, и не надо двигаться по нему мелкими шажками,

заглядывая в любой изгиб и боковые ходы. Прошлое разоблачается тотчас именно в сегодняшней лихорадке или гнойнике души.

Я считаю, психоанализ превратился в злейшего врага человека. Он убивает то, что подвергает анализу. Я достаточно нагляделся на психоанализ Фрейда и его выучеников, превратившихся в безапелляционных догматиков. Вот почему я был подвергнут остракизму и изгнан из первоначальной группы. И я заинтересовался искусством. Заинтересовался литературой, магией языка. Терпеть не могу медицинского языка, он стерилен. Я изучал мифологию, археологию, драму, живопись, скульптуру, историю. Все, что есть искусство и творчество.

Таково было содержание нашего второго разговора.

Он понял, что я была шокирована его просьбой оставить ему мой дневник.

— Но для чего же вы принесли его, как не для того, чтобы дать мне его прочитать, из желания вообще дать прочитать его кому-нибудь? Для кого вы писали с самого начала?

— Для отца.

— И ваш отец читал его?

— Только несколько первых тетрадей, написанных по-французски. По-английски он не читает.

— Видите ли, в вашем дневнике перед нами предстает история, написанная самой женщиной, и, что особенно важно, у подобных историй есть богатая традиция. Вполне возможно, что вы считали себя виноватой в том, что ваш отец покинул вас, чувствовали, что он разочарован вами, что вы не оправдали его надежд, как это произошло у него с вашей матушкой. Вот вы и попытались отвоевать его, рассказывая «арабские сказки», чтобы развлечь его и ему понравиться (Шахерезада). Это был рассказ о вашей преданности его образу. Раскрывая себя перед вашим отцом, вы рассчитывали, что он узнает вас и полюбит. Вы рассказывали ему все, но при этом не упускали быть очаровательной и проявить свой юмор. Таким вот путем вы воссоединились с ним гораздо раньше, чем встретились с ним в жизни, с того самого момента, когда начали дневник, может быть, из повелительной мотивации установить с ним связь, перекинуть к нему мост.

— Но почему же тогда, когда я встретила его в первый раз после разлуки, я его бросила?

— Вам было необходимо бросить его на первый раз для завершения цикла. Вы ведь не только осуществили свое давнее желание воссоединиться с ним, но вы освободились от фатального детерминизма всей вашей жизни — перестали

ощущать себя покинутой. Потеряв его в детстве, вы потеряли в нем воплощение вашего идеального «я». Он был человек искусства, музыкант, писатель, творец, блестящий представитель светского общества. Когда же вы с ним встретились, вы были молодой женщиной на пути подлинного осознания самой себя. А здесь отец ваш ничем не мог помочь, для него ваши отношения только отражали прошлое, дочернюю и отцовскую любовь. Это должно было сломать так, чтобы вы могли обрести мужчину вне этого образа. Ваш отец, насколько я понимаю, все еще пытается вылепить вас по своему образу и подобию.

Немного помолчав, он добавил:

— Мужчина всегда старается приспособить женщину к исполнению своих замыслов и тем самым заставить женщину исказить ее подлинную суть. Многие из играемых вами «ролей» вытекают из готовности к такому приспособлению.

В один из дней доктор Ранк рассказал мне о своем детстве. Он родился в 1884 году в австрийской столице Вене. Мать его овдовела, и ребенку пришлось пойти работать в мастерскую стеклодува. Но мальчик оказался завзятым книгочеем. Все свои вечера он проводил в библиотеке, познакомился там с трудами Фрейда и зажегся его идеями.

Но у него были слабые легкие, и вскоре он заболел. Приятель привел его к доктору Альфреду Адлеру[123].

Во время осмотра они разговорились, и юный Ранк изложил свои соображения по поводу работ Фрейда. Высказал он и свое несогласие с некоторыми положениями ученого. К этому времени Ранк уже занимался исследованиями возможностей телесной памяти, висцеральной памяти крови, мускулов, задолго, еще до появления сознания, дающей первое представление ребенку о страдании и наслаждении, реальной родовой памяти. Память возникает с самого момента родов. Чувства формируются, как геологические пласты, начиная с чисто животного опыта. Роды, тепло, холод, боль.

Ранк произвел на Адлера столь сильное впечатление, что тот поспешил познакомить его с Фрейдом. Фрейд предоставил Ранку должность своего секретаря и возможность дальнейших исследований. Эта встреча состоялась в 1905 году, и с тех пор на протяжении двадцати лет Ранк был ассистентом и ближайшим сотрудником Зигмунда Фрейда. С первой же их беседы Фрейд распознал в Ранке плодоносный и оригинальный ум. Люди, окружавшие Фрейда, преклонялись перед учителем и слепо за ним следовали. Но не Ранк. Фрейда только радовали различия и столкновения мнений. Ранк учился, но он также задавал много вопросов. А его окружали старшие, более знающие и более

дисциплинированные ученики Фрейда. Однако именно Ранк сделался помощником в исследованиях, корректором рукописей и даже приемным сыном Фрейда. Фрейд поручил Ранку издание «Психоаналитического журнала». Он подарил Ранку кольцо (тот с тех пор носил его, показал мне), хотел женить его на своей дочери, сделать наследником и продолжателем своего учения.

Фрейд попробовал анализировать Ранка, но это оказалось ошибкой. Возможно, потому, что они были слишком тесно связаны, возможно, из-за того, что Ранк был непослушным сыном и с некоторыми его идеями Фрейд не соглашался. Фрейд не одобрял ни концепции родовой травмы, ни мыслей Ранка о реальности и иллюзии. Подобно всем отцам, Фрейду хотелось видеть в Ранке лишь улучшенную свою копию. Но Фрейд принимал исследовательский дух своего ученика и был объективен. Подлинный разрыв был спровоцирован другими, желавшими видеть сплоченную группу строгих, ни в чем не сомневающихся адептов Фрейдовой школы. В 1919 году Ранк основал издательство с целью сконцентрировать публикацию всей психоаналитической литературы на одном предприятии. В Вене Ранк стал председателем Венского психоаналитического общества и генеральным секретарем Международной психоаналитической ассоциации.

Все это способствовало росту ревности среди сотрудников Фрейда. Они изо всех сил трудились над увеличением трещины между учителем и учеником. Хотя все свои новые открытия Ранк неизменно посвящал Фрейду, тот так и не смог простить ему подкапываний под основу основ. Исследования Ранка все более казались старому учителю угрозой для его собственных работ. А уж ученики раздували вовсю этот огонек подозрительности. Ранк чувствовал себя все более и более чужим в Вене и наконец в 1926 году перенес свою деятельность в Париж. Старые школяры психоанализа могли торжествовать: их почти двадцатилетняя борьба против «гадкого утенка» закончилась успехом. Ранк потерял не только отца, он потерял мэтра, мир, вселенную. В Париже он работал в полном одиночестве. Его книга отнесла его на периферию академической психологии.

В ранних своих работах Ранк искал приложение теории Фрейда к исследованиям в области литературы и культуры, но в 1924 году он опубликовал солидный том под названием «Травма рождения», положивший начало новой философии жизни. С того времени его вклад в науку еще более увеличился. Три его последние книги были переведены и на английский язык. Это «Современное воспитание, критика его основополагающих идей», «Искусство и художник», «Творческий порыв и персональное

развитие».

Он был назначен директором Психологического центра в Париже.

Ранк начал рассматривать невротика как неудачливого художника, как идущую не туда творческую личность. Невроз — это «неисправность функции воображения». Ранк не обращается с невротиком неуважительно, как это случается с иными докторами, особенно с докторами старой школы по отношению к душевнобольным. В невротическом сознании вины присутствуют также следы религиозного духа, негативного выражения религиозности, негативного аспекта творчества.

Слушая его, я вспоминала, что при чтении жизнеописаний романтиков меня поразила аналогия между неврозом и романтизмом. Романтизм представлял собой подлинную параллель невроза. Он требовал реальности иллюзорного мира, любви, требовал недостижимого никогда абсолюта и губил себя неисполнением мечты (так же, как в более далекие времена умирали от чахотки или других романтических болезней).

А теперь я могла видеть, как доктор Ранк сам превратился в патриарха, издает собственные книги, развивает собственные теории.

Он начал с того, что определил мой дневник как раковину, как защитную скорлупу. Потом попросил меня не писать его дальше, просьба столь же трудновыполнимая, как совет наркоману покончить с наркотиками. Мало того, он еще посоветовал мне пожить некоторое время одной, чтобы освободить мое подлинное «я» от всех играемых мною ролей, вырваться из круга моих комплексов.

Я начала с полного приятия ранковского определения невротика: художник-неудачник, в котором творческий огонь только теплится, дает уродливые вспышки и тени, скован; это расстройство созидательных способностей в конце концов сводит творчество лишь к неврозу. Следовательно, аналитику надо восстановить творческий процесс, освободить его. А это может оказаться успешным только в том случае, когда он сам теснейшим образом свяжет себя с творчеством.

Наблюдаю за методом доктора Ранка. Прежде всего он берется за сегодняшний образ, за ткань моей нынешней жизни. Ради сближения с другими людьми я сдала немало своих позиций, отказалась от многих убеждений. Но близость, достигнутая ценой таких компромиссов и отречений, — ненастоящая близость.

Возвращение отца объяснило мне, сколь много вещей вызывают во мне протест, поднимают меня, я бы сказала, на

открытый бунт, единственный способ выражения которого заключается в том, чтобы поносить, осквернять, отрекаться от всех ценностей отца, от порядка, гармонии, уравновешенности и классического здравого рассудка.

Доктор Ранк незамедлительно разъяснил мне суть моих отношений с Джун. Лесбийская любовь здесь ни при чем, я просто имитировала отца с его ухаживанием за женщинами.

— Вы заменили утраченный предмет своей любви подражанием ему. И это было еще и проявлением страха перед мужской чувственностью, причинившей вам столь ко огорчений в детстве.

Ну да, я-то ведь знаю, что всеми домашними бурями и схватками обязана только отцовскому интересу к женщинам. Я превратилась в своего отца. Стала интеллектуальным советником матери. Я писала. Я читала книги.

— А что вы скажете о музыке? — спросил доктор Ранк.

— Нет, от музыки я отрекаюсь. Сама не знаю почему. Я люблю музыку, она затрагивает мою душу, но стать музыкантом я не захотела.

Психическая хирургия, высвобождение инстинктов, отчетливое понимание искривлений души — всего этого в исполнении Альенди оказалось недостаточно. Ведь это процесс созидания. Аналитик должен передать пациенту творческий импульс, наделить его способностью творить. Он должен обратить свою мощь на пробуждение доверия, но как бы основательны ни были способы его проникновения в суть, конечные усилия должны быть совершены мною, пациентом.

В то время с Альенди я чувствовала, что подведение под определенные, точные категории, не принимающее во внимание ничего творческого, ничего метафизического, было направлено на то, чтобы подогнать меня под общий шаблон.

Доктор Ранк, напротив, старался охватить большие пространства.

С Альенди я была ординарной женщиной, простым и наивным человеческим созданием; ему надо было только изгнать, как бесов, все мои тревоги, смутные стремления, порывы, которые могли бы занести меня в довольно опасные сферы.

Альенди не жалел сил, чтобы очертить контуры моего характера, моей истинной натуры, моего мироощущения. Но это был процесс излишнего упрощения. Он предлагал мне форму существования, в которой я бы относилась к любви легче, не придавала бы ей слишком большого значения, избегала трагедий. Он стоял за ироническое отношение к этой проблеме. Пусть это будет милым, легкомысленным, совершаемым как бы с ленцой

занятием, где одно можно легко заменить другим. «Я научу вас быть легкомысленной, не принимать это трагически, не платить слишком высокую цену за то, что может быть таким приятным».

К такому естественному завершению должно было прийти формирование моего «я», приведение его к норме. И хотя Альенди был прав насчет преодоления трагедии, он, par contre[124], проглядел глубочайшую жажду художника, для которого всезаполняющая любовь есть единственно возможная форма, которому нужна не кипяченая, а кипящая жизнь и для которого невозможен малейший компромисс с действительностью. А он видел во мне прелестную креолку в стиле Нового Орлеана, сидящую в кресле-качалке с веером в руках, в ожидании легконогого возлюбленного.

В результате с моей верой в Альенди было покончено, какой бы магией ни представлялся мне порой психоанализ, какое бы благотворное влияние он на меня ни оказывал. Встав перед возможностью этой нормальной жизни, несущей гибель моему воображению (что за жизнь была у бабушки!) и творчеству, я предпочла вернуться к неврозу и одержимости. Болезнь была более вдохновляющей и более плодотворной для поэзии.

И доктор Ранк согласился со мной.

— Вы старались оберегать ваши творческие инстинкты и то, что могло питать их. Но сам по себе невроз, вы знаете, не помогает художнику; художник творит вопреки ему, черпая материал откуда угодно. Но, разумеется, мучения Арто и адские круги Рембо не для вас.

— Будь я нормальной женщиной, жила бы себе тихо-мирно, наслаждалась бы обычным счастьем. Да ведь я не такая.

В центре этого огромного аморфного беспокойного царства, к которому доктор Ранк подыскивал ключ, находится человек, да только сердце его — сердце художника, а не простое человеческое сердце. Разоблачением художника, раскрытием процесса творчества пронизаны все расспросы доктора Ранка, расследования, простукивания, когда он прикасается своими руками к незримому, к «душе», куда проникает он гораздо дальше, чем доктор Альенди.

А проникнуть в художника, постигнуть его он может, расширяя свое воображение, ибо болезнь прячется в сфере воображения и только там до нее можно добраться и прооперировать. То самое воображение, от которого презрительно отказывался Альенди, — «несбыточная иллюзия».

Сколько раз он говорил мне: «Вам надо расстаться с причудами ваших фантазий. Это же всего-навсего игра». Но именно в фантазиях лежат тайные желания и именно туда

заронено зерно творчества. Альенди пытался счистить их, как ненужную кожуру, и выбросить. Ранк старается сделать их переходом к искусству. Искусство начинается с игры. Альенди никак не мог увидеть в иных моих играх творческий акт.

Доктор Ранк говорит о том, как влияют сновидения, литература, мифы на нашу жизнь.

— Иными словами, надо учиться языку другого, а не навязывать ему свои привычные идиомы. Альенди отделял вас от вашего дневника, ваших ранних рассказов, ваших писательских попыток. Он полагал, что сможет вылечить вас, оторвав от них. Я допускаю, что жажда абсолюта приводит к трагическому финалу, и борюсь со стремлениями к крайностям; к крайностям в жизни, к распущенности, потому что это портит вкус наслаждения, к крайностям в любви, потому что они разрушают любовь, к крайностям в страданиях, потому что они уничтожают полноту жизни.

Но есть огромная разница между решением проблемы по Альенди и моим подходом. Он старался вытеснить вашу тягу к абсолюту, ваши поиски чудесного, адаптируя вас к обычной жизни. Я же подчеркиваю необходимость адаптации к индивидуальному миру. Я хочу усилить вашу творческую энергию, чтобы поддержать ее и дать сравняться с силой ваших эмоций. Поток жизни и поток писательства должны совпадать по времени, чтобы подпитывать друг друга. В творческой активности — искупление невротической одержимости. А жизнь одна не может удовлетворить воображения.

Альенди в своем анализе пытался приспособить вас к социальному идеалу. Не стоит обращать особого внимания на различия, поскольку объектом «исцеления» является адаптация. Ошибка здесь в том, что для каждого случая есть свое решение, что имеются разнообразные индивидуальные формы адаптации, и приспособиться к самому себе гораздо важнее, чем приспособиться к среднему уровню. Обусловить вероятность счастья Альенди старался своими стандартными определениями, но ведь ваши стремления находятся совсем на другом уровне и обычное счастье вас никак не может удовлетворить. Добиться отождествления себя с цельностью возможно лишь тогда, когда индивид живет на пределе своих стремлений и в мире с самим собой.

Я подумала, что мне придется вынести его сочувствие, сострадание к моей болезни, но, когда я широко развернула перед ним всю свою щедрую на события жизнь, он сказал:

— Новый, пока еще неизвестный, герой — это тот, кто живет и любит вопреки нашей mal du siecle[125].

Романтики поспешили со своими самоубийствами. Невротик — это современный романтик, отказавшийся умирать из-за того, что его иллюзии и фантазии мешают ему жить. Он вступает с жизнью в борьбу. Когда-то мы восхищались теми, кто отказывался от компромисса и кончал с собой. Так мы еще придем к восхищению теми, кто борется против врагов жизни.

И вдруг вопрос:

— Что вы почувствовали, когда я попросил оставить мне ваш дневник?

— Прежде всего я испугалась: что вы подумаете о моих размышлениях, как бы получше выглядеть перед вами. А потом — чисто женский восторг, как у всякой женщины, когда у нее кто-нибудь просит отдать все, что ей принадлежит, всю себя. Вы потребовали все сразу, одним махом. Я испытала душевный подъем от того, что распознала власть, хозяина. Разве это не та сильная рука, которую я искала? Ведь я пришла к вам оттого, что ощущала себя потерянной, мятущейся, страдающей. И вы увидели в дневнике разгадку, ключ. Я всегда неукоснительно держалась за этот островок, на котором могла анализировать аналитика. До конца я никогда не покорялась. Ведь даже Генри, человек с опытом, в котором я искала своего вожатого, лидера, очень быстро превратился в моего ребенка или в художника, заботу о котором мне пришлось взять на себя. Где уж ему вести меня по жизни!

— Дневник — ваш последний оплот в преодолении психоанализа, в борьбе с ним. Он, как островок безопасности, на котором вам надо оставаться в часы пик. Но уж если я собрался помогать вам, не нужен вам островок, откуда вы исследуете анализ, чтобы держать его под контролем. Мне ваш анализ не нужен. Вы меня поняли?

Я поняла, что выбрала мудрого и решительного руководителя.

— А вы уже приготовились пожить несколько недель в одиночестве? Я не смогу помогать вам, если вы не отойдете от своего старого окружения, чтобы, уже успокоившись, вернуться к ним снова. Там на вас слишком многое давит.

Эта задачка была потруднее, чем расставание с дневником. Глаза Ранка сияли, голос звучал так убедительно и уверенно, что я пообещала постараться.

Так я лишилась своего опиума. Теперь вечерами я расхаживала взад и вперед по своей спальне вместо того, чтобы привычно приниматься за дневник.

Я выбрала хорошо известную гостиницу поблизости от жилья Ранка, казавшуюся очень располагающей — мне предоставили

студию, как они это называли, кухоньку с ванной, комнату и спальню, весьма смахивающую на гостиную или столовую. Все было в кремовых и оранжевых тонах и смотрелось очень модерново. Оказалось, что это весьма популярный отель для союзов, заключенных на время, пристойных содержанок, любовников на уик-энд, желающих иметь иллюзию домашнего очага. По ситуации мой выбор был абсолютно верен, но мой батюшка был шокирован — ему, очевидно, обстановка этой обители была вполне привычной.

Все это я пишу ретроспективно, по наброскам и отрывочным записям. Некий мемуар.

Доктор Ранк любил временами рассказывать о вечерах в венских кофейнях, где он с другими юными авторами горячо и бесконечно рассуждал о Фрейде, о мотивах человеческого поведения и прочем. Там, в кофейне, они разбирали драмы Брукнера. Ранку хотелось писать для театра. Но поскольку друзья потешались над его расхождениями во взглядах с Фрейдом, он стал писать о своих идеях, хотя тогда был уверен, что Фрейд о них не захочет слышать.

Я чувствую теперь, что в записную книжку хорошо ложатся записи о человеческой, столь стремительно испаряющейся сущности, материал, не годящийся для романов, то, что видит во мне женский взгляд, а не то, с чем обязан бороться художник. Просто записи в блокноте без навязчивой мании связного изложения.

Сюда я никогда не запишу ничего из того, что может подойти для «Дома инцеста» или «Зимы притворств». Записной книжке я всего своего не отдам. Не того ли хочет доктор Ранк, выманивая меня из интимности дневников в художественную прозу?

И все же нет другой книги, куда я смогла бы поместить портрет доктора Отто Ранка. Он преследует меня, мешает работать над настоящей прозой. Этот портрет должен быть написан.

Задний план: сияющая золотым тиснением и многоцветием переплетов стена книг, многие в коже и на многих языках. На таком фоне я вижу его. Впечатление живости, обостренного интереса, неугомонного любопытства. Полная противоположность педантичному автоматизму, готовым формулам, культу систематизации. От него веет жаром, словно его приводят в величайшее возбуждение предстоящие исследования и авантюры. Он им явно радуется.

И не удивительно, что это он разработал то, что сам зовет динамическим анализом, быстрым, похожим на эмоционально-шоковую терапию. Прямой, кратчайший и вызывающий по

отношению к старым методам путь. Его радостная энергия тотчас же приводит к ослаблению боли, развязывает запутанный невротический узел, связывающий все человеческие возможности в порочный круг конфликта, паралича, еще более резкого конфликта, чувства вины, искупления, наказания и еще большей вины. И мне незамедлительно стало легче дышать, просторнее жить, я испытала радостное чувство открытия и догадок. Всеохватность его интеллекта. Великолепные способности и сила мускулов. Стремительно меняющаяся окраска настроений, быстрота ритма, обусловленная его тонкой интуицией.

Я полагаюсь на него.

Мы с ним далеки от банальностей и клише ортодоксального психоанализа.

Я ощущаю ум, проницательность которому дают чувства.

Я рассказываю ему все. Он ни в коем случае не отделяет меня от моей работы. Он постигает меня благодаря ей.

И ему понятно значение дневника. Играя так много ролей: послушной дочери, любящей сестры, любовницы, покровительницы, вновь обретенной иллюзии для моего отца, необходимого на все случаи жизни друга для Генри, я должна была отыскать место для правды, для диалога без малейшей фальши.

Люди, ждущие от меня правды, убеждают меня, сами того не сознавая, что им нужна вовсе не правда, а иллюзия, с которой легче живется. Я убеждена, что людям нужен вымысел. Отец мой должен был поверить, что после нашего вторичного взаимного открытия мы порвем все прежние связи и целиком посвятим себя друг другу. Когда после летней передышки он возвратился в Париж и возобновил свою светскую жизнь, он сразу же попытался втянуть в нее и меня. Он хотел, чтобы я одевалась согласно светским традициям, сдержанно, у лучших couturiers, как это делала Марука… безукоризненно сшитый английский костюм по утрам, ухоженные, заботливо подстриженные волосы, каждый волосок на своем месте… и вот в таком виде являться в его дом, где жизнь шла такая же, как у Жанны, — светски притворная, деланная жизнь снобов. Полная противоположность этому моя артистическая жизнь. Моим друзьям художникам нравилась неряшливость, и они не стеснялись своей нищеты. Им было все равно, как я одета, как причесана, их не шокировала бы и моя неглаженая юбка. Где-то среди них находится Анаис, живущая свободно, и не имеет значения, что она вовсе не бедна, а скорее наоборот.

Ранк немедленно нащупал жизненно важную точку — связь между дневником и моим отцом. Его всегда интересовала

проблема двойника. Об этом он написал книгу. Дон Жуан и его слуга. Дон Кихот и Санчо Панса. (Добавлю от себя: Генри и клоун Фред.) Нужда в двойнике.

— Разве это не нарциссическая фантазия, ведь двойник как бы твой близнец? — спросила я.

— Не всегда. Двойник или Тень часто представляет собой ту жизнь, какую бы ты не хотел прожить, он твой близнец в смысле олицетворения твоего тайного «я», то, от чего ты отрекся. Почему бесплодному мечтателю Дон Кихоту не присоединить к себе добродушного, стоящего обеими ногами на земле Санчо Пансу? И если Дон Жуан любит отражаться в очах обожающих его женщин, отчего бы ему не обзавестись тенью, лакейски исполнительной и ученически преданной?

Так что вы верно почувствовали, что ваш отец старается подчеркнуть и усилить черты сходства между вами так, чтобы вы стали двойниками и он мог бы любить в вас свою женственную суть, а вы в нем любили бы свое мужское «я». Разве вы не рассказывали мне, что он собирался превзойти Дон Жуана по числу соблазненных женщин? Стало быть, ваш двойник заботился о вас, в то время как в вас будут влюбляться мужчины, он хотел бы тоже быть любимым, так что вы могли бы стать превосходным Андрогином[126].

Во всем этом содержится гораздо больше, чем простое стремление к инцесту. Это только один из многих вариантов попыток соединиться с другим; а когда по той или иной причине такое слияние оказывается затруднительным, тогда отступают к более легкой, уже готовой форме кровного родства. Это только один из способов преодоления одиночества.

Научная формула приводит к упрощению опыта. От Альенди я усвоила, что все, что бы я ни делала, попадает точно туда, где, по его мнению, и должно находиться; я познала угнетающее однообразие рисунка. Я испытала обескураживающее воздействие банальности жизни и характера, логику цепной реакции клише и стандартов. Альенди открывал только схему, схожую с другими схемами. Он упускал из виду особенности личности, затруднения, сложности, неожиданности, которые так легко открываются Ранку.

Ранк говорит: «В мужчине никогда не встретишь того снисходительного отношения к женскому поведению, какое присутствует в женщине по отношению к мужчине; это потому, что материнский инстинкт помогает женщине распознать в мужчине ребенка, и если она это почувствует, она не сможет осудить его. Но и мужчине с развитым чувством отцовства может быть присуще подобное же покровительственное восприятие

женщины. И такому чрезмерному потаканию никто со стороны не может найти оправдания».

Я попробовала отыскать корни моего потворства всем штучкам Генри. Попробовала объяснить Ранку, что, может быть, я не смотрю на Генри как на взрослого мужчину, осознающего свои поступки. И Ранк не стал отрицать такую возможность.

Я не смогла продолжать дальше. Я чувствую влияние Ранка, меня захватила его уверенность, что дневник для меня вреден. И тут же я поняла, что покажу ему все, чтобы для него не осталось ни одного темного места во мне. Это моя четвертая попытка отношений, основанных на полной правде. Этого не получилось с Генри — слишком многого он не смог понять; не получилось с отцом — он предпочитал жить в иллюзорном мире; не получилось с Альенди, потерявшим чувство объективности. Ранк объяснил мне сегодня причину моего желания писать о нем — сеансы анализа подходят к концу, и я чувствую, что мне предстоит потерять его. И меня тянет оставить Ранка себе, написав его портрет.

Но как только я узнала, что увижу Ранка в понедельник, желание писать пропало.

При всем при том я все еще романтик. Не то чтобы я любовалась самоубийством молодого Вертера. Нет. Я переросла веру в неотвратимость страданий. Но мне необходимо лично выразиться, лично, напрямую. Когда я закончила десять страниц романа, очень человечных, простых, искренних, когда написала несколько страниц разъедающего «Дома инцеста», когда тщательно исполнила десяток полных деталей страниц «Двойника» (ставших «Зимой притворств»), я все-таки не была удовлетворена. Мне еще многое оставалось сказать.

И то, что я должна сказать, разительно отличается от задачи художника и от искусства. Это то, что должна сказать женщина. И должна сказать не только женщина по имени Анаис, но сказать за всех женщин. Я открыла себе самое себя и чувствую, что я просто одна из многих, я — символ. Я начала понимать Джун, Жанну и многих других. Жорж Занд, Жоржетту Леблан, Элеонору Дузе, вчерашних и нынешних женщин. Молчащих женщин прошлого, укрывшихся за завесой, невыразимой словами интуиции; и сегодняшних женщин, действенных, активных, старающихся быть копией мужчины. И между ними я. Здесь моя переливающаяся через край личность, личный и вселенский потоп. Эти чувства не для книг, не для рассказов, не для литературы и искусства. Все, чем я хочу пользоваться, не подлежит трансформации. Моя жизнь была длинным рядом усилий, самодисциплины, воли. И вот здесь я могу делать наброски, импровизировать, быть свободной, быть

самой собой.

Ранк хочет посмотреть, смогу ли я держаться за записную книжку, вместо того чтобы держаться за дневник. Он борется с навязчивой идеей дневника. Я начала с портрета Ранка, потому что больше ничего не подходит к моему новому письму. Попробуем еще раз.

Ранк. Храню смутное воспоминание о мощи, даже мускулистости его бесед. Об остроумии. Само содержание тоже расплывается. Да и невозможно было разобраться в способах его анализа, настолько все у него стихийно, внезапно, стремительно. И при том невероятная гибкость мышления, пластичность, даже оппортунизм, я бы сказала. У меня не было ощущения, что он знает, что я сейчас выскажу, что для него вообще играет роль то или иное утверждение. И не было с его стороны никаких советов и указаний. Никаких идей он не навязывал моему сознанию, не в пример священнику в исповедальне, вдалбливающему в мой мозг понятие о грехе окольными вопросами: «Не обуревают ли тебя нечистые мысли, дочь моя? Не любуешься ли ты своим нагим телом, дочь моя? Не трогаешь ли ты себя, чтобы получить удовольствие, дочь моя?»

Ранк выжидает, свободный, раскованный, готовый рвануться с места в любой момент. Однако он не держит наготове капканчик, который щелкнет при первой же оплошности.

— Мне это доставит куда большее удовольствие, чем окончание моей собственной книги.

— Это говорит в вас женщина, — усмехнулся Ранк. — Когда излечивается невротичка, она становится женщиной. Когда излечивается мужчина-невротик, он становится художником. Давайте посмотрим, кто победит, женщина или художник. Вот в эту минуту вам хочется стать женщиной.

Это был самый счастливый момент анализа. Я почувствовала, что вернуть научным феноменам их жизнь может наивный, эмоциональный подход к каждой проблеме как к личному, предназначенному только тебе чуду, вера в единственность, приводящая к восторгу разгадывания. То, что убивает жизнь, зовется отсутствием тайны. Ведь даже нынешние ученые, как бы ни кичились они своими посягательствами на истину, признают существование еще более захватывающей, последней и окончательной тайны. Ничего не потеряно для любителя тьмы и тени. Тайны остаются.

Но то, что живет, — живет, постоянно двигаясь к разгадкам, в динамичном продвижении от тайны к тайне; иначе застрянешь лицом к лицу с какой-нибудь единственной тайной (таинство рождения огня, например). А такая статичность приводит к

ограничению твоих возможностей.

Сегодня, углубляясь все дальше, мы видим, что мир нашей личности намного расширился, пространство делается безграничным. Мы не рушим стен, не преодолеваем препятствий своими открытиями, не лезем в душу, не ворошим подсознательное, мы просто находим новые источники тайны, новые сферы. Отбрасываем второразрядные тайны ради более огромных и более глубоких. Нас более не страшат молнии и бури, но нам открывается, что этими опасностями чревата наша собственная природа, нам открывается символическое значение события, даже такого, как сексуальный акт, который далеко не всегда является физическим действием.

Опасения, что правда окажется неинтересной и бесполезной, знакомы лишь слабонервным художникам. Уважай таинство, говорят они. Не открывай ящик Пандоры. Но поэтическое видение — это не результат слепоты, это сила, выводящая за пределы безобразнейшей картины реальности, поглощающая и растворяющая ее. Взламывать, а не обходить стороной.

Доктор Ранк говорит между тем:

— Слишком ограниченный смысл придают сексуальному опыту, хотя было бы неверно утверждать, что психоанализ приносит просто сексуальное освобождение, это только фаза, шаг по дороге прогресса. Сексуальное освобождение не формирует мужчину или женщину, не способствует полному развитию. Действие, которое иные аналитики расценивают как достаточное свидетельство освобождения, само по себе лишено силы и не дает эффекта, если только оно не соответствует полной духовной трансформации и готовности к овеществленной зрелости.

Он добавил:

— Эта подлинная зрелость приходит из гораздо более глубоких источников и носит куда более духовный характер, чем это воображает себе ученый-психоаналитик, считающий свое дело сделанным после того, как его пациент одержит сексуальную или какую-то другую победу.

И еще сказал доктор Ранк:

— Вот так психология становится злейшим врагом человеческой души.

Вовсе не обязательно, что только травма, полученная в детстве, вызвала отрицательное отношение женщины к сексу. Оскорбленное изменой отца чувство к матери не единственная причина такого отношения. Ранк предлагает и другую версию подобного пренебрежения. Он говорит об экзистенциональном творческом порыве, вполне способном предъявить природе некоторые требования и направить энергию личности в другие

каналы. Не только все эти полеты мистицизма и воображения представляют собой бегство от жизни. Творческий акт, чью важность осознает единственно Ранк (примечательная слабость психоанализа в том, что он не рассматривает художника как отдельную сущность), также представляет собой источник действий, направленность которых меняет ход человеческой жизни.

И тогда мы подошли к моим многоплановым ролям. Я хотела быть для Арто необходимой ему женщиной, музой его поэзии, спасти его от безумия. Я хотела быть декоративным, очаровательным, салонным «автором» и классически чинным художником, как того желал мой отец. Я хотела быть женщиной, рожденной не из ребра Адама без его ведома, а созданной им самим по его замыслу, образу и подобию потому, что ему потребовалось мое существование.

— Способность художника благодаря своему воображению потеряться среди сотни ролей есть тот же самый творческий процесс саморазрушения, описанный как отождествление. Причем отождествление не только со своими земными родителями (вы ведь хотели быть похожей сразу и на своего блестящего, талантливого отца, и на праведную скромницу вашу бабушку), но и с героями беллетристики, с литературными образцами, с которыми вы старались соперничать.

— В самом деле, было время, когда и Генри, и Джун, и я считали себя персонажами Достоевского.

— Психоанализ частенько пренебрегает значением творчества художника, тогда как я вижу в нем важный разоблачительный фактор, так же как и ценность для «излечения». В творчестве содержится возможность все улаживающего уравновешивания.

— Генри однажды написал: «Я должен или тут же сойти с ума, или приняться за другую книгу».

— То, что вами потеряно, вы стремитесь воссоздать. Когда вы потеряли Европу, Испанию, музыку, вы стали писать дневник, чтобы унести свой мир с собою и построить заново.

Однажды, придя к доктору Ранку, я краем глаза увидела маленькую сухощавую женщину, одетую по-вдовьи во все черное. Я спросила, кто это, и Ранк мне объяснил: «Это моя жена. Незадолго до того, как мы поженились, она потеряла отца. Тогда ее черные одежды, траурный наряд казались мне вполне естественными. Но прошло время, а она так и осталась осиротевшей и безутешно горюющей, осталась вдовой[127]. Сравните это с вашими незамедлительными усилиями создать что-то взамен утраченного. В этом и есть художник».

На какой-то момент мне почудился мужчина, таящийся в аналитике Ранке. Сердечный, сострадательный, открытый, проницательный и кроткий. А в глазах, бывших для меня сначала глазами аналитика, я видела великую боль, великую неудовлетворенность и постижение бездн, мрачных, разверстых, наводящих ужас…

Но это была всего лишь вспышка. Это было так, словно и его коснулось и обрадовало то же самое мягкое и человечное мгновение, что и меня. Он знал, может быть, что женщина скоро померкнет, потому что здесь не было для нее роли, потому что женская роль — жить ради мужчины, ради единственного мужчины заказана мне моим неврозом. А дробить житье на кусочки — значит отвергнуть целостность характера. Он знал, что я вернусь к искусству…

Тоска заставила меня создать спасительную пещеру, мой дневник. И теперь я готовлюсь распроститься с тоской и отказаться от этого убежища. Я могу стоять без костылей, я могу сбросить свой панцирь. Я одна лицом к лицу с миром, одна, без дневника. Я теряю мою великую, расплывающуюся, раздробленную на части жалость к людям; я вижу в ней лишь преломление того сострадания, которого я хотела бы для себя. Но больше я не дарю сострадания никому, потому что сама в нем теперь не нуждаюсь.

Я думаю сегодня о своем автопортрете, он, может быть, нужен, чтобы выпарить суть, как выпаривают сухой остаток из раствора. Но я не слишком заинтересована в этом, ибо мои прежние «я» не подлежат реанимации. Те самые прежние «я», которые разрушает доктор Ранк и без которых я чувствую себя странно. Я чувствую себя иссякшей, заблудившейся, опустошенной, отданной в чьи-то руки. Я написала портрет Ранка и отдала ему.

Февраль, 1934

Смятение. Мне жалко моего дневника, он соединял мою душу и тело, держал вместе многие мои «я». Но он скончался.

Зависимость от Ранка, обучение у Ранка привели к тому, что меня обуревало желание подарить ему ценный дар. И самый важный момент в его понимании меня был тот, когда он сказал: «Мне нравится то, что вы обо мне написали. С огромным удовольствием прочел, с огромным». И лицо его выражало искреннюю признательность, а в глазах чуть ли не слезы стояли. Он заполнил все пространство между моим первым визитом к нему и этими о нем записями… 8 ноября, день смерти дневника и сегодня.

Ранк хотел освободить меня от навязчивой мании все писать в дневнике и так немного оставлять для прозы. Он приветствовал появление моей записной книжки, только б я не писала исключительно в ней. Но все же, когда я вручила ему то, что я написала о нем, он был доволен. Так же, как и Генри. Покончи с дневником, говорили они, пиши романы. Но, взглянув на свои портреты, они говорили другое: «Это великолепно».

Ранк требовал от меня писать о настоящем времени, войти в него и не оглядываться назад. Ну что ж, я и вошла в настоящее время и обнаружила в нем Генри, занятого работой над книгой о Лоуренсе. Он совсем закопался в своих блокнотах, набросках, обрывочных записях, планах, схемах, перечнях. «Давай вместе вытаскивать телегу», — предложила я. Борьба с хаосом. Генри все прибавляет и прибавляет детали к и так уже массивной конструкции, гуща пучится фактами, твердеет, кристаллизуется, все это беспорядочно, слишком плотно, без всякого просвета. Она задавливает его. Я пробую выбросить лишнее, дать больше света, чтобы вещи стали прозрачными. «Я посвящу это тебе, — говорит Генри. — Так и напишу: Анаис, открывшей для меня мир Лоуренса».

И я счастлива. Мой роман лежит себе, покрывается пылью. А я читаю «Мистерии» Кнута Гамсуна и вся наполнена безмолвной красотой этого таинства, заставляющей смолкнуть все слова. Генри считает, что он похож на Кнута Гамсуна. Но в нем нет той чистоты и простоты. Он испорчен интеллектуализмом.

Чтобы переживать зимние холода поближе к Ранку, я сняла на Авеню Виктора Гюго помпезно обставленную квартиру, принадлежащую одному старомодному светскому живописцу. Там полно каминов, голландских печей, больших неутепленных окон, мебели. Я обрадовалась при виде просторной с высоким потолком

гостиной, но оказалось так холодно, что подолгу в ней оставаться мы не могли. С тех пор как Эмилия вышла замуж, у меня не было служанки, но я думала, что это легко поправить. Явилась Тереза с мужем, и они заняли одну из маленьких комнат. Ночью печь, как старые печи в романах Достоевского, прогорает, и я замерзаю. Мне не хочется будить Терезу, так что я поднимаюсь, сама подношу уголь к печке и растапливаю ее снова. Потом Терезе пришлось уйти от нас, и я приютила голодающего испанца с беременной женой. Он служит мне со слепой преданностью, но так как жена у него беременна, то я кончила тем, что взяла на себя заботу о ней, пока он занимается топкой, мытьем окон и тому подобным.

Тут пришел конец моей благотворительности. Есть точка, на которой чувствуешь, что должна сама спасаться. Этой точки я достигла сегодня. Генри весь погружен в работу, и я им любуюсь. Сегодня он принес мне двадцать пять страниц апофеоза своей философии. Он говорит: «Люди скажут, что я смог сформулировать такие философские принципы (квиетизм[128], созерцательность, бездействие), потому что ты все за меня делала».

Я всматриваюсь в гигантскую паутину идеологий. Они извели меня, эти бесконечные манипуляции систем, постулатов, пророчеств. Я — женщина. Я могу позволить своему взгляду не быть провидческим. Я понимаю все, Шпенглера, Ранка, Лоуренса, Генри, но на меня веет холодом от этих ледяных пространств, они слишком высоко, они слишком далеки от жизни. Ты устала от идей, говорю я самой себе. Я чувствую, что двигаюсь по нисходящей, все более и более врастаю в землю. Но пока еще я испытываю некоторые из моих самых великих радостей от этого мира, радостей, подобных радостям любви.

Другие нужды надвигаются на меня: дом в Лувесьенне, ремонт, заботы, прислуга с ее проблемами, семейные дела, отец. Скучная литания[129].

Мой вернувшийся в Париж отец больше не был таким, каким он был на юге. Он снова превратился в денди, человека светского и салонного, общественного деятеля, концертного виртуоза, желанного гостя графинь и виконтесс. Он был на сцене. Как бы я этому ни противилась, ему непременно надо было загнать меня туда же. Он хочет, чтобы Марука взяла меня к своему портному, приучила к светским условностям; он хочет, чтобы я бывала с ним на всех светских вечерах и концертах, делила бы с ним его беспечную жизнь, выбирала вместе с ним изысканную трость, пользовалась самыми дорогими духами. А я сейчас приблизилась к аскетически самоотверженному моменту всей моей жизни,

стремлюсь к неприкрашенной жизни художника, стремлюсь сбросить с себя внешнюю мишуру.

О, как я далека теперь от моих символистских одеяний, от всех моих выдумок. Папаша Момус — так я зову его. Момус, древнегреческий бог насмешки и порицания, безмерно радовался, обнаружив какой-нибудь изъян у богов или людей. Однажды Нептун, Минерва и Вулкан поспорили, кто из них окажется более искусным творцом, они пригласили Момуса рассудить их. Нептун взялся сотворить быка, Минерва — дом, а Вулкан — человека. Когда задания были выполнены, Момус объявил, что Нептун должен был бы сдвинуть бычьи рога поближе друг к другу, чтобы быку было удобнее бодаться. Минерва же должна была сделать дом передвижным, чтобы, если рядом поселятся неприятные соседи, от них можно было бы уехать. Вулкан, по мнению Момуса, допустил просчет, не прорубив в груди человека окошко, чтобы можно было всегда заглянуть в мысли человека. Спорщики так возмутились придирками Момуса, что сбросили его с небес; позже Момус умер от огорчения, не найдя в Венере никакого изъяна.

Мне отвратительна искусственность отцовской жизни.

Нет никакой разумной объективности. Только инстинкт.

Слепой инстинкт.

Я изменилась, хотя вокруг меня ничего не меняется. Я стала больше женщиной.

С горечью смотрю, как мой отец, Генри, Дэвид Лоуренс, другие мужчины отдали лучшее в себе примитивным женщинам, терпели от них, тогда как ко мне, к женщине, с которой они связывают свое творчество, относятся так возвышенно, так совершенно, так многого от меня ждут, что я не в силах оправдать всех их надежд.

Я добиваюсь большей правдивости. Я высказала Альенди всю правду, но я присылаю к нему своих родственников и друзей, чтобы он видел, что я не потеряла веру в него как аналитика, просто для меня сейчас его анализ невозможен.

Я бы хотела жить в царстве гамсуновских книг, там, где или земля, домашний очаг, простая работа, грубость и простота жизни, или ночи, сны, безумство и фантазии, таинства. И никаких сведений о внешнем мире. И никаких объяснений.

Тиканье часов. Эта квартира принадлежит часам: они бьют, раскачивают маятники, позванивают колокольцами, кукуют, воркуют. Багровеющие угли в печке. Ожидание. Ожидание чего? Ранк ждет, когда он придет посмотреть, как я обхожусь без него, без подпорок.

Можно написать комедию о психоанализе, начав с ремарки

Альенди о том, как он поцеловал Элси: «Я поцеловал ее, чтобы она больше не испытывала чувства неполноценности». Умерло волшебство Альенди. Он потерял силу. Элси испугалась сама себя и спаслась в браке с пожилым человеком, очень похожим на ее отца. И с Маргаритой не все ладно: она сбежала в астрологию. А я сбежала к Ранку, и он смог помочь рождению во мне писателя.

Альенди говорит с сожалением: «Я был слишком мягок. J'ai ete trop mou».

Он не брал в расчет человеческий элемент.

Состояние квиетизма всегда достигается принесением жертвы. Это мое всегдашнее средство от страха, от тревожного беспокойства. Я радуюсь в душе, когда мне удается отомстить, но радуюсь про себя. Незачем мне выставлять напоказ, похваляться своей безжалостностью. Это игра лишь для себя, ради тайного, внутреннего равновесия. Это мой частный, маленький, усмешливый мир с запрятанным внутрь смешком и иронией, ему не требуется проявление. Страдания, которые я причиняю, подобны гомеопатическим дозам, излечивающим меня от страданий, причиненных мне. Но это не удар, это именно гомеопатия, незаметная и тонкая.

…Каждый раз после визита к отцу я прибавляю несколько страниц к своему роману[130].

Ненависть, копившаяся в людях, теперь вырвалась наружу. На улицах стычки. Говорят, во Франции революция. Люди не решались на свои внутренние революции, так теперь они осуществляют их коллективно[131].

Работа Генри над книгой снов для меня вылилась в тощую книжицу (страниц в пятьдесят), которую он переписал в особенно хаотическом стиле. И тут мы с ним пришли к новому заключению о языке сна. Однажды вечером мы окончательно уяснили это. Если кинофильмы оказались самым удачным, пользующимся огромным успехом выражением сюрреализма, тогда сценарий есть то лучшее, что можно извлечь из сюрреалистических повестей и снов. Генри это почувствовал, когда предложил сделать сценарий из моего «Дома инцеста».

Теперь я посоветовала ему сделать то же самое из своих снов, потому что они пока что еще слишком четки. (Я возражала не против непристойностей и натурализма, но только против излишней определенности.) Все это должно быть более расплывчато, контуры менее четки, один образ должен перетекать в другой, как в акварелях.

Мы поспорили и по вопросу о диалоге. Я сказала, что разговор во сне — это только одна фраза, истекающая из

миллиона разных мыслей и чувствований, только одна фраза, изредка всплывающая в огромном стремительном потоке идей. Генри согласился, что вербализация мысли во снах должна быть минимальной. И потому, согласились мы оба, должна быть телескопичность, конденсированность слова. (Психоанализ описывает большую конденсированность сновидений.)

Необходимая иллюстрация

Удивительна эта пара — Генри и Анаис! Такое постоянное напряженное интеллектуальное общение любовников встретишь не часто. Анаис, проходя сеансы у доктора Ранка, попавшая всецело под его обаяние, ни на мгновение не забывает о самом главном в своей жизни. Не только о своем возлюбленном Генри, но и о писателе Генри Миллере. «Тощая книжица страниц в пятьдесят» — это то, что под названием «В ночную жизнь…» стало главой «Черной весны». Чтобы проиллюстрировать, как реализуются в писательской практике Генри Миллера его теоретические дискуссии с Анаис о языке сна, мы приведем несколько отрывков из этой вещи (в переводе В. Минушина из «Избранного» Г. Миллера. Вильнюс, Москва, 1995):

«…Я стою посреди пустыни, поджидая поезд. У меня в сердце маленький стеклянный колокольчик и под ним — эдельвейс. Все тревоги исчезли. Даже сквозь лед я чувствую цветок, который земля пестует в ночи.

Откидываясь на спинку роскошного кожаного сиденья — полное впечатление, что путешествуешь по немецкой дороге. Я сижу у окна и читаю книгу; чувствую, кто-то заглядывает мне через плечо. Это моя собственная книга, и в ней есть место, которое меня озадачивает. Я не понимаю самих слов. В Дармштадте мы на минуту выходим из вагона, пока меняют локомотив. Стеклянный навес поднимается до нефа, покоясь на кружевных черных балках. Строгий рисунок навеса очень напоминает мою книгу — когда она лежит раскрытая у меня на коленях, выгнув страницы. В моем сердце расцветает эдельвейс.

Ночью в Германии, когда расхаживаешь взад и вперед по платформе, всегда находится кто-нибудь, кто все разобъяснит. Круглые головки и продолговатые

приходят в соприкосновение в облаке пара, шестерни расходятся и вновь сцепляются. Звук речи, похоже, усваивается лучше, чем язык вещей, словно речь — это пища для ума, насущная, насыщающая, аппетитная. Клейкие ее частицы прилипают к нёбу и растворяются не сразу, спустя месяцы после поездки. Слово «gut» — самое долгоживущее слово из всех. Кто-то говорит: «Es war gut!» — и мое брюхо довольно урчит, словно заполучило жирного фазана. Бесспорно, нет ничего лучше, нежели ехать в ночном поезде, когда все пассажиры спят, и извлекать из их ртов великолепные сочные кусочки невыговоренной речи. Когда человек спит, в его сознании происходит тьма событий, оно мчится сквозь них, как поезд сквозь тучу летних мух, затягиваемых в его вихревой поток».

И еще один отрывок из этой «книги снов», сцена, обратившая на себя внимание Анаис:

«Проходя вестибюлем отеля, замечаю, что в баре собралась толпа. Вхожу туда и вдруг слышу ребенка, вопящего от боли. Ребенок стоит на столе в окружении толпы. Это девочка, и на голове у нее, прямо на виске, рана. Над раной пузырится кровь. Только пузырится, не стекает струйкой по лицу. Когда рана раскрывается, видно, как внутри ее что-то шевелится. Я подхожу ближе, чтобы лучше видеть. Это кукушонок! Все смеются. А ребенок тем временем орет от боли.

Я слышу, как в приемной больные кашляют и шаркают ногами; слышу шелест журнальных страниц и громыхание молочного фургона по булыжнику мостовой. Моя жена сидит на белом табурете, а я прижимаю к груди голову ребенка. Рана у нее на голове вздувается и опадает, словно пульсирует рядом с моим сердцем. Хирург весь в белом моет руки и натягивает резиновые перчатки. Девочка уже не кричит, а стонет. Я крепко держу ее за руки. Жду, когда прокипятятся инструменты.

Наконец хирург готов. Сидя на маленьком табурете, он выбирает среди инструментов нечто длинное, тонкое, с раскаленным концом и безо всякого предупреждения погружает в открытую рану. Ребенок издает жуткий вопль, от которого моя жена без чувств падает на пол. «Не обращайте на нее внимания!» — говорит невозмутимый и сосредоточенный хирург и отодвигает ногой ее тело. «Теперь держите крепче!» И, окунув свой жесточайший инструмент в кипящий антисептик, он

вонзает его в висок и держит, пока рана не вспыхивает пламенем. Затем с той же дьявольской быстротой внезапно выдергивает инструмент, к ушку которого прицепился длинный белый шнур, постепенно переходящий в красную фланель, потом в жевательную резинку, потом в воздушную кукурузу и, наконец, в опилки. Как только последняя крупинка опилок извлечена, рана сама собой затягивается, оставляя после себя гладкое ровное место, без малейшего намека на шрам. Ребенок глядит на меня со спокойной улыбкой, слезает с моих колен, уверенно направляется в угол комнаты, где садится играть.

«Это было великолепно! — восклицает хирург. — Действительно, просто великолепно!»

«Ах так, великолепно!» — кричу я. И прыгнув, как какой-нибудь маньяк, сшибаю его с табурета на пол…»

Простимся на этом с образцом «особенно хаотического стиля» Генри Миллера и вернемся к Анаис Нин…

Я сказала, что надо давать сцены без всякого логического, здравого объяснения. И засомневалась, уместна ли в его книге снов дискуссия в гостиничном баре перед оперированием ребенка. Как пример немого таинства я привожу ему ощущения увиденного во сне в «Андалузском псе»[132], где ничего не облечено в слова, нет никаких поясняющих титров. Рука лежит на улице. Женщина свешивается из окна. Велосипед падает на тротуар. Крупным планом открытая рана на руке. По человеческому глазу проходят бритвой. Диалогов нет. Есть безмолвное движение образов, как в сновидении. И только одна фраза, всплывающая из моря ощущений.

Мы говорим об обычном ощущении во сне, когда кажется, что произносишь длинную блестящую речь, а от нее остается лишь несколько фраз. Такое же состояние описывают наркоманы. Им чудятся искры собственного красноречия, а на самом деле они говорят очень мало. Так же и с писательством, когда весь день в тебе бушует море идей, а приходишь домой и видишь, что все это уместилось на одной странице.

Жизнь без дневника по-прежнему тяжкое испытание для меня. Каждый вечер я рвусь к нему, как иные рвутся к опиуму. Мне нужен дневник, чтобы было на что опереться и кому довериться. Но я также хотела и писать роман. Я садилась за машинку и работала над «Домом инцеста» и «Зимой притворств». Напряженно работала. А месяцем позже я начала в дневниковой

тетради портрет Ранка, и Ранк, кажется, не раскусил, что это уже не записная книжка, а воскрешенный мною дневник.

Разница очень тонкая и еле уловимая. Но мне-то она ясна. В дневник я валю все, и это уводит меня от вымысла, творческого подхода, художественности. Ранк хочет избавить меня от этого, хочет, чтобы я писала, когда почувствую настрой, а не по ежедневной обязанности. «Выходите в мир! — говорит он. — Бросьте ваш дом в Лувесьенне! Это ведь тоже изоляция. Бросьте дневник, он отгораживает вас от мира».

Как же мне отдалиться от моего отца, не обидев его? Ранк убеждает: «Да не стесняйтесь с ним! Не бойтесь его обидеть. Вы избавите его от чувства вины перед вами за то, что он бросил вас в детстве. Он почувствует себя освобожденным, потому что понесет наказание. Бросьте его, как он бросил вас. Расплата — вещь необходимая, она приводит в равновесие эмоциональную жизнь. Это чувство, глубоко запрятанное, и правит нами. В этом корень греческих трагедий».

— У меня для этого есть свой собственный метод.

Мой собственный метод заключается в том, чтобы действовать постепенно, шаг за шагом, чтобы охлаждение почти не чувствовалось, как это было с Альенди.

Генри говорит: «Позволь вещам аккумулироваться в тебе, не выбрасывай все наружу немедленно. Пусть они успокоятся, перебродят, а потом уж вырвутся наружу».

Обед у отца. Болтаем о всяких пустяках. Графиня N. Не о ней ли отец рассказывал мне во время прогулки в Булонском лесу?

— Мы встретились с ней в Нотр-Дам, — рассказывал отец. — Она сразу же начала самый вульгарный перекрестный допрос, упрекая меня, что я ее не люблю. Что ж, я продолжал заниматься неторопливым анализом наших отношений, говоря ей, что она влюбилась в меня так, как обычно влюбляются женщины в красивого актера, играющего свою роль с жаром и изяществом. Говорил ей, что это была продиктованная литературой и воображением любовная история. Виноваты прочитанные ею мои книги. Еще говорил, что наша связь не имела никакого серьезного основания, ибо свидания прерывались интервалами в два года. Что любовь не может выжить при такой скудной пище и, кроме того, она слишком прелестная женщина, чтобы оставаться два года без любовника, особенно если учесть, что она всей душой ненавидит своего супруга. Она сказала, что во мне нет сердца. Я ответил, что так и не узнал, есть ли у меня сердце или нет, поскольку мы были вместе всего двадцать минут, в такси, в котором не было даже шторок на окнах.

— Ты так и говорил с ней, в таком ироничном тоне? —

поинтересовалась я.

— Даже еще резче. Я был раздражен тем, что она могла уделить мне только двадцать минут.

Потом он добавил: «Чтобы оправдать перед мужем свое опоздание, она даже расцарапала себе лицо, будто бы попала в автомобильную аварию.

Эта часть истории показалась мне совершенно неправдоподобной. Какая же влюбленная женщина подвергнет опасности свою красоту? А здесь перед нами была графиня с безупречно гладкой кожей, которую никогда не пятнал шрамом чей-нибудь нож.

Февраль, 1934

Отцу был очень любопытен Генри, и он пригласил его на обед. Генри появился, и отец сказал: «Он очень похож на Прокофьева». Держался отец официально и внимательно наблюдал, как Генри обходится с десертом и чашкой для полоскания пальцев, как он играет роль наивного Кнута Гамсуна. Кто восхищался естественностью Генри, так это Марука, смеявшаяся, но не над ним, а вместе с ним. После обеда она предложила ему отправиться с ней и соседскими детьми в зоопарк, чем привела Генри в сущий восторг. Отец милостиво отпустил их, как отпускают детишек поиграть с приятелями. Я облегченно вздохнула — Генри не превратился в разбушевавшегося в маленькой комнатке гиганта, как это нередко с ним случалось в подобных обстоятельствах. Очевидно, что мой отец внушил ему искреннее благоговение. Зато немного погодя он взорвался в гостях у Шарпантье, ведущего литературного критика «Меркюр де Франс». Вот там от него досталось всем.

Читаю «Сад пыток»[133] Мирбо, и он меня совершенно не трогает. Это оттого, думаю, что описание физических мучений для меня менее убедительно, чем мучения психологические. Физическая боль банальна и привычна, в психологическую мы только теперь начинаем углубляться. Каждая из этих физических пыток, перенесенная в план психологический, оказывается целым романом. Вот, например, сдирание кожи. Это можно воспринять как символ сверхчувствительности, невероятной обостренности восприятия. Громовые раскаты колокола, несущие смерть, — это же непереносимые звуковые галлюцинации. Это становится темой «Дома инцеста» и помогает в описании страха и тревог.

Сохраняю за собой дом в Лувесьенне. Будем жить там с апреля до октября, запирать его на зиму и перебираться в Париж. Я мучительно боюсь потерять Лувесьенн. Обиталище. Очаг.

…Я закончила роман.

Генри прочитал его наполовину и сказал, что это чертовски человечная вещь, даже более чем человечная. Глубокая и искренняя. Он принимает сбросившую с себя всю мишуру, голую суть моего писательства, некоторую стилизацию, обязанную моему стремлению к сжатости. Он сказал, что здесь показана женщина, женская позиция больше, чем в какой-либо другой читанной им книге.

А теперь именно я представляю собой жизнь, тогда как Генри всецело одержим своим демоном. Это я заставляю его не забывать

о пище, отдыхать, ходить в кино, сидеть в кафе. Он пишет первую часть книги о Лоуренсе. Она рождается среди неимоверных усилий обрести синтез и конструкцию, выбираясь из груды заметок, цитат, куда-то запропастившихся отрывков, одни из которых были написаны, когда Джун еще оставалась здесь, другие — в Лувесьенне, третьи — в Клиши или в разных отелях Парижа. Задача гигантская. Его философия, его критицизм, его позиция. И все это он выстраивает теперь, утверждает, противостоя Мюррею, Шпенглеру, и создает Лоуренса, какого никто раньше не смог разглядеть. Я никогда не видела его в таком состоянии. Он полностью переселился в мир идей, а я осталась хранителем жизни со всеми ее радостями. А он полыхает. Какие напряженные полмесяца! Какая-то фабрика по производству книги. Вижу, что его иллюзии насчет Лёвенфельса развеялись. Когда я только что познакомилась с Генри, его не беспокоило, подходит ли очередной новый друг его миру, потому что его мир тогда еще не родился.

Я вот-вот сломаюсь под его критицизмом. Не получается принять его.

И все-таки подействовало хорошо. На следующий день я пересмотрела всю книгу и составила другой план для первой части, который Генри не одобрил. Я безуспешно старалась соединить фантастику и реальность, простой и чистый стиль с орнаментированным. Не получилось, потому что я выхолостила всю поэзию и отглаженное письмо зазвучало фальшиво. Генри учуял компромисс. Состоялся большой разговор, в котором он требовал от меня не чуждаться крайностей, плюнуть на все сопротивление «Дому инцеста», на неодобрение Элен Бусинеск, Хоакина, Брэдли, Стиля. Доверять только самой себе, своей прямоте, своему чутью.

Так Генри снова пробудил во мне боевой дух и придал мне силы. Он просто заставил меня писать большую книгу. Подгонял меня.

Музыка не поддается формулам; музыкой прозвучало для меня его благословение.

И я увидела в писательстве все муки деторождения. Никакого веселья. Только боль, пот, изнеможение. Это сочащаяся кровь. Это проклятье. Это подлинные муки. Никто не знает этого, только настоящий писатель.

Я жажду освободиться от этой книги. Она сжирает меня.

Март, 1934

Едучи к отцу, я понимала, что лопну, но не позволю ему уехать в Испанию, думая, что меня можно так же обмануть, как он обманывает Маруку. Благодаря целой серии совпадений я прослышала о последних эскападах моего батюшки. Он взял в турне молоденькую скрипачку, условившись, что едет только с нею, без импресарио и виолончелиста.

Этот эпизод я записала прямо в текст романа, не трогая дневника.

— Мне нужно, отец, чтобы между нами была только правда.

Но он и не думал признаться, что лжет. Стал бледным от гнева. Еще никто пока что не сомневался в его честности, заявил он. Он был почти взбешен, причем беспокоила его не фальшивость положения, в какое он попал, а то, что я посмела в нем сомневаться.

— Ты все разрушаешь, — сказал он.

— Это все несерьезно насчет разрушения, — ответила я. — Давай начнем все сначала. Мы ничего не создали вместе, кроме ворохов обмана, в которых оба тонем. Я не ребенок и не могу поверить твоим историям. Нам обоим нужен кто-то, кому мы могли бы говорить правду. Если бы мы были настоящими друзьями, доверяющими один другому, мне незачем было бы обращаться к доктору Ранку.

Он побледнел еще больше, еще больше разгневался. А в глазах его я читала, что он гордится своими историями, своей собственной великолепной персоной, даже своими бреднями. И он оскорблен, как бывает оскорблен актер, не нашедший взаимопонимания с публикой. И он спрашивает себя, права ли я, и уверен, что я никоим образом не могу быть правой. И мне было видно, что он безоговорочно верит тому, что поведал мне. Иначе ему пришлось бы унизиться до того, чтобы признать себя жалким комедиантом, не способным обмануть собственную дочь.

— И тебе не на что обижаться, — говорила я. — Ничего нет позорного в том, что не удается обмануть свою дочь. И потом я так много врала тебе, что сама распознаю неправду легко.

— Теперь ты обвиняешь меня, что я веду жизнь Дон Жуана.

— Ни в чем я тебя не обвиняю. Мне просто нужна от тебя правда.

— О чем ты говоришь! Я человек порядочный.

— Я не говорю, что ты непорядочный. Я говорю только, что ты неискренен со мной.

— Продолжай, — обиделся он. — Скажи мне еще, что у меня

нет таланта, что я не умею любить, что я эгоист, скажи мне все, что мне говорила твоя мать.

— Я этому никогда не верила!.. — воскликнула я.

И внезапно остановилась. Я поняла, что отец видит теперь уже не меня, но того вечного судью, то прошлое, которое оказалось для него таким нелегким. Я почувствовала, что я уже не я, а моя мать, что у меня усталое от нудной домашней работы тело, что я возмущаюсь себялюбием и безответственностью отца. Я почувствовала гнев и отчаяние своей матери. В первый раз созданный мною образ отца рухнул на пол. Предо мной был ребенок, требующий, чтобы его все любили, и не умеющий ответить на эту любовь. Предо мной был ребенок, неспособный на акт милосердия или самоотвержения. Предо мной был ребенок, прячущийся за мужество моей матери, точно так же как сейчас он прячется за надежную спину Маруки. И я увидела образ моей матери. Я сама была моей матерью и произносила ее слова о том, что из него не получилось ни человека, ни отца, ни мужа. А может быть, она говорила ему и то, что как музыкант он не сделал ничего, чтобы оправдать ничтожность своих человеческих качеств. Всю свою жизнь он играл с людьми, с любовью, играл в любовь, играл в композитора, в пианиста, играл, играл, играл; потому что никому и ничему он не умел отдать свою душу.

Я говорила: «Я прошу только, чтобы ты был честен и с самим собой, и со мною. Признаюсь, что я лгу. Но я же ничего не прошу, кроме одного: чтобы мы жили без масок».

— Теперь скажи, что я человек поверхностный и несерьезный.

— В данный момент — да. А мне надо, чтобы ты смотрел мне в лицо и был искренен.

Отец заболел после этой сцены. Спрятался за болезнью. Он принял меня в постели. Это было большое театрализованное представление. Марука сидела возле, говорил он еле слышным голосом. Глядя в лицо Маруки, он произнес: «Знаешь, Анаис думает, что я удираю с семнадцатилетней девочкой-скрипачкой».

Марука ответила милой улыбкой: «Твой отец очень правильный, простодушный, верный и порядочный мужчина».

Отвратительная комедия. Ведь этот ласковый, лицемерный ангел прекрасно знает, что мне известны все подробности падения «девочки». Знает, что они ездили в Алжир и Марокко. Сил нету дальше выносить это. Я ухожу, еле сдерживая слезы, словно рассталась сразу со всеми надеждами, словно он умер. Напрасно мое стремление к абсолютно честным отношениям. Он предпочитает беспечное вранье. Он слаб и инфантилен.

Назад, к дневнику, к одиночеству. Изоляция. Письменный стол.

Итак, мой отец отбыл в свое турне, и я думаю о нем, как думают о менуэте, Версальском парке, сонате Моцарта.

Трижды перечитала роман.

Я заканчиваю его в ироническом духе.

Теперь, когда стало ясно, что глубокое понимание между отцом и мною невозможно, я чувствую, как я устала от жизни. Мне кажется, я в тупике. Единственный путь — литература. Книги, книги и еще раз книги.

Генри защищает мои притчи, мой сивиллин язык, мои иероглифы, телеграфный и даже стенографический стиль. Что ж, это придает мне смелости перед критикой. Я сражаюсь, как демон.

Маргарита прочла все и говорит: «Поздравляю. Вот настоящее письмо визионера. Уникально».

Я встаю с песней в душе и пишу страницы о Джун, о том, как мы шли по мертвым листьям[134], и слезы на глазах, и болтовня Джун о Боге… Генри научил меня держаться, быть стойкой и терпеливой.

Я написала отцу фантастическое письмо, сплошной пух, взбитые сливки и пена!

На Пасху возвращаюсь в Лувесьенн.

У Джека Кахане неладно с бизнесом, так же как и с его обещаниями Генри. Пожалуй, пока он совсем не разочаровался, я оплачу печатание «Тропика». Никто не идет с Генри до конца. Все они думают о деньгах, о риске предприятия и все такое прочее.

Чистила весь дом с макушки до пяток, с чердака до подвала. Всерьез занялась кухней. Перепачкала и попортила руки. Но зато в каждом чулане, во всех уголках и закоулках чистота и порядок. Пригласила Ранка на обед.

Неутешительный вечер. Мадам Ранк — пустое место и весь вечер понемногу отравляла каждому настроение. Обедали в саду. Был и Генри. Ранк говорил легко и непринужденно, как в своих книгах. Генри перестал держаться напряженно, видя, с каким удовольствием Ранк ест и пьет. Мадам Ранк холодна и сдержанна. Ранк опустил персики в свое шампанское, как делали в Вене. Он очень развеселился.

Задумываю поездку в Лондон ради книги Генри.

Обеды с этимологом из Египта, миллионером, впадающим в идиотизм, молодым поэтом с обещающим будущим, с Жанной и т. д.

Генри расположился в самой сердцевине Парижа, в густонаселенном районе Cadet. Шлюхи, арабы, испанцы, сутенеры, художники, актеры, сочинители водевилей, певицы из ночных клубов.

Он сидит в гостинице «Гавана» и пишет о навозе, язвах, шанкрах и болезнях. Почему? Он дописывает окончательную версию «Тропика Рака».

Апрель, 1934

Я еду в Лондон одна. Посмотреть, что смогу сделать для «Тропика Рака».

Прежде чем выехать, я сразила Кахане великолепной речью, и он будет издавать Генри, только я должна оплатить типографию. Я полна куража и решительности.

На этой волне я нанесла визит Сильвии Бич[135] ради Генри, Анны Грин, Ранка.

У меня второй класс, я сижу на палубном складном стульчике, и на меня посматривает юный английский матросик.

В моем портфеле рукописи Генри, «Автопортрет» и книга о Лоуренсе.

Палуба. Солнце. Грезы.

И вот я расхаживаю по улицам Лондона, восхищенная домами, окнами, порталами, лицом чистильщика обуви, шлюхами, унылым дождем, роскошным обедом в Риджент Пэлас.

Приятель сводил меня посмотреть на Чарльза Лоутона[136] в «Макбете». Он был волнующе плотским, поражал контраст между его мягкостью и дерзостью, шапкой взъерошенных волос и негроидными губами. Он мог и не быть привычным Макбетом, человеком, умирающим от душевной и мозговой болезни, но он был Макбетом, стенающим по-настоящему, он внушал страх, и жестокость его выглядела убедительной.

Мы потом прошли к нему за кулисы. Он сидел разбитый и подавленный. И вынес весьма строгий приговор себе: «У меня просто не получился портрет Макбета». Я была удивлена его скромностью. Такой низкой самооценкой.

Париж. Хожу по улицам. Поддразниваю Генри, говорю, что в моей голове полно улиц, их имен.

— Вместо мыслей мне теперь приходят в голову имена новых улиц. Я думаю об улицах. Сажусь в автобус и любуюсь ими. Без всяких мыслей. Просто наблюдаю, вглядываюсь и слушаю. Улица дю Фобур де Тампль, площадь Монтолон. Что с тобой происходит, когда ты узнаешь название улицы?

— Ничего, — сказал Генри.

Пуста моя голова. Ничего в ней нет, кроме улиц.

Может ничего не происходить с тобой, когда узнаешь название улицы, но ты погружаешься в улицы вместо того, чтобы погружаться в думы. И земля, улица, набережные неспешно отвоевывают территорию и заполняют твой разум шумами, запахами, картинками, и твоя духовная жизнь усыхает и съеживается. В этом движении к жизни, в этом отказе от всякого

медитирования — мое спасение. По каждой улице уходит прочь мое тщетное томление, сожаление, самопожирающая тоска. Площадь Монтолон торжествует над долгими часами, проведенными мною за сооружением воображаемой, мнимой общности с отцом. Запахи, автомобильные гудки, водовороты машин в часы пик развеивают всех призраков. Я разрешаю себе жить, ем во всех ресторанах Парижа, хожу во все кино, во все театры, я хочу узнать как можно больше людей; у Генри есть своя собственная карта Парижа и Бруклина, хочу, чтобы у меня была такая же подробная карта с нанесенными на нее всеми реалиями жизни.

Мучительная страсть к реальности, потому что мой воображаемый мир настолько велик, что мне никогда с ним не справиться — только так я смогу не дать ему поглотить меня.

Вне. Я всегда вне. Со всеми. Прошлую ночь я провела в роскошном ночном клубе «Шахерезада» с людьми, явно неподходящими, и вся изныла. Allons done[137], улицы, я наконец с вами, иду, иду вперед по запруженным народом улицам книг Генри. Внешнее и внутреннее уравнены, помогают одно другому, иначе внутреннее разъест меня, как ржавчина. Самокопание уже почти сожрало меня. Генри меня спас. Он вытолкнул меня на улицу. Достаточно того, что еще за несколько часов до этого я была обязана размышлять о моем отце, чтобы о нем написать. Все, хватит. Площадь Монтолон, бульвар Жан Жорес, улица Сан-Мартен, закрутитесь весело в моей пустой голове, как пластинки в танцевальном автомате. Это я объяснила Генри, что улицы сами по себе не представляют интереса. Он накопил их описания[138], но я-то чувствую, что им необходим декор для каких-то драм, каких-то эмоций. Это я разбудила человека, шагавшего по улицам. Больше никаких немых карт, только те, что показывают и форму и содержание, существенное и явленное, улицы и людей, идущих по улицам. Никак не угомониться. Снова поиски напряженности, жара, лихорадки, сумятицы. Кажется, что все движется слишком медленно, медленно, медленно…

Жизнь моя наполнена. Перевожу первый том дневников[139]. Я пишу о происшествии, случившемся во время поисков пижамы в русском стиле для моего отца. Вставляю в «Дом инцеста» визит с Арто к картине «Лот и его дочь» в Лувре. Когда бы я ни почувствовала печаль по отцу, я пишу. Пишу, когда ему сочувствую. Пишу, когда сожалею о чем-то.

Расцвет. Цветение всех и каждого. Животное ощущение счастья. Нежное цветение счастья. Нежный ветерок, разговор, словно дуновения летнего ветра, любовь, как раскрывшиеся цветы, новые платья, как появившаяся свежая трава. Идиллия. Но

внутри живет червь, червь воображения, жажды ожидания. Неужели боль оставила такие глубокие следы, что я не чувствую ласкового прикосновения лета? Неужели плоть так обезображена, так загрубела, что не чувствует нежности лета? Только совсем другие раны могут заставить ее трепетать. Я не создана для счастья. Счастье есть сон[140].

Рождение первого романа и другие события

Начало 1934 года — канун литературных успехов и Миллера, и Анаис. У него готовится публикация «Тропика Рака», и значит, до славы осталось совсем недолго. А вторая вещь — «Черная весна» (пока еще называющаяся «Автопортрет») — к апрелю 1934 года закончена. Анаис придется ждать дольше. Ее вторая (после исследования о Д. Лоуренсе) книга и первая художественная — повесть «Дом инцеста» выйдет только через два года в Париже в издательстве «Сиана». Но именно в ноябре 1933 — феврале 1934 года — после отлучения от «Дневника» по рецепту доктора Ранка — она над ней напряженно работает и даже решает, что уже закончила. Нет, ей еще придется поработать над ней, менять порядок главок, дополнять (ведь жизнь не остановилась, а дневник пока не ведется), переделывать. В «Дом инцеста» вошли многие куски из дневников Анаис, но значительно переработанных стилистически, начало «Дома» — несколько лирических поэм в прозе. Уже в дневниках конца двадцатых годов встречаются целые художественные пассажи, вырастающие из живого воображения. Анаис пробует себя в описании типично лоуренсовской оргии в Булонском лесу, после которой внезапно явившийся герою олень уводит его из леса. «Я отвергла некоторые этические ограничения язычества», — комментирует Анаис этот эпизод и вставляет его в окончательный вариант «Дома инцеста».

Весной 1932 года Анаис в смятении перед возникшим треугольником (она сама и чета Миллеров) пытается разделаться со своими мучениями по-писательски — претворить их в книгу. Начинается работа над повестью «Альрауна» — первым художественным портретом Джун Миллер — «Миф, поэзия Джун и сны о ней». Джун выступает под именем

Альрауны. Имя звучное, но что оно означает? Мне показалось, что я уже встречал его. И тут память подсказала сцену из «Крошки Цахес» Гофмана, превращение всесильного министра Циннобера:

«Все взглянули вверх и, завидев маленького Циннобера, который стоял у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить:

— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Поглядите только на маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Альраун!

Швейцар, все слуги Циннобера повыбежали на улицу, чтоб поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех:

— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!

Альраун — мясистый корень мандрагоры, похожий на маленького человечка. Корню этому еще с древних времен приписывали много суеверных значений. Обладателю этого сокровища оно доставляло богатство, здоровье и прочие земные блага. Особенно ценились альрауны, будто бы найденные под виселицей, народное поверье утверждало, что мандрагора лучше всего вырастает в земле, орошенной семенем повешенного.

На Анаис произвели большое впечатление фантастический роман немецкого писателя Г. Эверса «Alraune» и фильм, поставленный по нему. Героиня Эверса — дитя проститутки, зачатое от семени казненного преступника, женщина сильной воли и неистового темперамента. Этим именем Анаис и наделила Джун, себя она назвала Мандрой, а Генри — Рэбом (по-видимому, от Рабле).

В конечном счете рукопись «Альрауны» увидела свет в двух версиях: «поэтические» вариации в «Доме инцеста» и реалистическая, «человечная» новелла «Джуна» в первом издании «Зимы притворств» (Париж, «Обелиск», 1939). Во всех последующих изданиях «Джуна» отсутствовала.

Помимо «Дома инцеста» Анаис в начале 1934 года написала и предисловие к «Тропику Рака». Вот отрывок из этого замечательного предисловия (в переводе

Л. Житковой):

«В мире, окончательно парализованном самоанализом и страдающем запором от изысков духовной пищи, это грубое обнажение живого человеческого тела равносильно оздоровительному кровопусканию. Брутальность и непристойность оставлены без прикрас — как демонстрация тайны и боли, всегда сопутствующих акту творчества».

Но кончился апрель, и Анаис пришлось задуматься о другом…

16 мая 1934 года она убеждается, что беременна. Она удивлена — еще несколько лет назад опытный врач сказал ей, что она не сможет никогда забеременеть, — но сомнений не остается: через тридцать недель она должна стать матерью (она, правда, решила, что срок ее беременности 5–6 недель, а не 10). Нет у нее сомнений и в том, что это ребенок Генри. Она признается много лет спустя, что сразу же сочла необходимым возобновить супружеские отношения с Хьюго, который обращался с ней «как с новой прекрасной любовницей». Узнав вскоре, что жена забеременела, он приходит в восторг. Но Анаис настроена иначе.

«Я должна покончить с этим… это же выбор между Генри и ребенком, — пишет она в своем дневнике. — Но он не хочет детей, а я не могу сделать Хьюго отцом чужого ребенка». И кроме того, «материнство… самоотречение… полное принесение в жертву своего эго». Тайком от Хьюго и матери, радостно ожидающей рождения внука, она посещает опытную акушерку, принимает различные снадобья в надежде вызвать «естественный» аборт. В то же время она все более склоняется к жизни с Генри (да они уже живут вместе в Париже, в Лувесьенне она появляется раз в неделю) и понимает, что троих «детей» (кузен Эдуардо к тому времени переселился в Лувесьенн) ей не выдержать.

Ранк рекомендует ей своего друга, доктора Эндлера, эмигранта из ставшей к тому времени нацистской Германии. Тот сообщает Анаис, что средства, предписанные акушеркой, ничего не дали, придется прибегнуть к другому методу, хирургическому…

Август, 1934

Прошло несколько месяцев. Начинаю ощущать тяжесть в своем животе и толчки и шевеления в моей матке. Груди наливаются молоком.

Этому не должно быть места в моей жизни. Я и так забочусь о слишком многих людях, у меня и так уже много детей. Как сказал Лоуренс: «Не приносите миру много детей, принесите ему надежду». Слишком много людей не верят миру и живут без надежды. На мне и так лежит больше, чем я могу вынести.

Я сижу в студии, в темноте, и разговариваю с моим дитем:

— Тебе не дадут пробиться в этот мрачный мир, в котором даже радость всегда окрашена болью, в котором мы все рабы материальных сил.

Он шевельнулся во мне и стал лягаться.

— Я чувствую, как ты брыкаешься в моей утробе, как твои ножонки лягают меня. Очень темно в комнате, где мы сидим, должно быть, так же темно и там, внутри, но насколько лучше тебе лежать там в тепле, чем мне в этой темной комнате пытаться отыскать радость стать ничего не знающей, ничего не чувствующей, ничего не видящей, лежать себе тихо и покойно в тепле и абсолютной темноте. Все мы вечно ищем такого возврата в это тепло и темноту, где нет ни страхов, ни тревог, ни чувства одиночества.

Тебе не терпится жить, ты сучишь ножками, мой еще не рожденный малыш. Но ты обречен умереть в тепле и мраке. Ты обречен умереть, потому что в этом мире нет настоящих отцов, не найти их ни на земле, ни в небесах.

Приходит доктор из Германии. Пока он меня исследует, мы говорим с ним о преследованиях евреев в Берлине.

Жизнь полна ужасов и чудес.

— Ваше тело не создано для материнства.

Я сижу в темной студии и разговариваю со своим дитем:

— Ты можешь понять, что нет в этом мире отцов, которые заботились бы о нас. Мы все сироты. Ты будешь дитем без отца, таким же, как была я. Вот почему я взяла на себя все заботы; я нянчилась с целым светом. Когда шла война, я плакала над каждой раной, там, где творилась несправедливость, я старалась вернуть жизнь и снова пробудить надежды. Женщина обречена любить и заботиться.

Но внутри этой женщины все еще спрятано дитя; там все еще живет призрак маленькой девочки, вечно плачущей там, внутри, оплакивающей потерю отца. Хочешь ли ты метаться то тут то там,

как это было со мной, стучаться в окна, подсматривать, сколько любви и ласки получают другие дети?

Доктор никак не может услышать дыхание ребенка. Он забрал меня в клинику.

Я безропотно покорна, но все же в глубине души побаиваюсь наркоза. Чувство подавленности. Вспоминаю другие случаи, когда применяли наркоз. Страшно. Похоже на травму рождения. Ребенку шесть месяцев. Они могут его спасти. Страх смерти. Страх заснуть и не проснуться. Но я лежу и улыбаюсь и пробую шутить. Меня ввозят в операционную. Ноги связаны и подняты вверх — словно я приняла позу любви в этой холодной операционной, где слышится звяканье инструментов и голос доктора, пахнет антисептиком, и я дрожу от холода и страха.

Пахнуло эфиром. Ледяная оцепенелость течет по жилам. Тяжесть, неподвижность, но мозг все еще ясный и не принимает концепцию смерти, сопротивляется смерти, сопротивляется сну. Голоса становятся все слабее. Скоро я уже не смогу отвечать. Хочется вздохнуть, заплакать, прошептать: «Ça va, madame, ça va, madame?[141] Cavamadame, cavamadame, cavamadame cavamadameeeeee…»

Сердце бьется отчаянно, вот-вот разорвется. А потом ты засыпаешь, проваливаешься, спишь, спишь, спишь. Снится сверлильная машина, сверло между твоих ног, но все цепенеет. Ты просыпаешься от голосов. Голоса все громче. «Ca va, madame? Faut-il liti en donner encore? Non, c'est fini»[142] Я плачу. Сердце, сердце устало, сердцу тяжело. Трудно дышать. Моя первая мысль о том, чтобы успокоить доктора, так что я говорю «C'est tres bien, tres bien, tres bien»[143].

Я лежу на кровати. Я вернулась из смерти, из мрака, из отсутствия жизни. Прошу одеколон. Доктор надеется вызвать естественные роды. Ничего не получается. Нет судорог и родовых спазм. В десять часов он снова меня исследует. Мучает меня. А ночью, всю ночь я слышу стоны женщины, умирающей от рака. Долгие, жалобные стоны, отчаянные вопли от боли… молчание и снова стоны.

На следующее утро доктор должен повторить попытку. Подают каталку. Я шучу — мне нужен сезонный билет. Пробую не сопротивляться наркозу, сдаться ему, думать об этом как о забытьи, а не о смерти. Разве я не хотела наркотиков, чтобы забыться? Я отдаюсь сну. Я готова умереть. Я отпускаю себя.

Около восьми несколько приступов боли. Доктор решает, что час настал. Он посылает за сестрой. Я причесываюсь, пудрюсь и душусь, подкрашиваю ресницы. Меня опять вкатывают в операционную.

Я лежу растянутая на столе. Но на нем не хватает места, чтобы вытянуть ноги. Приходится держать их поднятыми. Две сестры наклонились надо мной. Прямо перед собой вижу бабье лицо доктора с выпученными глазами. Уже два часа я стараюсь, как могу. Ребенку, находящемуся во мне, только шесть месяцев, но он оказался слишком велик для меня. Я вконец измучилась, жилы готовы лопнуть от напряжения. Все мое существо старается вытолкнуть это дитя из моего чрева и ввергнуть его в другой мир. «Тужьтесь, тужьтесь изо всех сил». А разве я не тужилась изо всех сил? Изо всех моих сил? Нет, какая-то часть меня не хотела выталкивать дитя. Доктор знал это. Вот почему он был так раздражен. Он знал.

Какая-то часть во мне лежала, ничуть не желая ничего отпускать, даже если это был уже мертвый кусочек меня самой, из моей утробы прочь в холод. Все во мне, что призвано беречь, убаюкивать, прижимать к груди, любить; все во мне, что готово заботиться, охранять, защищать, все во мне, что обнимало своей страстной нежностью весь мир, — вся эта часть меня самой ни за что не хотела выталкивать дитя, пусть оно и умерло во мне. Даже если это грозит мне смертью, я не могу разорваться, вырвать из себя, отделить, отказаться и вот так, раскрытой и растянутой, уступить им часть своей жизни, кусочек моего прошлого. Эта часть меня противилась тому, чтобы ребенка или чем бы это уже ни стало, вытащили на свет, положили бы в чужие руки, закопали в чужом месте и забыли бы, забыли, забыли.

И он знал это, доктор. Еще двумя часами раньше он обожал меня, он служил мне и поклонялся, а теперь он злился. И я злилась самой черной злобой на ту часть меня, что отказывалась тужиться, изгонять и терять.

— Тужьтесь! Тужьтесь! Изо всех сил!

И я тужилась со злостью, с отчаянием, с бешенством, с ощущением того, что так и умру от этих усилий, что вытолкну из себя все, что во мне есть: и душу свою вместе с кровью, и сердце, и мускулы, что тело мое распахнется и подымется дымок, и я еще смогу почувствовать завершающий, смертельный надрез.

Две сестры склонялись надо мной и болтали между собой, пока я переводила дух. И я снова начинала тужиться, да так, что слышала, как хрустят мои кости и лопаются жилы. Я закрыла глаза так плотно, что видела молнии и багровые пурпурные волны.

А в ушах шум и удары, будто лопаются барабанные перепонки. Я до крови закусила губы. Мои ноги стали чудовищно тяжелыми, не ноги, а огромные мраморные колонны, которые сейчас расплющат меня. Я взмолилась, чтобы кто-нибудь

подержал их. Сестра опустилась коленом на мой живот и приказала опять: «Тужьтесь!» Пот с ее лба капал на меня. А доктор раздраженно и нетерпеливо ходил взад и вперед. «Мы здесь всю ночь провозимся. Три часа уже». Наконец показалась голова, и тут я потеряла сознание. Все стало синим, а потом почернело. Перед глазами блестели инструменты. В ушах стоял визг, как будто ножи точили. И — ледяная тишина. Потом я услышала голоса, но сначала говорили так быстро, что я ничего не понимала. Занавес раздвинулся, голоса наплывали один на другой, потом покатились водопадом, с искрами, с резью в ушах. Стол медленно стал кружиться. Женщины поплыли в воздухе. Головы. Головы были как раз там, где висели огромные белые лампы. А доктор все расхаживал, лампы все раскачивались, головы все приближались, приближались, и я стала различать слова.

Они смеялись. «Когда я рожала первого, — рассказывала одна сестра, — меня просто на куски разорвало. Пришлось зашивать. А потом рожала второго, и снова меня зашивали, а потом рожала…» Вторая сестра отозвалась: «А мой проскочил, как конверт в почтовый ящик, но послед никак не хотел выходить. Послед не хотел выходить. Выходить. Выходить. Выходить…»

Зачем они все время повторяют одно и то же? И почему лампы кружатся? И чего это доктор ходит так быстро, быстро, быстро?

— Она такой каторги больше не выдержит. А природа сама и за полгода не справится. Давайте еще инъекцию.

Я почувствовала, как вонзается игла. Лампы остановились. Окружавшие меня синева и лед были теперь в моих жилах. Сердце бешено заколотилось.

А сестры все разговаривают: «А вспомни малышку у той мадам на прошлой неделе. Мадам была такой маленькой, а эта-то покрупнее». Слова кружатся, как на патефонной пластинке. А они все говорят и говорят одно и то же — что послед не хотел выходить, что малыш скользнул, как письмо в почтовый ящик, что они устали за столько часов работы. Смеются над тем, что сказал доктор. Кипятят инструменты и говорят, говорят, говорят.

Пожалуйста, подержите мне ноги! Пожалуйста, подержите мне ноги! Пожалуйста, подержите мне ноги! Я уже готова опять. Откинув голову, могу видеть часы. Я бьюсь здесь уже четыре часа. Лучше бы я умерла. Почему я все еще живая и так отчаянно стараюсь? Не могу вспомнить, почему я должна хотеть жить. Зачем жить? Ничего не могу вспомнить. Вижу только выпученные глаза, слышу, как разговаривают женщины. И кровь. Все только кровь и мука. А что это такое жить? Как можно почувствовать, что

живешь! А я должна тужиться. Я должна тужиться. В вечности есть неподвижная черная точка. В конце темного туннеля. Я должна тужиться. И опять голос: «Тужьтесь! Тужьтесь! Тужьтесь!» На моем животе колено, и мрамор на ногах, и голова такая большая, и я должна тужиться. Наверху вижу свет, огромный круг, испускающий сияние, и он меня пьет. Пьет медленно, засасывает в свое пространство. Если не закрою глаза, он меня выпьет всю до конца. Я просачиваюсь вверх, в длинный ледяной желоб, там свет; и внутри меня тоже огонь; нервы пляшут, и нет передышки от этого протаскивания по длинному туннелю. Или я сама выталкиваю себя из туннеля, или ребенок выбирается из меня, пока меня выпивает свет? Если я не закрою глаза, свет выпьет меня всю, и я так и не смогу выкарабкаться из этого туннеля.

Или я умираю? Кровь закипает в жилах, кости хрустят, это проталкивание в черноту, словно с лезвием ножа, ощущение ножа, вонзающегося в мясо, плоть где-то разорвана и вытекает кровь. Я проталкиваюсь в темноту, в самую высшую степень мрака. Проталкиваюсь, проталкиваюсь, пока глаза не открываются и я вижу доктора: у него в руках какой-то длинный инструмент, и он быстро вонзает его в меня, и я кричу от боли. Не кричу — это протяжный звериный вой.

«Это поможет ей», — говорит сестре доктор. Но ничего не получается. Я парализована болью. Он собирается повторить укол. Я выпрямилась, сижу на столе и в бешенстве кричу ему: «Не смейте этого делать! Не смейте!» В этом крике было столько ярости и гнева, что лед и боль растопились в нем, и мне стало тепло. Инстинкт подсказал мне, что он поступает так не потому, что это действительно нужно, а потому, что взбешен, — время идет, вот-вот наступит рассвет, но плод не выходит, я теряю силы, а инъекции не вызывают схваток. Мое тело — ни нервы, ни мышцы — ничего не могло поделать и вытолкнуть ребенка. Но оставались моя воля и моя сила. И та ярость, с какой я накинулась на него, устрашила доктора, он торчал в стороне и ждал.

Эти ноги я раскидывала для радости, и мед наслаждения стекал по ним — теперь эти ноги корчатся от боли и кровь стекает по ним, а не мед. Та же самая поза и так же проступает влага, но только не любить я готовлюсь, а умирать. Я смотрела на доктора. Он сновал взад-вперед, то и дело наклоняясь ко мне взглянуть на едва видневшуюся головку. Ноги, как ножницы, а головка чуть видна. Он выглядел смущенным, как европеец, оказавшийся свидетелем дикарской мистерии, он выглядел растерявшимся перед этой борьбой. Ему хотелось вмешаться со

своими инструментами в мою битву с природой, с собой, с дитем, с моим желанием отдавать и удерживать, беречь и терять, жить и умереть. Никаким инструментом нельзя было мне помочь. Его глаза наливались яростью. Ему бы хотелось взяться за нож. Но приходилось только смотреть и ждать.

Все это время мне хотелось знать, зачем нужно это желание жить. Но памяти во мне не осталось, была только боль. Наконец лампа перестала пить меня. Я слишком устала двигаться, даже тянуться к свету или хотя бы повернуть голову и взглянуть на часы. Все во мне обожжено, измолото, истерзано. Дитя мое уже не дитя, это демон, залегший между моих ног, не пускающий меня, душащий меня, показывающий только свою головку, а я тем временем умираю. Он лежит недвижимо в дверях матки, перегородив выход к жизни, и я не в силах освободиться от него.

Сестры снова затеяли разговоры. Я сказала: «Оставьте меня в покое». Кладу обе руки на живот и медленно, очень медленно, кончиками пальцев барабаню, барабаню, барабаню по животу, кругами, кругами, кругами по животу. Круг за кругом, медленно, и глаза открыты, и в них великое спокойствие. Доктор подошел поближе, у него удивленное лицо. Акушерки замолчали. Бум, бум, бум кругами, осторожными, спокойными кругами. «Как дикарь», — прошептали они. Таинство.

Глаза открыты, нервы успокоились, нежно похлопываю по животу. Нервы затрепетали Таинственное волнение пробежало по ним. Слышу тиканье часов, далекое, неумолимое. Руки мои так устали, вот-вот упадут бессильно. А в утробе моей что-шевельнулось, матка расширяется. Бум, бум, бум, бум. «Я уже готова!» Сестра упирается коленом в живот. Кровь застилает глаза. Туннель. Я проталкиваюсь в этот туннель, кусаю губы и проталкиваюсь. Кровь, пламя и разрывающаяся плоть. И нет воздуха. Прочь из туннеля! Вся моя кровь сейчас вытечет. «Тужьтесь! Тужьтесь! Подходит! Уже подходит!» Вот что-то скользнуло, и тяжесть исчезла, и наступило чувство внезапного избавления. Темнота.

И голоса в темноте. Я открываю глаза. Слышу, как говорят: «Это была девочка. Лучше ей не показывать». Ко мне возвращаются все мои силы. Я сажусь. Доктор кричит: «Вам нельзя садиться!»

— Покажите мне ребенка.

— Не надо показывать, — шепчет акушерка. — Ей это только во вред.

Они стараются меня уложить. Мое сердце колотится так громко, что я еле повторяю: «Покажите мне!» И доктор показывает. Темный крошечный человечек, гномик. Но это

девочка. И у нее длинные ресницы на закрытых глазах, ладное тельце, и она вся блестит, омытая маточными водами. Доктор сказал мне потом, что ручки и ножки оказались точь-в-точь как у меня. Голова была больше, чем обычно. Глядя на мертвую девочку, я на какое-то время почувствовала, что ненавижу ее за причиненные мне страдания, но постепенно ярость моя уступила место великой печали.

Жалко эту маленькую девочку, в полудремоте я пробую представить себе, какой она могла бы стать. Первое мое погибшее творение. Больно от всякой смерти, от всякого крушения. Крушение моего материнства, или, по крайней мере, воплощения его, все мои надежды на самое обыкновенное материнство умерли, и мне осталось только символическое материнство по Лоуренсу — нести миру больше надежд. Но в самом простом, женском счастье мне отказано. Может быть, я предназначена совсем для других форм созидания. Природа помогает мне остаться женщиной и матерью для мужчины. Быть матерью не младенцам, а взрослым мужчинам. Природа приспособила мое тело для любви мужчин, а не для рождения детей. Это дитя, которое было для меня самой первоначальной, основной связью с землей, продлением моей жизни, ушло от меня, показав, что мне суждена совсем другая судьба.

Я люблю мужчину творца, любовника, мужа, приятеля, но я не доверяю мужчине роль отца. Не верю, что мужчина может быть отцом. Я согласилась убить свое дитя, потому что испугалась для него тех мук, что выпали мне.

Доктора и сестер удивило мое спокойствие и даже любопытство. Они-то ждали от меня слез. Позже я почувствовала слабость и откинулась навзничь. Лишь оставшись наедине с собой, я заплакала. Увидела в зеркале, что сталось с моим лицом. И провалилась в сон.

Утренний туалет. Надушиться, напудриться. Лицо в полном порядке. Посетители. Маргарита, Отто Ранк, Генри. Жуткая слабость. Второй день покоя. На третий день новые треволнения — начали твердеть груди.

Маленькая сестричка родом с юга Франции, бросив всех своих больных, любовно ухаживает за мной. И другие сестры всячески ухаживают за мной. Я купаюсь в любви, слабая, спокойная, легкая. Но потом мои груди все тяжелеют и тяжелеют от молока. Удивительно, сколько молока может накопиться в таких маленьких грудях. Ночью кошмар начинается опять.

Все сестры настроены против немецкого доктора, потому что он немец, потому что он был с ними слишком резок, потому что он, по их мнению, допустил много ошибок. Доктор-француз из

той же клиники пригрозил, что вмешается силой, чтобы спасти меня от него. Сестры на каждое его распоряжение отвечали перешептыванием и злыми взглядами в его сторону. Он перетянул мои груди одним способом, они перетянули их по-своему. Он все время ошибается, говорили они, если стягивать грудь, как он это делает, то появятся язвы. Я ужаснулась. Все мое спокойствие исчезло. Какая-то темная страшная сила вновь угрожает мне. Я представила свою грудь, сплошь покрытую язвами. А сестры, наклонясь надо мной, рассматривали мою грудь, и казалось, они будут рады, если язвы и в самом деле появятся, лишь бы посрамить врача из Германии. И мне становилось страшно.

Женщина, умиравшая от рака, все стонала, и я не могла заснуть. Я лежала и думала. Я думала о религии, думала о страдании. Конец моих страданий еще не наступил. Я думала о Боге, к которому с таким пылом приобщалась во время причастия и которого смешивала с моим отцом. Я размышляла о католицизме. Поразительно, Святая Тереза не дала мне умереть от аппендицита в девятилетнем возрасте. Я думала о Боге, о бородатом дяденьке на моих детских картинках. Нет ни католицизма, ни мессы, ни исповеди, ни священников. Но Бог, куда делся Бог? И где пыл моего детства?

Я устала от мыслей. Я заснула, сложив руки на груди, как покойник. И я и умерла. Умерла опять, как умирала прежде. Умерла и вновь родилась утром, когда прямо перед моим окном увидела стену, освещенную ярким солнцем.

Голубое небо и солнце на стене. Сестра приподняла меня, чтобы я могла взглянуть на новый день. Я лежу, впитывая в себя небо, и я сама это небо и солнце на стене, и я растворяюсь в той беспредельности, которая и есть Бог. Бог пронизал все мое тело, я вздрагиваю и трепещу от безграничной радости. Этот озноб от присутствия чего-то непостижимого. Во мне свет и небеса. Бог в моем теле, я сплавлена с Ним. Он не имеет образа, я ощущаю только пространство, сияющее золотом, чистоту, восторг, беспредельность и глубочайшую, неотвратимую связь. Я плачу от радости. Я знаю, что все сделала правильно. Я знаю — мне нужны не молитвы для связи с ним, а способность жить, любить и страдать. Ни мужчина, ни священнослужитель не нужны мне в посредники. Своей жизнью, своими страстями, своими творениями я беседую с небом, светом, Богом. Я верю в претворение плоти и крови. Я пришла к бесконечному и неизреченному через плоть и кровь. Плоть, кровь и любовь — они сделали меня цельной. Я не могу больше говорить. А больше говорить и нечего. Величайшая общность создается так просто.

Явился доктор, осмотрел меня и не поверил своим глазам — у меня никаких повреждений, словно ничего со мной и не происходило. Я могу покинуть клинику. Все хорошо. Я выходила из больницы и десятки глаз смотрели на меня. Был чудесный летний день, я шла переполненная радостью освобождения из пасти смерти. И слезы благодарности навертывались на мои глаза.

Фрукты. Цветы. Гости. Я засыпала в эту ночь с ощущением, что лежу в уютной беседке на небесах.

В пять часов я отправилась в Лувесьенн. Обо мне позаботилась Маргарита. Я отдыхала в полудремоте. Обедали мы с нею в саду.

Я никуда не спешу. Невольно сопротивляюсь реальной жизни, ее конфликтам, деятельности, боли. Последние дни лета. Первые листья уже слетают наземь. Я придаюсь ощущению нежности и грусти.

Сентябрь, 1934

Мы спускаемся с Генри по улице Де ла Томб Иссуар, заглядываем по пути к водопроводчику и к бельевщику. Генри переезжает в мастерскую на Виллу Сера. Мы все помогаем красить, вбивать гвозди, развешивать картины, чистить и все прочее. Мастерская большая, с окном-фонарем, делающим ее еще более просторной и высокой. Маленькая кухонька была встроена под балконом, на котором кое-кому нравилось хранить картины и прочий скарб. Туда вела лесенка. Окно открывалось на плоскую крышу, которая соединялась дверью с террасой. Спальня и маленькая ванная располагались по правую руку от входа. С балкона открывался вид на улицу Вилла Сера. Видны были деревья, и среди них пестрели розовые, зеленые, охряно-желтые домики, притулившиеся вдоль дороги.

Во время наведения порядка в чулане я нашла фотографию Антонена Арто. Он, оказывается, останавливался здесь когда-то! Прекрасная фотография, на которой он снят в роли монаха из «Жанны Д'Арк» Дрейера. Ввалившиеся щеки, пронзительный взгляд фанатика. Арто никогда не дарил никому своих фотографий, потому что боялся колдовства вуду и верил, что может пострадать, если какое-нибудь дьявольское отродье проткнет иголками его изображение. И вот этот прекрасный монах в полной моей власти. Я, однако, не стала использовать кнопки, чтобы прикрепить его к стене, я сохраню эту фотографию иначе.

Генри расстроен тем, что нахамил Джеку Кахане. «Я испортил всю твою работу», — уныло сказал он. Солнце светит в мастерскую. Несколько друзей помогают Генри обустраиваться здесь.

«Тропик Рака» у типографа. Генри чувствует, что это начало нового цикла. Фред обижен, его не пригласили жить на Вилла Сера. Генри хочет жить один. Мы развешиваем акварели и таблицы характеров, которые ему предстоит описать.

Интересно, а кто еще из художников и литераторов живет на улице Вилла Сера?

В разговоре с Ранком поток любопытных фактов. Он полагает, что здесь, в Париже, всем правит доктор Ранк, а настоящей жизнью мужчины Отто Ранку жить не приходится. Он начинает думать о Нью-Йорке, как об освобождении от прошлого, он связывает с Нью-Йорком надежды на новую жизнь. «Я не хочу возвращаться сюда, я хочу отделаться от прошлого». В первый раз в жизни он смотрит на Нью-Йорк, как на фактор освобождения.

Но для этого освобождения, оказывается, необходима я. Он хочет начать сызнова, но не уверен, что это получится без моей помощи. Я единственная заинтересовалась тем мужчиной, которого загородил собой доктор Ранк. У него много планов. Он рассказал мне о юмористической книге, которую намерен написать о Марке Твене. Самоубийство близнеца.

«Тропик Рака» вышел в свет в тот же самый день, когда Генри вселился в свое первое настоящее жилище, в тот самый дом, где четырьмя годами раньше начал эту книгу. Круг замкнулся.

Мы с ним надписываем конверты, вкладываем в них экземпляры книги, готовим к отправке по многим адресам[144].

Теперь я распалась на три части. Одна живет в Лувесьенне, имеет испанскую служанку, завтракает в постели, кушает фазанов, отдает приказания садовнику, расплачивается чеками, сиживает у камина, перепечатывает дневники, переводит первые тетради дневника с французского на английский, мечтает у окна и без устали старается «повысить уровень жизни».

Другое дело на Вилла Сера с Генрихом, Фредом и нескончаемым потоком визитеров. Я чищу картошку, мелю кофе по-французски, обертываю книги, пью из чашек с отбитыми краями, вытираю руки застиранным полотенцем, невесть как попавшим сюда из Лувесьенна, шлепаю по булыжнику на рынок, чиню патефон (Генри совершенно беспомощен в делах практических), проталкиваюсь в автобус, заседаю в кафе, веду бесчисленные разговоры о книгах и фильмах, о литературе и писателях, беспрестанно курю и наблюдаю за снующими взад и вперед людьми.

Третья Анаис хочет научиться своей профессии, хочет писать так, как считает нужным, не боясь критики, третья Анаис стремится помочь Ранку начать новую жизнь, потому что он помог ей. Третьей Анаис хочется чего-то незнакомого и непривычного. В конце концов, я пообещала приехать в Нью-Йорк на пару месяцев. Два месяца — ничто в масштабах вечности.

Вянут все цветы, что мне приносили во время болезни. Я часто посматриваю на них и в глубине души желаю вернуться в дни моего выздоровления, в тот покой, в то блаженство, которые окружали меня, ведь буйная жизнь опять презентует мне свои дары — конфликты и драмы. Я противилась возврату в реальную жизнь, а потом все-таки вплыла в нее. И теперь я опьянена ею и радуюсь ей. Но бывают дни, когда я наслаждаюсь безразличием и отрешенностью и удивляюсь Генри — ему удается жить с чувством отрешенности и беззаботности все время. Я наблюдаю за всем издалека, будь то морализаторские письма отца или радость Генри по поводу выхода «Тропика», или слова Ранка о

том, что Генри учится у меня постоянству, а я у него — переменчивости. Друзья, говорит Ранк, часто обмениваются ценностями.

Voyante[145] живет в рабочих кварталах поблизости от Клиши в темной убогой квартире. В сумрачной гостиной с искусственной пальмой в кадке и аквариумами, где на стенах развешаны астрологические карты, ждет небогатый народ: femme de menage[146], привратник, рабочий, беременная женщина, мелкий лавочник. Как они надеются узнать! Мне становится стыдно, что и я пришла сюда спросить о моей будущей судьбе. Я вспомнила, как Фрейд объясняет феномен провидцев. Они способны читать наши мысли.

Может быть, я не понимала, что значит для меня потерять Ранка, окажется ли эта потеря такой же серьезной, как потеря отца. Может быть, я просто боялась будущего так же, как эти бедные трудяги, ожидающие в гостиной. Voyante пригласила меня в столовую. Выглядела она не очень ободряюще: худая, усталая, непричесанная, с грязными ногтями. Ваза с искусственными цветами стояла на столе. На серванте — тщательно отполированный стеклянный шар. Она взяла шар, поставила на стол, подстелив под него кусок красной ткани. А потом, слегка шепелявя из-за недостающих зубов, стала рассказывать. Она сообщила мне, что видит мужчину посреди моря, плывет этот мужчина в Америку и думает обо мне (значит, Ранк). Увидела она и мою поездку в Америку и что я добьюсь успехов на новом поприще. Видела и других рядом со мной, видела, хотя и расплывчато, какого-то мужчину в печали, другого терзающего себя и стремящегося мне помочь, видела возвращение моего отца, мужчину лет пятидесяти, от которого следует ждать неприятностей, на которого я даром тратила силы и чувства. Еще она увидела, что я подписываю какую-то бумагу.

И это все, это все, это все, что она может сказать терпеливым, покорным, усталым людям, сидящим в ее гостиной?

Я сбежала от нее и тотчас забыла о ней. На другой день я навестила Мануэлу Дель Рио, договорилась порепетировать мои старые танцы. Ранк настаивал, чтобы я снова стала танцевать. Я любила кричащие краски и запахи сцены. Любила стоптанные туфли Мануэлы, ее потемневшие кастаньеты, широченные красные и пурпуровые наряды и даже ее одноглазую, похожую на сводню, мать, и пуделя, и чемодан со всем, что нужно для танцевальных номеров в Лондоне.

Я воткнула вместо испанского гребня вилку в волосы и заговорила о запахе сцены. Слов Мануэлы: «В понедельник в одиннадцать на пляс Пигаль, в студии «Пигаль», — было

достаточно. Я пришила черные кружева к моему платью испанской махи. Я отдала Генри всю бумагу для машинки, потому что уже не собиралась писать книги. И я стала не спеша собирать чемодан для Нью-Йорка и вынимать фотографии из рамок, упаковывать рукописи «Дома инцеста», дневника, «Зимы притворств».

Я пришла к Ранку, чтобы распутать клубок отношений с моим отцом, а в результате получила еще одного отца и еще одну утрату в своей жизни. А мой настоящий отец вернулся из Канн страдающий, но не раздраженный, а очень подобревший, и разговоры наши были сплошной мед. Он показал мне свои покрытые экземой руки, и я ощутила всю глубину моей, уже без всяких иллюзий, любви к нему. Он оплакивает мой отъезд в Нью-Йорк.

Больно мне отдавать Лувесьенн в чужие руки. Приходится все отсюда вывезти и сдать на хранение. Последнюю ночь мы провели в опустевшем доме, на окнах уже не было штор. Снежно-белым, театральным светом сияла луна из-за голых черных ветвей. И луна и наступивший рассвет — это луна и рассвет Пелеаса и Мелисанды. Я знала, что сама выбрасываю себя из мира волшебных сказок, отказываясь от моей раковины, моего гнезда, моего убежища. Лежать на персидской кровати, смотреть в сад — и терзаться лихорадкой воспоминаний. И наблюдать, как выносят оранжевые диванные подушки, красный китайский кофр, персидский кабинет. Мебель уже на улице, зеленые широкие ворота распахнуты, дом пустой, голый и безжизненный, как скелет. Грузчики накрывают любимые вещи рваными одеялами и прочей ветошью…

Когда я рассказала Хоакину о том, что перечувствовала в больнице, он тотчас решил, что я готова вернуться к Богу, и потащил меня на воскресную мессу. Мне она показалась столь серой и сухой, что я никак не могла посчитать ее продолжением моего мистического транса. Я, пожалуй, напрасно надеялась, что с возвращением к церковным догматам и обрядам смогу вновь пережить религиозный экстаз. Попытка не удалась, но, чтобы сделать Хоакину приятное, я согласилась встретиться с аббатом Альтерманом.

Это была личность известная, друг Дебюсси, крещеный еврей, сумевший благодаря своему блестящему дару обратить в католичество Макса Жакоба[147] и многих других людей искусства. Я облачилась в новый черный шерстяной костюм с широченными рукавами и разрезом, идущим от горла до груди, надела браслет со звездами и отправилась к нему в его по-монастырски скудно обставленную комнату. Он сидел за столом,

на котором лежало множество книг. Он худой, высокий, с пронзительными темными глазами. В своем черном одеянии я, наверное, выглядела сластолюбивой вдовушкой. Он внимательно изучал меня. Уверена, он подумал, что к нему явилась Таис склонять к грехопадению. Разговаривали мы долго.

Он начал с того, что сказал: «Vous êtes une âme très dispute»[148].

Я рассказала ему о своем больничном опыте и что теперь никак не могу вернуться в то чудесное состояние.

— Господь посетил, — произнес аббат Альтерман. Беседа наша была занимательна, пока я не рассказала, что занималась психоанализом с доктором Ранком, что чувствую, как это помогает, мне-то во всяком случае помогло. И вот тут-то этот человек, очаровавший стольких художников и литераторов своей ученостью и эрудицией, своим умом и искусством полемиста, произнес просто невероятный монолог.

— Вы знаете, разумеется, что психоаналитики и психоанализ — это дело рук дьявола, если вы каким-то образом связаны с ними, то вы обречены, Бог никогда не придет к вам снова, если вы немедленно не порвете с этим сатанинским учением. Вы станете заниматься черной, а не белой магией, если не захотите прибегнуть к религии. Если намерены остаться в одиночестве.

Уходя от него, я уже не сомневалась, что выбрала новый путь.

Я сказала Генри: «В своих книгах ты создаешь самого себя. В «Тропике Рака» ты был только членом и брюхом. В «Черной весне» у тебя появились глаза, сердце, уши, руки. Мало-помалу с каждой книгой ты будешь превращаться в полноценного человека, и лишь тогда ты сможешь написать о женщине, только тогда, не раньше».

В гостях у Марселя Дюшана и его американской спутницы. В мастерской всюду папки с рисунками, картины, а на белой стене — коллекция сережек. Это была любовно собранная со всего света красота, каждому экземпляру соответствовал дубликат, некоторые экземпляры таинственно мерцали со стены, другие ниспадали каскадами легкой филиграни, третьи были тяжелыми, украшенными резьбой. Хозяйка этой красоты высокая женщина с лицом, отмеченным какой-то спокойной прелестью, с лицом мадонны, но только это была мадонна седоглавая. Вдруг она сняла с крючка пару сережек и молча протянула их мне.

Сам Марсель Дюшан держался спокойно, курил трубку, разговаривал мало. У него были яркие сияющие глаза. Он тоже коллекционер, собирает трубки. Вот он встает, садится, приветствует нас и смотрит на нас с какой-то стилизованной

отрешенностью, словно мы шахматные фигурки, и он размышляет, куда бы нас передвинуть. Шахматы были его страстью. Весь вечер он то и дело присаживался к доске и застывал в раздумье, оказывается, он играл с приятелем по телефону и должен был сообщать ему свои ходы в другую страну. Картины его как-то не интересовали. Он показал мне портфель, настоящий сундук, такие сундуки, как он сказал, придут на смену книгам. «Не то сейчас время, чтобы завершать что-либо, — сказал он. — Наступило время фрагментов». В самом деле, сундук хранил в себе незаконченную книгу. Части рисунков на измятых клочках бумаги, странички из записной книжки, обрывки, отрывки, отрезки, просто отдельное слово, все это крупным почерком и все составляет книгу, которую он никогда не напишет.

Он вручил мне портфель с репродукциями для показа в Нью-Йорке разным художникам.

Стены в мастерской были высокими, окрашенными в белый цвет. За окнами — сад, и он, казалось, продолжается и в этой просторной мастерской, потому что его ветвям отвечали растения с подоконника. Фигуру Дюшана и его подруги я видела на этом белом фоне. Черно-белые фигуры видела я, хотя конечно же они не были лишены красок. Люди, сбросившие с себя все побрякушки, все несущественное, они казались гравюрами, вырезанными он — на дереве, она — на сочувствующей, но невозмутимой плоти. И трудно было поверить, что этот самый Марсель Дюшан отправил на выставку, как рассказывали, ночной горшок и участвовал во многих выходках сюрреалистов.

Ноябрь, 1934

Ранк шлет из Нью-Йорка отчаянные письма, требуя меня, напоминая, как отказался от всех своих дел в Лондоне и примчался к моей постели, когда я была в клинике. «А теперь, — пишет он, — умираю я и зову тебя на помощь». Я должна, значит, оставить Генри одного стараться раскрутить свою книгу, несмотря на все его сложности с Кахане; оставить отца, мучающегося экземой, заставившей его постоянно носить перчатки на руках, руках пианиста; бросить Хоакина, так старающегося вернуть меня в лоно католичества. Небезразличны мне переживания других людей, и даже те, кто уходит от меня вроде бы с пустыми руками, забирают с собой частицу моей силы и моего сочувствия.

Сидя рядом с отцом в густых сумерках, я слушаю по радио «Псалмы» Флорана Шмитта и плачу. Трудны и изнурительны эти старания жить в соответствии со своей собственной правдой. Постоянно стоит перед тобой сложнейшая задача. Алгебра жизни. Я похожа на искателя приключений, бросившего всех, кого он любил, и вернувшегося с карманами, полными золота; они счастливы, они забывают, как старались не пустить его прочь, удержать от поисков, странствий, приключений.

Дороти Дадли, написавшая книгу о Теодоре Драйзере, прислала письмо, полное восторгов по поводу моей книги о Лоуренсе. «Я почувствовала, что у нас с вами очень схожий стиль». Мы сидим у нее в кухне, обедаем за столом, покрытым розовой бумажной скатертью. Она дает мне рекомендательные письма к Теодору Драйзеру и Уолдо Фрэнку[149].

Трогаю египетские серьги, подаренные мне подругой Марселя Дюшана, думаю об их комнате, увешанной по стенам картами, и о том, что мне предстоит еще увидеть. Блез Сандрар написал: «Не успокоюсь, пока не поживу в каждой из гостиниц Парижа и смогу узнать каждый сантиметр в них». А для меня надо говорить не только о Париже, но и обо всем мире. Вспоминаю мирно спящего кота и Марселя Дюшана, пыхтящего трубкой над шахматной доской. Я пишу о мелких вещах, потому что писать о больших — это заглядывать в пропасть.

Заставляю отца пообещать мне, что, если никакие врачи не помогут, он поедет в Цюрих к Юнгу.

Психоанализ спас меня потому, что дал возможность родиться моему настоящему «я», чрезвычайно опасному и мучительному для женщины, чреватому множеством угроз, ибо никто не любит авантюристок так, как любят авантюристов.

Рождение моего настоящего «я» могло бы закончиться так же, как рождение моего ребенка. Я не могу стать святой, но я живу полнокровной жизнью и оттого я богата. Я пока еще не могу расположиться где угодно; я должна взбираться на головокружительные высоты. Но все-таки я все еще люблю относительное, но не абсолют: кочаны капусты и тепло очага, Баха на пластинке, и смех, и разговоры в кафе, и чемодан, собранный в дорогу, где лежат экземпляры «Тропика Рака», и последний SOS Ранка, и телефоны, звонящие весь день: до свиданья, до свиданья, до свиданья.

Дневник в контексте истории

1931

Ноябрь — Декабрь

30 ноября. Знакомство Анаис Нин и Генри Миллера.

В ноябре — декабре Япония завершает оккупацию Северо-Восточного Китая.

5 декабря. В Москве взорван храм Христа Спасителя (восстановлен в 1998).

9 декабря. Провозглашена Республиканская конституция Испании. Алкалья Замора избран первым президентом страны.

30 декабря. Анаис знакомится с Джун Миллер.

1931 год в литературе, искусстве, науке и технике

Вышли книги: Поль Валери «Взгляд на современный мир», Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет». Поставлены фильмы Г. В. Пабста «Трехгрошовая опера», Рене Клера «Свободу нам», Луиса Бунюэля «Золотой век».

Американец К. Д. Андерсон открывает положительно заряженный электрон. Американец Эрнесто Орландо Лоуренс изобретает циклотрон. Немец Бергер использует электроэнцефалографию.

1932

Январь

1 января. В СССР пущен в ход Горьковский автозавод, построенный фирмой Форда.

2 января. На оккупированной территории Китая Япония создает марионеточное государство Манчжоу-Го. В Испании распущен орден иезуитов.

4 января. Арест Ганди в Бомбее.

15 января. Джун Миллер отбывает в Нью-Йорк. Генри Миллер начинает работать в Дижоне преподавателем английского языка.

25 января—6 февраля. Пребывание Анаис в Швейцарии.

Февраль

«Роман в письмах» Анаис и Миллера. В конце февраля Миллер возвращается в Париж.

2 февраля. В Женеве открывается Конференция по разоружению.

16 февраля. Падение правительства Лаваля во Франции.

Март

7 марта. Умер Аристид Бриан, виднейший французский государственный деятель, сторонник «коллективной безопасности».

8 марта. Начало любовной связи Анаис и Миллера.

12 марта. Самоубийство Ивара Крюгера, одного из богатейших людей Европы — шведского «спичечного короля», вследствие финансового краха.

17 марта. Миллер и Перле снимают квартиру по ул. А. Франса в Клиши.

Апрель

Тиражом в 500 экземпляров выходит книга Анаис Нин о Лоуренсе.

10 апреля. Президентом Германии переизбран Гинденбург. Гитлер оказался на втором месте по числу поданных за него голосов.

Конец апреля. Анаис начинает лечение психоанализом у доктора Альенди. Написаны первые страницы «Альрауны» (будущего «Дома инцеста»). Анаис наталкивает Миллера на замысел «Черной весны».

Май

Миллер дает Анаис прочитать первые страницы «Черной весны» (первоначальное название «Автопортрет»).

1–8 мая. Парламентские выборы во Франции. Победа партий

левого блока.

6 мая. Русский эмигрант Горгулов выстрелами из пистолета смертельно ранит президента Франции Поля Думера.

15 мая. Декрет ЦИК СССР, провозглашающий начало «Пятилетки атеизма».

20 мая. Концерт Хоакина Нина-младшего в зале «Шопен». Среди слушателей: Г. Миллер, Хоакин Нин-старший, д-р Альенди с женой. Альенди «очарован» своей пациенткой.

Июнь

Начинается роман с доктором Альенди.

3 июня. Эдуард Эррио (левый блок) — премьер-министр Франции.

4 июня. Начало работы вновь избранной Палаты депутатов во Франции.

9 июня. Новый том дневника (закончен в августе 1933) Apotheosis and Downfall («Апофеоз и крушение»).

15 июня. Начало войны между Боливией и Парагваем из-за области Чако (закончится в июне 1935).

16 июня — 9 июля. Экономическая конференция в Лозанне. Отмена репараций с Германией.

Июль

Поездка Анаис в Германию и Австрийские Альпы. Прочитана книга О. Шпенглера «Закат Европы». Миллер сообщает ей, что почти закончил роман, который хочет назвать или «Пою Экватор», или «Тропик Рака».

5 июля. В Португалии установлен режим Оливейро Салазара (просуществует до 1968 года).

20 июля. В отсутствии находящегося в деловой поездке Хьюго Гилера Анаис и Миллер проводят четыре дня и четыре ночи «по-семейному» в Лувесьенне.

22 июля. Письмо от Дж. Эрскина с предложением развестись с Хьюго и выйти за него замуж.

25 июля. Советско-польский договор о ненападении.

31 июля. На выборах в германский Рейхстаг побеждают нацисты.

Август — Сентябрь

Анаис убеждает мужа, что ее интерес к Миллеру чисто литературный. Одновременно продолжаются близкие отношения и с Миллером, и с Альенди. Фред Перле перепечатывает ранние дневники Анаис.

7 августа. В СССР принят так называемый «Закон о трех колосках», по которому за год с небольшим было осуждено 125 тыс. человек, из них 5,5 тыс. расстреляно.

21 августа. «Кризис партии и диктатуры» — обращение группы большевиков во главе с М. Рютиным «Ко всем членам ВКП(б)» — открытое выступление против политики Сталина.

Октябрь

У. Брэдли показывает рукопись «Тропика Рака» Дж. Кахане и горячо рекомендует ее. Миллер работает над «Тропиком Козерога».

Начало «Великого голода» в СССР 1932–1933 гг. («голодомора»), охватившего Украину, часть Черноземья, Дон и Кубань. (Свыше 5 миллионов жертв). Массовый исход казахов (около 2 млн) в Китай и Центральную Азию. Зиновьев и Каменев вновь исключены из партии. Процесс над группой Рютина.

20 октября. Джун Миллер возвращается в Париж. Миллер передает Анаис рукопись «Тропика Козерога» с описанием Джун. Конец «тихих дней» в Клиши.

Ноябрь

Анаис приходит к Альенди со словами: «Я порвала с Генри, я люблю вас». После бурной ссоры четы Миллеров Джун начинает жить отдельно от Генри.

8 ноября. На президентских выборах в США побеждает Франклин Рузвельт.

29 ноября. Договор о ненападении между СССР и Францией.

Декабрь

В журнале «Этот квартал» Анаис читает отрывки из книги Отто Ранка «Искусство и художник». Пробуждение интереса к Ранк. Неудавшаяся попытка Миллера уехать в Англию.

11 декабря. Германия признается равной в правах с остальными государствами в деле развития вооруженных сил.

15 декабря. Падение левого правительства Эррио во Франции. Франция прекращает выплату военных долгов США.

27 декабря. Введение паспортного режима в СССР.

1932 год в литературе, искусстве, науке и технике

Франсуа Мориак «Клубок змей», Луи-Фердинанд Селин «Путешествие на край ночи», Эрскин Колдуэлл «Табачная дорога», Джон Дос-Пассос «1919», Анри Бергсон «Два источника морали и религии», Шарль де Голль «Острие шпаги», Михаил Шолохов начинает публикацию «Поднятой целины». Год Гёте (столетие со дня смерти) отмечается по всей Европе, англичанин Чедвик открывает нейтрон, англичане Кокрофт и Уолтон создают ускоритель частиц.

1933

Январь

Анаис знакомится с Луизой де Вильморен, красавицей аристократкой, прототипом Жанны из новеллы «Под стеклянным колоколом». Альенди читает в Сорбонне лекцию «Метаморфозы поэзии».

28 января. Отставка просуществовавшего месяц с небольшим правительства Поля Бонкура.

30 января. Адольф Гитлер становится канцлером Германии. Установление нацистского режима (1933–1945).

31 января. Эдуард Даладье — премьер-министр Франции.

Февраль

Анаис начинает работать в Национальной библиотеке, подбирая материал для книги Альенди.

Обед в Лувесьенне с Альенди и Бернаром Стилем. Первое упоминание об Антонене Арто.

1 февраля. Распущен германский Рейхстаг.

16 февраля. Создание Малой Антанты (Румыния, Чехословакия, Югославия).

27 февраля. Поджог Рейхстага.

март

Знакомство с Антоненом Арто.

Американский литературный агент У. Брэдли читает рукопись «Тропика Рака» и рекомендует Дж. Кахане издать роман.

9 марта. Запрещение коммунистической партии Германии. Массовые аресты.

9 марта — 16 июня. «Сто дней» президента Рузвельта. Чрезвычайная сессия Конгресса США принимает законы, знаменующие начало «Нового курса».

27 марта. Выход Японии из Лиги Наций.

Май

Переговоры с Дж. Кахане о «Тропике Рака». Начало переписки между Анаис и ее отцом. Встреча дочери и отца после долгой разлуки.

3 мая. В Германии распущены профсоюзы.

16 мая. Запрещение Коммунистической партии Австрии.

31 мая. В Барселоне премьера «Кровавой свадьбы» Ф. Гарсиа Лорки.

Июнь

Последняя декада. Анаис гостит у отца в Валескуре на Южном берегу Франции.

23 июня. Запрещение Социал-демократической партии Германии.

Июль

2 июля. На обратном пути в Париж Анаис останавливается в Авиньоне, где ее ждет Миллер.

3–10 июля. Велосипедное путешествие Анаис и Миллера по Французским Альпам. Из Шамони, накануне приезда туда Хьюго, Миллер возвращается в Париж. Дальнейшее путешествие Анаис совершает вместе с мужем.

25 июля. Возвращение в Париж.

14 июля. «Закон против образования новых партий» в Германии. Оформление однопартийной системы в Германии.

15 июля. Заключение договора между Англией, Германией,

Италией и Францией (так называемый «Пакт четырех», так и не вступивший в законную силу).

Август

3 августа. Миллер сообщает Анаис, что Кахане наконец решил издавать «Тропик Рака».

20–31 августа. Анаис снова с отцом и его женой на юге Франции. Знакомство с Падеревским.

Сентябрь

Анаис ведет светскую жизнь в Париже. Рождение замысла «Зимы притворств». Созданы первые главы «Черной весны» Г. Миллера.

21 августа. В Лейпциге начинается процесс над Г. Димитровым и другими, обвиненными нацистами в поджоге Рейхстага.

Октябрь

Миллер и Анаис обсуждают возможность совместной жизни. Работа над «Альрауной» (и ее превращение в «Дом инцеста»).

12 октября. Германия покидает Конференцию по разоружению.

19 октября. Выход Германии из Лиги Наций.

24 октября. Отставка кабинета Э. Даладье.

Ноябрь

Знакомство с О. Ранком.

8 ноября. По совету О. Ранка Анаис прекращает вести дневник.

16 ноября. Установление дипломатических отношений между США и СССР.

19 ноября. Победа «умеренных» (в том числе «Народного фронта») на выборах в Испании.

Декабрь

В первой половине месяца Анаис напряженно работает над «Домом инцеста». В конце месяца Г. Миллер предпринимает неудачную попытку побывать в Англии.

5 декабря. Отмена «сухого закона» в США.

23 декабря. Подсудимые на Лейпцигском процессе оправданы.

24 декабря. Начало скандала по делу Стависского, в котором замешаны многие крупные политики Франции (в том числе и министр колоний).

1933 год в литературе, искусстве, науке и технике

Андре Мальро «Условия человеческого существования», Жан Жироду «Интермеццо», Федерико Гарсия Лорка «Кровавая свадьба».

Аристид Майоль «Памятник Клоду Дебюсси», Анри Матисс «Танец».

Фредерик Жолио-Кюри открывает искусственную радиоактивность. В Германии усовершенствован электронный микроскоп. Англичанин Уолтер Хоуворт синтезирует витамин С. Швейцарец Поль Германн Мюллер открывает действие ДДТ на насекомых.

1934

Январь

8 января. Загадочное самоубийство Стависского в Швейцарии за несколько минут до ареста. На следующий день министр колоний Даламье уходит в отставку.

20 января. Возобновление «Дневника». Джун Миллер уезжает в США.

26 января — 10 февраля. XVII съезд ВКП(б); 90 % делегатов этого «Съезда победителей» будут вскоре расстреляны или отправлены на каторгу.

Февраль

Анаис начинает «вплотную» работать над новой повестью «Двойник» (будущая «Зима притворств»). Начало увлечения Отто Ранком и разочарования в характере отца.

6 февраля. Попытка правого путча в Париже. Стрельба на площади Конкорд.

7 февраля. Отставка второго кабинета Даладье, просуществовавшего всего 16 дней.

9 февраля. Контр-демонстрация коммунистов в Париже. Балканский пакт (Греция, Румыния, Турция, Югославия).

10–16 февраля. Правительство канцлера Дольфуса (Австрия) подавляет восстание социал-демократов («Шуцбунд»)

17 февраля. Гибель Альберта, короля Бельгии.

Март

Знакомство Хоакина Нина-старшего с Генри Миллером. Анаис заканчивает «Зиму притворств».

9 марта. Японцы провозглашают Пу И императором марионеточного Маньчжоу-Го.

24 марта. США признают независимость Филиппин.

Апрель

Поездка Анаис в Лондон для улаживания дел с «Тропиком Рака». Там же она передает Кахане рукопись «Черной весны».

Май

13 мая. Анаис узнает о своей беременности.

15 мая. Диктатура Улманиса в Латвии.

19 мая. Военный переворот в Болгарии.

Июнь

Анаис и Отто Ранк — любовники. В начале июня Анаис решает стать профессиональным психоаналитиком. Занятие в Психологическом центре университетского городка. Анаис, кроме того, переводит свои ранние «Дневники» на английский и пишет предисловие к «Тропику Рака».

30 июня. «Ночь длинных ножей». По приказу Гитлера в Берлине и Мюнхене уничтожено все руководство штурмовиков.

Июль

По заказу О. Ранка скульптор Жанна Орлова исполняет портрет Анаис.

25 июля. Убийство нацистами канцлера Австрии Дольфуса. Первый съезд Союза советских писателей.

Август

После тщетных попыток избавиться от беременности Анаис в клинике доктора Эндерса рожает мертвую девочку. Пребывание в клинике. «Прозрение» Анаис.

2 августа. Смерть президента Германии Гинденбурга. Гитлер провозглашен пожизненным рейхсфюрером (президентом и канцлером).

Сентябрь

Середина сентября. Переезд Миллера на улицу Вилла Сера и в тот же день выход в свет «Тропика Рака» с предисловием Анаис Нин.

4 сентября. Переворот Фульхенсио Батисты на Кубе.

18 сентября. Принятие СССР в Лигу Наций.

Октябрь

Доктор Ранк направляется в Америку. Шлет оттуда отчаянные письма, умоляя Анаис приехать к нему. Анаис готовится к отъезду. Попытки Хоакина вернуть ее в «лоно церкви». Визит к аббату Альтерману. Знакомство с Марселем Дюшаном. Временное расставание с Лувесьенном.

5–15 октября. Рабочее восстание в Астурии и Каталонии.

9 октября. Хорватские усташи убивают в Марселе короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту.

21 октября. Начало «Великого похода» Красной Армии Мао Цзэдуна на север Китая.

1934 год в литературе, искусстве, науке и технике

Анри де Монерлан «Холостячки», Шарль де Голль «К профессиональной армии», Жан Жироду «Бой с ангелом», Перл

Бак «Мать».

Аристид Майоль начинает работать над «Тремя грациями» (окончены в 1937).

При биологических исследованиях впервые испробован электронный микроскоп.

Рассказы

Мальорка

Я проводила лето в Дейе, на Мальорке, вблизи того монастыря, в котором останавливались Жорж Санд и Шопен. Спозаранку, каждое утро, взобравшись на низкорослых осликов, отправлялись мы в трудный изнурительный путь с гор к морю. Целый час по тропинкам, покрытым красной скользкой глиной, среди скал, среди предательски срывающихся из-под ног камней, мимо серебристых оливковых рощиц, а потом — море и прижавшиеся к подножию гор рыбацкие поселки.

И каждый день спускалась я к притаившейся в скалах пещере, где море превращалось в тихую круглую заводь такой прозрачности, что, лежа на животе, можно было различать в толще воды коралловые выступы и причудливые морские растения.

Странную историю рассказали рыбаки об этом месте.

Женщины Мальорки были истовыми католичками, строгими, набожными, недоступными. Купались они в длинных купальных юбках и традиционных черных чулках. А для многих из них морские купания вообще считались делом, достойным лишь бесстыжих европеянок, наезжавших сюда каждое лето. Современные купальные костюмы, чужеземное бесстыдство осуждали и рыбаки. Женщины с континента, считали рыбаки, только и ждут случая, чтобы быстрехонько скинуть с себя все и валяться голышом на солнце, ровно язычницы какие. Неодобрительно смотрели рыбаки и на американскую моду — совместные ночные купания.

Несколько лет тому назад, в один прекрасный вечер, по берегу моря прогуливалась восемнадцатилетняя девушка, дочь местного рыбака. Шла она по самому урезу, прыгала с камня на камень, иногда оступалась в воду, и ее белое платье, намокнув, плотно облегало ее фигуру. Она любовалась лунными бликами на море, увертывалась от какой-нибудь резвой волны, застывала в задумчивости и шла дальше. Так она набрела на тихую бухточку в скалах и увидела, что там кто-то плещется. Она могла различить только голову да показывающуюся иногда из воды руку — пловец был довольно далеко от нес. И тут она услышала, как ее позвали: «Иди сюда, поплаваем. Это чудесно!» Голос звучал легко, беспечно. Испанская речь с легким иностранным акцентом: «Давай, Мария!» Ах, вот как, ее, оказывается, знают! Это, должно быть, кто-то из молодых американок, весь день проводящих на море.

— А вы кто? — крикнула она голосу.

— Я Эвелин, — отвечали ей. — Иди же, поплавай со мной!

Это было великое искушение. Так легко сбросить с себя длинное платье и остаться только в легкой коротенькой сорочке! Мария посмотрела вокруг. Ни души не было видно, море спокойно мерцало под луной. Впервые ей стала понятна страсть американок к ночному купанию. Она стянула через голову платье и немного помедлила: точеная фигура, высокая грудь, длинные ноги. Под черными густыми волосами лицо ее казалось бледным, темно-зеленые глаза были темнее морской воды. Мария знала, что она хорошо плавает, лучше, чем кто бы то ни было на всем острове. И, скользнув в воду, широкими и легкими гребками она поплыла к зовущему ее голосу.

Завидев приближающуюся к ней Марию, Эвелин нырнула навстречу и схватила ее под водой за ноги. Девушки принялись барахтаться в воде, словно борясь друг с дружкой. В этой игривой схватке Эвелин то и дело обнимала Марию, а потом они обе выныривали, с хохотом плыли в разные стороны, чтобы снова сблизиться. Полумрак и глухой купальник мешали как следует разглядеть Эвелин. Голос ее был похож на мальчишеский — таким голосом разговаривали многие молодые американки.

Сорочка вздувалась на плечах Марии и стесняла ее движения. Мария сбросила ее и осталась в воде нагишом. Эвелин в очередной раз погрузилась в воду и принялась плавать под Марией, между ее ногами, то и дело прикасаясь к ее коже. Да и сама Эвелин раздвигала ноги, так что ее новая подружка могла проплыть под ними и вынырнуть с другой стороны.

Внезапно Мария увидела, что теперь Эвелин тоже оказалась обнаженной, и почувствовала, как она обнимает ее сзади, прижавшись всем своим телом к ней. А вода была убаюкивающе нежной, словно роскошная подушка, и соли в ней было столько, что они держались на поверхности без всяких усилий.

«Ты красавица, Мария!» — произнес низкий глубокий голос, и руки Эвелин обвились вокруг торса Марии. Ей подумалось, что надо бы плыть прочь от этих рук, но и теплота воды, и постоянное волнующее ощущение другого тела рядом удерживали ее и наконец она отдалась этим объятиям. Странно, что грудь ее подружки была такой плоской, но, впрочем, все американки, которых она встречала, были почти безгрудыми. Приятная истома охватила Марию, она закрыла глаза…

И вдруг она почувствовала, что не рука касается ее бедер, а нечто другое, такое незнакомое, так напугавшее ее нечто, что она вскрикнула от неожиданности. Это не Эвелин была рядом с ней — то был юноша, младший брат Эвелин, который и тыкался своим пенисом в ее бедра. Крик Марии никто не мог услышать,

он прозвучал только в ее душе, как отголосок сурового воспитания, которое призывало ее сопротивляться. В действительности эти прикосновения показались ей такими же убаюкивающими, сладкими и нежными, как ласкавшие ее волны. Легкие прикосновения моря, настойчивая упругость пениса и крепкий обхват рук, словно сговорившись, стремились разбудить в ней чувственность. Последним усилием воли Мария попыталась вырваться из этого сладкого плена, но юноша снова поднырнул, обхватил ее ноги и опять прижался к ней своим телом.

Борьба в воде продолжалась, и с каждым движением его тело все теснее вжималось в нее, хватка все крепла. Груди Марии, всплыв, покачивались на поверхности воды, как две большие водяные лилии, и юноша целовал эти роскошные цветы. Он еще не овладел ею, но пенис уже ткнулся в самое чувствительное, самое уязвимое место у женщины, и Мария совсем расслабилась. Волна понесла их к берегу и осторожно положила на песок. Так они и лежали, уже соединившись друг с другом, а море целовало им ноги и смывало с песка капли девичьей крови.

С той ночи они встречались часто и только в этот час. Они отдавались друг другу в море, лежа на поверхности воды, и мерное колебание двух слившихся воедино тел казалось одной из волн, непрестанно бегущих по ночному морю. А иногда их ноги нащупывали скалистую отмель, и они поднимались над морем, не разжимая своих объятий, и тела, омываемые ласковой морской волной, содрогались под ударами могучих волн оргазма.

Эту давнюю историю, рассказанную мне рыбаками с Мальорки, я расцветила подробностями, возникшими в моем воображении. И всякий раз, когда бродила по ночному берегу, мне казалось, что я вижу, как они плавают в море и любят друг друга. Вижу их, как живых.

Женщина под вуалью

В тот вечер Джордж сидел в своем излюбленном шведском баре, наслаждаясь ничегонеделанием. За соседним столиком он заметил элегантную, красивую пару: мужчину в шикарном костюме и женщину во всем черном, с вуалью на лице и поблескивающей, словно бриллианты, бижутерией на платье. Встретившись со взглядом Джорджа, эти люди улыбнулись. Друг с другом они не разговаривали — ясно, что они давно знакомы друг с другом и им не надо слов, чтобы все понимать.

А вокруг бар жил своей обычной жизнью: выпивающие вместе пары, пьющие в одиночку женщины, ищущие приключений мужчины — все они, казалось, думали об одном и том же.

В конце концов элегантный мужчина завязал с Джорджем разговор, и у Джорджа появился шанс поближе познакомиться с женщиной. Вблизи она, кстати, казалась еще привлекательней, чем издали. Но вместо того чтобы присоединиться к разговору, как надеялся Джордж, она вполголоса что-то сказала своему спутнику, улыбнулась и выскользнула из-за столика. Джордж приуныл — все очарование вечера как-то сразу рухнуло. Вдобавок у него оставалось всего несколько долларов, и он не мог предложить своему новому знакомому выпить с ним, чтобы потом выведать у того побольше насчет его спутницы.

Но мужчина вдруг сам спросил: «А не выпьете ли со мной еще чего-нибудь?»

Разумеется, предложение было принято. Разговор пошел о разном, от приключений в отелях Южной Франции до откровений Джорджа, что ему сейчас до зарезу нужны деньги. Незнакомец отозвался, что добыть деньги — дело нетрудное. Но как это сделать, не сообщил, словно ждал от Джорджа новых признаний.

Джордж, как и многие мужчины, страдал одной слабостью — он любил прихвастнуть своими подвигами, когда бывал в хорошем расположении духа. И мог заинтриговать слушателя. Вот и сейчас он дал понять, что стоит ему выйти на улицу, как приключения подворачиваются сами собой и он просто не знает, какому из них отдать предпочтение. Собеседник слушал и улыбался, а когда Джордж остановился, чтобы перевести дух, он сказал:

— Я так о вас и подумал, как только вас увидел. Вы тот парень, которого я ищу. У меня возникла чертовски деликатная проблема. Нечто уникальное. Не знаю, приходилось ли вам иметь дело с очень трудными, малость свихнувшимися женщинами. Нет? Я это понял по вашим рассказам. Ну вот, а мне пришлось.

Может быть, я просто привлекаю их. Вот как раз сейчас оказался в очень сложной ситуации. Ума не приложу, как мне из нее выбраться. Но вы можете мне помочь. Вы сказали, что вам нужны деньги. Так вот, могу предложить вам очень приятный способ добыть их. Слушайте меня внимательно. Есть одна женщина, богатая и очень красивая, просто без изъянов. Она могла бы стать любовницей любого мужчины, которого бы пожелала, или выйти замуж за того, кого бы выбрала сама. Но у нее есть один пунктик — она предпочитает только незнакомцев.

— Но это ведь так всегда: начинаешь с незнакомцев… — заговорил Джордж, вспоминая путешествия, неожиданные встречи и новые знакомства.

— Нет, тут дело другое. Ее привлекают только те, кого она никогда раньше не встречала и кого никогда больше не увидит. Вот ради такого мужчины она на все пойдет.

У Джорджа чуть было не сорвался с языка вопрос: не та ли это женщина, которая только что сидела за их столиком? Но он удержался. Собеседник явно не был в восторге от того, что ему приходится рассказывать эту историю, он выглядел скорее удрученным.

— Я должен обеспечить этой женщине удовольствие. Я для нее все готов сделать. Я посвятил свою жизнь удовлетворению ее прихотей.

— Понимаю, — сказал Джордж. — На вашем месте я бы точно так же поступал.

— А теперь, — продолжал элегантный джентльмен, — если вы согласны отправиться со мною, вы, возможно, заработаете денег, которых вам хватит не меньше чем на неделю, а кроме того, удовлетворите свою страсть к приключениям.

Джордж вспыхнул от удовольствия. Они вышли на улицу. Незнакомец подозвал такси. В машине он вручил Джорджу пятьдесят долларов. Потом он сказал, что придется завязать молодому человеку глаза — он не должен видеть ни дома, куда его привезут, ни даже улицы, на которой расположен этот дом, чтобы он потом не вздумал повторить эксперимент.

Джордж был в смятении: перед его завязанными глазами возникла женщина из бара, ее яркий чувственный рот, глаза, обжигавшие из-под вуали. И то, что ему особенно понравилось, — ее волосы. Он вообще любил густые тяжелые волосы, нависающие над женским лбом. Он был просто помешан на волосах.

Путешествие оказалось недолгим. Джордж покорно следовал всем таинственным предписаниям. Перед тем как выйти из такси, повязку с него сняли, очевидно чтобы не вызывать подозрений у водителя такси или швейцара. Но незнакомец точно рассчитал,

что яркий слепящий свет в подъезде и интерьер дома не позволят Джорджу на первых порах ничего разглядеть. Джордж и в самом деле увидел вначале только сияние ламп, отражавшихся в бесчисленных зеркалах.

В таких роскошных апартаментах ему еще не приходилось бывать: белые стены, повсюду зеркала, дорогая мебель, покрытая дамасской камчатной тканью, ковер на полу такой мягкий, что ноги тонули в нем и шагов не было слышно. Джорджа вели через анфиладу комнат, каждая освещалась по-разному, но стены были все в зеркалах, так что он совсем потерял ориентацию. Наконец его ввели в последнюю, где он мог перевести дух.

Эта комната оказалась спальней, где под пологом на возвышении стояла широкая кровать; пол был устлан мехами, на окнах — белые прозрачные занавеси и зеркала, зеркала, зеркала… Джорджу было приятно видеть свое отражение, повторенное множество раз: статный мужчина, не скрывающий своей взволнованности таинственностью ситуации и своей настороженности. Чего ему следует ждать? Но он не успел еще толком задать себе этот вопрос, как женщина из бара вошла в спальню и в ту же минуту мужчина, приведший Джорджа, исчез.

Теперь она была одета по-другому. Совершенно замечательное платье было на ней, шелковое платье, державшееся на теле лишь с помощью круглого воротника, при этом плечи оставались обнаженными. Джорджу было ясно: достаточно одного движения, и платье соскользнет вниз, показывая сияющее, как дорогой атлас, и такое же атласное на ощупь, как он понимал, тело.

«Держись спокойней», — приказал себе Джордж. Трудно было поверить, что эта роскошная красавица сама предлагает себя совершенно незнакомому мужчине.

Конечно, он чувствовал себя неловко. Чего ждет она от него? Каких особенных удовольствий? А вдруг у нее какие-нибудь чересчур изысканные прихоти?

Только одна ночь в его распоряжении, чтобы блеснуть всем своим мастерством. Больше они никогда не встретятся. Сможет ли он распознать все тайны ее натуры, сумеет ли пробудить в ней желание отдаться ему еще раз за одну ночь? Интересно, много ли мужчин до него переступали порог этой комнаты?

Она была сущей красавицей, сотканной словно из двух материй — шелка и бархата. Бархатные черные глаза, яркий рот, как бы светящаяся шелковая кожа. И все в ее облике было соразмерно, изящно, законченно: тонкая талия, подчеркивающая вызывающе соблазнительную грудь, гибкая, как у танцовщицы, спина, роскошные бедра. Она ему улыбнулась. Джордж шагнул

вперед и приложился губами к обнаженному плечу. Ничто не могло сравниться с нежностью этой кожи! Сдержаться от соблазна тут же сдернуть платье и увидеть ее скрытые под шелком груди, казалось, невозможно. Раздеть ее сейчас же, немедленно!

Но с этой женщиной, чувствовал Джордж, так быстро не управиться, тут требовался тонкий подход, целое искусство. Никогда еще его движения не были так обдуманны и артистичны. Казалось, он решился на долгую осаду; поскольку никаких признаков нетерпения он не заметил, то продолжал, прижавшись губами к обнаженному плечу и вдыхая легкий восхитительный аромат ее плоти. Очарование, исходящее от нее, было столь сильным, что он был готов тут же овладеть ею. Но нет, пусть она сначала даст ему знак, пусть Джордж почувствует ее волнение. Он не ждал от нее мягкости и податливости воска под его пальцами, он лишь хотел, чтобы она сама захотела его.

Так, не произнося ни слова, стояли они возле роскошного ложа. Его руки ползли по изгибам облаченного в шелк тела, словно желая ближе познакомиться с ним. Она по-прежнему не двигалась. Джордж опустился на колени, продолжая целовать и гладить ее. Почувствовал, что под платьем у нее ничего нет. Подтолкнул ее к кровати, и она села на нее. Снял с женщины туфли, и ее ноги оказались у него в руках.

Она улыбнулась ему ласково, призывно. Он поцеловал ее ноги, а руки сами пробрались под подол длинного платья и пальцы ощутили гладкую поверхность ног и бедер.

Ее ноги упирались ему в грудь, а Джордж все шарил под платьем. Если столь нежна была кожа ее ног, какой же нежностью порадует она его выше, возле лона, где кожа должна быть еще мягче! Но бедра были плотно сдвинуты и проводить там свои исследования ему не удавалось. Джордж встал и склонился над незнакомкой, чтобы ее поцеловать. Она откинулась на спину и слегка раздвинула ноги.

Теперь он мог проскользнуть туда, но, прежде чем коснуться ее лона, руки Джорджа все еще бродили по всему телу, словно стремясь зажечь похотью каждый его уголок.

Волосы женщины растрепались, платье свалилось с плеч, и показались груди. Джордж, схватив губами, тащил платье вниз в надежде добраться наконец до этой соблазнительной груди — упругой, с розовыми, как у маленькой девочки, сосками.

Женщина уступала ему безропотно, и эта податливость вызвала в Джордже желание сделать ей больно: может быть, хоть так удастся пробудить в ней ответную страсть. Ласки возбуждали его, но никак не ее, он ощущал своими пальцами холодную, покорную, без всякого трепета плоть.

Джордж решил было, что тайна женщины заключена в ней самой: она просто не способна возбудиться, кто бы и как бы ее ни ласкал. Но такого не могло быть — ее тело сулило столько радостей. Кожа была так отзывчива, рот такой чувственный. Не может быть, чтобы она ничего не ощущала. И он продолжал ее ласкать медленно, словно во сне, будто ему некуда было торопиться, когда ты абсолютно уверен, что пламя в конце концов разгорится в твоем партнере.

А в зеркалах отражалась фигура женщины, лежащей на кровати: платье сползло с груди, прекрасные ноги, слегка раздвинутые под платьем, свисали с кровати.

Лежа рядом, Джордж должен был сорвать наконец платье, чтобы почувствовать ее тело полностью. Он начал стаскивать платье и… женщина стала помогать ему. Ее тело возникало перед Джорджем подобно Венере, выходящей из пены морской. Он поднял ее и уложил на кровать.

И тут случилось чудо: когда он наклонился к ней, чтобы усладить свой взгляд красотой ее розоватой раковины, женщина затрепетала, и Джордж чуть ли не закричал от радости.

А она прошептала: «Снимите с себя все».

Он разделся. О, ему было ведомо могущество его наготы! Атлет, любитель долгих пешеходных прогулок, пловец и альпинист, без одежды он казался еще более привлекательным. Джордж понимал, что ей доставляет удовольствие разглядывать его обнаженное тело.

И она смотрела на него.

Понравился ли он ей? Станет ли она отзывчивей, когда он наклонится к ней? Джордж не был уверен в этом, но такое неистовое желание коснуться ее лона кончиком своего члена охватило его, что теперь ему это было все равно. Тут она остановила его, поскольку захотела целовать и ласкать его член. И принялась за это с таким пылом и рвением, что он тут же оказался под нею. Женщина прижалась к лицу Джорджа нижней частью своего тела, так что он мог вволю целовать и ласкать ее.

Этот уголок он исследовал с наслаждением. Двумя пальцами раздвинул нижние губы и залюбовался поблескивающей кожицей, устьем сладчайшего медового источника, волосиками, закрутившимися вокруг его пальцев. Его жадный рот словно превратился в орган, способный наслаждаться сам по себе; еще немного он поработает языком и неслыханный приступ оргазма захлестнет его. И когда он с этим ощущением вонзил зубы в ее плоть, снова почувствовал, как дрожь наслаждения пробегает по телу незнакомки. И тут же испугался: может быть, она хочет удовлетвориться лишь ласками да поцелуями и лишить его

радости проникнуть в ее утробу, добраться до самых глубин, вонзиться в матку. Надо вытащить член у нее изо рта. Они превратились в двух хищников, алчущих вкуса чужой плоти. Рты их впились друг в друга, языки сталкивались и сплетались.

Теперь огонь наконец-то разгорелся в ее жилах. И этого, думал Джордж, он добился именно своей неспешностью, своей точно рассчитанной медлительностью. Глаза женщины сверкали, и она никак не могла оторвать своего рта от его восставшей плоти.

Наконец он владел ею — после того, как она своими тонкими пальцами раздвинула нижние губы, как бы показывая, что не может больше ждать.

Потом она кивнула на зеркала и усмехнулась: «Взгляни-ка, такое впечатление, что мы вовсе не занимаемся любовью, просто я сижу у тебя на коленях, а ты, негодник, торчишь во мне все это время и только дрожишь мелкой дрожью. Хватит, мне надоело прикидываться, будто у меня внутри ничего нет. Ты меня завел. Давай, пошевеливайся!»

Она накинулась на Джорджа и волчком завертелась на его негнущемся пенисе, при этом она не смогла удержаться и закричала от наслаждения. В ту же секунду все тело Джорджа пронзила обжигающая молния любовного экстаза.

Несмотря на пыл, с каким они отдались друг другу, женщина не потрудилась даже узнать у Джорджа его имя, а на прощание лишь чмокнула в распухшие от поцелуев губы и подтолкнула к дверям. Несколько месяцев Джорджа мучило воспоминание о той ночи, и никакая другая женщина не могла пробудить в нем такого желания.

Однажды приятель Джорджа, получив за несколько газетных статей щедрый гонорар, пригласил его выпить. И от него Джордж услышал одну захватывающую историю, случившуюся на днях. Этот парень сидел вечером в баре, понемногу спуская свои денежки, когда к нему подсел довольно благообразный джентльмен и предложил недурно провести время, наблюдая за роскошной любовной сценой. Приятель Джорджа был завзятый вуайер, и приглашение, разумеется, было тут же принято. С завязанными глазами, его привезли в великолепные покои в некоем доме, провели в темную комнату, и он стал свидетелем великолепной любовной игры, которой занималась красивая женщина и превосходно оснащенный неутомимый мужчина.

У Джорджа все похолодело внутри. «Опиши ее», — попросил он приятеля.

И тот нарисовал портрет женщины, абсолютно совпадавший с образом той, с которой Джордж провел незабываемую ночь, даже

описание одежды совпало. Услышал Джордж и о кровати под пологом, и о зеркалах, — обо всем! Спектакль обошелся зрителю в сотню долларов, но зрелище, по его словам, стоило таких денег, и он был вполне доволен.

Бедняга Джордж! С тех пор он стал остерегаться женщин. Разве мог он поверить, что они в состоянии так ломать комедию, способны на подобное вероломство. И он никак не мог отделаться от мысли, что все женщины, приглашавшие его на рандеву в свои спальни, прятали за шторами какого-нибудь любознательного зрителя.

Марсель

Я жила тогда в плавучем доме — барже, пришвартованной к берегу; туда-то и приходил Марсель. В глазах его было удивление, смешанное с восторгом, и блики переливались в них, как на поверхности воды. Голодные глаза, алчущие, открытые. Бесхитростный, все впитывающий взгляд из-под свирепых бровей, кустистых, как у австралийского аборигена. Правда, свирепость и дикость были разбавлены высоким чистым лбом и шелковистыми волосами. Кожа тоже была нежной, почти прозрачной, мягкий рот, но зато руки были опять же тяжелые, крестьянские, как бы подтверждающие его силу.

Он начинал рассуждать, и тут-то в неудержимой страсти к анализу проявлялось его безумие. Все, что с ним случалось, все, что попадало в его руки, каждый час его дня постоянно комментировался, разбирался на части. Он не мог поцеловать кого-нибудь, почувствовать вожделение, добиться обладания, насладиться без немедленного подробного исследования. Свои действия он заблаговременно планировал с помощью астрологии; он вообще часто сталкивался с запредельным, таинственным, волшебным, но у него был особый дар вызывать непостижимое. Однако таинственное происходило с ним не раньше, чем он сам воссоздавал его с силой и настойчивостью человека, не боящегося, что, встретившись с непостижимым, он сумеет это пережить; он обладал упорством человека, стремящегося превратить миф в реальность.

Мне нравился его зыбкий образ, чувствительный, открытый для всякого ветерка, пористый, если представить его куском плотной материи. Еще до того, как он начинал говорить, он мог показаться чем-то вроде ласкового животного или, когда его болезнь не проявлялась, похотливого, плотоядного зверя. У него, казалось, не было тогда уязвимых мест, он выглядел совершенно цельным фланером с мешком, полным всяких открытий, заметок, программ, новых книг, новых талисманов, духов, фотографий. Его словно носило по волнам, как баржу, сорвавшуюся с якоря. Он странствовал, бродяжничал, заглядывал в психушки к больным, составлял гороскопы, накапливал эзотерические знания, коллекционировал растения и камни.

— Совершенство есть во всем, что не может тебе достаться, стать твоим, — говорил он. — Я вижу его в мраморных обломках, в кусках сгнившего дерева. Совершенство в женском теле, которое никогда не может быть познано до конца, даже во время соития.

Одевался он так: длинный шнур вместо галстука, такой,

какой сотни лет носят цыгане, кепка апаша и полосатые брюки французского буржуа. А то черный монашеский сюртук, галстук-бабочка, как у дешевого провинциального актера; или он обматывал горло оранжевым или ярко-малиновым шарфом, словно парижский сутенер. Или же появлялся в смокинге, одолженном у какого-нибудь бизнесмена, с широким длинным галстуком гангстера и в шляпе добропорядочного папаши, у которого в доме с десяток детишек. Он мог оказаться в черной блузе заговорщика-анархиста или в клетчатой рубахе крестьянина из Бургундии, в вельветовой блузе рабочего и в широких штанах мешком. Иногда он отпускал бороду и становился похожим на Иисуса Христа, иногда появлялся гладко выбритым — настоящий венгерский скрипач на ярмарке.

Я никогда не знала, под какой маской он придет ко мне. Если в нем было что-то постоянное, так это постоянство изменений, превращение во все что угодно; постоянство актера, занятого в бесчисленных ролях.

И я не знала, когда он явится ко мне. Он просто говорил: «Загляну как-нибудь».

И вот теперь мы лежим в постели, смотрим на расписанный потолок моего плавучего дома. Марсель гладит своей рукой покрывало, поворачивает голову к окну, смотрит туда.

— Люблю приходить сюда, на баржу, — произносит он. — Здесь я успокаиваюсь. Река действует на меня как лекарство. Все, чем мучаюсь, кажется здесь таким ненастоящим.

Дождь стучит по кровле моего жилища на воде. В пять часов в воздухе Парижа всегда разливается аромат эротизма. Наверное, потому, что все любовники в романах французских писателей встречаются между пятью и семью. Никогда ночью, ибо все героини замужем и свободны именно в это время, только в час чаепития. Чаепитие — лучшее алиби. И в пять часов я, как и весь Париж, начинала чувствовать дрожь предвкушения. И какого бы мужчину я ни увидела, мне казалось, что он идет к любовнице, и какая бы женщина ни попалась мне навстречу, она спешила на свидание к своему другу.

Уходя, Марсель поцеловал меня в щеку. Прикосновение его бороды было приятным. Поцелуй в щеку можно было бы расценить как братский, если бы он не был таким крепким и долгим.

Иногда мы вместе обедали. Как-то я предложила потанцевать и мы отправились на негритянский бал. Но едва мы вошли, Марсель словно впал в паралич — он боялся танцевать. Ему было страшно притронуться ко мне. Я пыталась затащить его на танцевальный круг, но-ничего не получилось. Он упирался и был

в ужасе. Когда все-таки он меня обнял, то весь дрожал. А я только радовалась тому смятению, причиной которого оказалась сама. Наслаждалась его близостью, наслаждалась хрупкостью его тела…

— Тебе грустно? — спросила я. — Ты хочешь уйти?

— Да нет, мне не грустно, но что-то мне мешает. Кажется, все мое прошлое меня не пускает. И я двинуться не могу. Эта музыка такая варварская. У меня ощущение, будто я вдохнул и не могу выдохнуть. Не по себе, как-то неестественно.

Тащить танцевать его не имело смысла, и я нашла отличного негра себе в партнеры.

Мы вышли из клуба в прохладную ночь, и Марсель все время рассуждал о спазмах, страхах, параличе чувств. Я понимала, что чуда не произошло, а я хотела высвободить его чудесным способом, не напрямую, не словами, теми, которые находила для других страдальцев. Я знала, чем он болен. Этой болезнью переболела и я когда-то. Но я-то ведь была знакома и с Марселем свободным, раскованным. И мне хотелось освободить его, выпустить на волю, расковать.

Однако, когда мы добрались до моей баржи и увидели там Ганса, а потом после полуночи появился и Густаво, Марсель, видя, что тот намерен остаться после его ухода, взревновал. Я заметила, как потемнели его голубые глаза. Целуя меня на прощание, он шепнул мне: «Выйди со мной на минутку». И посмотрел на Густаво со злостью.

Я вышла вместе с ним на пустынную набережную. Как только мы остались одни, он набросился на меня с поцелуями. Целовал страстно, жадно. Его большой, плотоядный рот просто выпивал все мое существо. И я снова раскрыла ему навстречу мои губы.

— Когда ты придешь ко мне? — спросил он.

— Завтра, Марсель, завтра я обязательно приду к тебе.

Он решил удивить и встретил меня на следующий день в своем пристанище одетым в лапландский костюм. Эта одежда напоминала одеяние русских зимой: на нем была меховая шапка и высокие сапоги из черного меха, доходящие почти до бедер.

Его комната напоминала жилище путешественника, наполненное вещами, привезенными со всех концов света. Стены были увешаны красными коврами, на кровати лежали звериные шкуры. Замкнутое, уютное и очень интимное место, дышащее чувственностью, как места, где курят опиум. Ярко окрашенные красные стены, предметы, напоминающие амулеты африканских колдунов, — все дышало сладострастием, все было необычайно эротично. Мне хотелось лежать голой на шкуре и отдаваться среди звериных запахов, чувствуя, как меня ласкает этот мех.

Я стояла посреди красной комнаты, и Марсель меня раздевал. Он крепко сжимал в руках мою талию, его руки жадно исследовали все мое тело. Он пробовал, достаточно ли упруги мои бедра.

— Первый раз настоящая женщина, — вздохнул он. — Так много их здесь перебывало, но первый раз здесь настоящая женщина, перед которой хочется на колени встать.

Все животное, что таилось в нем, казалось, смешалось с запахом шкуры и ощущением ее прикосновений, когда я легла на кровать. Ревность уничтожила робость Марселя. Он в самом деле превратился в зверя, жадного до всякого нового ощущения, каждой новой возможности познать меня. Он жадно целовал меня, кусал мои губы. Лежал на звериной шкуре, облизывая мои губы, ощупывая мои ноги, ягодицы, лобок. Потом в полумраке пополз по мне и сунул свой член ко мне в рот. Я прихватила его плоть зубами, пока он двигался во мне взад и вперед, но ему это только понравилось. Он смотрел на меня, любовался и ласкал меня. Пальцы неустанно бродили по мне, ему хотелось побывать всюду, не пропустить ни одного уголка.

Я закинула ноги ему на плечи так высоко, что он мог видеть, как входит в меня и выходит его пенис. Он хотел видеть все. Он хотел видеть, как блестит от моей влаги член, мелькая в моем лоне. Я подставила себе под зад обе сжатые в кулак руки, чтобы податься еще больше ему навстречу, чтобы глубже принимать его удары. А он перевернул меня и вошел теперь в меня сзади, сжимая руками мои груди, лаская их и с силой проталкиваясь в мою утробу. Он был неутомим. И он не хотел кончать. Я готова была ждать его, но он явно не спешил, оттягивал последний момент. Он хотел остаться во мне навсегда и бесконечно длить свое наслаждение. Но мои силы были на исходе и я взмолилась: «Кончай же, Марсель, кончай!» И наконец он ускорил свои движения, все быстрее и все яростнее, пока я не закричала от счастья, и он рухнул головой мне на плечи, и мы содрогнулись почти одновременно.

Мы лежали в полумраке на жарких мехах, окруженные странными предметами: колокольчиками из-под дуги, меховыми сапогами, расписными ложками из России, кристаллами, раковинами. Там были и непристойные китайские гравюры на стенах. Но не только эти гравюры, все, даже кусок лавы из вулкана Кракатау, даже бутылка с песком из Мертвого моря — все звучало, словно сладострастные нашептывания.

— Ты очень чувствуешь мой ритм, — сказал Марсель. — Обычно женщины слишком торопливы для меня. Меня это просто в панику вгоняет. Они очень быстро получают свое и потом я

боюсь продолжать. Они не дают мне времени почувствовать их как следует, узнать их, вытащить из них все, что в них есть. Я просто с ума схожу после их ухода, вспоминая их наготу, и никогда не получаю полного удовлетворения. А ты не спешишь. Ты — настоящая, я тебя люблю.

Все это он сказал, когда мы, уже одетые, разговаривали, стоя возле камина. Марсель скользнул рукой мне под платье и снова принялся ласкать меня. У нас обоих потемнело в глазах от желания. Я стояла, сомкнув веки, вся отдавшись ощущению его рук, ласкающих мое тело. Вот он своей тяжелой крестьянской лапой сжал мои ягодицы, и я подумала, что мы сейчас рухнем на кровать и он снова войдет в меня.

Но вместо этого он сказал: «Подними платье».

Я прислонилась к стене, подавшись всем телом ему навстречу. Его руки раздвинули мне ноги, обхватили мой зад, и он пустил в ход язык, высасывая и вылизывая меня, пока я не стала опять вся мокрая. Тогда он вытащил пенис и вошел в меня, словно припечатал к стене. Он вталкивал, врубал, ввинчивал в меня свой крепкий, как бурав, член, пока я не растворилась целиком в его страсти.

И все-таки я получала больше удовольствия, занимаясь любовью с Густаво. В нем не было комплексов, страхов, нервозности Марселя. Он, казалось, засыпал, когда мы своими ласками загипнотизировывали друг друга. Я гладила его по затылку, запуская пальцы в густые черные волосы. Ласкала его живот, ноги, бедра. Когда проводила рукой по его спине, начиная от шеи и заканчивая ягодицами, он вздрагивал от удовольствия. Он любил ласки, как любит их женщина. Его член возбуждался, но я не прикасалась к нему, пока он окончательно не вставал. Густаво испускал вздохи, я брала его член в руки, сжимала его, двигала рукой вверх и вниз по нему. Еще трогала самый кончик языком, и он начинал двигаться вперед и обратно в моем рту. Иногда он изливался мне в рот и я проглатывала его сперму.

В другой раз он первым приступал к подобным ласкам. Сок из меня начинал вытекать почти сразу же — пальцы Густаво были так жарки и умелы. Случалось, я испытывала оргазм, едва он трогал меня своими пальцами. Ощутив мой трепет, он возбуждался. Не дожидаясь, когда содрогания отпустят меня, он быстро пускал в ход пенис и проникал в меня во время моих последних конвульсий. Его член, казалось, был сделан по моей мерке: он заполнял меня полностью и легко скользил внутри. Я смыкала вокруг него свои нижние губы, и они так же, как верхние, сосали его. Случалось, что пенис его делался еще толще, чем обычно, и был словно заряжен электричеством, и тогда

наслаждение было безмерным и оргазм бесконечным.

Густаво пользовался успехом у женщин, ему не раз запросто предлагали себя, но в одном отношении он сам был как женщина: ему требовалась любовь. Хотя какая-нибудь красавица и могла пробудить его интерес, но если он не чувствовал хоть малой влюбленности, мог и импотентом оказаться.

Удивительно, как характер человека отражается в его сексуальном поведении! Если он нервный, робкий, беспокойный, напуганный, то и совокупление будет таким же. Если же он спокоен, то и сексуальным актом он насладится так же спокойно и уверенно. Например, у Ганса член неутомимый, никогда не падает, если уж встал, но Ганс не торопится, так уверен в нем. Он уютно располагается в пределах, так сказать, своего удовольствия так же, как уютно устраивается в пределах отпущенного времени, и наслаждается без суеты, полноценно, до последней капли. А вот Марсель был более суетлив, беспокоен. Даже когда член его был тверд, как камень, я чувствовала, как он старается показать всю свою мощь, что он спешит из страха, что силенок может и не хватить.

Прошлой ночью, прочитав одну из вещей Ганса, эпизоды его сексуальной жизни, я закинула руки за голову и почувствовала, как с моего пояса тихонько сползают шелковые штанишки. Почувствовала, как оживают мой живот и мое лоно. В ночном мраке Ганс и я погрузились в долгую оргию. Все женщины, которыми он владел, становились моими, все, к чему прикасались его пальцы, трогала и я, все женские лона, аромат которых он вдыхал, все слова, которые он произносил о сексе, все это я вобрала в себя, все оргии из прочитанных мною страниц, все восторги, все оргазмы, все стоны и крики…

Мы с Марселем лежали в полумраке его комнаты, и я слушала его о своих фантазиях и как трудно ему претворить их в жизнь. Ему, например, всегда хотелось, чтобы на женщине было надето много юбок, а он бы лежал под ними и любовался ею снизу. Он вспоминал, что так забавлялся со своей первой нянькой: будто бы играя, заглядывал ей под юбку. Это первое взволновавшее его сексуальное переживание так и осталось с ним на всю жизнь.

И тогда я сказала ему: «Но я могу это сделать для тебя. Вообще давай-ка исполним сегодня все, что мы когда-то хотели сделать или заставить другого. У нас впереди целая ночь. У тебя здесь столько вещей, которые можно использовать. И у тебя такой богатый гардероб. Я могу надеть все что угодно для тебя».

— Да? — обрадовался Марсель. — А я для тебя тоже сделаю все, что ты захочешь, все, что ни попросишь, сделаю.

— Давай начнем с одежды. У тебя там есть крестьянские юбки, и я хочу в них нарядиться. Мы начнем с твоих фантазий. И не остановимся, пока все их не осуществим. Ну, давай мне юбки.

Он отправился во вторую комнату, где хранил множество платьев и юбок, привезенных из Испании и Греции, и я надела одну из них. Когда вернулась в его комнату, Марсель лежал на полу. Он расцвел от счастья, увидев меня. Я присела на край кровати.

— Нет, ты встань, — сказал Марсель.

Я встала. Он лежал на полу и заглядывал мне под юбку. Вытянул руки, слегка раздвинул мои ноги. Марсель смотрел прямо туда, где ноги соединялись, и этот взгляд так меня возбудил, что я стала легко пританцовывать так, как я видела, танцуют арабские женщины. Я поигрывала бедрами прямо над лицом Марселя и он видел, как раскачивается над ним мой лобок, прорезанный манящей щелью. Я крутилась, поворачивалась, припрыгивала, а он смотрел, и дыхание его становилось все тяжелее и тяжелее. Потом он уже не мог сдерживаться и усадил меня прямо себе на лицо и принялся покусывать, целовать и лизать меня. Так это продолжалось какое-то время, пока я не сказала: «Стоп, а не то я кончу».

Тут же покинула его, чтобы исполнить следующую его фантазию. Я вернулась голая в его высоких войлочных черных сапогах. Ему хотелось, чтобы я играла роль его жестокой госпожи. «Будь со мной построже, — попросил он. — Будь просто жестокой».

Голая, в одних высоких черных сапогах, я начала с унизительнейшего приказа. Я сказала: «Ступай и приведи сюда красивого мужчину. И пусть он меня возьмет в твоем присутствии».

— О, вот этого я не хочу, — сказал Марсель.

— А я тебе приказываю. Ты же говорил, что сделаешь все, что бы я ни попросила.

Пришлось послушаться. Через полчаса он возвратился со своим соседом, очень красивым русским. Марсель был бледен. Он видел, что русский мне понравился. Он сказал гостю, для чего его пригласили. Русский взглянул на меня и улыбнулся. Мне не было нужды особенно возбуждать его. Когда он подошел ко мне, я увидела, что нагота и черные сапоги свое дело сделали. Я не только отдалась русскому, но еще и шепнула ему: «Только, пожалуйста, помедленнее».

Марсель терзался мучениями. А я наслаждалась русским, который обладал большим и могучим орудием и мог сдерживаться долгое время. Марсель смотрел на нас, и когда он

вынул из брюк свой член, тот у него стоял, как столб. Я почувствовала, что оргазм у нас с русским наступит в унисон, и тут Марсель подскочил ко мне и попытался вставить свой член мне в рот. «Нет уж, — остановила я его. — Продержись еще немного. Я хочу попросить тебя еще кое о чем — ты не должен кончать сейчас».

А русский получил свою дозу удовольствия. Излившись в меня, он не захотел выходить и готов был продолжить, но я вывернулась из-под него. «А теперь я хотел бы посмотреть на вас», — прошептал он.

Но Марсель воспротивился. Гостю пришлось уйти. Он распрощался, поблагодарив меня горько-ироничным тоном, — очень уж ему хотелось остаться с нами.

Марсель бросился к моим ногам.

— Это было жестоко. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Это было очень жестоко, безжалостно.

— Но ты же сильно разгорячился от этого, не так ли? Ты здорово возбудился.

— Да, но мне было и очень больно. Я бы не хотел так обращаться с тобой.

— А я и не стану тебя просить обращаться со мной жестоко. Я от жестокости не возбуждаюсь, наоборот, это меня расхолаживает. Но ты ведь сам просил меня, ты-то от этого возбуждаешься.

— Ладно, а что ты теперь хочешь?

— А теперь я хочу, чтобы меня взяли, пока буду смотреть в окно, — сказала я. — Пусть люди меня видят. Хочу, чтобы ты брал меня сзади и чтобы никто не мог догадаться, чем мы занимаемся. Я люблю тайну в этом.

Итак, я встала у окна, оперевшись на подоконник. Меня могли видеть из домов напротив, пока Марсель брал меня, пристроившись сзади. Конечно, мне было очень хорошо, но я не показывала никакого вида, что получаю удовольствие. Просто выглядываю в окно и все тут. А Марсель вовсю пыхтел у меня за спиной, и уже начинал терять контроль над собой. Но я все приговаривала: «Спокойно, Марсель, делай все это тихо, чтобы никто не мог понять».

Все видели нас, но мы производили впечатление людей, выглянувших в окно, просто для того, чтобы поглазеть на улицу и вдохнуть свежего воздуха. Но нас потрясал оргазм так же, как и сотни пар в ту минуту, за дверями и под крышами парижских домов.

Наконец мы устали и закрыли окно. Расставаться еще не хотелось. В темноте болтали, предавались мечтам и вспоминали.

— Ты знаешь, Марсель, за несколько часов до нашего свидания я ехала в метро. Обычно стараюсь не попадать туда в часы пик, но так уж случилось. Меня толкали со всех сторон, стискивали. Вагон был битком набит. Вдруг я вспомнила рассказ Алруны о приключении в вагоне метро, когда она убедилась, что Ганс пользуется толчеей, чтобы втихомолку ласкать женщину. И в ту же минуту я почувствовала, как чья-то рука тихонько прижалась к моему платью. Как бы случайно. Пальто мое было распахнуто, платье на мне было тонкое, и эта рука легко поглаживала сквозь тонкую ткань платья самую верхушку моего грота.

Я не сдвинулась с места. Человек, к которому прижала меня толпа, был настолько выше меня, что я не видела его лица, а поднимать глаза не стала — я была уверена, что это именно он, и не все ли мне равно, как он выглядит. А рука не унималась и жала все сильнее и сильнее, уверенно прогуливаясь по обводам моего лона. Я чуть подалась вперед, чтобы еще лучше ощущать его пальцы, которые становились все тверже, настойчивее и уже добрались до нижних губ и занялись их исследованием. Я чувствовала, как поднимается, растет во мне сладкая теплота, наслаждение от этих ласк. Вагон качнулся, нас еще плотнее прижало друг к другу, и я стала тереться об его руку, придавая ему еще больше уверенности. Я чувствовала, что вот-вот кончу, и все энергичнее терлась об его руку, а рука оказалась сообразительной. И сознавая, что оргазм приближается, меня продолжали ласкать, увеличивая темп движений, пока я не кончила. Все мое тело потрясли судороги наслаждения, и в это время поезд как раз подошел к конечной остановке. Людской поток хлынул к дверям, и мой мужчина исчез, словно растворившись в воздухе.

Была объявлена война. На улицах плакали женщины. Это была первая ночь с затемнением. Мы уже пережили репетицию этого, но настоящее затемнение совершенно не похоже на учебное. Учебная тревога была веселой, а теперь Париж посерьезнел. Улицы погружены в полный мрак. Только то тут то там красные, синие, зеленые огоньки светофоров, тусклые, как лампадки перед иконами в русских церквах. Все окна занавешены черной материей. Витрины кафе тоже или же закрашены темно-синей краской. А ночь… Теплая сентябрьская ночь, и темнота делает ее еще теплей, еще мягче. И что-то странное разлито в атмосфере — надежда, напряженное ожидание.

Я осторожно пробиралась по бульвару Распай по направлению к «Дому». Там надеялась спастись от одиночества, встретить знакомых, поболтать с кем-нибудь. Наконец я пришла.

Народу было полно, больше всего солдат и обычных посетительниц — шлюх и натурщиц. Не хватало многих художников и артистов. Большинство из них были вызваны к себе домой, каждый в свою страну. Уехали американцы, уехали испанцы, и немецкие эмигранты не занимали больше столики. «Дом» стал снова полностью французским.

Я села за столик, и вскоре ко мне присоединилась Жизель, милая девица, с которой мы несколько раз уже сиживали здесь. Она обрадовалась мне, а я ей. Она не могла оставаться дома: она жила с братом, а его мобилизовали, и в доме стало тоскливо и неуютно. Потом другой наш приятель, Роже, подсел к нам. Вскоре нас было за столом уже пятеро. Все мы пришли в кафе, чтобы побыть на людях. Всем нам было тоскливо и одиноко. Темнота отделяет человека от других, и вырваться из нее трудно, она загоняет человека в дом, но мы сумели вырваться и сидели теперь, радуясь свету и людям. Солдаты веселились вовсю, все были здесь друзьями. Людям не надо было ждать, пока их представят, барьеры рухнули. Над каждым нависала одна и та же угроза, и в каждом жила жажда общения, поиск тепла и дружбы.

Но немного позже мне захотелось снова очутиться на темных улицах. «Пойдем прогуляемся», — предложила я Роже. Мы шли неторопливо, осторожно, пока не добрались до любимого мною арабского ресторана и не вошли туда. Народ сидел за низкими столиками. Танцевала мясистая арабка. Мужчины кидали ей монеты, она клала их на свою могучую грудь, и танец продолжался. Сегодня в кафе было полно солдат, они уже хватанули тяжелого алжирского вина и были пьяны. Не очень трезвой была и танцовщица. Она никогда не надевала на себя слишком много: дымчатая, прозрачная юбка, пояс — вот и все. Но сегодня юбка была с разрезом, и, когда она исполняла танец живота, было видно, как танцует ее покрытый черными волосами лобок и как движутся ее толстые ляжки.

Один из офицеров показал ей десятифранковую монету. «Заткни ее себе в пипку», — сказал он и засмеялся. Фатима ничуть не смутилась этим предложением. Она подплыла к столу, взяла монету и положила на самый край названной части тела. Затем вильнула бедрами, как будто сделала па во время танца, и губы ее вульвы соприкоснулись с монетой, но сначала никак не могли ухватить ее. Она старалась изо всех сил, и до нас явственно доносились раздающиеся между ее ног хлюпающие звуки. Солдаты веселились вовсю, упиваясь этим зрелищем. Наконец вульва приноровилась, схватила монету, и Фатима удалилась от стола под громкие аплодисменты.

Танец продолжался. Юноша-араб, игравший на флейте, не

сводил с меня глаз, буквально прожигая меня взглядом. Я покосилась на Роже: он сидел, прикрыв глаза, весь отдавшись музыке. Юный араб продолжал жечь меня своим взглядом, горячим, как поцелуй. Я встала с места, он тоже поднялся. Я пошла к дверям, точно еще не зная, что предприму. У входа находилась маленькая каморка, где хранились верхняя одежда и головные уборы посетителей. Девушка, присматривающая за гардеробом, сидела с солдатами. Я юркнула туда. Араб все понял. Мне не пришлось долго ждать среди солдатских шинелей и штатских пальто. Он расстелил чью-то шинель на полу и уложил меня на нее. В тусклом электрическом свете я разглядела его великолепный полированный член. Он был так красив, что я потянулась к нему, но араб не позволил мне взять его в рот. Он поместил его в мое нижнее отверстие. Бог мой, как он был тверд и горяч! Я боялась, что нас застанут, и хотела, чтобы он поторопился. Сама была так заведена, что кончила почти сразу, а он все продолжал сбивать во мне масло. Он был неутомим.

Пьяный солдат вышел из зала — ему была нужна его шинель. Мы замерли. По счастью, он схватил шинель, даже на заходя в наш чуланчик. Он ушел, и араб снова принялся за дело. Он никак не мог кончить. У него было столько силы и в руках, и в члене, и в языке. Я чувствовала, как все растет его инструмент внутри меня, как он все больше накаляется, жжет стенки матки, выскабливает их. И двигался он все в том же ритме, не замедляя и не убыстряя движений. Я лежала на спине, уже не соображая, где мы и что мы. Думала только о его пенисе, двигавшемся равномерно и уверенно, туда-обратно, туда-обратно. Без какого-нибудь изменения ритма он так же методично дошел до своего оргазма, выстрелив в меня, словно струями из горячего фонтана. Но из меня он не вышел, остался во мне, чтобы я кончила во второй раз. Но тут из ресторана повалил народ. По счастью, мы были надежно защищены висевшей одеждой. Я не могла пошевелиться. Араб сказал: «Могу я вас снова увидеть? Вы такая красивая и нежная. Как мне вас увидеть снова?»

Но меня уже разыскивал Роже. Я выбралась из-под пальто, села, стала приводить себя в порядок. Люди спешили к выходу: комендантский час начинался в двенадцать. Все думали, что я выдаю пальто. Я совсем протрезвела, мой араб исчез. Роже отыскал меня — он хотел проводить меня домой. «Я видел, как пялился на тебя арапчонок. Ты будь поосторожней», — предупредил он меня.

В темноте мы шли с Марселем по Парижу, заходили то в одно, то в другое кафе, отбрасывая в сторону тяжелые черные шторы в дверях, словно спускались в какой-то подземный мир, в

некий город, где правят демоны. Все черное, подобно черному белью парижской проститутки, длинным черным чулкам исполнительниц канкана, широким черным подвязкам профессионалок, удовлетворяющих прихоти самых гнусных извращенцев, тугим черным корсетам, заставляющим груди торчать навстречу жадным мужским губам, черным сапогам из мазохистских эпизодов французских романов. Сладострастные ассоциации заставили Марселя нервничать, его тело вздрагивало от возбуждения.

— Ты думаешь, есть такие места, где чувствуешь себя так, словно занимаешься любовью? — спросила я.

— Конечно, — ответил Марсель уверенно. — По крайней мере, со мной так. Точно так же, как ты чувствовала себя на моих шкурах, я чувствую, что занимаюсь любовью там, где есть портьеры, занавески, ткани на стенах; мне кажется, что это, как в матке. То же самое я испытываю, когда вокруг много красного цвета. И еще зеркала. Но больше всего на меня подействовала одна комната возле бульвара Клиши. На углу этого бульвара, ты знаешь, работает проститутка с деревянной ногой. Есть много ее ценителей, да и я ею всегда восхищался, тем более что чувствовал себя никак не способным заниматься с ней любовью. Я был уверен, что меня паралич хватит при одном виде ее деревянной ноги.

Это была очень живая молодая женщина, улыбчивая, добродушная. Крашеная блондинка, но брови черные, густые, совсем мужского склада, а над верхней губой чуть заметные черные усики. Должно быть, до того, как она покрасилась, у нее были черные волосы типичной южанки. Единственная ее нога была крепкой, хорошей формы, да и вся фигура была красивая, стройная. Но я не мог все же заставить себя пригласить ее. Я смотрел на нее и вспоминал картину Курбе, виденную мною когда-то. Эту картину художнику заказал один богач, который просил его изобразить женщину во время совокупления. Так вот, великий реалист Курбе написал женский половой орган и больше ничего. Ни головы, ни рук, ни ног. Он изобразил только торс с тщательно прорисованной вагиной, слегка вывернутой навстречу мужскому члену, торчащему из густых черных волос. И это все. Вот я и чувствовал, что с этой шлюхой будет у меня то же самое. Все-таки, когда думаешь о сексе, хочется взглянуть и на ноги, и еще на что-нибудь.

Я стоял, рассуждая сам с собой на углу бульвара Клиши, и увидел другую, очень молоденькую проститутку, что в Париже — большая редкость. Она заговорила с той самой шлюхой на деревянной ноге. Начинался дождь. Молоденькая и говорит:

«Торчи теперь два часа под дождем, а у меня туфли развалились. И ни одного клиента».

Мне вдруг стало ее очень жалко, и я говорю: «Не выпьешь ли со мной кофе?»

Она очень обрадовалась и спросила:

— А вы кто, художник?

— Нет, — говорю, — не художник, но немного разбираюсь в картинах.

— О, в кафе «Веплер» есть чудесные картины, — говорит она. — Посмотри-ка на одну такую.

И вытаскивает из своей сумочки что-то, напоминающее тонкий носовой платок. Разворачивает. Там изображена огромная женская задница, изображена так, что видна и вся передняя дыра, да еще такой же колоссальный мужской инструмент. Она дернула платок за концы, член задвигался и попал прямо в задницу. Потом она перевернула платок другой стороной, член остался, но теперь его загоняли уже спереди. Я рассмеялся, но пришел в такое возбуждение, что мы так и не попали в «Веплер», а девочка повела меня к себе домой. Жила она на Монмартре, в обшарпанном доме, где селится цирковой и опереточный народ. Вскарабкались мы на пятый этаж, и, пока шли, она разговорилась.

— Ты уж извини за такую грязь. Я ведь совсем недавно начала в Париже. Я здесь всего месяц. Раньше работала в заведении в маленьком городке. Так скучно было иметь дело с одними и теми же мужчинами каждую неделю. Это все равно что вести семейную жизнь! Я точно знала, когда они ко мне явятся, день и час, как по железнодорожному расписанию. Знала уже все их привычки. Они меня ничем уже не могли бы удивить. Вот я и удрала в Париж.

Пока она все это вала, мы добрались до ее жилища и вошли. Очень маленькая комнатка — в ней хватало места только для большой железной кровати, на которую я сразу же ее и повалил. Мы совокуплялись, как два павиана, и кровать жалобно кряхтела под нами. Но вот то, что мне еще не попадалось, — в этой комнате не было окон, никакого окошка.

Я лежал там словно в склепе, в тюремной камере, в келье! Не могу толком объяснить, на что это было похоже. Но это дало мне потрясающее ощущение безопасности. Чудесно было так надежно укрыться от всего с молоденькой женщиной. Это была самая волшебная комната, в которой я когда-либо занимался любовью, так надежно отделенная от всего остального мира. И когда я в нее вошел, ощутил, что ничего больше в жизни не осталось, все мои заботы улетучились. Это было самое лучшее место во всем мире, темное и теплое, как материнская утроба, где всем нам когда-то

так спокойно жилось.

Мне бы хотелось остаться там жить, с этой девочкой, и никуда оттуда не уходить. На пару дней я так и поступил. Два дня и две ночи напролет мы просто лежали в ее кровати, любили друг друга, засыпали, просыпались и снова любили. Когда бы я ни проснулся, мой член был уже в ее пещере, влажной, темной, раскрытой, и я начинал двигать его туда и сюда, а потом мы лежали без движения, пока не начинали чувствовать, что проголодались.

Тогда я выбегал на улицу, покупал вина, холодного мяса и возвращался в постель. И никакого дневного света. Мы вообще не знали, день ли сейчас или ночь. Мы просто лежали вместе, одна плоть в другой, и что-то шептали на ухо друг другу. Ивонна иногда говорила такое, что я не мог удержаться от смеха. И упрекал ее: «Ивонна, не смеши меня так сильно, я же выскакиваю из тебя». В самом деле, когда я смеялся, мой член выскальзывал; я его, правда, тут же всовывал обратно, но все-таки драгоценные мгновения оказывались потерянными.

— Ивонна, а ты не устаешь от этого? — спросил я ее однажды.

— О, нет, — ответила она. — Да это ж единственный раз, когда я сама получаю удовольствие. Клиенты, ты знаешь, всегда вроде как торопятся, и это на меня плохо действует, так что пускай себе стараются, а мне с ними ничуть не интересно, я не завожусь. И потом это было бы плохо для работы. Если будешь заводиться, станешь уставать и быстро постареешь. Так что они копошатся, пыхтят, а я где-то там, далеко от них, сама по себе. Ты меня понимаешь?

Тут Марсель прервал свой рассказ и спросил меня, оказался ли он хорошим любовником, когда я в первый раз пришла к нему.

— Ты был прекрасным любовником. Марсель. Мне так понравилась твоя хватка! Ты так схватил меня за зад, словно собирался скушать обе половинки. Мне понравилось и то, как ты ухватил меня за клитор, так решительно, с таким мужским напором. Это в тебе первобытный человек сказывается.

— Почему женщины никогда не говорили мне такого? Почему они все делают такую тайну из своих ощущений? Они что, считают, это разрушит их очарование, убьет таинственность, но это же не так. А вот ты приходишь и говоришь о том, что ты чувствуешь. Это удивительно.

— Я убеждена в том, что это надо говорить. Тайн и так хватает, и они только помеха обоюдному наслаждению. Надо объяснять все, что ощущаешь и чего тебе хочется. Вот началась война, и сколько же людей умрет, так и не познав ничего, потому

что стеснялись говорить о сексе.

— Я вспоминаю Сен-Тропез, — задумчиво произнес Марсель, — наверное, самое лучшее лето у нас с тобой.

Он сказал, и я сразу же представила это место. Колонию людей искусства, где собирались и светские люди, и актеры, и актрисы, и молодые яхтсмены с приставших к берегу яхт. Множество кафе над прибоем, веселье, богатство, небрежность в нарядах и манерах. Все в пляжных туалетах, все братья — яхтсмены с художниками, художники с юными почтальонами, молодыми полицейскими, молодыми рыбаками, темнокожими молодыми южанами.

В патио, под открытым небом, располагался дансинг. Играл джаз с Мартиники, он был куда жарче, чем летняя ночь. Однажды вечером мы с Марселем сидели в уголке, потягивая мартини, когда нам объявили, что будут выключать свет сначала на пять минут, потом на десять, а потом на пятнадцать в середине каждого танца.

Джазмен с микрофоном в руке провозгласил: «Тщательно выберите себе партнера! Выбирайте партнеров обдуманно!»

Произошла небольшая заминка, но музыка заиграла, пары начали танцевать, и в конце концов свет действительно погас. Несколько женщин истерически закричали. Послышался мужской голос: «Это безобразие! Я здесь не останусь». Кто-то даже завопил: «Немедленно включите свет!»

Но танец продолжался в темноте. Чувствовалось, что атмосфера накаляется.

Марсель был в восторге. Он вел меня так, словно хотел разломать меня, сгибал, притягивал, втискивал свои колени между моих колен, его член упирался мне в низ живота. За пять минут люди могли только чуть-чуть потереться друг о друга, времени хватало лишь на несколько фрикций. Но когда свет зажегся, все выглядели взволнованными. У одних к лицам прилила кровь, другие были белы как полотно. Полотняные шорты некоторых женщин были измяты. Полотняные брюки некоторых мужчин пошли морщинами. Как веет озоном после грозы, так и сейчас в воздухе повеяло чем-то непристойным, почти скотским. И в то же время на поверхности сохранялась видимость изысканности, элегантности, комильфо. Некоторые, кто был шокирован, поспешили покинуть сцену. Другие затихли как бы в ожидании бури. Но у многих появился лихорадочный блеск в глазах.

— Как ты думаешь, кто-нибудь из них в конце концов сорвется со всех якорей и завопит, превратившись в зверя?

— Я, — коротко ответил на вопрос Марсель.

Начался второй танец. Свет погас. В публике послышались приглушенные взвизгивания, это пытались протестовать женщины. Мы с Марселем прижались друг к другу, сплелись, как профессионалы танго, и в один момент я подумала, что не смогу удержаться от оргазма. Потом свет зажегся, и возбуждение, и беспорядок в одежде стали еще заметнее.

— Это превратится в оргию, — подумал вслух Марсель.

Люди сидели, словно ошеломленные светом, но еще больше ошеломленные жаром в крови и дрожью нервов.

Никто уже не мог сказать, в чем разница между светскими дамами, шлюхами, представительницами богемы и местными девочками. Местные были красивы знойной красотой юга, этакие таитянки, украшенные раковинами и гирляндами цветов. Правда, в сумятице танца некоторые раковины сломались и осколки лежали на полу.

— Я не думаю, что смогу вытерпеть третий танец, — сказал Марсель. — Ей-богу, я тебя изнасилую. Руки его скользнули в мои шорты, глаза горели. Тела, тела, тела. Ноги, много ног, все загорелые, гладкие, а некоторые словно лисьей шерстью покрытые. У одного была такая волосатая грудь, что он решил, что ей стоит похвастаться, и носил рубашку-сетку, сквозь которую так и лезла его шерсть. Настоящая обезьяна. И партнершу свою облапал, словно сожрать ее собирался.

Последний танец. Огни погасли. Послышался какой-то короткий птичий крик. Это отбивалась одна из женщин.

Марсель упал головой мне на плечо и принялся кусать меня. И довольно больно. Мы прижались друг к другу и двигались, не размыкая объятий. Я закрыла глаза от удовольствия. Меня всю пошатывало. Меня несла волна вожделения, волна, шедшая от других танцующих, от ночи, от музыки. Я снова испугалась, что не удержусь. Марсель все кусал меня, и я подумала, что сейчас мы оба рухнем на пол. И тогда хмель спас нас. Опьянение помогло нам держаться над действием, наслаждаясь всем, что лежит за пределами поступка.

Когда свет вспыхнул снова, все были как во хмелю, всех била нервная дрожь. Марсель сказал: «Им нравится это больше, чем само дело. Многим, во всяком случае. Эта волынка еще долго будет тянуться. Я не могу здесь больше оставаться. Пусть они торчат тут и наслаждаются, пусть радуются, что их щекочут, пусть сидят с торчащими членами и мокрыми дырами между ног, но я не могу ждать. Пошли на пляж».

На пляже прохлада немного успокоила нас. Мы лежали на песке, звуки джаза доносились все еще до нас. Тяжелые удары барабана издалека, тяжелые, как удары сердца, тяжелые, как

удары члена в утробе женщины. Волны катились на песок к нашим ногам, и другие волны внутри нас перекатывали нас по песку снова и снова, пока мы не кончили вместе. На мокром песке, под далекие вздохи и взвизги джаза.

Вот это и вспомнил Марсель. И сказал: «Что за прекрасное лето было! И, наверное, каждый догадывался, что пьет последние капли счастья».

Дом на воде

Толпа тащит меня, хочет вобрать в свой поток, распоряжаться мной. Зеленый свет на перекрестке приказывает мне именно здесь пересечь улицу. Улыбающийся полицейский приглашает меня проследовать между серебряными шляпками перехода. Даже осенние листья подчиняются единому движению.

А я выламываюсь из всего этого. Я — отрезанный ломоть. Сворачиваю вбок и оказываюсь на верхней ступени лестницы, ведущей вниз, к набережной. Подо мной река. Ничего похожего на тот поток, откуда я только что вынырнула, где трутся друг о друга, сталкиваются гонимые голодом и вожделением ржавые обломки.

Я сбегаю вниз, и с каждым моим шагом уличный шум отступает, съеживается. От ветра, поднятого моей юбкой, листья забиваются в щели. А там, где кончаются ступени, — люди, выпавшие из мира толпы по той же самой траектории, матросы, потерпевшие крушение в водоворотах улиц, бродяги, отказавшиеся принять законы толпы. Здесь они валяются под ногами у деревьев, спят, выпивают. Они отрешились от времени, от собственности, от работы, от рабства. Их ритм не совпадает с ритмом остального мира. Им не нужны тряпки и крыша над головой. Все они одиночки, и все похожи друг на друга словно родные братья. Время одинаково истрепало их одежду, вино и ветер одинаково изморщинили их кожу; и лица у них похожи: корка грязи, разбухшие носы, застоявшаяся влага в уголках глаз. Отказавшись плыть в людском потоке, они нашли другой — река успокоила их. Вино и вода. Каждый день они исполняют обряд отречения. Причащаются вином и рекой, и вода размывает затянутые узелки мятежа, смывает железное, режущее одиночество, уносит в свое сияющее молчание.

А они бросают в реку газеты, и это их молитвы. Унестись, вознестись, переродиться, без этой боли в костях, во всем скелете — только биение пульса говорит о жизни. Без потрясений, без насилия, без пробуждения.

Бродяги спят, а рыбаки, как загипнотизированные, застывают на долгие часы, всем своим видом показывая, что их интересует только улов. Река общается с ними через бамбуковые удилища, по рыболовной снасти добирается до них трепет ее души. Забыто время, голод забыт. В нескончаемом вальсе света и тени исчезли воспоминания, пропали страхи. Рыбаки и бродяги как анестезатором накачаны блеском и посверкиванием реки, жизнь угадывается в них лишь по биению пульса. Пустота, остались

лишь кружения танца.

Плавучий дом причален к подножию лестницы. Свет и тени испещрили его борта; он широк, тяжел, устойчив на своем киле, но река вздохнет глубоко — и он поднимается, выдохнет — он опустится. Медленная вода омывает его бока. Внизу, у самой ватерлинии, водоросли. Как русалочьи волосы, они пластаются по воде, а то нежно льнут к тронутой мхом древесине. Хлопают, распахиваясь и закрываясь, послушные порывам ветра ставни, и крепкие сваи, оберегающие баржу от ударов о берег, трещат от натуги, как старые кости. Дрожь пробегает по заснувшему плавучему дому, как пробегает она по телу больного в лихорадочном сне. Замер вальс теней и света. Нос баржи зарывается поглубже, встряхивая причальные цепи. Это мучительное мгновение — вот-вот оно прервется вспышкой гнева и ярости, как это бывает на земле. Но нет, сон воды ненарушаем. Все на своих местах. Ночной кошмар может ворваться и сюда, но река владеет тайной сохранять свою непрерывность. На мгновение взволнуется лишь поверхность, но суть реки там, в глубине, невозмутима.

Я вступаю на сходни, и от городского шума не остается ни капельки звука. Всегда, когда вытаскиваю ключ, начинаю нервничать: а если упадет в реку мой ключ, ключ от маленькой двери, ведущей в бесконечность? Или вдруг дом оборвет свои швартовы и уплывет от меня. Так однажды и случилось, но с помощью береговых бродяг его вернули на место.

Тотчас же, как только оказываюсь внутри дома, я забываю название этой реки и этого города. Эти стены из старой древесины, тяжелые балки над головой могут быть со мной и на норвежском паруснике, пересекающем фиорды, и на голландской шхуне у берегов Бали, и на джутовой барке где-нибудь на Брахмапутре. Огни ночного берега — такие же огни горят и в Константинополе и на набережных Невы. Такие же тяжелые колокола гремят и в Пещерном Соборе. Всякий раз, вставляя ключ в замок, я ощущаю волнение, словно перед отъездом куда-то, слышу, как начинают позвякивать цепи, как поднимают якорь. Как только я оказываюсь внутри, начинаются все мои путешествия. Даже ночью, когда мой корабль спит, когда ставни закрыты и не видно дымка над его трубой, он кажется мне таинственным парусником, плывущим неведомо где.

Ночью я закрываю ставни, выходящие на набережную. Но когда я открываю окно, могу видеть шмыгающие мимо смутные тени: мужчин с поднятыми воротниками, с низко надвинутыми на глаза кепками и рыночных торговок в широких длинных юбках. Укрывшись за деревьями, они занимаются любовью. Уличные

фонари высоко вверху, и свет их не добирается до зарослей вдоль длинной каменной стены. Только когда зашуршат створки окон, слившиеся тени стремительно раздваиваются, чтобы потом, как только все станет снова тихо, слиться в одно целое.

Вот сейчас мимо идет баржа, груженная углем, и волны от нее качают мой дом и другие приткнувшиеся к берегу баржи и лодки. Качаются картинки у меня на стене. Подвешенная к потолку рыбацкая сеть раскачивается подобно паутине гигантского паука, осторожно стягивая петли вокруг ракушки или морской звезды, угодивших в нее.

На столе лежит револьвер. Никакая опасность не грозит мне на воде, но кто-то посчитал, что револьвер мне может понадобиться. Я смотрю на него так, словно мне припоминается совершенное мною преступление — мои губы складываются в улыбку, с какой люди смотрят порой в лицо опасности, отвести которую они не в силах; так еще улыбается женщина, когда говорит, что весьма сожалеет о неприятностях, случившихся по ее невольной вине. И это улыбка природы, со спокойной горделивостью подтверждающей свое естественное право на убийство; зверь в джунглях не знает этой улыбки, но человек, когда в нем проявляется звериная сущность, улыбается именно так. Именно такая улыбка возникает на моем лице, когда я поднимаю револьвер и целюсь из окна в реку. Но мне так отвратительно убийство, что даже стрелять в воду мне страшно — словно там, в Сене, я могу убить снова какую-нибудь Прекрасную Незнакомку — вроде той, которая бросилась здесь в воду несколько лет назад. Она была так красива, что в морге сняли слепок с ее лица.

Выстрел прозвучал неожиданно, и река поглотила его. Никто ничего не заметил ни на мосту, ни на набережной. Так легко можно совершить злодейство здесь, на реке.

Снаружи какой-то старик, весь подергиваясь, играет на скрипке, но звуки не доходят до него — он глухой. Не музыка льется со струн инструмента, а тоненькие жалобные всхлипывания дрожащих пальцев старика.

На верху лестницы двое полицейских болтают с проститутками.

Умирающее лето дышит в моей спальне, в комнате призраков, в пристанище ночи. Тяжелые балки наверху, нависающий потолок, массивные дубовые рундуки вдоль стен. Индийская лампа бросает угольные штрихи на потолок и стены, и из них складывается персидский рисунок из цветов кактуса, шелковых вееров, кружев, листьев пальмы, минаретов, плюща, карабкающегося по решетке.

Я опускаюсь в сон, и он расцветает надо мной, как роза на песчаном холме пустыни, которой грозит гибелью первый же налетевший шквал. Но это не только роза. Погружаясь в сон, я бросаю в землю зерно, в котором дремлют будущие чудеса, таятся исполнения всех желаний.

Изголовье кровати распускается надо мной веером, темное дерево, прошитое медными нитями, цветет павлиньим оперением, крылья огромной золотистой птицы простираются над рекой. Потонуть может баржа, но только не эта могучая, широченная кровать, плывущая сквозь ночи, под которыми таятся зияющие пропасти страсти. И падая туда, я ощущаю, как держат меня на своем гребне волны чувств, непрерывные, катящиеся одна за другой под моими ногами волны. Зарываюсь в постель, и меня затягивает в выстланный мягким и нежным мхом туннель ласки.

Воскурения ладана вьются спиралями. Мучительно смотреть на едва уловимое колебание огня свечи. Смотреть на него — как прислушиваться к сердцебиению любимого человека, ожидая, что вот-вот этот золотистый молоточек остановит свои взмахи. Свечам не дано разогнать мрак, но их поединок с ночью все длится и длится, и ты — в постоянной тревоге.

Какой-то звук донесся до меня с реки. Я высунулась из окна, но река снова стала безмолвной. А вот теперь слышу шум весел. Тихое, тихое шлепанье, идущее от берега. Какая-то лодка ткнулась в борт баржи. Вот звякнула цепочка.

Я жду призрачного возлюбленного, того самого, кто преследует всех женщин, того, кто приходит ко мне во сне, кто возникает за спиной каждого мужчины и, покачивая головой и предостерегающе подняв палец, говорит мне: «Нет, не с ним. Это не тот». И каждый раз запрещает мне любить.

Должно быть, за ночь моему плавучему дому пришлось попутешествовать — вся обстановка переменилась. Рассвет огласился захлебывающимся женским криком. Я выскочила на палубу в тот самый момент, когда тонущая женщина ухватилась за якорную цепь. Почувствовав близость спасения, она закричала еще громче — жажда жизни пробудилась в ней с новой силой. Вдвоем с непроспавшимся береговым пьянчужкой мы вытащили якорную цепь с судорожно вцепившейся в нее спасенной утопленницей. Она отплевывалась, откашливалась, на нее нашла икота. Еще не пришедший в себя пьянчуга отдавал команды воображаемым матросам, указывал им, как поступать со спасенной женщиной, и в конце концов едва не свалился на нее, сразу же пробудив в ней скрытую агрессивность. Но все-таки мы подняли ее на ноги, перевели на баржу, где я дала ей сухую

одежду.

Но от былой гармонии ничего не осталось. Взбаламученный ил поднялся на поверхность, и стаи пробок окружили баржу. Мы отталкивали их метлой и багром, течение должно было унести их, но пробки липли к моему дому, как железные опилки к магниту.

А бродяги умывались у фонтана. По пояс голые, они намыливали лицо и плечи, потом стирали в реке свои рубахи, причесывались, опуская расчески в реку. Этим людям у фонтана было известно все, что должно случиться. Завидев меня на палубе, они сообщали мне последние новости, говорили о приближении войны, о надежде на революцию. Я слушала их описание завтрашнего мира — заря вполнеба, все тюрьмы открыты и узники на свободе.

А самый старый из них, ничего не знающий о прекрасном завтра, все еще был заперт в тюрьме — в кандалах пьянства. Без надежды на побег. Когда он был налит по горлышко, ноги у него разъезжались, и он падал ничком. Алкоголь поднимал его на своих крыльях, он был готов к полету, но тут тошнота подступала к нему, и крылья его подворачивались. Хмельная дорожка вела в никуда.

В тот же самый день я наблюдала, как на набережной сцепились три человека. Один из них был чертовски элегантен, за плечами у второго висел мешок старьевщика, а третьим был нищий с деревянной ногой. Спорили они отчаянно. Щеголь, пересчитывая свои деньги, уронил десятифранковую монету. Нищий тут же наступил на нее своей деревяшкой, и сдвинуть его с места никак не удавалось. Он не боялся никаких угроз, а двинуть его по деревяшке ни у кого не хватало духу. Он стойко держался все время, пока они спорили, а когда те двое наконец ушли, одноногий нагнулся и сцапал монету.

Мусорщик длинной метлой сметает сухие листья в реку. Кто-то сломал мой почтовый ящик, дождь заливает его, и, когда я достаю письма оттуда, кажется, что они намокли от слез моих друзей. Свесив тоненькие ножки вниз, сидит на берегу чей-то ребенок. Часа два или три сидит он так, а потом начинает плакать. Мусорщик спрашивает мальчонку, где его мать. Мать велела ему дожидаться и сидеть здесь до ее возвращения. Она оставила ему кусок черствого хлеба. На мальчишке маленькая черная школьная накидка. Мусорщик достает расческу, сует ее в реку, расчесывает ребенку волосы и умывает ему мордашку. Я предлагаю взять его на баржу. «Да уж она не вернется, это точно, — говорит мусорщик. — Так они часто поступают. Вот еще один для сиротского приюта».

При слове «приют» мальчишка срывается с места и улепетывает так стремительно, что мужик даже не успевает достать его метлой. «Они его схватят рано или поздно, — говорит он спокойно. — Никуда не денется. Я сам из таких».

Дорога отчаяния.

Река тоже мучилась кошмаром. Ее широкий китовый горб не знал покоя. Река ворочалась, ее терзали каждодневные самоубийства. Женщины чаще кормили реку своими телами, чем мужчины, и зимой люди охотнее сводили счеты с жизнью, чем летом.

Пробки качаются на воде, покорные каждому ее движению, но с баржей они никак не расстаются, облепили ее словно паразиты-моллюски. Идет дождь, и вода просачивается сверху, капает на мою постель, на мои книги, на черный коврик перед кроватью.

Я просыпаюсь в середине ночи, волосы мои намокли. Может быть, я оказалась на дне Сены? Может быть, пока я спала, моя баржа, моя кровать потихоньку погружались в воду?

Но видеть все вещи сквозь воду не так уж необычно. Словно плачешь бесстрастными, пресными слезами, за которыми нет никакой боли. Да я ведь и не отрешилась совершенно от всего, я просто погрузилась настолько глубоко, что все частицы сущего слились в этом искрящемся безмолвии, настолько глубоко, что мне становится слышна музыка маленького клавесина внутри улитки, вытянувшей свои рожки-антенны. Улитки, передвигающейся на спинке какой-нибудь глубоководной рыбины.

В этой белой тишине, в этой чистой общности скручиваются, свиваются растительные формы, превращающиеся в живую плоть, в планеты; меч-рыбы протыкают насквозь могучие башни, лимон луны исчезает в небесах, затянутых лавовой пылью, ветви усыпаны воспаленными жаждущими глазами, словно ягодами. И крохотные пичуги в зарослях бурьяна не просят корма, не заливаются трелями, а источают тихие напевы метаморфоз, и всякий раз, когда они раскрывают клювики, створчатое витринное стекло распадается, течет змейками, лентами серной окраски.

Свет просачивается из-под покрытых мучнистой плесенью могильных плит, и от него не спрятаться за опущенными ресницами, его не застлать слезами, не отгородиться от него сомкнутыми веками, и сон не поможет, и забвение не выпустит тебя отсюда, из этого места, где нет ни ночи, ни дня. Рыба, растение, женщина — все они, с глазами, обреченными на вечное бдение, чувствуют себя спутанными, смешанными в этом

исступлении, где нет отдыха и где они — вместе.

Я перестала дышать настоящим, втягивать окружающий меня воздух в кожаные урны легких. Я дышу в бесконечность, выдыхаю легкую дымку, поднимающуюся светлой пирамидкой моего сердцебиения.

Это легчайшее из легчайших дыханий, не тронутое ветром, — атмосфера китайской гравюры, где в воздухе держится черная птица с одним крылом, неподвижное облако, склонившаяся в поклоне ветка — все это предшествует белой истерии поэта и ярко-алой истерии женщины с пеной у рта.

Я перестала вдыхать крупицы пыли, микробы ржавчины, пепел былых смертей, я дышу воздухом еще не рожденного будущего, и тело мое лежит снаружи голубых ободков нервов — оно как брошенный на землю шелковый шарф.

У тела безмятежность минералов, застывших соков травы, глаза снова становятся жемчужинами и блестят сами по себе, а не от льющихся из них слез.

Сплю.

Не надо всматриваться в мои ладони, чтобы увидеть в них свет моей жизни. Бледный до неуловимости, он словно Дух Святой, говорящий на многих таинственных для всех языках.

Сон будет надежным сторожем, так что не надо утруждать глаза. Глаза теперь жемчужины, волосы — как веер из кружев. Я сплю.

В жилах моих вязкая ткань корней, кактусовое молоко, ртуть, сочащаяся из серебристых буков.

Я сплю, и ковер мха у меня под ногами, а ветви мои погружены в вату облаков.

В вековом сне застыло серебряное лицо экстаза.

За ночь плавучий дом уплыл из краев отчаяния. Солнце ударяет в бревенчатые балки, на них пляшут солнечные блики, отраженные от воды. Открыв глаза, я любуюсь этой легкой игрой и чувствую себя так, словно, пробив тучи, оказалась совсем близко от солнца. Куда же мы приплыли за ночь?

Поблизости должен быть остров Радости. Я высунулась из окна. Отстиранная в чистейшей воде, ярко зеленела моховая одежда баржи, пробки и прочая труха исчезли, и запах дешевого прокисшего вина тоже. Мелкие стремительные волны бежали по реке, и они были так прозрачны, что сквозь них я видела вялые прибрежные водоросли, кланяющиеся каждой волне.

Это был день прибытия на остров Радости.

И, стало быть, я могу сейчас украсить свою шею перламутровым ожерельем и прошествовать по городу, высоко подняв голову от сознания того, что никому, кроме меня, не

известна эта тайна.

Когда я вернулась к своему дому, нагруженная новыми свечами, вином, писчей бумагой, чернилами и гвоздями, чтобы чинить сломанные ставни, полицейский остановил меня на верху лестницы.

— У вас что там, на набережной, праздник сегодня?

— Праздник? Нет, что вы!

Но сбежав по ступеням вниз, я все поняла — на набережной был праздник, и полицейский прочел это на моем лице. Торжество света и движения. Конфетти солнечных зайчиков, длинные серпантиновые ленты воды, музыка слепого скрипача. Да, этим утром я ступила на остров Радости. Река и я слились, нас обеих обнимало блаженство, и конца ему не предвиделось. Река вместе со мною радовалась стремительным подводным течениям, совершающимся в самой глубине приливам и отливам, всей этой темной таинственной деятельности, затаившейся на речном дне.

Большой колокол Подводного собора пробил двенадцать раз и возвестил начало торжества. Баржи медленно плывут под солнцем, и от их гладко отполированных бортов, как с карнавальных колесниц, летят во все стороны букеты ярких красок. На их палубах флагами развивается белое, розовое, голубое, вывешенное для просушки белье, детишки играют с собаками и кошками, женщины торжественно и уверенно держат руль. Все отстирано, отмыто, и движения замедленны, точно во сне.

Но едва я подошла к самой кромке воды, праздник сразу кончился. Его как обрубили. Я увидела трех мужчин, длиннющими ножницами выстригавших водоросли. Я вскрикнула, но они равнодушно продолжали свое дело. Одного из них мой испуг рассмешил: «Это же не ваши цветы, — сказал он. — Нам приказал Департамент благоустройства. Туда и жалуйтесь». И быстро-быстро они покончили со всеми зарослями, отправив вялые ошметки вниз по течению.

Так моя баржа отчалила от острова Радости.

А в почтовом ящике я обнаружила распоряжение речной полиции о перемене места. Английского короля ждали с визитом в Париж и рассудили, что ему не понравится зрелище плавучих домов, белья, развешанного на палубах, ржавых труб и баков с водой, щербатых, с выбитыми ступеньками судовых лесенок и прочих цветочков, выросших из нищеты и лени. Нам всем предписывалось отправиться гораздо выше по Сене, но никто не мог разобрать, куда именно, — таким суконным канцелярским языком все это было изложено.

Один из моих соседей, одноглазый велогонщик, пришел поговорить о предстоящем выселении и припомнил, что вроде бы нет закона, дающего право посудинам наподобие наших торчать в самом центре Парижа, накапливая на своих днищах и бортах заросли мха. Толстяк художник, обитавший у противоположного берега, всегда потный, всегда в рубашке нараспашку, предложил, чтобы мы вообще не двигались с места в знак нашего протеста. А что может случиться? Самое худшее, раз уж нет законов, прямо запрещающих нашу стоянку, полиции придется пригнать буксир, построить нас в ряд и как арестантов отконвоировать вверх по реке. Хуже не будет. Вот эта возможность и перепугала кривого велосипедиста, потому что, как объяснил он, его плавучий дом недостаточно прочен, чтобы выдержать напряжение, оказавшись в строю с более тяжелыми и крепкими баржами. Ему вали об одном плавучем домике, который развалился во время такого путешествия. И он вовсе не думает, что и мой кораблик может не выдержать подобного испытания.

А на следующий день одноглазый был оттащен от нас своим приятелем, который привел туристический пароходик; он исчез на рассвете, по-воровски, гонимый страхом перед коллективными действиями. А потом двинулся и художник — тяжело, медленно, потому что его баржа была куда тяжелее. У него там были и рояль, и гигантские холсты, весившие куда больше, чем мешки с углем. Его побег оставил зияющий прогал в нашей шеренге, словно во рту выпало несколько передних зубов. Тотчас же это место было занято обрадованными рыбаками. Они явно жаждали нас выпроводить, и думаю, их молитвы оказались куда доходчивее наших, потому что в письмах из полиции очень скоро стали звучать все более настойчивые нотки.

Я была последней, кто остался на месте, все еще надеясь, что мне удастся устоять. Каждое утро я навещала полицейского начальника. Я всегда надеюсь, что ради меня сделают исключение, что ради меня можно поломать законы и правила. Не знаю почему, но именно так и случалось очень часто. Шеф полиции был со мной чрезвычайно любезен, позволял мне часами сидеть в его офисе и давал читать брошюры, чтобы я не скучала. И я погрузилась в историю Сены. Я узнала число затонувших барж, столкнувшихся туристических пароходиков и количество самоубийц, которых спасла речная полиция. Но закон оставался несокрушимым, и шеф потихоньку посоветовал мне отвести мой дом к верфи поблизости от Парижа и заняться там его ремонтом в ожидании разрешения вернуться. Ремонтная верфь была недалеко, и я приготовилась к приходу буксира, который оттащит туда мою баржу.

В середине дня он появился. Приближение буксира к барже было очень похоже на ухаживание, деликатное ухаживание, производимое со множеством предосторожностей. Буксир понимал, как хрупки списанные баржи, превращенные в плавучие жилища. Жена капитана готовила обед, пока продолжалось маневрирование буксира. Матросы возились с канатами и цепями, один из них подбрасывал уголь в топку. Наконец буксир и баржа сцеплены, как сиамские близнецы. Капитан поднимается по трапу, вытаскивает бутылку вина, делает здоровенный глоток и дает команду отчаливать.

И вот мы плавно скользим по реке. Я пробегаю взглядом по всему моему дому, и меня охватывает самое странное чувство, которое я когда-либо испытывала, — праздничное ощущение путешествия по реке со всем добром, окружающим меня. Моими книгами, моими дневниками, моей мебелью, моими картинами, моими платьями в моем шкафу. В каждом окошке передо мною — чудесные пейзажи. Я лежу на кровати. Это блаженство. Блаженство чувствовать себя морским моллюском, улиткой, несущей на своих плечах весь свой дом.

Морской моллюск, плывущий по давно знакомому городу. Только во сне маленькое человечье сердце может биться в унисон с машиной буксира. Тук-тук-тук — стучит сердце. Бук-бук-бук — буксир отвечает ему, а Париж разворачивается, распластывается, раскрывается вокруг. Прекрасное покачивание волн.

Буксир убирает дымовую трубу, проходя под первым мостом. Жена капитана накрыла стол на палубе. И вдруг я вижу, что баржа моя погружается в воду. Вода уже проступает на полу. Я пускаю в ход насос, но течь не уменьшается. Уже наполнены ведра, горшки, кастрюли… В испуге я зову капитана. Он улыбается: «Хорошо, мы пойдем малость помедленнее». И буксир сбавляет ход.

Блаженство возвращается. Мы проходим под вторым мостом, и буксир снова снимает трубу, словно приветствуя дома, мимо которых идет. Дома, где я жила когда-то. Из этих бесчисленных окон смотрела я с тоской и завистью на то, как течет мимо река и плывут по ней баржи. Сегодня я на свободе и плыву вместе со своей кроватью, со своими книгами. Я вижу сны на воде, я вычерпываю воду ведрами, и я свободна.

Пошел дождь. Запах капитанского обеда доносится до меня, и я беру в руки банан. Капитан кричит: «Поднимитесь на палубу и покажите, где вы хотите причалить!»

Сижу на палубе, надо мной раскрыт зонт, и слежу за нашим курсом. Мы уже выбрались из Парижа, мы в той части Сены, где парижане купаются и плавают на байдарках. Мы проплыли мимо

Булонского леса, через особые места, где разрешалось бросить якорь лишь маленьким яхтам. Еще один мост, и мы добираемся до заводского района. Отслужившие свой век баржи лежали у кромки воды. Причал представлял собой старую баржу, окруженную со всех сторон полуистлевшими остовами, кое-как уложенными поленницами, ржавыми якорями и дырявыми баками для воды. Одна баржа, перевернутая вверх дном, с наполовину вывороченными ставнями выглядела особенно жалко.

Нас пришвартовали бок о бок со сторожевой баржей, велели привязать судно покрепче, чтобы сторожа — старик и старуха — присматривали за нею, пока не явится хозяин, чтобы решить, какая починка понадобится моему дому.

Обошлись с моим Ноевым Ковчегом бережно, но все равно я чувствовала себя старой клячей, пригнанной на живодерню.

Старая пара, смотрители этого кладбища, превратили свою каморку в типичное жилье консьержки, напоминавшее им об их былом буржуазном великолепии: керосиновая лампа, кафельная печка, резной буфет, плетеные стулья, бахрома и кисточки на занавесках, швейцарские часы на стене, множество фотографий, старых безделушек — словом, все опознавательные знаки их прошлой сухопутной жизни.

Время от времени полиция являлась взглянуть, как обстоят дела с моей кровлей. Правда заключалась в том, что чем больше жести и дерева вколачивал хозяин верфи в крышу, тем легче дождь проникал сквозь нее. Он лил на мои платья, туфли, книги. Потому я и приглашала полицейского в свидетели, чтобы ему не казалась подозрительной моя затянувшаяся стоянка.

Между тем английский король отбыл домой, но закон, позволявший нам вернуться, так и не появился. Одноглазый совершил отважный самовольный возврат и буквально на следующий день был выдворен обратно. А вот жирный художник вернулся на свое место перед вокзалом Д'Орсе — недаром же его брат был депутатом.

Так и ушел в изгнание мой плавучий дом.

Мышка

Мы жили с Мышкой в плавучем домике, пришвартованном вблизи Нотр-Дам, где рукава реки извиваются подобно венам вокруг островка, сердца Парижа.

Мышка была маленькой женщиной с тоненькими ножками, большой грудью и испуганными глазами. Занимаясь по дому, она двигалась как-то крадучись, все больше молча, но иногда напевала что-то вроде песенки. Отрывка из песенки. Семь маленьких нот из какой-то народной английской песни в сопровождении лязганья кастрюль и плошек. Только начало песни, она никогда не пела ее до конца, словно звуки были тайком похищены из самых глубин сурового мира и допеть до конца было слишком опасно — услышат, и жди наказания. Жила она в самой маленькой каморке нашей баржи. Все пространство занимала кровать, оставалось совсем немного места для крошечного ночного столика, крючков для ее будничных платьев, свитера мышиного цвета и такой же серой юбки. Выходной наряд хранился в сундучке под кроватью, завернутый в тонкую вощеную бумагу. В такой же бумаге были и новая шляпка, и крохотный кусочек какого-то меха, похожего на мышиную шкурку. На прикроватном столике стояла фотография ее будущего супруга в солдатской форме.

Больше всего она боялась ходить за водой к колонке после наступления темноты. Наш плавучий дом был рядом с мостом, под которым и находилась колонка. Там бездомные умывались по утрам и спали ночью. Они и посиживали там, собравшись в кружок, болтая и куря свои самокрутки. Днем Мышка ходила под мост с ведром без всякого страха, и бродяги частенько помогали ей донести воду, за что она вознаграждала их то кусочком сыра, то обмылком, то бутылкой с остатками вина. Днем она болтала и шутила с ними, но как только темнело, бродяги начинали внушать Мышке страх.

Мышка появлялась из своей каморки одетая в наряд мышиного цвета: мышиного цвета свитер, мышиного цвета юбка и фартук. Даже ее комнатные шлепанцы были того же серого цвета. И всегда стремилась быстренько прошмыгнуть мимо, словно ей что-то угрожало — чуть что, и она юркнет в норку. Если ее заставали за едой, она опускала глаза и старалась прикрыть свою тарелку. Если, выходя из своей комнатенки, она попадалась кому-нибудь на глаза, то сразу же норовила спрятать свою ношу, словно несла краденое. Никакой кротостью нельзя было разрушить границы Мышкиного страха. Плечи ее всегда были

опущены, будто под тяжким грузом, каждый неожиданный звук казался ей сигналом тревоги.

А мне хотелось как-то развеять эту ее настороженность. Я разговаривала с ней о ее доме, семье, о тех местах, где она работала до меня. Мышка, как на допросе у следователя, давала уклончивые ответы. Каждое проявление дружелюбия она встречала с подозрительностью и тревогой. Разобьет посуду и тут же начинает причитать: «Мадам может вычесть это из моего жалованья». Я объясняю, что ничего такого у меня и в мыслях нет, что это — случайность, которая и со мной может произойти. А она молчит в ответ.

Когда Мышка получила письмо, над которым расплакалась, я спросила ее, в чем дело. «Мамаша просит у меня взаймы из моих сбережений, — ответила Мышка, — я кое-чего сэкономила себе на приданое. А так-то мне деньги и ни к чему». Я предложила ей ссудить эту сумму.

Она согласилась, но эта моя щедрость совершенно сбила ее с толку.

Счастливой она себя чувствовала, если ей казалось, что никого в доме нет. Тогда она запевала свою неоконченную песню, а вместо штопки чулок принималась за шитье своего будущего подвенечного платья.

Первая грозовая туча набежала из-за яиц. Мы с Мышкой всегда ели одно и то же, не в пример порядкам, заведенным во французских домах. Она ела все с удовольствием, пока однажды, когда у меня почти не осталось денег, я сказала ей: «Сегодня просто купи несколько яиц и мы сделаем омлет». Мышка так и застыла, испуганно глядя на меня. Ни слова не произнесла, но и с места не сдвинулась. Потом побледнела и разразилась слезами. Я обняла ее, спросила, что случилось?

— Ах, мадам, — сказала Мышка, — чуяла я, что так продолжаться не может. Мы обедали вместе каждый день, и я была так счастлива. Думала, наконец-то нашла хорошее место. А теперь вы поступаете точь-в-точь, как все другие. Яйца. Не могу я их есть.

— Но раз тебе не нравятся яйца, купи что-нибудь еще. Я же не против. Я сказала о яйцах просто потому, что сегодня не при деньгах.

— Дело не в том, что я не люблю яйца. Я их любила всегда; дома, на ферме, мы съедали кучу яиц. Но когда приехала в Париж, первая хозяйка, к которой я нанялась, оказалась жуткой скупердяйкой. Вы не можете себе представить, на что это было похоже! Все у нее было на замке, она взвешивала провизию, считала каждый кусок сахара, который я клала в чай или кофе. И

ворчала, что я слишком много ем. Заставляла покупать для себя каждый день мясо, а для меня были только яйца — яйца на завтрак, на обед, на ужин, каждый день, пока меня тошнить от них не стало. И нынче, как вы сказали про яйца, подумала: «Ну вот, опять начинается».

— Но ты уже могла убедиться, что я не хочу тебе делать плохо.

— Да мне и не плохо. Наоборот, мадам, мне здесь очень хорошо, и все-таки мне не верилось в свое счастье.

Я все время ожидала подвоха какого-нибудь. Может быть, вы наняли меня только на месяц и рассчитаете как раз перед летними отпусками, чтобы не оплачивать мой отпуск, а я останусь на мели именно в то время, когда в Париже невозможно найти новое место. А может, вы меня рассчитаете аккурат перед Рождеством, чтобы не тратиться на новогодний подарок для меня. Ведь все это со мной уже случалось! А однажды я служила в семье, где меня вообще не выпускали из дома. По вечерам я должна была присматривать за ребенком, а в воскресенье, когда они все уходили, мне наказывали сторожить квартиру.

Тут она остановилась. Это был единственный случай за многие недели, когда она так разговорилась. Больше я ее за яйцами не посылала. Выглядела она теперь чуть менее перепуганной, но суетилась все так же, и по-прежнему, когда она ела, казалось, она стыдится, что ее застали за этим занятием. И снова мне не удавалось преодолеть Мышкину робость. Даже когда я подарила ей половину своих лотерейных билетов, даже когда дала ей красивую рамку для фотографии жениха, даже когда вручила ей стопку писчей бумаги, застав ее за тем, что она украдкой берет мою.

Как-то раз я на целую неделю покинула баржу, оставив Мышку хозяйничать в одиночестве. После моего возвращения произошло событие, показавшее, что только чрезвычайное происшествие может заставить Мышку рассмеяться или позволит поймать ее взгляд. А случилось вот что: одна дама, прогуливаясь с возлюбленным вдоль набережной, уронила в реку свою шляпку. Дама постучалась в нашу дверь: не разрешат ли ей попытаться выловить пропажу, которую течение несло с другой стороны нашей баржи. Мы высунулись из окон и старались зацепить эту злосчастную шляпку. Я действовала багром. Мышка — длинной метлой. И так она усердствовала, что чуть было не вывалилась из окна. Все это сопровождалось хохотом, и Мышка смеялась вместе со всеми. И тут же, словно испугавшись своего смеха, поспешила юркнуть на кухню.

Прошел месяц. Однажды с кухни, где Мышка молола кофе

для завтрака, до меня донеслись ее громкие стоны. Я увидела Мышку с лицом белым как полотно и скорчившуюся от боли в животе. Помогла ей добраться до ее комнатенки. Она объяснила, что у нее просто схватило живот. Однако боли делались все сильнее и в конце концов, простонав час с лишним, она попросила меня сходить за доктором. Она его знает, он живет поблизости. Меня встретила жена доктора. Да, он знает Мышку, он лечил ее раньше, но только до тех пор, пока она не поселилась на барже. Доктор, видите ли, был «grand blessé de la guerre»[150] и не мог со своей деревянной ногой взбираться по шатким сходням на пляшущий на волнах плавучий дом. Нет-нет, это никак невозможно, повторяла докторша. Я объясняла, что сходни крепки, что у них есть перила, что наш плавучий дом качает только тогда, когда рядом проходит какая-нибудь тяжелая баржа, что он стоит на надежном якоре совсем рядом с лестницей и попасть на него очень легко. Я почти убедила докторшу, и она почти пообещала, что доктор придет через час.

Мы подкарауливали доктора, высматривая из окон. Наконец он появился, доковылял до сходен и остановился в раздумье. Я выскочила к нему, показала, как прочно устроены наши сходни, и он захромал дальше, все время повторяя: «Je grand blessé de la guerre». Я не могу посещать больных, живущих в плавучих домах». Однако в реку он не упал и благополучно добрался до Мышкиной каморки.

Мышке пришлось дать некоторые объяснения. Она испугалась, что забеременела, и попробовала средство, о котором ей рассказала сестра. Это был неразбавленный нашатырь, и ее теперь нестерпимо жгло внутри.

Доктор покачивал головой. Мышке пришлось раздеться. Так странно выглядели ее тощие ножонки, задранные кверху.

— Почему же ты ничего не сказала мне? — спросила я.

— Я боялась, что мадам меня уволит тут же.

— Ну что ты! Наоборот, я бы помогла тебе. Мышка застонала.

— Вы страшно рисковали, — произнес доктор. — Могли подхватить ужасную инфекцию. Если это так, надо будет лечь в больницу.

— Ох, этого никак нельзя, — взмолилась Мышка. — Узнает моя сестра, она разозлится и все расскажет матери.

— Может быть, это пройдет само по себе, но я больше ничего не могу сделать: мне нельзя впутываться в такие дела. Нам, врачам, приходится быть осмотрительными, профессия требует. Принесите мне воды и полотенце.

Руки он мыл тщательно, все время приговаривая, что во второй раз не сможет прийти и что, даст Бог, больная не

подхватила инфекцию. Сгорбившись в углу кровати, Мышка с тревогой наблюдала за ответственной процедурой омовения докторских рук. A grand blesse de guerre как будто вообще не относил Мышку к нормальным человеческим созданиям. Всем своим видом он говорил ей: ты всего-навсего служанка, просто жалкая прислуга и, как со всеми вами ведется, вляпалась в беду и сама в этом виновата. А вслух он сказал:

— Просто беда для нас, врачей, с этими девицами.

Закончив омовение рук, он с решительным «Прощайте!» заковылял по сходням, а я вернулась к Мышке.

— Ты можешь на меня положиться, — сказала я. — Я тебе помогу. А теперь лежи спокойно, я о тебе позабочусь.

— Только не отправляйте меня в больницу, — захныкала Мышка. — Мать узнает. Это все случилось, потому что вы уехали, а мне одной было страшно по ночам. Я так боялась этих людей под мостом, что позволила своему парню оставаться здесь. Все это и произошло, потому что мне было страшно.

Да, все так и случилось. В страхе она юркнула в мышеловку, и пружинка щелкнула. Вот такой оказалась ее любовь: с перепугу, тайком, во мраке.

— А по правде сказать, мадам, ничего хорошего в этом и нет. Столько неприятностей потом! Влипнуть, как я сейчас, и чего ради? Не стоит овчинка выделки.

— Лежи спокойно. Я приду к тебе попозже, посмотрю, не поднимется ли у тебя температура.

Через пару часов Мышка позвала меня: «Так оно и есть! Началось, мадам, началось!»

Да, температура у Мышки поднялась, ее лихорадило. Стало ясно, что инфекцию она все-таки подцепила. Но никто из врачей не захотел прийти на нашу баржу. Как только узнавали, в чем дело, наотрез отказывались. Тем более ради прислуги. Слишком часто это случается, пора бы этим девицам, говорили врачи, научиться быть осторожными.

Я пообещала Мышке, что поговорю с ее сестрой и смогу привести убедительные доводы, если Мышка согласится отправиться со мной в больницу. Она согласилась, и я сказала, чтобы она собрала свой чемодан. При упоминании о чемодане Мышка побледнела. Она лежала неподвижно и смотрела на меня еще более испуганными глазами, чем обычно. Но я вытащила из-под кровати чемодан и положила его рядом с нею.

— Скажи мне, где твоя одежда. Потом тебе нужно взять мыло, зубную щетку, полотенце…

— Мадам… — начала Мышка и запнулась.

Потом открыла ящики ночного столика возле кровати и

вывалила передо мной все вещи, которые я уже несколько месяцев считала потерянными: мыло, мою зубную щетку, полотенце, одну из моих шейных косынок, пудреницу. Так много было всякой всячины, что мне стало смешно. А с полки свисала одна из моих ночных рубашек. Я сделала вид, что ничего не заметила. Мышкины щеки пылали огнем. Она заботливо упаковала свой чемоданчик. Уложила письма своего молодого человека, свое шитье. Потом попросила меня найти книжку, ее она тоже включила в число необходимых вещей. Это оказалось «Детское чтение». Мышка вконец истрепала первые десять страниц с историями про козочек, коровок и лошадок. Она, должно быть, перечитывала каждую страницу по многу раз — так они были замусолены и посерели, как и ее комнатные туфли. Я сказала Мышке, что у меня есть для нее новые туфли. Мышка потянулась за своим кошельком, спрятанным под матрацем.

— Бог ты мой, неужели никто никогда не делал тебе подарков?

— Нет, мадам.

— Ну, хорошо, а если бы я была бедной и больной, разве ты не подарила бы мне пару шлепанцев, раз они мне были нужны?

Эта мысль вконец перепугала Мышку. Такая перемена ситуации никак не укладывалась в ее мозгу.

— Это не одно и то же, — проговорила она.

По сходням Мышку подняли на руках. Она выглядела совсем маленькой. Но настояла, чтобы на нее надели шляпку, ее воскресную шляпку, извлеченную из вощеной бумаги, и мышиную крохотную горжетку, хранившуюся там же.

В больницу Мышку не взяли. Отказались от нее.

Какой доктор наблюдал ее? Никакой. Она замужем? Нет. Кто вытравливал плод? Она сама. В это они явно не поверили и посоветовали мне поискать другую больницу. Мышка истекала кровью, лихорадка пожирала ее последние силы. Я повезла ее в другую больницу. Там Мышку усадили на скамью. Она крепко вцепилась в свой чемоданчик, а к ней снова подступили с вопросами. Откуда она приехала? К кому в Париже в первый раз поступила на место? Мышка покорно отвечала. А потом где служила? Она не могла вспомнить адрес. На этом месте допрос застрял минут на десять. А перед этим? Мышка снова ответила. Одну руку она крепко прижимала к животу.

— Она уже потеряла много крови, — не выдержала я. — К чему столько вопросов?

Хорошо, раз уж она не может вспомнить третий адрес, может быть, она вспомнит, где она работала после этого? И как долго? Каждый раз два года. Почему? — удивился человек за столом.

Словно то, что она не задерживалась дольше, было в высшей степени подозрительным. Будто она была почти уличенной преступницей.

— А может быть, это вы производили аборт? — вдруг повернулся ко мне врач.

Женщина, истекающая кровью на больничной скамье, ничего для них не значила. Эти округлившиеся мокрые глазки, кусочек потертого меха вокруг шеи, панический страх, переполнявший ее. Новехонькая воскресная шляпка и драный чемоданчик, перетянутый бечевкой. Засаленный кошелек и солдатские письма между страницами «Детского чтения». Даже ее беременность, новая жизнь, зародившаяся со страху, во мраке. Панический прыжок маленького зверька прямо в капкан.

Время старьевщика

Город спит на правом боку и вздрагивает, если привидится что-то очень страшное. Негромкое похрапывание тянется из дымоходов. А ноги города торчат наружу — облака не смогли их укрыть до конца. Облака — в дырах, и оттуда летит на город белый пух. Город спит, и его мосты расстегнулись, как пуговицы на воротнике, чтобы дышалось легче. Где-нибудь зажжется свет лампы, и город скребется и почесывается, пока свет не исчезнет.

Деревья, дома, телеграфные столбы лежат на боку. А среди их корней, среди их подвалов, вдоль тяжело дышащих сточных канав, мимо работающих мусоросжигалок бродит старьевщик. Он выискивает обрывки, обрезки, остатки вещей: тряпки, газеты, жестянки, корки черствого хлеба. Он залезает внутрь, рыщет снаружи, роется своей волшебной палкой по карманам города. Снаружи и внутри, по карманам, поверх лежащей на брюхе города цепочке от часов, снаружи и внутри рукавов, по грязно-серому воротничку; все сгодится ему, вплоть до пряди чьих-то волос, до лопнувшей жилки кабеля. Лопнувшая жилка пойдет на починку мандолины. Истрепавшиеся до бахромы рукава, крошки хлеба, треснувший циферблат, табачные окурки, билет на метро, веревочка, ярлыки и марки. Старьевщик работает в тишине, среди грязи и вони.

И мешок его разбухает.

Город неспешно переваливается на левый бок, но глаза его домов все еще зажмурены и мосты распахнуты. Старьевщик трудится в тишине и никогда не посмотрит на то, что осталось целым. Его взгляд отыскивает только сломанное, износившееся, разбитое, отпавшее от целого. Целая вещь вызывает у него досаду. Куда она годится, такая вещь? Только в музей. «Просьба руками не трогать!» А вот порванный бумажный лист, одинокий шнурок от ботинка, чашка без блюдца — тут он оживляется. Их можно приспособить, в дело пустить, присобачить к чему-нибудь еще. Изогнутый мундштук от трубки — замечательно! Корзинка с отломанной ручкой — здорово! Прекрасная бутылка без пробки! Шкатулка со сломанным замком и без ключа! Здоровый лоскут от платья, шляпная лента, веер, на котором не осталось перьев, — чудесно! Прекрасен этот футляр от фотоаппарата без самого аппарата, погнутое велосипедное колесо, граммофонная пластинка, треснувшая пополам. Обрывки, обломки миров, огрызки, осколки, конец вещей и начало их преображения.

Старьевщик довольно передернул плечами. Ему попалась вещица, которой и названия не подобрать. Блестящая, круглая,

непонятная. Старьевщик счастлив. Можно прекращать поиски. Город просыпается, вдыхая запах свежего хлеба. Мешок старьевщика полон. В нем есть все, даже блохи прыгают. Даже хвост дохлой кошки на счастье.

Тень старьевщика, вдвое длиннее его самого, плетется сзади. Мешок на спине у тени, как верблюжий горб. Борода — верблюжья морда. Верблюжья поступь — вверх-вниз по песчаным дюнам. Вверх-вниз меня качает на верблюжьем горбу.

И вот я на краю города. Ни деревьев, ни мостов, ни тротуаров. Голая земля. Плоская равнина, истоптанная вконец. Лачуги из прокопченных досок, оставшихся от сгоревших построек. Между ними — цыганские кибитки. Между кибитками и хижинами — тропа, такая узкая, что можно идти только гуськом. Кругом какие-то изгороди.

Внутри лачуг — тряпье, лохмотья. Постель — тряпье, стулья — тряпье. Столы — тряпье. На тряпье — мужчины, женщины и их приплод. А внутри женщин мелюзги еще больше. Скоро их очередь появиться на свет. Блохи. Локти опираются на старые башмаки, под головой — чучело оленя, глаза у чучела висят на ниточках. Старьевщик дает женщине ту самую непонятную вещь. Женщина берет ее и смотрит на поблескивающий диск, заглядывает с другой стороны. А в диске — тик-так, тик-так. «Это часы», — говорит женщина. Старьевщик, подносит предмет к уху, соглашается: тикает вроде бы как часы, но циферблат-то чистый, стрелок-то нет, время не показывает. Тик-так, тик-так, говорит, время, а который час, не скажет.

Верх у этого подобия жилья заострен, как у бедуинских шатров. Цветочный горшок на пороге. Цветы — бисеринки на железном стебле — сорваны со склепа. Женщина их моет, они проржавели.

Мелюзга, сидящая в грязной жиже, пробует пустить по ней корабликом драный башмак. Женщина режет нитку половинкой ножниц. Старьевщик изучает газету сквозь треснувшие очки. Детишки идут к роднику с прохудившимися ведрами. Когда они приходят обратно, ведра пусты. Старьевщики сгрудились вокруг содержимого своих мешков. Вываливаются гвозди, куски черепицы, дорожный указатель со стершимися буквами.

А из-за цыганских повозок появляется человеческий торс. Туловище на подпорках, с головой свернутой набок. А куда делись руки и ноги его? Может быть, они под ворохом тряпья? Может быть, его выкинули из окна? Обломок человека, обнаруженный на рассвете.

Сквозь щели в стенах доносится треньканье мандолины с одной струной.

Старьевщик смотрит на меня своим вытекшим глазом. Я подбираю корзину с выбитым дном. Ободок шляпки. Подкладку от пальто. Ощупываю себя. Все ли у меня цело? Руки? Ноги? Волосы? Глаза? А что с подошвами ног? Я разуваюсь, чтобы увидеть их, ощутить. Смеюсь. То, что приклеилось к моей подошве, — какой-то осколок.

Совсем дрянь, но переливается, как пыль.

Пошел дождь. Я хватаю скелет зонтика. Сижу на груде пробок, от них пахнет вином. Мимо идет старьевщик, в его руке — черенок ножа. Он тычет этим черенком в сторону тропинки. Она усыпана пустыми устричными раковинами. А в конце ее — мое голубое платье. Я уже давно оплакала его смерть. Я танцевала в нем, когда мне было семнадцать лет, танцевала, пока оно не истрепалось вконец. Я пробовала как-то поправить его, но ничего нельзя было подделать. И я не смогу снова оказаться в этом платье. Я здесь, оно там, и я навсегда рассталась с голубым платьем, моим любимым платьем, в котором я танцевала прямо на свежем воздухе и упала в нем на землю, потому что у меня сломался каблук, сломался каблук, когда мы с моим любимым взбирались на холм и все время горячо целовались. И была дождливая ночь, и на мне было мое голубое платье.

А где все другие вещи, проговорила я, где все они, смерть которых я уже оплакала?

Старьевщик протянул мне мой молочный зуб и прядь моих волос. А потом он зарылся в груду старья, и когда я попробовала поднять его, то подняла старое огородное пугало с рукавами, набитыми соломой, и в высокой шапке, продырявленной пулей.

А старьевщики сидели вокруг костра, сложенного из оторванных ставней, оконных рам, привязных бород, лошадиных хвостов, обрезанных по весне веток деревьев. Здесь же сидел и калека, сидел на своих культях, а подпорки лежали за его спиной. Из лачуг и кибиток подошли женщины со всей своей мелкотой.

— Можно ли что-нибудь выбросить навсегда? — спросила я.

Старьевщик усмехнулся уголками рта. Половинка улыбки, обломок улыбки. А потом они начали петь.

Сначала, правда, дохнуло чесноком, развешенным в их жилищах наподобие китайских фонариков, а уж потом зазмеилась песня:

А ничто не умирает,
Просто образ свой меняет.
Все новые вещи — из старых вещей.
И новый шнурок был старым шнурком,
И новый мешок был старым мешком.

И новый горшок был старой жестянкой,
И новый чулок был истлевшей портянкой.
Все новые вещи — из старых вещей.
И новый платок — из старых пеленок,
И наш мужичок — это старый ребенок.
И новое мыло — лишь старые кости.
Все новое — это не новое вовсе.
Не новое вовсе, не новое вовсе.

Всю ночь пели старьевщики свое «не новое вовсе, не новое вовсе, не новое вовсе», пока я не заснула, а потом и меня подняли и бросили в мешок со старьем.

Ясновидец

Когда я звонила ему в дверь, то слышала, как шуршит раздвигаемый занавес из бисера в его комнате, и понимала: сейчас он смотрит на меня в дверной глазок. Он меня видит, а я его — нет. Сквозь этот стеклянный зрачок коридор казался безмерно длинным, а стоящий перед дверью человек — удаленным на много миль, но его можно было очень четко разглядеть, до малейшей черты, словно телескоп памяти выхватывал эту фигуру из далекого прошлого в момент наилучшей видимости.

И когда он появлялся в темном коридоре, то озарял все вокруг своими глазами, похожими на северное сияние, колыхание голубого шифона; необъятный, глубокий феномен природы — подлинное око Вселенной. Его пронизывающий взгляд, пришедший из далеких-далеких краев мерцающего безмолвия, мгновенно проникал сквозь нашу внешнюю оболочку и выставлял напоказ обнаженную душу, оторопевшую от неожиданности, удивления и благоговейного трепета.

В том, как некоторые люди смотрят вокруг, есть многое от блуждающего взгляда моряка. Моряк никогда не задержится глазом на том, что видит, он смотрит на любого человека, на каждую вещь с ощущением огромности пространства, окружающего этот объект его внимания, с чувством дистанции между собой и тем, к чему он стремится, с чувством громадности мира и мощи течений, несущих нас дальше.

Женщины порой обманываются жаждой, скользящей в этом взгляде. Покоренные этим желанием чего-то, этой алчностью, они убеждают себя в том, что их хотят, и отдаются. И обнаруживают, что ничего не изменилось, лишь дистанция возросла, а во взгляде та же необозримость океана, его непостоянство, его переменчивость, его непреодолимость.

И этот всепоглощающий и никем не утоленный взгляд прикрывали изящные, самой нежной кожи веки, а в самой манере, с какой он опускал их, сквозила доброта. В ресницах, длинных и мягких, была та же уступчивость, но брови были густые, жесткие, дикие, бушменские брови. Маленький, видимо, очень чувствительный нос, высокий лоб, полные страстные губы, а руки — крестьянские сильные руки. И весь он был переменчив. Появившись в дверях, он мог выглядеть и свирепым и сразу же продемонстрировать мягкую податливость, перейти от самоуверенности к почти полной утрате своего блеска, если видел человека, попавшего ему не под настроение. Постоянное

колебание от энергичного, крепкого физически, напористого существа к задумчивому мечтательному созданию, в ком тайное пламя мгновенно сжигало всю его силу.

Одевался он… Да нет, он не одевался, он костюмировался, рядился соответственно каждому своему новому «я». Он постоянно перенаряжался. Появлялся ли он в черной струящейся ленте романтического скитальца-цыгана, в кепке ли апаша, в жокейской ли курточке, в полосатых брюках провинциального буржуа, с шейным платком-бантом второразрядного актера или с шарфом кровавого цвета профессионала-карманника, все знали, что в этой роли он выступает лишь один раз.

Его жилье походило на пристанище путешественника-исследователя, на звериную берлогу, на пещеру волшебника. Преобладал темно-красный цвет крови. Такими были и меха на постели, и ковры по стенам. В углу стояли окрашенные в голубое сани, их задранный нос напоминал о маленьком легком паруснике, рвущемся ввысь. Сани были застланы шкурой северного оленя, и из того же меха были сапоги и перчатки, развешанные по стенам. Изогнутые носки сапог вовсе не стремились коснуться земли, они тоже легко и грациозно летели прочь отсюда, навстречу приключениям и трудностям. Внутри саней маленькая лампа струила голубоватый северный свет.

А еще на стене висела скрипка.

Скрипка была прочно прикреплена к стене. Он не притрагивался к ней с того самого дня, когда мать сказала ему: «Стало быть, победа на конкурсе тебе не досталась, а ты столько сил на это потратил. Тебе больно, ты чувствуешь себя униженным, а я очень довольна. Теперь ты перестанешь пиликать на скрипке и растрачивать свою жизнь по пустякам. Ты станешь человеком, как твой отец, а не скрипачом. Отправишься в Париж учиться или превратишься в бездельника. Я очень рада, что ты не победил. Запомни: в нашем роду никогда не было музыкантов».

Одной этой фразой она покончила с его первой страстью. Он повесил скрипку на стену. Мало-помалу струны полопались и теперь безжизненно свисали с деки.

Стараясь отыскать то, что он потерял, так и не познав, он превратился в неугомонного скитальца, разведчика, сыщика, он стал археологом, роющимся в собственной душе. Он странствовал, сбивался с пути и опять возвращался в слепых поисках истока той музыки, которую убила в нем его мать. Он был одержим постоянным беспокойством, не замечал времени, забывал обо всем прочем. Он жил среди закоулков лабиринта, и мысли путались в его голове. Он боялся взглянуть назад, чтобы не увидеть призрака того, что было убито, но ему страшно было и

оставаться на одном месте, и потерять это навсегда. Итак, он искал это вслепую в отдаленнейших уголках света и всякий раз возвращался к своей висящей на стене, распятой и безмолвной скрипке.

Но музыка никогда не смолкала в нем, она обтекала пространство вокруг, и каждая принадлежавшая ему вещь отзывалась на эту музыку. Где бы он ни был. Гармония, заключенная в скорлупу его мучений, звучала непрестанно, как слышится шум моря в раковине, лежащей на столе. И когда он говорил о гибели своей скрипки, об утрате музыки, можно было приложить ухо к любому предмету в его комнате, к стенам, к коврам, к подушкам и ясно различить звуки музыки, которую его мать все-таки не смогла убить в его сердце.

Каждый раз, когда он задумывал новые метаморфозы, принимал другое обличье, отправлялся в новый вояж, это было не ради удовольствия и не любознательность гнала его в путь — то было итогом мучительного зрелища безмолвных струн его распятой скрипки. И он спешил с места на место и возвращался, нагруженный новыми и новыми вещами, искупительными жертвами скрипке. Всю вселенную собрал он в своей комнате: серебряные ложки с Афонской горы, сделанные наподобие церковных потиров и украшенные эмалью, гриб, по форме напоминающий подставку для святой воды, только наполнен он был ядом; эротические открытки из Китая, мощи из пещер на Канарских островах, пивные кружки из Мюнхена и четки из Лурда, высушенную мяту из Индии, бутылки с водой из Черного моря, птичий скелет с Таити — все это напоминало награбленные сокровища пещеры Али-Бабы.

Надо было застать его в момент отъезда, когда становилось ясно, что в путь его гонит душевная рана: спешка, тревога во взгляде говорили о том, как тоскуют его замолкнувшие руки по смычку и струнам, что смычок вонзился ему в душу, словно заноза в кожу.

Пока он не начинал говорить, его можно было принять за ласковое животное, чувствительное, кроткое; пока он молчал, его болезнь была нераспознаваема. Он казался беззащитным, готовым уплыть неведомо куда — кораблем, сорванным с якоря.

И только тогда, когда он начинал говорить, становилось понятно, какими цепями опутала его эта одержимость. Каждый шаг был труден и сопровождался мучительным вздохом. И лишь немного спустя он успокаивался.

Конечно, он надеялся, что нечто замечательное все-таки случится в его жизни. Но прежде он должен был схватить это чудо своими крестьянскими лапами, руками человека, желающего для

пущей уверенности воочию ощутить то, что ему привиделось. Все, что происходило с ним, следовало разъять на части, подвергнуть анализу, истолковать. Словно он чувствовал во всем, что предлагалось ему, некую дьявольскую подмену, будто он знал, что желанное вовсе не заключено в тех сокровищах, которыми он может овладеть.

Всеми своими метаниями с места на место, внезапными побегами, выцеживанием самой сути, поисками оживших легенд (каждую женщину он превращал в мираж) он так и не достиг свободы, не утолил свою яростную страсть — ему досталось только страдание, глубочайшая мука. Создавая вокруг себя атмосферу мечты, снов, он разными фокусами превращал все в мираж, а потом сетовал, что ему недостает тепла и человечности. Чем дальше он убегал от всего уродливого, грязного, животного, от болезней, на которые он старался не обращать внимания, от нищеты, которой он пренебрегал, от всего телесного, что он презирал, от человеческих привязанностей, которым он не хотел хранить верность, от помощи и покровительства, которые он считал ниже своего достоинства, — тем сильнее было его страдание.

Фантазия не давала ему удовлетворения.

Он был одинок.

И вот он полюбил Незнакомку — женщину, утонувшую когда-то в Сене. Она была настолько красива, что в морге поспешили снять с нее гипсовую маску. И эта маска его поразила. Этой женщиной он восхищался безмерно, и ее очарование не могло разрушиться, как это случалось с другими женщинами. Ее безмолвие позволяло его любви говорить в полный голос. Только смерть может довести любовь до такого абсолюта. Один из любовников должен быть мертв, чтобы любовь была бесконечной, цвела чудесным недостижимым цветком. Только в смерти не грозят измены и утраты. Вот так любовь Жана к Незнакомке, утонувшей в Сене, не знала границ. У этой деспотической духовной любви не могло быть соперников.

Мы с ним замыкались в мире его фантазий среди предметов, отобранных им во всех уголках мира. И сначала мое чувство удовлетворения, обволакивающее, расслабляющее, растворяющее меня, было подобно действию наркотика. Жан говорил, и одновременно слышались удары китайского гонга, вызывая в памяти пустыни Тибета и религиозные церемонии тамошних лам. По крышке пианино плыла маленькая лодка, и четыре деревянные фигурки в ней четко прорисовывались в свете лампы. На стенах торчали оленьи рога, несущие на себе словно пронзенные клинком эротические книжонки. Два охотничьих

ножа были скрещены над нашими головами. Неведомые подводные растения расцветали в самых неожиданных местах. На зеркалах распластались приклеенные морские звезды, а скелетики листьев прилипли к окну. Стекла в нем были раскрашены так, что увидеть сквозь них внешний мир было невозможно, и взгляд поневоле снова возвращался к созерцанию интерьера, погружался вглубь.

— Когда я приехал в Лапландию, — говорил Жан, поглаживая черенок пустой опиумной трубки, — то увидел, что это — страна молчания. Люди собирались вместе, садились в кружок, курили, улыбались и делали все это молча. Они не разговаривали. У северного оленя нет голоса, чтобы он мог пожаловаться или закричать. Я всюду пытался разгадать секрет общения лапландцев друг с другом, тайну их речи. И понял: за них говорят деревья. У растущих там деревьев вывернутые, как после пыток, суставы, тощие ножонки и лица тотемных столбов. Деревья и говорят, и жалуются, и вздыхают, и умоляюще вскидывают руки, обращаясь к этому молчанию.

Аромат духов и эссенций плыл по комнате. Мы сидели перед огнем на крошечных детских стульчиках, привезенных из Греции. По-прежнему поглаживая трубку, Жан сказал:

— Как ты думаешь, найдем ли мы когда-нибудь в любви двойника?

— Встретить двойника, того, кто на тебя похож во всем, — сказала я, — это проклятие для любви. Любовь рождается из различий, противоречий, отчужденности, из борьбы, преодолевающей эту отчужденность. А если оба превыше всего ставят мечту, грезы, очень скоро они оба пропадут. Один из них должен стоять на земле и удерживать другого. Это трудно, но именно эта боль и есть то, чем наша любовь должна быть для других.

— Ты знаешь, как я живу: меня уносят разные потоки, то один, то другой. Иногда я боюсь, что меня вынесет в никуда. Но когда я люблю по-настоящему — сколько в этом тревоги, сколько сомнений! Но сомнения не от любви, сомнения твои — от реальности жизни. Ты живешь миражами и стремишься к перевоплощению через свою любовь. Но твоя способность к метаморфозам может унести тебя так далеко, что в итоге ты найдешь в любви и тепло, и уверенность в своем собственном существовании. Ты слишком легко плаваешь, ты слишком легко обрываешь нити. А когда ты хотя бы на минуту попадаешь в зависимость от своей любви, это тебя мучит. Но когда-нибудь тебе придется примириться с телесным, с реальностью, с тем, что ты — существо зависимое. Тебе придется войти в тюрьму, которая

называется «жизнь человека», и смириться со страданиями.

При слове «страдания» к нему вернулся его образ готового вот-вот взлететь и отбыть в далекие края путешественника. Глаза его замерли где-то на Северном полюсе. Потом он перевел взгляд и остановил его на мне, понимая, что от меня не приходится ждать никакого удара.

— Ты не можешь обрисовать меня как следует, — сказал он, — потому что ты сама как радуга, цвета твои живут недолго. Ты и появляешься только в подходящей для тебя атмосфере. И такая легкая идешь по водам, и другие видят, как ты идешь, и хотят за тобой следом, но пойдут и утонут. А еще ты — зеркало, и в этом зеркале люди видят себя настоящими, высвободившими свое «я». Возьми меня — я и сам чувствую себя свободным, когда гляжу на тебя. Ты великолепное, без всяких трещин, зеркало, в котором можно увидеть свою собственную сущность. Будущее естество. Но вот не слишком ли поздно я найду себя? Ты знаешь, мне кажется, что все другие люди сшиты как-то нормально, свободным кроем, так, что между стежками достаточно пространства и можно дышать. А меня всего запеленали туго-натуго, и я уже задыхаюсь.

— Но здесь легко дышится.

— Да, потому что, когда бродишь по закоулкам мечты, невозможно увидеть человеческие печали.

Жан стоял теперь перед раскрашенным окном, которое при этом еще и нельзя было открыть на улицу.

— Это — тюремное окно, а я — заключенный, — сказал он. — Так и буду стоять перед решеткой, возле этого вечного окна, из которого нельзя выглянуть, и рваться отсюда в воображаемую страну, где полно света, где нет никаких стен и границ ее не видать. И ты — заключенная, только другого сорта. Ты — за решеткой своей любви и сострадания. А когда двери откроются и ты окажешься на пороге свободы, к тебе придет злосчастная мысль оглянуться назад, и там ты увидишь кого-то, кто не получил свободы, и повернешь назад, и прикуешь себя к тем, перед кем двери на свободу не открываются. Ты — добровольная арестантка, не желающая выйти из тюрьмы в одиночку. Ты будешь всегда готовить побег для других. И так пройдет время.

— Но ведь, Жан, зато у нас есть мечта, а это лучшее лекарство для узников…

notes

Примечания

1

Бунюэль Луис (1900–1983) — испанский кинорежиссер, все творчество которого, от короткометражного «Андалузского пса» (1928) до фильма «Этот смутный объект желания» (1977), сохраняя собственную индивидуальность, развивалось в русле сюрреализма. Второй фильм Л. Бунюэля, полнометражный звуковой «Золотой век» (1930), в котором сконцентрированы все основные сюрреалистические мотивы (безумная любовь, черный юмор, культ де Сада, антиклерикализм), был встречен в штыки крайне правыми, и префект Парижа наложил на него запрет.

2

Кинотеатр близлежащего квартала (фр.)

3

Уборщица (фр.)

4

Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель, глава сюрреализма и теоретик этого течения.

5

Имеется в виду «Crazy Cock», первый роман Г. Миллера, вчерне написанный еще в Америке, затем потерянный автором и опубликованный через десять лет после его смерти.

6

Гудини Гарри — знаменитый американский иллюзионист, ставший всемирно известным после своих гастролей по Европе.

7

Набережные Сены издавна облюбованы парижскими букинистами

8

Специально для гастрономов даем перевод некоторых французских блюд: разновидность трески по-берсийски (Берси — район Парижа на левом берегу Сены), моллюск, обжаренный в сухарях и сыре, подаваемый на раковине, и т. д.

9

Комментарии Е. Храмова

10

Имеется в виду рукопись «Тропик Рака».

11

Редкая птица (лат.).

12

Дузе Элеонора (1859–1924) — великая итальянская актриса, одно время, мечтая о новых драматических формах, увлеклась личностью и творчеством видного итальянского писателя Габриеле Д'Аннунцио (1863–1938), подвигла его к созданию драматических произведений («Джоконда», «Мертвый город», «Франческа да Римини»), в которых исполняла главные роли.

13

Низы (фр.)

14

Речь идет о первом опыте Анаис в художественной прозе. Повесть осталась без названия и не была опубликована.

Распорядитель.

16

Перле Альфред (1897–1992) — австрийский писатель и журналист, был на несколько лет моложе Миллера. Они познакомились еще в первый приезд Генри и Джун в Европу, но сошлись и стали закадычными друзьями уже в 30-х годах. Перле описан Миллером в «Тропике Рака» и в «Тихих днях в Клиши». Миллер — герой замечательной книги Перле «Мой друг Генри Миллер» («My Friend Henri Miller: An Intimate Biography. New York, 1956), появившейся недавно и в русском переводе. Перле устроил Генри корректором в парижское издание «Чикаго трибюн», где работал сам. Жалованье в газете было такое, что друзья, как писал Миллер, «обычно… просаживали недельный заработок за один вечер на вкусный ужин в кафе» (Генри Миллер «Моя жизнь и моя эпоха», перевод З. Артемовой). Но в марте Фред и Генри обзаводятся собственным жильем, снимают в северном пригороде Парижа Клиши небольшую квартирку. Там-то и произошло знакомство Анаис Нин с Альфредом Перле.

17

Мабель Додж Лухан выпустила в 1932 году небольшую работу мемуарного жанра «Лоренцо на Таосе».

18

Тропизм — непроизвольная моторная реакция на внешний раздражитель.

19

Излишняя щепетильность (фр.)

20

Занятие любовью (англ.).

21

Имеется в виду роман «Черная весна»

22

Человек, способный определять местонахождения подземного источника (фр.).

23

Фрэнкель Майкл (1895–1939) — литератор и предприниматель, сдружившийся с Миллером в начале тридцатых годов (Борис в «Тропике Рака»). В середине тридцатых годов способствовал публикации некоторых произведений Анаис.

24

Сеговия Андрес (1893–1987) — выдающийся испанский гитарист и педагог. В детстве обучался игре на фортепиано, скрипке и виолончели, одновременно с этим самостоятельно изучал игру на гитаре. Помогало ему слушание народной музыки, игра фламенко и изучение нотной литературы. В 1909 году состоялся первый концерт Сеговии, но мировая слава пришла к нему в 1924 году, после концерта в Париже.

25

Георг Гросс — псевдоним немецкого художника Георга Эренфрида (1893–1959) работавшего в острогротесковой манере.

26

Магазин дешевых вещей

27

Левенфельс Уолтер (1897–1980) американский поэт, автор нескольких книг, частью в соавторстве с М. Фрэнкелем. В 30-е годы жил в Париже.

28

Занятие разрушением

29

Тристан Тцара (14.4.1896–24.12.1963) — французский поэт. Один из вдохновителей парижского крыла дадаизма, затем примыкал к сюрреализму. В ранней лирике Тцара анархический бунт против цивилизации отливался в хаос обрывков речи, граничащих с заумью. В поздних произведениях зашифрованность отражает напряжённое раздумье о трагедии и надеждах человека, его долге обрести счастье для себя.

30

Происхождение обязывает.

31

Грин Жюльен (1900–1978) — французский писатель, родившийся в Париже в американской семье, автор популярных в начале тридцатых годов романов, проникнутых духом мистицизма («Мон-Синер», «Левиафан», «Другой сон», «Провидец»). Флоран Шмитт (1870–1958) — крупный французский композитор, автор многочисленных симфонических и инструментальных произведений. Фалья Мануэль де (1876–1946) — испанский пианист и композитор, автор нескольких опер, одна из которых (в русском переводе названная «Девушка из предместья») шла на русской оперной сцене; произведения де Фалья для фортепиано, гитары и др. прочно вошли в концертный репертуар.

32

Литературная девушка.

33

«Живительная ложь» — выражение крупнейшего французского мыслителя XX века Анри Бергсона (1859–1941), представителя т. н. «философии жизни».

Внутренней судьбе.

35

Речь идет о начале повести «Дом инцеста»

36

Моя маленькая Анаис (фр.)

37

Дикий пятилистный (девичий) виноград

38

Так назывался с успехом демонстрировавшийся на европейских киноэкранах немецкий фильм.

39

Приведем отрывок из еще одного письма Г. Миллера к Анаис, посланного в те же дни: «Я не собираюсь ее бросать, но не собираюсь бросать и тебя… Я люблю Джун и люблю тебя…»

40

Мне случалось быть добрым. Я с этим себя не поздравляю. Я часто бывал злодеем. Я в этом не раскаиваюсь (фр.)

41

Остроумие на лестнице. Нахождение верного ответа тогда, когда момент уже безнадежно упущен.

42

Кухаркин жених (фр.)

43

Рок переменчив: чем больше человек познает самого себя, тем больше возможностей он открывает во внутреннем мире.

44

Бедные мы.

45

Ринк Отто (наст, имя Отто Розенфельд, 1884–1939) — австрийский психиатр, ученик З. Фрейда, развивший и видоизменивший его учение. Наиболее значительная работа Ранка «Искусство и художник» вышла в 1932 г.

46

Редуктивная наука, элементы, синтезирование, метафизическое мышление, поэтическая высота, антиномия, вытекающая из статического мышления (фр.)

47

Он подцепил лихорадку (фр.)

48

Цветок на навозной куче (фр.)

49

Букв.: наблюдатель (фр.). Здесь: подглядывающий за интимными сценами.

«Натурализм и мистицизм у Лоуренса» — Примеч. англ. издателя.

51

Даррье Даниель (1917), прославленная французская киноактриса, дебютировавшая в начале 30-х годов. Советскому кинозрителю была известна по фильмам «Мари — Октябрь» и «Красное и черное»

52

Принимаю новые формы физических упражнений

53

Имеется в виду т. н. лозоискательство — нахождение подпочвенных вод с помощью «магического жезла» — ветки дерева (лозы), которая реагирует на источники

54

Букв, «всесожжение», в иудейском религиозном ритуале самая большая искупительная жертва, когда жертвенное животное сжигается целиком. В переносном смысле холокостом названо массовое истребление нацистами евреев Европы в годы Второй мировой войны

55

Мое почтение, сударыня (фр)

56

Фурнье Анри Ален, подписывавшийся Ален-Фурнье (1886–1914) — французский писатель романтически-трагического восприятия жизни. «Странник» — одна из новелл, вошедшая в посмертный сборник писателя («Миракль», 1924)

57

Героиня стихотворной драмы М. Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» и одноименной оперы К. Дебюсси. Обладала такими роскошными волосами, что ее возлюбленный Пелеас мог спать на них.

58

Она жила для себя самой (фр.)

59

Любовных ласках (англ.)

60

В оригинале «Enfants terribles» — произведение выдающегося французского писателя, театрального деятеля и художника Жана Кокто, вышедшее в 1929 г

61

Наоборот (фр.)

62

Брукнер Фердинанд (наст, имя Теодор Таггер; 1891–1958) — австрийский драматург, громко заявивший о себе в период между двумя мировыми войнами; внес много нового в театральную жизнь своей страны, был переведен на многие языки. Его пьеса «Преступники» (1928) с успехом шла на сценах многих театров мира. Такой же успех сопровождал и последующие социально острые пьесы Брукнера. Питоев Жорж (Георгий Иванович) (1884–1939) — режиссер и актер. Родился в Тбилиси, был учеником Станиславского и Мейерхольда. Накануне Первой мировой войны покинул Россию, руководил театральными труппами в Швейцарии (1915–1922). Переехав во Францию, стал ведущим режиссером театра «Матюрен» (1924–1939). Ставил Толстого, Чехова, Горького, Стриндберга, Б. Шоу, Ануя, Клоделя и др.

63

Между нами (фр.).

64

См. рассказ «Мальорка» из сборника «Дельта Венеры» (М., «Гелеос», 1998).

65

Сандрар Блез (настоящие имя и фамилия Фредерик Заузер; 1887–1961) — французский поэт и романист, был великолепным мастером устных рассказов. Один из таких рассказов изображен в книге А. Перле «Мой друг Генри Миллер» (Спб., 1999).

66

Цадкин Осип (1890–1967) — французский скульптор, родом из России. Один из крупнейших мастеров европейского экспрессионизма. После Второй мировой войны создал ряд выдающихся произведений монументального искусства (памятник разрушенному Роттердаму, 1951; памятники Рембо, Ван Гогу, Баху).

67

Родригес Мария Луиза, по прозвищу Марука (1897 — после 1939) — вторая жена Хоакина Нина-старшего. Их бракосочетание состоялось в 1924 г., разошлись они в 1939-м.

68

Один из старейших в Европе журналов, посвященный моде и светской жизни.

69

Хельм Бригитта — исполнительница главной роли в фильме «Мандрагора». Фильм этот, поставленный по роману Г. Эверса «Альрауна», произвел огромное впечатление на Анаис (как и сам роман Эверса, основанный на древнем поверье о семени повешенного. «Дом инцеста» первоначально был назван «Альрауна»).

70

Большая мерзлячка (фр.).

71

Персонаж серии романов М. Пруста «В поисках утраченного времени».

72

Жалу Эдмон (1878–1949) — французский писатель, автор психологических романов и эссеист, им изданы сборник критических статей «Дух книги» и работы о Р. М. Рильке и Гёте.

73

Дрейер Карл Теодор (1889–1968) — выдающийся датский кинорежиссер. Выработал исключительно высокую изобразительную культуру в фильмах философски-религиозного и мистического плана. Фильм «Страсти Жанны д'Арк» (1928) относится к классике мирового киноискусства.

Великая страсть мысли (фр.).

75

Букв.: усталость от начала мира (фр.). Цитирование Арто: «Тяжкая усталость, сжирающая меня … так велика, что, наверное, именно так чувствовал себя Бог при начале мира, видя, что мир безвиден и пуст, что он еще не создан и взывает к созиданию…»

76

Постановщик (фр)

77

Чума (фр.).

Чума (англ.).

79

«Скандальная жизнь Захер-Мазоха» (фр.). Захер-Мазох фон Леопольд (1836–1895) — австрийский писатель. В одном из своих романов («Венера в мехах») описал извращение полового чувства, получившее название мазохизма.

80

За неимением лучшего (фр.).

81

Дикарь на посмешище (фр.).

82

Император Рима времен упадка, прославившийся жестокостью и развратом.

Уместно сравнить это высказывание Анаис с ее более поздними строками, предваряющими сборник рассказов «Под стеклянным колоколом»: «Мои «Дневники», охватывающие период создания этих рассказов и рисующие неочищенные, подлинные характеры тех, кто стал персонажами этой книги, также осветят их новым светом. «Дневники» дают ключ к пониманию мифических, казалось бы, личностей и утверждают реальность того, что может восприниматься как чистейшая фантазия. Такой союз иллюзии и реальности или иллюзия в качестве разгадки реальности — очень современный прием».

«Дневник» (фр.)., видимо, не случайно употребила это слово — детские дневники она писала по-французски.

В числе произведений Хоакина Нина-старшего назовем сочинения для голоса и фортепьяно: «Десять испанских рождественских песен», сборник 20 испанских народных песен; «Испанскую сюиту» для виолончели и фортепьяно, «Иберийскую рапсодию» для скрипки и фортепьяно. Им же написано исследование «Три великие музыкальные школы XVIII века», изданное в Бильбао в 1913 г.

86

Страна блефа (фр.).

87

Расщепление (фр.)

88

Лалик Рене (1860–1945) — знаменитый французский ювелир и художник по стеклу, один из ярчайших представителей стиля L'Art Nouveau. Основал в 1908 году фабрику по производству ваз, посуды, светильников и других предметов из литого стекла.

89

Доктрина морального усовершенствования.

Дорогая, мой самый большой друг! (фр.)

91

Казальс (Касальс) Пабло (1876–1973) — испанский виолончелист, композитор, дирижер. Один из самых выдающихся музыкантов XX века. Его творчество — целая эпоха в истории виолончельного искусства.

92

Манен Хуан (1887–1976) — испанский композитор, скрипач и дирижер.

Изаи Эжен (1858–1931) — бельгийский скрипач, композитор, дирижер. «Открыт» был услышавшим его игру во время пребывания в Париже Антоном Рубинштейном. Свою концертную деятельность Изаи начал с турне по России (1882) и неоднократно приезжал в нашу страну. Наряду с Сарасате и Иоахимом составляет триаду великих скрипачей, блиставших на концертных эстрадах мира на рубеже XIX и XX веков.

93

Аксан (accent) — знак, играющий большую роль во французской орфографии.

Роза Нин с детьми поселилась в купленном ей доме № 158 по Западной 75-й улице в апреле 1917 года. Соседями по дому оказались многие музыканты и люди театрального мира. Нижний этаж снимала Терезита Каррено-Блуа, дочь прославленной пианистки из Венесуэлы Терезы Каррено. Концертмейстер «Метрополитен Опера» Эмилия Кинтаро приходила давать уроки фортепьянной игры брату Анаис, которому часто аккомпанировал на гитаре Мишель Жове. С верхнего этажа доносились звуки скрипки Энрике Мадригера, девятнадцатилетнего чуда; он вместе со своей сестрой (вскоре ставшей женой великого скрипача Андреса Сеговиа) вносил в дом дух счастливой и талантливой молодости. В этого юношу и влюбилась шестнадцатилетняя Анаис. Энрике был и артист и каталонец!

95

Не в своей тарелке (фр).

96

Сюрреалисты придавали огромное значение сновидениям, видя в них один из важнейших путей постижения жизни. Отнюдь не сюрреалист, Генри Миллер в своей трилогии «Роза распятия» посвящает целые страницы своим снам (особенно это заметно в «Плексусе»).

97

Барнс Джун — американская писательница, жившая некоторое время во Франции. О ее романе «Ночной лес» Анаис отозвалась как о «лучшем из всего, что я читала о женщинах и женской любви». Однако здесь явный анахронизм: роман Д. Барнс, пробудивший интерес к ней со стороны Анаис, вышел в 1936 году, через несколько лет после знакомства Анаис с Арто. Интересно отметить, что Д. Барнс всячески уклонялась от общения с Анаис («завидя Анаис, переходила на другую сторону улицы», — сообщает современница).

98

Горгулья (gargouille, фр.) — рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры, элемент средневековой архитектуры.

99

Пылающие угли (фр.)

100

Галантный кавалер, преданный рыцарь.

101

Беатриче Ченчи (6.02.1577–11.09.1599) — отцеубийца, дочь римского аристократа Франческо Ченчи (1527–1598), прославившаяся красотой и мужественным поведением во время расследования и казни. В 1598 г. вместе с мачехой Лукрецией Петрони-Ченчи и братом Джакомо вступила в сговор, чтобы убить отца, «грубого и развратного» старика. Была осуждена за это преступление и казнена вместе с сообщниками через отсечение головы.

102

«Живительная ложь» — выражение крупнейшего французского мыслителя XX века Анри Бергсона (1859–1941), представителя т. н. «философии жизни».

103

Разносторонний человек (фр.).

Букв.: «Золотая книга» (фр.). — книга отзывов гостей.

105

В средневековой демонологии — злые духи, являющиеся к людям в человеческом облике: либо в виде мужчины (инкубы), либо — женщины (сукубы).

106

Эспадрильи (espadrilles) — летняя обувь, матерчатые тапочки на верёвочной подошве из натуральных материалов. Носятся на босу ногу. Их родина — Испания и юг Франции.

107

Другое название матерчатых тапочек на верёвочной подошве из натуральных материалов.

108

Антуан Ватто (фр. Jean Antoine Watteau, 10 октября 1684–18 июля 1721) — французский живописец и рисовальщик, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.

109

Хорошо (фр.)

110

«Козлище черный в глубине зловещих сумерек возник» (фр.) — строка из стихотворения Жюля Лафорга, одного из так называемых «проклятых» поэтов.

111

«Дада — это все, это ничто, это «да» по-русски, это что-то по-румынски, это есть почти в каждом языке, и если у кого-то нет своего дада, то это абсолютный абсурд, это абсолют шута, абсолют «нет»; искусство для искусства — это и есть Дада» (фр.).

Дадаизм — направление в искусстве, зародившееся в 1916 г. на артистических вечерах в «Кабаре Вольтер» в Цюрихе. Его «родоначальниками» стали несколько представителей многонациональной художественной богемы: румын Тристан Тцара, немец Хуго Балль, сын австрийца и француженки Жан-Ганс Арп, резко не принявшие бушевавшую в Европе войну. Дадаизм порожден стремлением полностью порвать с невыносимой действительностью и с оправдывающими ее идеологиями. Отсюда дадаистский нигилизм — вес отрицается, все поднимается на смех. К дадаизму в разные периоды своего творчества принадлежали такие крупные художники, как поэт Луи Арагон, композитор Филипп Супо, скульптор Осип Цадкин. К середине двадцатых годов дадаизм был поглощен сюрреализмом.

112

На месте (фр.).

113

Анаис начала письмо к отцу с грубой ошибки. Вместо «heureuse» — счастливица, она написала «heures» — часы. Получилась бессмыслица: «Какая печальная часы» вместо изящного оксюморона — «Какая печальная счастливица».

114

Что за чёрт! (фр.)

115

Персонаж романа Д. Дюморье «Трильби» (1894). Парижская прачка и натурщица Трильби под воздействием гипнотизера Свенгали становится великой певицей. Но как только Свенгали отворачивается от нее, голос у Трильби пропадает.

116

Мал да удал (фр.).

117

Брассе (настоящее имя Дьюла Халаш; 1899–1984) — венгерский художник, увлекшийся после переезда во Францию (1923) фотографией. Автор альбома «Ночной Париж». Миллер посвятил Брассе эссе «Око Парижа».

118

Дельтей Жозеф (1894—?) — французский писатель, автор биографий Жанны д'Арк и Франциска Ассизского.

119

Так переводчик передает «dreamwriting» (от английских dream — сон, греза, мечта, сновидение и «writing» — писание). Сюрреалисты придавали большое значение творческой роли сновидений и проводили опыты самогипноза, когда погруженный в гипнотический сон человек отдавался потоку речи, а потом эта речь записывалась и художественно обрабатывалась.

120

Фильм Жана Кокто «Кровь поэта» сюрреалисты сочли «чудовищной подделкой» под Бунюэля.

121

Использованное также и А. Перле в его книге о Генри Миллере определение — очевидная аллюзия к книге нидерландского философа Йохана Хейзинги (1872–1945) «Человек играющий».

122

Герой немецкого фильма «Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari) — знаменитого немого фильма, положившего начало немецкому киноэкспрессионизму. Первый в истории кино фильм, передающий на экране изменённые состояния человеческого сознания. Премьера фильма состоялась в Берлине 20 февраля 1920 года.

123

Адлер Альфред (1870–1937) — австрийский врач и психолог. До 1911 г. сотрудничал с Фрейдом, потом отошел от него, став основателем своей школы психоанализа. Наиболее известная его работа — «Познание человека» (1927).

124

С другой стороны. (фр.)

125

Букв, «болезнь века» (фр) — пресыщение жизнью, характерное для литературных героев эпохи романтизма.

126

Совершенный человек, объединяющий в себе оба пола, лишённый каких бы то ни было половых признаков; или мифическое существо, подобное гермафродиту, наделённому внешними признаками обоих полов.

127

Так в оригинале.

128

Квиетизм (от лат. quies «покой») — религиозное течение в католицизме, возникшее в XVII в., приверженцы которого культивируют мистико-созерцательный взгляд на мир и своеобразную моральную индифферентность. В переносном смысле «квиетизм» означает отрешённое, лишенное аффектов пассивное поведение; безвольная и непротивленческая покорность божественной воле.

129

Литания — в христианстве молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Литании могут адресоваться к Христу, Деве Марии или святым.

130

Роман «Зима притворств», первоначально названный «История отца».

131

Чуть ли не единственный отклик Анаис Нин на современные политические события. 6 февраля 1934 г. был проведен марш ультраправых радикалов и монархистов («Боевые кресты» и «Королевские молодчики») к Палате депутатов. По существу, это была попытка правого путча. В ответ состоялись массовые манифестации рабочих Парижа, при разгоне которых полиция применила оружие, было убито несколько человек. 12 февраля профсоюзы объявили всеобщую забастовку. Левое правительство Даладье ушло в отставку и было заменено Правительством национального единства Г. Думерга.

132

«Андалузский пес», первый фильм великого Бунюэля, снятый им в 1928 году, — типично сюрреалистическое произведение. Первые кадры фильма — разрезанный бритвой глаз — подсказаны Сальвадором Дали.

133

Роман Октава Мирбо (1848–1917), герой которого во время путешествия по Китаю оказывается свидетелем самых изощренных способов казни. Переведен на многие языки, в том числе и на русский.

134

Вспомните один из начальных эпизодов записей за ноябрь 1932 г.

135

Бич Сильвия — в двадцатые годы владелица книжного магазина «Шекспир и компания» и библиотеки при нем, ставших центром притяжения для англо-американских писателей, живших в Париже. В числе ее хороших знакомых были Джойс, Скотт Фицджеральд, Хемингуэй (см. Э. Хемингуэй. «Праздник, который всегда с тобой»).

136

Лоутон Чарльз (1899–1962) — английский актер театра и кино, исполнитель, в частности, главных ролей в фильмах «Частная жизнь Генриха Восьмого», «Рембрандт», «Свидетель обвинения», шедших в советском кинопрокате.

137

Поэтому (фр.).

Не можем удержаться, чтобы не привести несколько примеров подобных «описаний» улиц Парижа:

«Площадь Сен-Сюльпис, заброшенная и безлюдная. Толстые колокольни, кричащие афиши на дверях, мерцающие алтарные свечи… Площадь, которую так любил Анатоль Франс, — бормотание, доносящееся из алтаря, плеск фонтана, воркующие голуби, хлебные крошки, исчезающие словно по волшебству, и глухое урчание в пустых кишках…»

«Елисейские поля в сумерках — как гарем с темноокими гуриями под открытым воздухом. Деревья в полном цвету, и их зелень так свежа и чиста, что кажется, они все еще влажны от росы».

«Возле Севрского моста я вышел и пошел по берегу в сторону виадука. Здесь Сена сужается и становится похожей на ручей, и деревья обступают ее с обеих сторон. Вода зеленая и блестящая, особенно у противоположного берега. Покашливая моторами, по реке плыли баржи. Все было напоено солнечным светом, было реальным и близким».

139

Напоминаем, что первые годы Анаис вела дневник на французском языке.

140

По аналогии с пьесой Кальдерона «Жизнь есть сон».

141

Как дела, мадам? (фр.)

142

Как дела, мадам? Надо ли ей дать еще? Нет, закончили (фр.).

143

Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо (фр.).

Назовем несколько имен из тех, кому Миллер отправил свою первую книгу: Шервуд Андерсон, Теодор Драйзер, Гертруда Стайн, Луи-Фердинанд Селин, Эзра Паунд, Блез Сандрар, Олдос Хаксли, Т. С. Элиот, Хавелок Эллис.

145

Провидец (фр.)

146

Домохозяйка (фр.)

147

Жакоб Макс (1876–1944) — французский поэт и прозаик, близкий одно время к сюрреалистам. Погиб в концентрационном лагере.

148

Вы очень милый спорщик (фр.)

149

Фрэнк Уолдо Дэвид (1889–1969) — американский писатель левого направления (в 1935 году принимал участие в прокоммунистическом Парижском конгрессе в защиту культуры), автор романов, пользовавшихся популярностью в двадцатых — тридцатых годах.

150

Тяжело ранен на войне (фр.)